

ИНДЕКС ИРРА-Россиа
2016 (01)

СЕВЕР
5+6

20
16

СЕВЕР

5+6
МАЙ — ИЮНЬ
2016
ISSN 2111-6222

В номере:

- С. Веригин о борьбе с финской разведкой
- Сила русского духа в новой повести В. Бакраевского
- Мистический реализм Николая Рубцова
- Любовь и ненависть в рассказах Н. Лаврецовой



Со столетием, Чупа!



ЧУПИНСКИЙ
Золотой Рыболов



ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА

www.lgz.ru



180 лет
со дня основания

*Третий век
считается!*

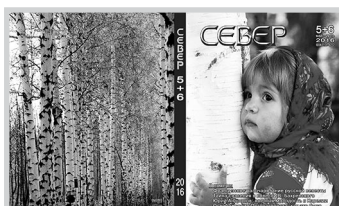


«Литературная газета» - старейшее российское периодическое издание, основанное А.С. Пушкиным в 1830 году и ставшее неотъемлемой частью истории и культуры России. Ежедневник для массового читателя.

Газета отличается объективным анализом политических, экономических, нравственных и правовых проблем, адресована истинным ценителям литературы и искусства.

«ЛГ» уже давно стало духовным символом России, и ее национальным достоянием, таким же, как Малый театр, Третьяковская галерея или Московская консерватория.

Газета для думающих людей



П О Э З И Я

Владимир «ВЕЧНОСТЬ – (12+) **3**
АЛЕЙНИКОВ ДЛЯ РУССКОГО СЛОВА...»

Александр (12+) **31**
ВОРОНИН РУБАИ

Ольга «МЧУ ПО ВСТРЕЧНОЙ
ФЕДОРОВА Я ПОЛОСЕ...» (12+) **125**

Леонид «КУДА НАМ ИДТИ (12+) **166**
ПАЩЕНКО ЗА ПЕЧАЛЬЮ?...»

ПРОЗА

Антон ПОВЕРИТЬ В ЧУДО..., (12+) **5**
ЛУКИН повесть

Владислав СТОЛПНИК, (12+) **36**
БАХРЕВСКИЙ повесть

ПРОЩАЙ – ЗДРАВСТВУЙ;
Я ТЕБЯ НИКОГДА

Наталья НЕ ЗАБУДУ, ЕСЛИ ТЫ..., (16+) **134**
ЛАВРЕЦОВА рассказы

ТРЕТИЙ ГЛАЗ; ФАТУМ;
Александр МИНЗДРАВ ПРЕДУПРЕЖ-
ЮДИН ДАЕТ, рассказы (12+) **176**

Владимир ГОЛУБАЯ ЖЕМЧУЖИНА,
РУДАК рассказ (16+) **188**

ПРОЗА

БОГОМАТЕРЬ ВСЕХ СПЯЩИХ;
СЧАСТЬЕ СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ;

Виктор АНАТОЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ,
НИКИТИН рассказы (12+) **196**

Галина (12+) **206**
ЛАХМАН ХИП-ПА, рассказ

Иван ВЛЕЧЕНИЕ; А БЫЛА ЛИ?
ТЕРТЫЧНЫЙ СКВОЗНЯК, рассказы (12+) **213**

Литературный конкурс журнала «Север»
СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА

Александр
ТИХОНОВ ПО ВЕСНЕ..., рассказ (12+) **33**

ПО РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ

Дмитрий «СИННИЕ ГОРЫ КАВКАЗА,
ГОРОХ ПРИВЕТСТВУЮ ВАС!» (12+) **84**

ДЕБЮТ В «СЕВЕРЕ»

Галина «УБЕГАТЬ ОТ ЛЮБВИ – (12+) **93**
ГОРБАЧЕВА ПРЕСТУПЛЕНИЕ..., стихи

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ

БОРЬБА ВОЕННОЙ КОНТР-
РАЗВЕДКИ КАРЕЛЬСКОГО
Сергей ФРОНТА ПРОТИВ ФИНСКОЙ
ВЕРИГИН РАЗВЕДКИ В 1941–1944 гг. (12+) **95**

СЕВЕР

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Юрий МИСТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ (12+)
ДЮЖЕВ НИКОЛАЯ РУБЦОВА **102**

ПОРТРЕТ ПОЭТА

Юрий (12+)
ЛИННИК ОЛЖАС СУЛЕЙМЕНОВ (диптих) **127**

Олег «НЕРУКОТВОРНЫЙ ПАМЯТНИК»
МОШНИКОВ НИКОЛАЯ АБРАМОВА (12+) **229**

АНТОЛОГИЯ ЛИТЕРАТУРЫ КАРЕЛИИ

Карл (12+)
СУММАНЕН, «ПАПА ВСЕГДА ЖИЛ
Наталья В ДВУХ МИРАХ» (К 85-летию со дня
ЛАЙДИНЕН рождения Тайсто Сумманена) **168**

(12+)
Елена СТИХИ (К 80-летию карельской
НИКОЛАЕВА поэтессы Елены Николаевой) **186**

МИЛАЯ МАЛАЯ РОДИНА

Юрий
ДАВЫДОВ, (12+)
Юрий
РЫБАКОВ СО СТОЛЕТИЕМ, ЧУПА! **224**

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Вениамин СКАЗОЧНЫЕ ИСТОРИИ (12+)
СЛЕПКОВ ТАТЬЯНЫ КОПЫЛЕНКО **234**
Борис «ОТЧЕСТВОВЕДЕНИЕ», ИЛИ (12+)
ПОДОПРИГОРА ПРИГЛАШЕНИЕ К ДОВЕРИЮ **236**
Олег (12+)
ЦЕЛЕБРОВСКИЙ ОГЛЯДЫВАЯСЬ НА ЭПОХУ **238**

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ **240**

Журнал «СЕВЕР»

идет по подписке во все регионы России.

Журнал поступает в администрации областей и республик Северо-Запада.

Содержание журнала не обязательно отражает точку зрения редакции на затронутые темы.

За точность фактов и цифр ответственность несут авторы.

Редакция пока не имеет возможности платить авторский гонорар. Авторам высылаются журналы с их публикациями.

Редакция оставляет за собой право не вступать в переписку с авторами, произведения которых не будут опубликованы.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

При использовании материалов, опубликованных в журнале, просим непременно ссылаться на «СЕВЕР».

Главный редактор **Е.Е. Пиетилиянен**

 (8142)

гл. редактор **78 47 36**

отв. секретарь. **78 47 36**

отделы: **78 48 05**

прозы,

поэзии,

публицистики

E-mail:

sever@karelia.ru

Для рукописей:

sever-journal@mail.ru

Наша страница в Интернете:

http://sever-journal.ru

Адрес редакции: **185035, г. Петрозаводск,**

Пушкинская, 13, журнал «Север»

Адрес издательства: **185035, г. Петрозаводск,**

Пушкинская, 13, «Север»



АУ редакция журнала «СЕВЕР»

Формат 84x100 1/16. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная. Усл.-печ. л. 23,4. Уч.-изд. л. 29,66 Заказ 481. Тираж 1000 экз.
Типография ООО «4+4». 185007, г. Петрозаводск, пр. Лесной, 51. Верстка выполнена в компьютерном центре журнала «Север».

Подписано в печать 27.04.2016: по графику 12.00, факт. 12.00. Дата выхода в свет: 11.05.2016

г. Петрозаводск, «СЕВЕР», 2016 г.

Владимир Дмитриевич АЛЕЙНИКОВ

родился в 1946 году в Перми.

*Окончил искусствоведческое отделение
исторического факультета МГУ.*

*Основатель и лидер легендарного
литературного содружества СМОГ.*

Начиная с 1965 года стихи публиковались на Западе.

Издаваться на родине стал в период перестройки.

*Автор многих книг стихов и прозы — воспоминаний
об ушедшей эпохе и своих современниках.*

Лауреат премии Андрея Белого. Член ПЕН-клуба.

С 1991 года живёт в Коктебеле и Москве.

**Владимир
АЛЕЙНИКОВ**

г. Москва



«Вечность — для русского слова...»

* * *

Не было на свете никого,
Кто не ощутил бы хоть однажды
Жаркое над сердцем торжество
Тайны — и неведомого жажды.

Тот, кто жив, ещё не упустил
Вовсе не случайную возможность:
Бросить всё — и в пламени светил
Выразить порыва непреложность.

Ночи коротающий вдвоём
С едкою бессонницей иль скукой
Встанет разом — и покинет дом,
Только бы не мучиться разлукой.

Старая обида иль хандра
Рухнет перед радостью мгновенной, —
Тот, кто робок был ещё вчера,
Причастится мудрости бесценной.

Вот она, скитальческая рать,
Выбравшая риска неизбежность,
Чтобы там в открытую играть,
Где прожить не сможет безмятежность.

Кто она? — да всё-таки не зря
Высится в безбрежности эфира
Небо восхитившая заря —
Символ возродившегося мира.

* * *

Я света ждал — живого, из души
Самой природы, — и его дождался, —
Как бы негромкий голос вдруг раздался —
И вот уже окреп, сквозь хмарь прорвался,
Напевом ясным стал в моей глуши.

Знать, не напрасно слышать мне дано
Глубинной этой музыки начало
Вот здесь, где долгим эхом отзывало
Всё то, что встарь так рьяно величало,
А нынче смотрит издали в окно.

И слова мне не вымолвить теперь
Без напряженья, без проникновенья
Куда-то в глубь, чтоб ждаты прикосновенья
Ладоней тайн, — и ветра дуновенье
Тяжёлую приоткрывает дверь.

И кто-то мне протягивает нить
Оттуда, где частиц немых круженье.
Почувств разом сердца притяженье.
Уже находит путь преображенья, —
И некому мне это объяснить.

* * *

Ветер предгрозя срывает листву,
Небо вокруг потемнело —
Так и скажу, раз уж в мире живу —
Пусть я живу неумело.

Что же со мною? Да так и дышу —
Там, где привольней и проще, —
И напоследок узреть не спешу
Монстра державного мощи.

Бреда всеобщего я сторонюсь,
Пытанный ядом и горем, —
Лучше очнусь и смелей породнюсь
С чудом, а попросту — с морем.

Не для того я сумел уцелеть
В бедах и кровных обидах,
Чтобы душой за живых не болеть, —
Где он, спасительный выдох?

Не потому я напутствую вас —
Как-нибудь после поймёте,
Что за пора наступает сейчас —
Сами ко мне вы придёте.

Нет, не случайно я с детства привык
Чуять в порыве знакомом
Гул прорицаний и тайны язык,
Свет благодати над домом.

* * *

Облако цвета былого,
Белого, чуть с синевой,
Вне обретённого крова
Встало над головой.

Белое — в нём ни кровинки,
Млечное — в нём гущина,

* * *

Весть — для счастливых,
грусть — для цыган, —
В шелесте лет уходящих,
Чьё отчуждение — сон и туман,
Есть пробуждение для спящих.

Вот она, воля, — вот и покой, —
Иней прозрачен и чуток,
Времени — течь над воздушной рекой,
С ним и сейчас не до шуток.

В дом ли войду, где коричневый чай
В чашках беспечно дымится.
Выйду ли в поле — пойму невзначай:
Жизни пронзительной — длиться.

Нет умиранья ни свету звезды,
Ни заповедному зову —
То-то огни у зальделой воды
Взвиться в пространство готовы.

Есть неизменных дум семена
В почве столетия родного,
Есть, неизбежна, словно весна,
Вечность — для русского слова.

* * *

Словно из поднятой кринки,
Выпитая до дна.

Вспомнить удел дорогого,
Кровного, — и понимать:
Духу и ясному слову
Силы не занимать.

*Посвящается моей дорогой и любимой
бабушке Лысовой Зое Александровне*

Опять проспал...

И снова я проспал в школу. Озорное утро хоть и усердно пробивалось сквозь зеленые занавески, и будильник давно прозвенел, а выползать из теплой постели все равно не хотелось. Опять придется матери солгать, что вчера звонила Любка-староста и что учитель русского языка Геннадий Васильевич заболел. В который раз мама будет недоверчиво коситься, намазывая для меня на хлеб толстый слой масла, и задумчиво качать головой. Уж я-то ее знаю! Сейчас она работает во вторую смену, и поэтому весь этот месяц нам придется завтракать по утрам вместе. Все не так уж и плохо, если подумать: с одной стороны, яичница приготовлена, чай заварен, бутерброды на тарелке, если бы не одно но...

Моя мама очень любопытная, и обязательно за столом ей нужно о чем-нибудь меня расспросить. Взять, к примеру, ту же самую успеваемость. Разве ей не хватает моих оценок в дневнике? Там ниже тройки циферку не увидишь, да и тройка — редкая гостья. Просто, когда получаешь плохую оценку, нужно, не моргнув глазом, соврать, что забыл дневник дома. Интересно, мама догадывается о моих проделках? Наверное, догадывается. Иначе тогда зачем ей каждое утро расспрашивать, как дела в школе? Вот папа, к примеру, никогда не интересуется успеваемостью, тем более за столом. Может, просто от того, что он эти скучные обязанности переложил на мамины плечи или просто ему действительно это не интересно?

Я знаю, о чем папа любит поговорить. О футболе. О любимой команде «Спартак». Но так как мы с мамой никогда не были большими поклонниками этой игры, то отцу приходится молча уплетать котлету. Но если в гости приходит сосед

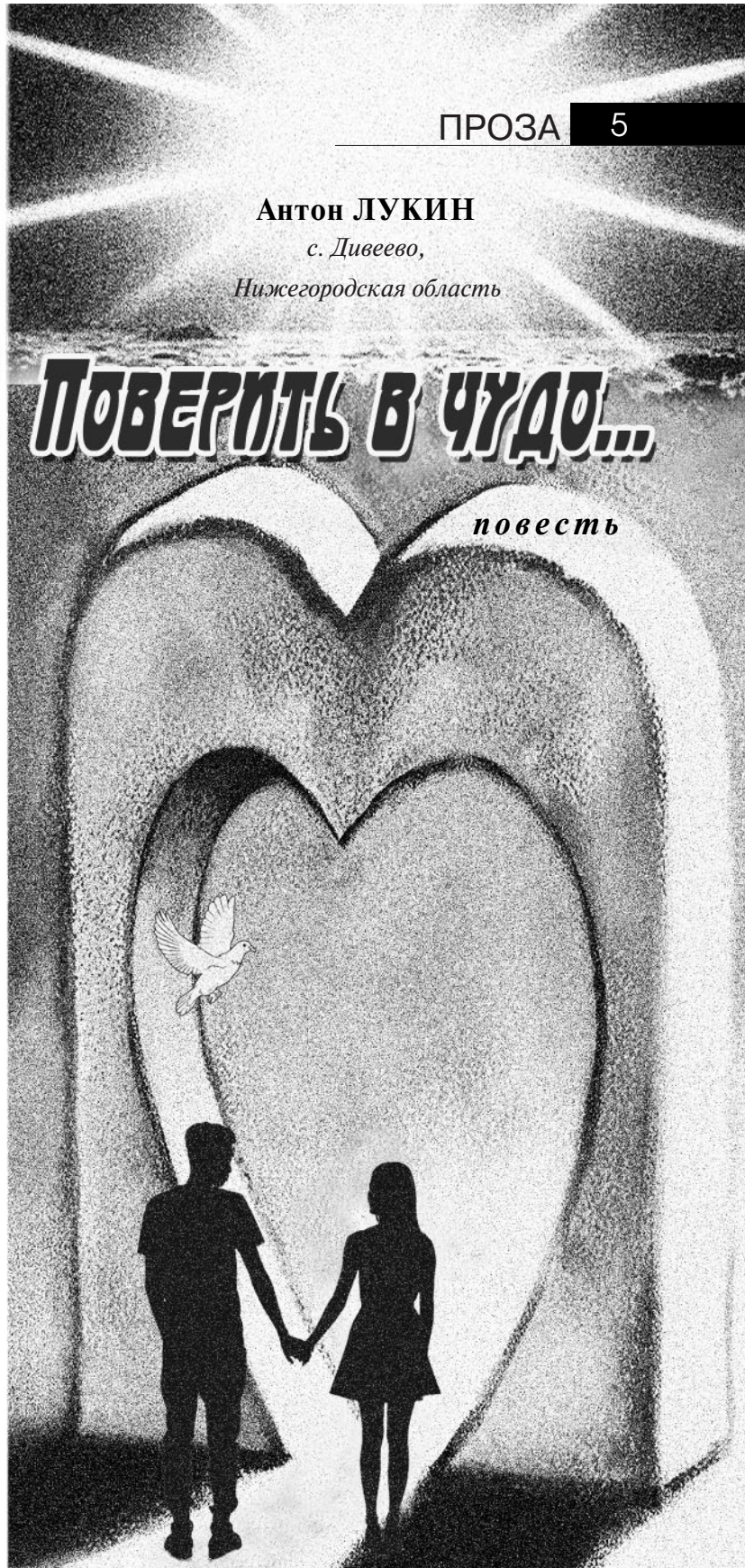
Антон ЛУКИН

с. Дивеево,

Нижегородская область

ПОВЕРИТЬ В ЧУДО...

повесть



снизу дядя Миша, то за ужином обсуждается только футбол. И даже идут споры, потому как у дяди Миши любимая команда — «Зенит». А еще он носит усы, как у Мюнхгаузена. Смешные. И сам дядя Миша кажется очень смешным и веселым. Оттого-то, наверное, мне очень хочется поскорее отпустить усы. Не такие, конечно, как у дяди Миши, а красивые.

Только вот усы у меня ещё не растут. Пока только виднеется коротенький светленький пушок. Но это понятно. Было бы странно, если бы мальчик в двенадцать лет носил усы. Хотя папа их тоже не носит. Но мама говорит, что это к лучшему. Тут я, пожалуй, с ней соглашусь. Я никак не могу представить отца усатым.

В комнату вошла мама.

— Ты все еще не встал? — нахмутив брови, она раздвинула занавески и тяжело вздохнула. — Сколько можно лежать, в конце концов? Иван!

Говорит, словно перед ней не сын, а коллега по работе. Для отца я всегда Ванька.

— Уже встаю, — я потёр глаза и высунул ногу из-под одеяла.

— Я и вижу. Время уже половина восьмого. Ты разве успеешь?

— Нам ко второму уроку.

— Кто на этот раз?

— Леухин заболел.

— У тебя постоянно кто-нибудь болеет. То Геннадий Васильевич, то Сергей Иванович, то истории не было — Марина Сергеевна не вышла, — мама еще раз подошла к окну, поправила занавеску и отправилась на кухню. — Смотри у меня, дождешься. Про все прогулы узнаю.

Чего-чего, а погугать мама любит. Сколько раз она уже грозилась заехать в школу, но так и не нашла свободной минутки, потому что, помимо школы, у мамы забот хватает. Вот сейчас проводит меня гранит науки грызть и займется уборкой, а еще ей нужно приготовить обед и ужин. Ведь она сегодня во вторую смену, и, чтобы папа не остался без борща и любимых домашних котлет, маме не стоит ловить мух. Вообще-то, мама у меня настоящая стряпуха и умница — мы не раз убеждались с папой. Что бы мы делали без нашей мамы! Однажды, когда она заболела и легла в больницу, мы все десять дней питались пельменями. До того они нам надоели, что мы на них уже не могли смотреть. И, когда маму выписали,

для нас это был настоящий праздник. Нам даже показалось, что таких вкусных щей, фрикаделек и пирогов мы и раньше у неё не пробовали.

Но на этот раз за столом, как ни странно, мама не завела обычную для нее тему. И я немного насторожился. Неужто она взаправду решила позвонить классному руководителю? Ведь если это так, то, я думаю, ничего хорошего она от него не услышит.

— На майские праздники поедем в Черемушки, — после долгого молчания сказала мама. — Нужно будет у бабушки картофель посадить.

— С ночёвкой?

— Думаю, что да, — ответила мама. — Ну, вы с отцом останетесь точно, у него все праздники выходные. А я пока не обещаю. Главное, чтобы погода не подвела.

— Не подведёт! — обрадовался я. — Не подведёт!

Поездка в деревню к бабушке меня всегда радовала. Вот где действительно можно отдохнуть на славу, набегаться и наиграться вдоволь. Даже если для этого придется несколько часов поработать лопатой. Это того стоит.

Зимой я постоянно думаю о деревне и скуучаю по лету. Потому что летом — каникулы, а в каникулы я всегда уезжаю гостить к бабушке с дедушкой. Там моя любимая корова Бурёнка со смешным колокольчиком на шее, сушила, на которых я люблю валяться, уткнувшись лицом в колючее сено, и Орешников пруд, где можно и рыбу половить, и вдоволь накупаться. Разве кто сможет похвастаться лучшими каникулами? Конечно же, нет. А как играет дед Василий на баяне — это же надо слышать! А бабушкину кашу и тушеную капусту нужно только самому попробовать, чтобы понять, какие они вкусные. Только баба Аня готовит лучшую тушеную капусту в мире!

А еще там живут Тузик и Колька. Тузик — это наш кобель, вернее, бабушкин с дедом. Маленький, лохматый, постоянно в репьях. А Колька — это мой закадычный друг. Знаете какой он? О! Если вы не знаете Кольку, то я вам о нем расскажу.

Колька рыжий, как таракан, и такой же шустрый. Это он на первый взгляд кажется простым и доверчивым. Но это не так. Палец в рот ему не клади — руку откусит по локоть. С Колькой нужно держать ухо востро. Хитрый, как лиса. Всегда любит спорить и постоянно выигрывает. Я еще

ни разу ни от кого не слышал, чтобы Колька проиграл. Если уж поспорил, то он тебе и на крышу дома залезет, и с дерева прыгнет, и в колодец спустится. А однажды, когда нам было с ним по девять лет, он на спор съел майского жука. Я бы так не смог. Наверное, поэтому я и не рыжий. Когда Колька выигрывает, то всегда громко смеется и веснушки на его лице в эту минуту тоже весело пляшут. А еще он умеет шевелить ушами. Этим тоже не каждый мальчишка может похвастаться. У Генки Шукина из моего класса немного, правда, получается шевелить своими «лопухами», но так, как у Кольки, у него все равно не выходит. Далеко ему до Кольки.

Еще в Черемушках живет мой дядька по отцу — дядя Женя. Какой же он все-таки веселый и забавный. И даже смешной! Сам брүнует, а усы рыжие. Представляете? Честно-честно. Он фотограф. Фотографирует все, что увидит: избы, животных и даже соседей. Когда я бываю в деревне, то частенько забегаю к нему в гости полистать фотоальбом. А еще он хорошо чинит радио, и, если у кого что сломается из электроприборов, все тут же бегут к дяде Жене. Он всегда помогает. А как он любит кошек! Вы бы только знали и видели его кота Базилио, которого он обожает. До того откормил этого поросенка мойвой и колбасой, что даже я его с трудом поднимаю. Видели бы вы только моську этого Базилио, вы бы точно удивились!

В прихожей мама протянула мне пакет с пирогами.

— Вот, возьми с собой. Убери в портфель.

— Мама, я же не маленький, — даже чуть обиделся я. — И тем более у нас в школе работает буфет. Я бы и сам мог себе купить что-нибудь покушать.

— Зачем покупать, когда вот они — готовые пирожки. Домашние все ж вкуснее, чем ваши буфетные, где одно тесто.

С нашей мамой не поспоришь. Ее все равно трудно переубедить, и поэтому на карманные расходы я получаю только от папы. Уж кто-кто, а папа меня понимает. Разве может ученик шестого класса носить с собой еду в школу? Ведь я не первоклашка! Чего путного, засмеют еще в классе. И будут правы.

Как только я вышел из подъезда, то сразу избавился от пирогов. Хорошо еще, что в нашем

дворе живет бродячий пес Пират. Это я его так прозвал. Почему Пират? Да потому что он с подбитым глазом и хромой. Вот ему-то по утрам я и скармливаю свой школьный перекус. Да и пес ко мне уже привык и каждое утро ютится у двери в ожидании пирожков. И по воскресеньям тоже. И разве объяснишь ему, что по воскресеньям у меня выходной и в школу мне не нужно, а брать с собой еду на улицу просто так мне ни к чему. Вот и снова я отдал ему еще теплые пироги и поспешил в школу.

Веселые проделки

В школу я явился ко второму уроку, и мое опоздание мне даже пошло на руку, потому как по русскому языку писали диктант. Теперь бы не попасться Леухину на глаза. Но это проще пареной репы, ведь Геннадий Васильевич в перемены любит поиграть в учительской с физруком в шахматы. Об этом каждый ученик знает. И поэтому редкий раз его можно встретить в коридоре. Но не попасться Геннадию Васильевичу — это полбеды. Главное — взять под контроль вредную Любку Кузяеву. Она наша староста и оттого-то, наверное, самая вреднящая девчонка в классе. Пожалуй, учителя знают, кого брать себе в помощники. В этом мы с ребятами ничуть не сомневались. Отчего бы не поставить старостой Светку Квитко? Учится она намного лучше этой самой Любки, и все в классе к ней хорошо относятся. Светка и на контрольных поможет, и на перемене «домашку» всегда даст списать. Но учителям такой помощник, видимо, не нужен. Зачем такая хорошая девочка будет старостой? Им нужна такая вредная ябеда-корябеда, как Любка.

— И где это мы были на первом уроке, извольте вас спросить? — прищурив свои мышиные глазки, спросила меня Кузяева.

— Не твое дело, — я нахмурил брови, давая понять, что просто так ей не дамся.

— Между прочим, Ванечка, у нас был диктант.

— Бу-бу-бу! А то я не знаю.

— Думаешь, прогулял, так и диктант писать не надо? — Любка пытливым взглядом уставилась на меня. — Хитренький.

— Что же теперь — и проспать нельзя?

— Это ты не мне, а Геннадию Васильевичу объяснять будешь.

— Только попробуй ему скажи, — я пригрозил Любке кулаком. — Во, видела? Быстро косы в морской узел завяжу.

Не хватало мне еще, чтобы меня какая-нибудь девчонка учить взялась. Любка от злости покраснела. Надулась, как помидор, пытаюсь в ответ мне что-то ответить в том же духе. Но, убедившись, что я не шучу, сказала:

— Останешься после уроков убираться в классе. И попробуй только не уберись. Тогда точно все узнают о твоих прогулах.

— Есть, — по-военному, как солдат по стойке смирно, ответил я.

— К пустой голове руку не прикладывают, — сказала Кузьева. — Хотя на твою и шапку надень, все равно пустой будет.

И Любка, показав мне язык, направилась к своей парте. То-то же. А то «всё расскажу» да «всё расскажу». Нашла кого пугать. Я тебе не первоклашка.

Но после уроков все же убраться в классе пришлось. Тут уж ничего не поделаешь, если староста назначила дежурным вне графика. Лучше так. Генка Щукин застал меня, когда я заканчивал с уборкой: доска чистая, цветы политы, пол вымыт, от мусора избавились.

— Кузьева заставила? — проронил с порога тот.

— Ну не сам же взялся...

— Уж лучше так, чем диктант писать, — вздохнул приятель. — Я вот наверняка пару получу.

— Кто знает, может, и мне еще придется писать.

— Не придется, — подбодрил меня Щукин. — Помнишь, как мы с тобой контрольную по алгебре прогуляли? И ничего же, обошлось. И не переписывали. Скажешь, объелся конфет, а утром зубы разболелись. Я всегда так говорю.

Кто-кто, а Генка прогуливать уроки любил и обманывать тоже. Даже и не поймешь, что больше: обманывать или прогуливать. На контрольных он редкий гость. Если вдруг чуть запахло самостоятельной работой, Щукина можно на следующем уроке не ждать. Но сегодня диктант был внезапен, словно капкан для Генки. Иначе он, как и я, не явился бы на урок. А как он умудряется обманывать учителей! Это просто диву даешься! Даже я иной раз

ему верю, что у бедолаги разболелись зубы и он все утро с ними промучился. Хотя вчера вместе с ним же прогуливали этот самый урок.

«Не соврешь — не проживешь», — любил поговаривать Генка. И что самое обидное, так это то, что Любка к нему не придиралась вовсе. Наверное, потому, что он ее в прошлом году в лужу толкнул. Это только я могу припугнуть, что завяжу косы узлом, а на самом-то деле сдай меня сегодня Любка классному, я бы ничего ей не сделал. А вот Генка — тот может. Он парень озорной. Это мы сейчас с ним дружим, а раньше постоянно ругались и даже дрались, потому что тот считал меня настоящей тихоней и ботаником. Но после того как я стал вместе с ним прогуливать уроки, Генка поменял свое мнение, и теперь мы с ним друзья. И мне это нравится.

— Давай этой Кузьевой покажем, где раки зимуют?! — предложил мне Генка.

— Зачем?

— А затем, чтобы не приставала по пустякам. Знаешь такую пословицу: любопытной Варваре на базаре нос оторвали? Вот и она пусть свой нос не сует куда не следует, — важно проронил Щукин. — Или тебе нравится полы намывать?

— Нет, конечно же, — я виновато опустил голову и посмотрел на чистый пол.

— Тогда пошли.

— Куда?

— Увидишь, — сказал Щукин и вышел из класса. Я последовал за ним.

По вторникам и четвергам Любка занималась в доме творчества. Вот туда-то мы и направились. Само здание было небольшим, там любили проводить свободное время первоклашки и такие же зануды-старшеклассники, как наша Любка. Гардероба не было, и поэтому куртки ребятишек мирно висели на гвоздиках в длинном коридоре.

Любкину болоньевую куртку мы сразу нашли. Уж ее-то куртку не перепутаешь ни с чьей. И мы приступили за дело. Насыпали ей полные карманы земли и черным маркером исциркали всю спину, а затем быстренько выбежали на улицу, пока нас никто не видел. Генка предложил о Кузьевой исписать стену здания — пусть все знают, какая она. И я охотно согласился. Мы измарали стену ругательными словами и были очень довольны.

— Ну вот, теперь будет знать, как придира́ться, — сказал Генка, и я с ним согласился. Я с уважением посмотрел на него и порадовался, что мы с ним друзья. Вот какой у меня друг — ради меня идет на такой риск. Мы не стали долго любоваться своим художеством и поспешили скрыться, чтобы и тут нас никто не заметил.

У меня в кармане лежало немного денег, и я предложил поесть мороженого, на что Генка охотно согласился. Мне очень сейчас хотелось угостить своего друга. На тот момент мне казалось, что и я мог для Щукина тоже сделать многое. А Любка... Любка теперь будет знать, как с нами связываться. Если еще раз заикнется насчет полов, я вообще ее портфель заброшу на козырек школы. И пускай эта умница-разумница лезет и снимает его.

Я хорохорился про себя и был доволен, что ничуть не уступаю Щукину. Мы зашли в парк, я купил по стаканчику. Как только мороженое закончилось, а на новую порцию не хватало денег, Генка заметил кота, что мирно лежал себе на скамейке.

— Давай над котом подшутим? — предложил Генка.

— Давай, — обрадовался я. — А как?

— Привяжем к хвосту бутылку.

— Бутылку? — захлопал я глазами.

— Ну да. Пускай бегают гремит. Вот смеху-то будет.

Я немного расстроился. Издеваться над беззащитным животным, которое ничего плохого нам не сделало, мне вовсе не хотелось. Разве кот виноват, что попался нам на глаза. Но Генка не раздумывая направился к своей новой жертве, и я молча последовал за ним. Котик, заметив нас, даже не попытался убежать. Видно, привык к проходящему мимо народу. Щукин схватил кота и протянул его мне.

— Держи.

— Зачем?

— Ты что, трусил? — с такой усмешкой и презрением посмотрел на меня Генка, что мне стало стыдно. И я взял кота. — Подожди, сейчас весело будет.

Порывшись немного в портфеле, он достал оттуда веревку. Ох уж этот Генкин портфель, чего там только не было. Но речь сейчас не о нем. Приятель вынул из урны пустую бутылку и

обмотал ее веревкой. Другой конец привязал к пушистому хвосту. Я бросил кота на брусчатку, и тот, испуганный, помчался наутек, гремя бутылкой. Генка заржал во все горло, и я тоже, пытаясь ему не уступать.

— Что же вы наделали?! — слышалось сзади. — Справились. Разве можно так над бедным животным издеваться?

Мы обернулись и увидели девочку с длинной косой. Это была Зоя. Она хотела было догнать жертву наших утех, но кот умчался уже далеко. С этой девчонкой, моей соседкой, я был знаком. Я частенько с нею сталкивался и нередко спорил. Хуже нашей Любки-зануды могла быть только она. Уж поверьте мне.

— А тебе какое дело? — сердито спросил Генка. — Твой, что ли, кот?

— Котик не мой. Но ведь это совсем не имеет никакого значения. Разве вам самим не стыдно? Конечно, вы сильнее его, но это не дает вам никакого повода так себя с ним вести, — совсем не боясь Генкиного хмурого лица, укоризненно сказала нам эта самая Зоя.

— Подумаешь, — только и ответил ей Щукин. И, посмотрев на меня, закинув портфель на плечо, пошел вперед. И правильно, нечего с ней связываться. Это не Любка — хоть дергай за косу, все равно не поймет. Уж такую упрямую всезнайку я никогда еще не встречал. Я пригрозил соседке кулаком и поспешил за Генкой.

Девочка с косой

Зоя Кулакова жила в том же доме, что и я, в одном подъезде со мной, только этажом выше. Жила она со своей родной тетей по матери, так как была круглой сиротой. Баба Маша — так мы называли Зоину тетушку. Поначалу, когда я об этом узнал, мне ее стало очень жалко. Представить даже трудно, как можно жить без мамы и папы.

Появилась она в нашем доме совсем недавно. Но за это время Зоя смогла нажить себе врагов среди ребят и девчат в нашем дворе, считая и меня. Девчонки ее не принимали играть, а ребята до того возненавидели, что не раз обещали поколотить. А все потому, как я уже сказал, что она была очень вредной и правильной. Папа ее

был героем. Погиб в Чеченскую войну, а мама умерла от болезни — долго хворала. Об этом было известно многим жильцам дома. Все взрослые ее жалели, в том числе и мои родители. Эх, знали бы только они, какая она вредина, — давно поменяли бы свое мнение. Наверняка отец ее был хорошим и добрым человеком, иначе бы не стал героем, не прикрыл бы собою гранату, не спас в автобусе детей. Плохие люди так не поступают. Вот, к примеру, бабушка Маша, ее тетя, у которой она живет, милая, добрая старушка. Всегда со всеми вежливая и нередко при встрече угощает меня конфетами. И пса Пирата она тоже любит. Взять, конечно, к себе в квартиру его не может, но всегда кормит во дворе кашей. Даже специальная миска стоит за углом дома. Да и сама Зоя частенько играет с псом в мяч. Но тут понятное дело — с кем же ей еще играть, раз ее никто не берет в свою команду. Только с хромым и одиноким псом.

Вот такая вот у меня соседка — Правильная всезнайка с большой буквы. Свесит свою длинную косу через плечо, округлит большие карие глаза, выставит руки в боки и давай цепляться к каждому со своими нравоучениями. Все-то она знает: как нужно себя вести и как ни в коем случае нельзя.

Однажды мне здорово влетело от родителей из-за этой Зои. Зимой в новогодние праздники я, как обычно, с ребятами играл во дворе. Погода на удивление была теплой. Снег подтаивал, будто пришел к нам веселый март.

— А давайте снеговика слепим? — предложила Валюшка Котюсова, девчушка из соседнего подъезда.

— А почему бы и нет? Давайте! — поддержал ее Санька Коробов.

И мы принялись катать снежные колобки. Полчаса — и снежная кукла красовалась в нашем дворе, гордо задрав огромную голову.

— Я сейчас, — улыбнулась Валюшка и побежала к дому.

— Куда ты? — окликнул ее Санька.

Котюсова обернулась.

— За морковкой для носа. А еще краски возьму, разукрасим ему пуговицы.

Все бы этим девчонкам только что-нибудь разукрасить. Уже у подъезда Валюшка снова окликнула нас.

— Ребята, а вынесите кто-нибудь ведро.

— Мусорное? — не сразу догадались мы.

— Да нет, — засмеялась подруга. — Снеговику на голову.

Валюшка забежала в дом. Мы с Санькой переглянулись. Признаться, ведер у нас и не было. Это не в деревне. Вот у бабы Ани в Черемушках этих ведер хоть с полусотни снеговикам на голову надень, и то жалко не будет. Но мы-то слепили снежную бабу не в Черемушках.

— Я могу вынести свой старый шарф, он мне как раз не нужен, обмотаем снеговику шею, — предложил я.

— Может, и ведро заодно захватишь? — подсказал Санька.

— Нет уж. А то так нечестно получается. Мы с Валюшкой — все, а ты — ничего, словно это и не твой снеговик.

Санька направился к подъезду. Через несколько минут он появился вместе с Котюсовой. Та, как и обещала, вынесла морковь и краски. Понятное дело, этого добра в каждой квартире хватает. Санька вместо ведра держал в руке старую шапку-ушанку.

— А что? — спросил виновато он. — Можно сказать, снеговики шапки не носят.

— Носят, еще как носят, — заверила его Валюшка, радостная тем, что и мы включились в ее игру.

И вот каких-то десять минут — наш снеговик стоял посреди двора, раскинув руки-ветви. Ярко-оранжевый нос так и заманивал бедных замерзших птах полакомиться им. А разноцветные пуговицы, как у клоуна, красовались на белоснежной груди.

— Ну вот, — сказала Валюшка. — Теперь наш снеговик самый красивый в мире.

Мы с Санькой переглянулись и улыбнулись. Уж, конечно, не во всем мире, но, пожалуй, на улице не уступит другим снеговикам. Даже Пират оценил нашего снежного человечка. Пока мы лепили и разукрашивали его, он мирно лежал под железной горкой и любопытно поглядывал на нас одним глазом. Но стоило нам только оставить снеговика и отойти в сторону, как он тут же принялся на него лаять.

— Ух ты, посмотрите-ка, какой вояка, — улыбнулась Валюшка. — И чем он тебе только помешал?

— Собака есть собака, чего тут скажешь, — сказал Санька и вдруг толкнул меня локтем. — Смотри!

На третьем этаже было открыто окно, и с подоконника за всей этой ситуацией наблюдал рыжий кот. Он лениво поглядывал на нас, свесив лапу вниз. Казалось, будто кот сейчас думал: «Ну, чего разлаялся, глупый пес?»

— Посмотрите, какой барин, — подметил Санька.

— А хочешь, я его сейчас снежком собью?

— Ты?

— Ну да.

— Не попадешь.

Ох, лучше бы Санька не произносил эти слова. Тогда, наверное, я был похож на Кольку, что любил со всеми спорить.

— А если окно разобьешь? — одернула меня Котюсова.

— Ха! — усмехнулся я. — Да тут слепой попадет.

Но на всякий случай договорились, что после броска, не важно, попаду я в кота или нет, бежим за угол магазина, чтобы нас никто не видел. Я слепил снежный комок, помял его хорошенько в ладонях и, оглянувшись по сторонам, убедившись, что за нами никто не наблюдает, запустил в наглого кота.

Как так получилось, до сих пор ума не приложу, но комок действительно попал в соседнее окно. Бля! Посыпались осколки. Мы бросились наутек. Как назло в это время проходила Зоя Кулакова. Она-то и заметила мой неудачный бросок. И как я ее ни пугал, что ей же хуже будет, если об этом кто-нибудь узнает, все без толку. Этим же вечером я с отцом ходил извиняться к соседям, а потом все зимние каникулы просидел дома, наблюдая в окно, как ребяташки веселятся во дворе. И та же самая Зоя играла с Пиратом возле нашего разноцветного снеговика.

Вот тогда-то я ее и возненавидел. И на протяжении всего домашнего ареста придумывал для нее мсть. Вот возьму ее за длинную косу, и будет знать, как ябедничать. Но начались школьные будни, и я про Кулакову забыл. Не до нее мне было. Да если честно, то и связываться с нею дороже себе. И так все соседи никак не нахвалят эту «милую добрую девочку».

Вот такая она, эта Зоя Кулакова.

Несчастный случай

И все-таки радость одна не ходит. Всегда где-то позади, в тени, прячется, осторожно выглядывая из-за угла, сестрица-беда. Так частенько любила поговаривать баба Аня. Мама же на этот счет говорила так: «Словно закон подлости». Когда я был еще совсем маленьким, то частенько раздумывал: кто, а главное, зачем, придумал этот закон. Я давно уже не ребенок и знаю смысл обеих этих фраз. Но как-то никогда не придавал этому особого значения.

Во-первых, начнем с того, что я в весенние каникулы заболел. Набегался с Генкой под холодным дождем и захворал. И ведь главное и самое обидное — это то, что самому Генке ничегошеньки, даже насморка не было. Я же с температурой провалился в постели все школьные каникулы. Тут уж действительно не до шуток. Поневолe вспомнишь про этот самый закон. Всегда этому Щукину во всем везет. Не то что мне. И чего бы нам тогда не остаться под козырьком школы и не переждать непогоду. Нет, послушался Генку. А дождик тогда разошелся не на шутку. Уроки давно уже закончились, и находиться лишний час в школе никому не хотелось. Но дождь никого не выпускал.

— Надо идти, — со спокойным видом промолвил Генка.

— Чтобы заболеть? — одернула его Светка Квитко. — В такую погоду хороший хозяин собаку не выпустит...

— Не сахарный, не растаю, — ответил Генка и по привычке нахмурил густые брови. А чего их хмурить? Светка все правильно говорит. Вот она-то никогда никому зла не желает, даже самым отчаянным хулиганам, таким, как Щукин. Не то что Любка Кузьева — от этой особы всегда жди подвоха.

Я посмотрел на Квитко и отчего-то сразу же вспомнил нашего Пирата. Вот если бы у него был хозяин, да еще и хороший, то ни за что бы не выгнал его на улицу. И грелся бы сейчас Пиратушка где-нибудь у батареи и поглядывал на доброго хозяина. А тот непременно сидел бы рядом в кресле, пил горячий чай и листал газету. Но никакого хозяина, даже самого плохого, у Пирата не было. И поэтому сейчас он,

скорее всего, как обычно, прятался от дождя под железной горкой в нашем дворе.

— Да тут, если бегом, — пять минут и на троллейбусной остановке, — сказал Генка и посмотрел на меня. — Ну, кто со мной? Кто смелый и закаленный?

Ох, знает этот Шукин, как сказать, чтобы я последовал за ним. Кому охота быть трусом и хлюпиком? И мы с Генкой под удивленные возгласы шагнули под дождь.

— Ненормальные! — слышался Светкин голос.

— Закалённые, — поправил я ее и вместе с Генкой под дождем поспешил к троллейбусной остановке, весело смеясь и размахивая портфелем.

Вечером того же дня я слег с температурой и целую неделю пролежал в постели. Вот тебе и закаленный. И ладно бы еще заболеть зимой. Не так обидно. А иногда даже и приятно поваляться с градусником под мышкой. Все за тобой ухаживают, а ты лежишь себе в теплой постели, прищурив притворно глаза, и тихонько постанываешь. Но это если у тебя кашель и температура невысокая. А то однажды у меня был такой жар и виски сдавливало так, что того и гляди голова лопнет. Тут уж действительно не до притворства. Лучше уж в школе за партой алгебру зубрить, чем так мучиться. Но это было давно и всего один раз. Зимой в морозы, когда на улицу силком никого не вытащить, парутройку дней можно и похворать. В школу ходить не нужно, и поэтому про уроки тоже можно забыть. По утрам, когда родители уходили на работу, я доставал из-под кровати «Денди» и весь день играл в любимые «танчики» или «Марио». Но заболеть весной, извините меня, это уже свинство. За всю суровую зиму, когда ты так соскучился по солнышку и теплым денькам, нужно взять и слечь с температурой.

Снег на улице почти растаял, за окном щебечут птицы и веселится ребятня. А чего бы не веселиться, раз наступили каникулы и расцвела весна. Но только стоило каникулам закончиться, как тут же выздоровел и я. С первым учебным днем последней четверти я с портфелем отправился в школу.

Перед самыми майскими праздниками, когда все мысли только и были о поездке в деревню да о бабушкиной избе, случилась настоящая

беда. Мы с Генкой после уроков решили покататься на велосипедах. У Шукина был старенький отцовский велик с рамой. Кататься на таком шестикласснику, признаюсь я вам, трудновато. У меня же была «Десна» — велосипед как раз для моих лет. Где-где, а уж тут я всегда держал превосходство над Генкой. И это понятное дело. Разве на таком допотопном транспорте разгонишься?

Мы любили выезжать в старый район города — там не было многоэтажных построек, да и машины встречались нечасто. Но зато там была уйма собак, которые очень любили гоняться за велосипедистами. Разгонишься по длинной безжизненной улице, свистнешь, как соловей-разбойник, — и вот уже за тобой несется целая свора собак. Каждая пытается перелаять друг дружку. Мне всегда кажется, что и собаки понимают нашу игру. Лают на всю округу так, что грачи на деревьях затихают. Но это так, для притворства. Ведь только мы с Генкой остановимся, как дворняги тут же отбегают в сторону и молча посматривают на нас умными глазами. Но стоит сесть на велик и крутануть пару раз педалями, как вновь завяжется гонка. И, что самое удивительное, собаки не пытаются нас обогнать или подрезать. Хотя могут. Для них, видно, интересен сам процесс: мы от них удираем, а они нас гонят.

Генка постоянно находится позади меня, и я частенько слышу, как он пыхтит мне в спину. Пока разгонит свой велосипед, становится красным как рак. Тяжело. Это не на моем — крутанул пару раз педалями и лети-свисти, ни о чем не думай. И тормозить на моем интереснее. Разгонишься, как дашь по тормозам, тебя аж выворачивает в обратную сторону. Пыль столбом. Классно! Шукин же пытается тормозить плавно, чтобы не навернуться, и его заднее колесо лениво шаркает об асфальт. Эдак неинтересно.

Я знаю, что значит кататься на таком велосипеде. В Черемушках у деда Василия точно такой же агрегат. Даже, наверное, постарше. Но там, в деревне, у всех мальчишек такие велосипеды, и когда катаешься, то не обидно, что у кого-то лучше, а у кого-то хуже. Это прошлым летом я научился ездить верхом, а до этого просовывал одну ногу под раму и крутил педали. Так многие мальчишки моих лет катались, кто не доставал до педалей верхом. Со

стороны казалось, словно черепаха выглядывает из-под панциря.

У ребят, кто постарше, имеются мотоциклы и мопеды. Вот у Димки Сустаева мопед «Карпаты». Он хоть и постарше меня всего на год, но уже два года как обходится без велосипеда. Это понятно, был бы у меня эдакий мини-мотоцикл, я бы тоже позабыл обо всем на свете. Димка мне как-то дал разок прокатиться на нем у реки. Долго же мне пришлось его тогда уговаривать. И только когда я предложил за это свои наручные часы, Сустаев сдался. Правда, по возвращении обратно в город я их у него забрал. Но мопед, я вам скажу, у Димки что надо. И, чтобы на нем прокатиться, никаких часов не жалко. У него даже имеются спидометр и две скорости.

«Это вам не шуточки», — частенько говорит Димка, и все ребятишки, у которых нет такого мопеда, ему верят.

Вообще, в Черемушках почти у каждого жителя в гараже имелся мотоцикл. На ходу он или разобран по запчастям — не важно, главное, что имелся. На них еще катались отцы сегодняшних ребят.

Почему у деда Василия не было в гараже мотоцикла, я не знаю. Но зато у него была машина «Жигули». А вот у Сереги Ометова красовался во дворе красный «Минск». Достался от отца. Ему всего пятнадцать, даже прав не имеет, но уже вовсю гоняет на нем по деревне. У того на спидометре далеко за сотню. Вот уж где действительно «это вам не шуточки». Серега — хороший парень, всегда всех катает, только попроси. Но сестра за руль никому не разрешает. Вот если помыть колеса и глушитель, то это всегда пожалуйста. Верхнюю часть Ометов влажной тряпкой протирает сам. А то, что он никому не дает кататься, это не от того, что Серега жадный, а потому, что «Минск» не игрушки. И он прекрасно это понимает. Это вам не мопед, на таком «жеребенке» шею вмиг свернешь.

Накатавшись вдоволь, мы уже собирались ехать по домам, как за поворотом, что шел на соседнюю улицу, услышали громкие детские голоса. Мы с Генкой решили проверить, чего это детвора так раскричалась, словно повстречала Деда Мороза.

Так и есть. У огромной березы мы увидели

ватагу ребятишек. Они отчаянно ругались между собой. В стороне стоял мальчик и тихо шмыгал носом.

— Что за шум, а драки нету? — свистнул на них Генка. Детишки обернулись и ошарашенными глазами уставились на нас. Было видно, что Генка их испугал. Я улыбнулся.

— Ну, чего у вас тут стряслось?

— Да вот, — сказал белокурый мальчишка в зеленой бейсболке и головою кивнул на товарища, который стоял рядом и шмыгал носом. — Доверили ему... а он...

— Что же он такого натворил, что вы все взелись?

Нам с Генкой стало и впрямь интересно. Мальчик со светлой челкой показал рукой на макушку березы, и мы увидели на одной из веток запутавшегося воздушного змея. Он, как котенок, смотрел на нас сверху игривыми глазами и весело улыбался, что его никто не может достать.

— Говорили ему: левее бери, сильнее на себя тяни, а он... — мальчик печально вздохнул.

— Ха, и стоит из-за этого переживать! — усмехнулся я в надежде, что Генка меня поддержит и предложит залезть на дерево. Но Генка молчал. И мне пришлось пообещать, что я смогу достать их непутевого змея.

— Правда? — спросил меня мальчик, который до этого только виновато смотрел под ноги и шмыгал носом.

— А то, — и мне пришлось прихвастнуть, что это дело пустяковое.

Конечно, по деревьям я иногда лазал, когда бывал в деревне. Но так высоко мне еще не приходилось вскарабкиваться. Эх, жаль, что тогда с нами не было Кольки. Уж он бы и усом не повел. Слезал бы и достал эту картонную игрушку в считанные минуты. Но Кольки с нами не было, и пришлось лезть мне, раз я пообещал. Самое неприятное в этом деле — это то, что спускаться намного тяжелее. Забраться можно и высоко, а вот слезть обратно — это уже не так-то просто. Да и змей этот еще запутался почти у самой верхушки. До него я так и не добрался. Сам уже не знаю, как все произошло. По-видимому, я оступился либо нога соскользнула с ветки... Так или иначе, но я сорвался и упал на землю. Помню резкую боль в правой ноге и хруст, словно наступили на замерзший снег. Дети сразу разбежались кто ку-

да. Генка сначала подбежал ко мне, но, не сумев меня успокоить, бросился звать взрослых. Было больно. Помню, как сквозь слезы я звал маму. Все остальное помнится смутно. Да и не хочется, если честно, вспоминать об этом.

Беседа у скамейки

Почти месяц я пролежал в больнице. Правая нога, на которую я так неудачно упал, была сломана. Перелом оказался серьезным. Наверное, поэтому так долго и не заживала. Отец, чтобы меня утешить, по секрету признался, что гипс скоро снимут — недели через три. Оказывается, и он в моем возрасте ломал руку, но ходил с гипсом недолго. Но я же не папка. Гипс мне так и не сняли. Только к концу мая с костылями я выписался из больницы. Эх, папка-папка, ничегошеньки ты не понимаешь в переломах. Хотя рука — это же не нога, она быстрее заживает. Или, быть может, я такой никудышный и нога у меня такая хлипкая, оттого и не срастается?

Пока я лежал в больнице, мама каждый вечер навещала меня. К тому времени она вышла в дневную смену. Днем пропадала на работе, а вечерами спешила ко мне в палату. Милая моя мама! Как же сильно она переживала за меня все это время, пока я лежал на больничной койке. Словно этот перелом был не у меня, а у нее. Это было видно по ее глазам. С какой болью, нежностью и тревогой каждый раз они смотрели на меня. Добрые мамыны глазки! Как же сильно я ее люблю! О любви своей я знал всегда, но именно тогда, когда я оказался в больнице, именно тогда я хотел прокричать на всю палату о своей любви к ней. Я прижимался к мамыным теплым ладоням щекой и, как маленький птенец, ощущал всю ее доброту и нежность. И так было горько мне тогда от того, что я ее обманывал. И, зажмурившись, я пообещал себе, что больше никогда не совру этим добрым глазкам.

В школе я экстерном сдал предметы и получил оценки за четвертую четверть. В то время, что я был в больнице, мне ничего не оставалось, как заниматься уроками. Оказывается, вовсе и не скучно учить, скажем, историю или биологию. Даже интересно. И чего мне раньше не нрави-

лись эти предметы? А вот с физикой все было намного сложнее. Но я ее вызубрил так, что самому себе на удивление получил четверку за четверть. Но годовой оценкой все равно была тройка. Денис Геннадьевич сказал мне, что если я и впредь буду так же готовиться к урокам, то твердая четверка мне обеспечена. Ох, как же все-таки хорошо, что этих слов не слышала моя мама. Твердой тройки мне вполне достаточно. А вот историю, биологию и литературу я пообещал себе подтянуть. Посмотрим, получится ли. Но я буду стараться. Теперь же на протяжении трех недель мне нужно было готовиться к экзамену по географии. Но как только я очутился дома, учить билеты, сидеть целыми днями за учебником оказалось куда сложнее, чем в больнице. Но все-таки этот предмет я потихонечку зубрю. Да и что мне остается еще делать, кроме того как не играть в «Денди»? Гулять я далеко не хожу, да и не с кем мне теперь гулять. Генку я не видел с тех самых пор, как упал с дерева. В больнице он тоже меня ни разу не навестил. Всем друзьям-одноклассникам теперь стало не до меня. Это понятно. Со мной не побегаешь, не покатаешься на скейте или велосипеде, не похулиганишь. Разве что посидеть на скамейке в моем дворе, но это же так скучно.

А на улице — начало лета, солнышко светило вовсю, так и манило убежать за город и искупаться в Волге. Разве им теперь до меня? Одни только Любка Кузьева да Светка Квитко заходили ко мне в больницу. Принесли как-то яблок и груш, а взамен съели половину шоколадных конфет. Оказывается, Любка не такая уж и вредная. И даже интересная девчонка, если хорошенько к ней прислушаться. Забавная. Стала рассказывать, как ездила в деревню и с дедом пошла по грибы. Да заблудились. Дед уж старый, дороги не помнит да глуховат еще на одно ухо. Ох, мы со Светкой и насмеялись, пока слушали ее историю. Когда они засобирались домой, я попросил Любу остаться на минутку и признался ей, что это я тогда испачкал ее куртку.

— А я знала, что это ты, — сказала Любка.

— А почему же ты никому не рассказала об этом? — удивился я.

Кузьева по-доброму мне улыбнулась и, ничего не ответив, отправилась догонять Светку. Я тогда долго лежал и думал над ее ответом. Мо-

жет, не такая уж она и плохая? Не знаю. Но в глубине души я знал одно точно — хорошо, что у нас такая староста.

Ближе к полудню я обычно выходил во двор. Усаживался на скамейку и подолгу наблюдал, как играют на детской площадке детишки. Эх, забавное время. Никаких забот. Играй себе и играй, и никто слова не скажет, что не выучены уроки или нужно убратся в комнате.

Я всегда, как только собираюсь на улицу, беру с собой завернутую в газету докторскую колбасу или же блины с мясом. Если где-нибудь неподалеку появится Пират, то мне будет чем его приманить к себе. Хотя его тоже сейчас редко можно застать в нашем дворе. Бегают где-то по городу и только вечерами появляется и укладывается под свою любимую детскую горку. Но уж если он где-то рядом, то ни за что не откажется испробовать маминых блинчиков. С ним хоть было повеселее. Положит морду на мои колени и умными глазами уставится на меня. И погладить его можно, и потрепать за ухом, и поговорить. Всё не так скучно. Теперь же даже Валюшка Котюсова и Санька Коробов редкий раз присаживались на скамейку поболтать. Все некогда да некогда. А если и присядут, то только на минутку. Спросят о чем-нибудь и быстрее уйдут куда-нибудь в город. Вот тебе и вся дружба.

Однажды, когда я сидел на скамейке и наблюдал за малышкой, меня окликнул чей-то знакомый и в то же время чужой для меня голос. Я обернулся и увидел рядом с собой Зою Кулакову. Она на секунду перевела взгляд на карапузов, что весело играли в песочнице, и с улыбкой посмотрела на меня.

— Когда я была их возраста, то очень любила с мальчишками строить замки из песка и подземные города.

— Ну ты же девчонка, — вырвалось у меня.

— Ну и что, — усмехнулась Зоя. — Ты думаешь, из нас плохие архитекторы?

— Ничего я не думаю, — нахмурился я, сам не зная отчего.

Зоя присела на скамейку и молча принялась разглядывать траву у своих ног. Долгое молчание понемногу стало раздражать нас обоих. Да и поговорить с кем-нибудь, если честно, за долгое время мне очень захотелось. Пусть даже если моей собеседницей оказалась вредина из вредин.

— Ты знаешь, — развеяла тишину Кулакова, — сегодня утром Пирата видела в городе, возле булочной, что напротив памятника Гоголю.

— К чему это ты?

— Ну как же, ведь эта колбаса в пакете, я так понимаю, для него? Это очень хорошо, что ты заботаешься о бедном песике. Ведь у него совсем нет никого в этом мире. А что самое главное для собаки, да и, пожалуй, для каждого живого существа? Это иметь друга. Я тоже время от времени стараюсь угощать его чем-нибудь вкусненьким, — тут Зоя как-то по-детски мечтательно улыбнулась. — Ты знаешь, он очень любит пельмени, — и, немного помолчав, тихонько вздохнула. — Ведь если у бедолаги нет хозяина, то кто его еще угостит, кроме друзей.

— Наверное, ты права, — согласился я.

— Мне кажется, что у нашего Пирата появилась невеста.

Это было сказано с такой серьезностью и в то же время сам смысл этих слов казался настолько очеловеченным, что я невольно засмеялся.

— Правду говорю, — засмеялась вместе со мной и Зоя. — Постоянно вижу его у этой булочной или у памятника.

— Может, он просто любитель творчества Гоголя, — пошутил я.

— Может, и такое.

— Невеста, скажешь тоже, — я снова улыбнулся. — Какой из Пирата жених? Хромой да вдобавок одноглазый.

— Вот тут ты, Ваня, не прав, — укоризненно подметила Зоя. Мне даже сделалось немного стыдно за свою шутку. — Ведь у животных мировоззрение совсем другое, не то что у нас. Для них не имеет особой важности, какой ты внешности, главное для них, что у тебя здесь, внутри. Им не важно, красив ты или уродлив, молодой или старый, здоровый или инвалид. Они все так же будут тебя любить и прижиматься мордочкой к твоим ладоням, пусть даже если они морщинисты. В отличие от нас, людей, они не ищут себе идеалов, а умеют по-настоящему искренне любить и быть преданными друзьями. Нам есть чему у них поучиться.

— Тут я полностью с тобой соглашусь.

Мне припомнились мои друзья, с которыми не так давно я весело играл и которым теперь, по случившимся обстоятельствам, совсем не

интересен. Не то что Пирату. Тот всегда рад меня видеть, здоров я или же хромой.

— Ой, смотри, — голос Зои стал снова по-детски добрым и слегка наивным. — Божья коровка.

Она осторожно указательным пальцем сняла с моей штанины красную пятнистую букашку и показала мне.

— Видишь, у нее четыре пятнышка на крыльшках. Это значит, что ей четыре годика. Мне так мама всегда говорила, — и, приподняв палец кверху, Зоя пропела: — Божья коровка, полети на небо, там твои детки кушают конфетки. Всем по одной, а тебе ни одной.

И только стоило пропеть песенку, как букашка расправила крылья и взмахнула к небу, к солнышку. Наверное, и правда, где-нибудь там, в белизне пушистых облаков, ее маленькие детишки уплетают конфетки. А маленьким, как известно, сладкого много нельзя.

— А я ведь шла на центральную площадь кормить голубей, — сказала Зоя. — Пойдешь со мной? Купим семечек. Знаешь, как они любят семечки! Ух, ты даже представить себе не можешь!

— Если ты не заметила, то у меня гипс.

— Ну, ведь как-то ты сюда спустился из квартиры. Значит, потихонечку ходишь.

— Если только потихонечку.

— Ну, а я бегом и не прошу. Да не бойся ты, тут же рядом. Будем идти с остановками. Ты, наверное, и сам соскучился по городу. А рядом с фонтаном продают наивкуснейшее мороженое. Особенно вкусный пломбир и клубничное. Хотя кому как. Сегодня угощаю я, — Зоя взяла мою ладонь и помогла подняться.

От ее звонкого голоса становилось хорошо на душе. Я взял костыли и не спеша направился с ней к центральной площади. Кулакова шла рядом, стараясь меня не обгонять. Интересно то, что Генку я всегда слушался, потому что не хотел показаться слабым или трусливым. С этой же девочкой я шел кормить голубей, потому что самому этого хотелось. Даже вовсе не потому, что я соскучился по прогулке по городу. Мне хотелось еще немного послушать ее веселый и нежный голосок.

А за окном идет дождь...

Голуби, как оказалось, и правда, очень любили семечки. По пути Зоя забежала в продуктовый магазин и купила два пакета — для меня и себя. На центральной площади у фонтана было много народу. И всего-то несколько голубей разгуливало по брусчатке. Я даже немного расстроился. Такой путь проделал на костылях! Вернее, дорога была не длинной, но само преодоление показалось весьма тяжелым. Не привык я так долго скакать на одной ноге. Но стоило Зое открыть пакет и бросить гулькам горсточку семян, как откуда ни возьмись слетелись и другие их собраты. И я тоже поспешил открыть свой пакетик.

Птиц слетелось много, и было забавно наблюдать за ними. В то же время непонятная радость наполняла душу. Ведь я понимал, что это именно я кормлю голодных птичек и именно благодаря нам они сейчас так ловко уплетают жареные семечки. И, значит, голуби очень рады нашему с Зоей появлению.

— Ну, вот и все, — улыбнулась Зоя, бросив последнюю горсточку. — Теперь еще долго будут кружиться у этого места.

— И часто ты приходишь сюда? — спросил тогда я у Зои.

— Стараюсь как можно чаще, — ответила она мне. — Если ты не против, то можем ходить вместе. Вдвоем всё веселее.

— Не против.

— Ведь голубь считается священной птицей. В Библии голубка, выпущенная Ноем, принесла ему оливковый лист как символ примирения стихии. Это считается знаком прощения людей, — сказала Зоя. — Когда Господь крестился и выходил из воды, над Ним распахнулись небеса, блеснул яркий свет и Дух Божий в виде голубя сошел на крестившегося Господа нашего, Иисуса Христа.

— Правда? — с удивлением переспросил я.

— Правда, Ваня. А еще в виде этих птиц к нам прилетают ангелы и души наших умерших родственников, которые нас очень любили при жизни, — в глазах Зои блеснула грустинка, и она тихонько вздохнула. — Считалось, что ведьмы, которые могут принимать любые обличия, могут оборачиваться в кого угодно, но

только не в голубей. Это чистая птица. Поэтому ни в коем случае не стоит их обижать. Это очень большой грех.

— Откуда ты все это знаешь? — поинтересовался я.

— Я знакома с одним очень удивительным и добрым человеком, — глаза Зои засветились, когда она заговорила о нём. — Это священнослужитель в нашей церкви. Отец Сергей. Я часто хожу в церковь поставить свечу за упокой родителей.

И мне снова стало жалко Зою, эту маленькую добрую девочку, ее родителей, что так рано покинули этот мир, и вообще всех-всех детишек-сирот. Ведь это очень страшно — остаться без мамы и папы. Я посмотрел еще раз на голубей и ужаснулся. Стал мысленно припоминать, обижал ли я когда-нибудь их? Но так и не припомнил. Кошек и собак обижал. Вспомнился последний случай, когда мы с Генкой так жестоко подшутили над котом. И очень стыдно стало перед Зоей за тот поступок. Так стыдно, что я даже стеснялся заглянуть ей в глаза, словно она только и делала, что постоянно думала о том дне. Кулакова, видимо, заметила мое переменчивое настроение и предложила поесть мороженого.

— Но в следующий раз мороженое с меня, — пообещал довольный я.

Зоя посмотрела на меня и улыбнулась.

— Я не против.

И мы отправились с ней к фонтану, где женщина в синем фартуке торговала ледяным лакомством.

Весь следующий день шел дождь. Он то расходился, то утихал, то снова расходился и снова утихал. И так весь день. У матери был выходной, а так как погода была никудышная, то за покупками и по другим делам в город решила не ехать. Она хозяйничала на кухне, гремя посудой, и напевала какую-то песню. Иногда заглядывала ко мне убедиться, готовлюсь ли я к экзамену. А что мне еще оставалось делать? Хотя я бы с радостью увильнул на часок-другой из дома. И, если признаться, такие планы были, но их испортил дождь.

Сейчас мне было совсем не до билетов. Обложившись на левый локоть, я крутил на столе карандаш и вспоминал вчерашний день. Вернее, больше думалось о Зое. Никогда бы не по-

думал, что она такой удивительный человек. Добрая, веселая, забавная. С ней и правда было очень интересно. Хотя и с Генкой, и с Колькой мне тоже всегда интересно проводить время, но это не то. С этой девочкой я был вчера настоящим. Не боялся показаться наивным и несмышленым. С ребятами же всегда нужно держать ухо востро, чтобы не потеряться в их тени. Всегда нужно доказывать, что и ты не лыком шит, и ни чуточки не боишься, и можешь то же самое, как и они, и даже лучше. Но что говорить, когда эти самые друзья отвернулись от меня, как только мне наложили гипс. Потому как со мной неинтересно теперь. Но разве в этом весь самый интерес, чтобы бегать, играть и хулиганить? Ведь вчера у нас с Зоей ничего этого не было. А мне было с ней интересно. Все-таки она удивительный человек. Добрый.

Странно как-то, но раньше я никогда не задумывался о доброте и старался ее не замечать и даже как будто стеснялся её. Стеснялся добрых ласковых маминых слов при людях, мне казалось, что в их глазах я становлюсь маленьким ребенком. А разве охота им быть шестикласснику? Но при первом общении с Зоей я сразу почувствовал ее доброту. Правда. Оказывается, доброту другого человека можно почувствовать. И так потом становится хорошо на душе, что и самому хочется сделать что-нибудь хорошее. Ведь предложи мне Генка вчера покормить голубей, я бы весело рассмеялся. Но от Зои не веяло насмешкой, а исходила доброта, что невозможно было с ней не пойти. А какие у нее глаза! Умные, веселые, чуточку наивные. Как они по-детски радовались божьей коровке, словно на ладони у нее была не букашка, а целый мир. Вот она где настоящая радость — уметь радоваться самым простым вещам, которые окружают нас каждый день.

Несколько раз я подходил к окну посмотреть, нет ли во дворе Зои. Вроде бы дождь и стих, но прохожие попадались редко. Зоя появилась ближе к вечеру. Она прогуливалась с зонтиком, а рядом с ней весело прыгал по лужам Пират. Зоя останавливалась и, по-видимому, что-то говорила псу, потому как тот замирал на месте и, опрокинув голову набок, смотрел на Кулакову. Наверняка она ему говорила, что по лужам игриво так бегать нельзя. Ведь ты уже взрослый

пес, а не маленький несмышленный щенок. И, как подобает взрослому благородному псу, нужно вести себя куда скромнее. Думаю, что смысл ее фраз был приблизительно таков. Уж чего-чего, а Кулакова замечание сделать может. С этой мыслью я улыбнулся. По стеклу маленькой струйкой пробежала капелька дождя, и, глядя на нее, я подумал тогда: такая безобидная кроха. Но если эта самая кроха с сотней тысяч миллионов таких же малюток-сестер, то они запросто могут испортить весь день, как сегодня. В комнату вошла мама.

— Чего скучаем? — ласково спросила она и подошла ко мне. Я быстро отошел от окна, чтобы она вдруг не заподозрила, что я наблюдаю за девочкой.

— Ничего я не скучаю, просто решил перевести мысли на что-то другое, кроме географии.

— Как нога?

— Как в танке, — улыбнулся я.

Мама тоже улыбнулась.

— Это хорошо, что у тебя веселое настроение. Я звонила доктору, через неделю нужно будет показаться. Если все хорошо, то гипс снимут, — мама обняла меня и поцеловала в макушку. — Пошли ужинать.

— Я сейчас.

Мама покинула комнату, а я, опершись на костыли, подошел к окну. Ни Зои, ни Пирата уже не было видно, только одинокий прохожий в темном плаще куда-то неторопливо шел. Но он-то мне был совсем неинтересен. И, задвинув занавеску, я отправился на кухню.

Старость не в радость

Следующее утро выдалось солнечным. Пасмурных серых тучек на небе не было. И это радовало. Дома я был один. Мама вообще уходит на работу очень рано, когда мы с папой еще досматриваем сны.

Я быстренько позавтракал и поспешил во двор всё к той же скамейке у песочницы. Уж сегодня я точно увижусь с Зоей. Просто наверняка. Эта мысль меня так обрадовала, что я даже не заметил, как очутился на улице. Хотя ковылять на костылях по подъезду ой как неудобно. Это еще хорошо, что в нашем доме есть лифт. А

если бы его не было? Пожалуй, с пятого этажа спускаться и подниматься оказалось бы весьма проблематично.

Во дворе народу было не так много. Две молоденьких мамы стояли у тополя, катали коляски с детьми и о чем-то важном и интересном беседовали. Одна тихонько хихикала, другая, глядя на нее, разводила руками. И на детской площадке детишек оказалось немного. Странно, вроде и не раннее утро. Два мальчугана играли в песочнице, сооружая то ли крепость, то ли пещеру в большой горе. Рядом девчушка в голубеньком платьице пыталась им помочь — подносила загорелыми ручонками песочек и камушки. Мальчишки на ее помощь фыркали и прогоняли, но девочка не унималась, пытаясь включиться в их игру. Рядом сидела старушка и с улыбкой поглядывала на детей. Скорее всего, это была бабушка. Ведь не оставят же таких крох одних без присмотра. Кому-нибудь нужно за ними присматривать. Бабушки как раз с такой работенкой хорошо справляются. Пирата нигде не было видно. Наверняка опять шляется у той булочной, что у памятника. Я припомнил Зоины слова по поводу невесты и улыбнулся. Представил Пирата в шляпе, с черной бабочкой на шее и с цветком в зубах. Настоящий жених. Всем женихам жених. И невеста у него тоже красивая. Конечно, красивая, а иначе и быть не может. Белый пудель. Ага. Белоснежная, как кусочек сахара, и с бантом на голове. С розовым бантом. Я еще хотел приодеть ее в платье, как часто это делают на всяких там собачьих выставках, но подумал, что банта будет вполне достаточно. И вот сидят они рядом, прижавшись друг к дружке, и поглядывают на Гоголя, а какой-нибудь посетитель булочной, заметив такую красивую и нарядную пару, угостит их кексом. Хотя нет, лучше сосиской в тесте. Я бы тоже угостил.

И не успел я представить Пирата с невестой и сыграть их собачью свадьбу, как рядом, тяжело дыша, присела на скамейку старушка. Огромный пакет она поставила к ногам, а тросточку прислонила к скамье. Бабушка была маленького роста и очень полная, наверное, поэтому никак не могла отдышаться. Как только одышка прошла, она, убрав платком со лба капельки пота, посмотрела на меня и сказала:

— Да уж, старость не в радость.

Произнесено это было не то с горечью, не то с обидой, что молодость больше не вернуть. Всё, мол, упорхнула она, как птичка синеглазая в небо. И не поймать ее, не возвратить. Поэтому в голосе и прозвучала грусть.

Старушка, посмотрев на мою ногу, спросила:

— И где тебя так угораздило, милоч?

— С дерева упал.

— Во-от. Теперь будешь знать, как по деревьям карабкаться. Небось, озорничал? — с прищуром спросила бабушка и улыбнулась. — Ох, и сама такой была. Шустрая, веселая, как стрекоза...

— И по деревьям лазали?

Отчего-то эту бабушку я никак не мог представить озорной, веселой девчушкой, взбирающейся на березу.

— Ну не то чтоб по деревьям, но на яблоню залезла, — тут бабушка раскрыла пакет и угостила меня яблоком. — Держи. В нем все витамины. Хотя... магазинные ведь, привозные... Но все же...

Я взял яблоко и поблагодарил добрую бабушку. Надкусил — яблоко как яблоко, даже сочное.

— Вот в деревне у нас, отколь я родом, в каждом дворе и яблони, и вишни. И в огородах у каждого все свое было, а все равно девчушкой с подругами за чужими яблоками лазала, — бабушка улыбнулась. — Чужое всегда слаще. Залезем вечером к тетке Анисье в сад яблочка нарвать, а она заприметит, выйдет на крыльцо и давай нас журить: «Эх вы, оканные, эх вы, пичужки озорные, эх вы...» Мы — врассыпную. А тетка Анисья посмеется над нами, трусихами, и уйдет в избу.

Тут бабушка, переведя взгляд на малышей, которые играли на детской площадке и которых становилось все больше и больше, приумолкла. Наверное, опять что-нибудь вспомнила из прошлого. Странно как-то, но почему-то все пожилые люди любят ворошить прошлое, рассказывать о юности своей, да и вообще вспоминать прожитую жизнь. Я не раз это замечал. Бабушка Аня, дед Василий, дед Александр, да и другие старики и бабушки из Черемушек, как начнут о жизни рассказывать — не переслушать. И у всех интересные забавные истории. Есть и грустные. Всякие есть. На то она и жизнь. Какую прожили — такие и воспомина- ния. Не было такой бабушки в деревне, кото-

рой нечего было рассказать. Парочка историй все равно найдется. Грустных или веселых, но найдется. Только попроси и, главное, — повнимательней слушай, они это любят.

— Теперь уж так не побегаешь, не поиграешь, — улыбнулась мне бабушка, а голосок все равно прозвучал грустно.

Мой взгляд невольно упал на бабушкины ноги, и я ужаснулся. На ее полных ногах были вздутые синие вены. С такими ногами не то что бегать, а ходить тяжело. И вот бабушка, опираясь на трость, приподнялась и, тяжело вздохнув, сказала:

— Ну, выздоравливай да повнимательнее будь, береги ноженьки.

И бабушка с пакетом, раскачиваясь, тяжелой гусиной походкой направилась к нашему подъезду. Она жила в моем доме, и я не раз сталкивался с нею в подъезде либо на улице, но как зовут ее, из какой она квартиры, я не знал. Вот так вот оно жить в городе, даже не знаешь, как зовут соседей через стенку, не то что этажом ниже или выше. А вот в деревне совсем все по-другому. Каждый житель Черемушек знает по имени и отчеству своих соседей, да и всю деревню. На то она и деревня. Там всего-то пару сотен дворов, еще бы друг дружку не знать.

Не дождавшись Зои, я решил докостылять до центральной площади. Может быть, она сейчас там? Может, стоит рядом с фонтаном и беседует с голубями? Площадь была рядом, только вот преодолевать этот путь на костылях было тяжело. Но не все же сидеть на одном месте. Я сунул костыли под мышки и не спеша направился туда. По пути зашел в магазин купить семечек. Вернее, не сам зашел, а попросил женщину, что направлялась за покупками, потому как к магазину вели крутые ступеньки.

На площади Зои тоже не оказалось. На скамейках по-прежнему отдыхали люди и мило вели беседы. Возле фонтана все та же женщина в синем фартуке продавала мороженое. Как и в прошлый раз, всего несколько голубок разгуливали по брусчатке.

— Эх вы, разведчики, — сказал я птицам и раскрыл пакетик.

И снова только стоило мне бросить горсточку семян, как откуда ни возьмись слетелись и другие голуби.

— И где вы все только прячетесь? — недоумевал я.

Птиц было так много, что я не заметил, как пакетик мой опустел. Стало немного грустно от того, что голуби по-прежнему жались у моих ног в надежде разыскать хоть одну семечку, а семечек не было. И я пообещал, что в следующий раз куплю два огромных пакета. А может, и три.

Направился за мороженым. Но только я докостылял до фонтана, где вежливая продавщица предлагала всем остудиться в жаркий полдень, как откуда ни возьмись появилась Света Квитко. Она была со своим папой Николаем и младшим братиком Мишей. Дядю Колю я немного знал. Они дружили с моим папой, оба были заядлыми рыбаками и потому частенько вместе уезжали рыбачить на Волгу. Дядя Коля даже бывал несколько раз у нас в гостях. Очень добрый и интересный человек. Но с папой постоянно отчего-то спорят о рыбе. А чего о ней спорить — рыба от этого ведь больше не станет.

— Ну, признавайся, как уж умудрился с дерева упасть? — улыбнулся мне Николай Квитко и по-дружески подмигнул. Но я все равно смутился, не зная, что сказать. — Ну, ничего, со всеми бывает. До свадьбы заживет.

Ох уж дядя Коля и шутник! Скажет тоже — до свадьбы. До свадьбы еще десять раз заживет, как не больше.

— Пап, пожалуй, я сегодня буду эскимо, — сказала Светлана и показала продавщице пальцем.

— А я клубничное, — сказал Миша.

— Ну, а ты какое будешь? — спросил меня дядя Коля.

— Наверное, тоже эскимо, — пожал я плечами. — Только деньги у меня есть.

— Ну, брат, ты меня обижаешь, — дядя Коля похлопал меня по плечу и, достав из кармана рубахи бумажник, обратился к продавщице. — Нам, пожалуйста, два эскимо и два клубничных.

Продавщица улыбнулась и подала мороженое. И мы вчетвером присели на скамейку, потому что дядя Коля стал рассказывать, как они с моим отцом однажды поймали огромного сома больше моего роста. Это было давно, я

тогда еще совсем маленьким был. Следом за этой историей последовала новая, ведь Светин папа рыбачит уже давно и кому как не ему знать рыбацкие байки.

Старец Серафим

Экзамен по географии я сдал успешно. Сколько себя помню, никогда не любил учиться, но четверку получить было приятно. Тем более я ее честно заработал — вон сколько зубрил. Теперь я знаю точно, что если хорошенько постараться, то можно запросто в хорошисты выйти. Папка мне сказал, что если я следующий год смогу окончить без единой тройки, то он мне купит мопед. Да ради этого я все учебники мира готов перечитать. Мама, правда, не в восторге от такой идеи, постоянно кивает головой и спрашивает, не рановато ли мне? Но папа ее убедил. Тем более и кататься на нем я буду в Черемушках. И то, если выполню уговор.

Эх, папка, папка, готовь карман! Ради такого подарка я уж точно из себя все соки выжму, но тройку не заполучу. Хотя физика и химия еще те нудные предметы, но, если хорошенько заучить, можно по любому предмету четверку получить. Уж я в этом убедился. Даже на экзамене ничуть не страшно, если ты готовился. Это только поначалу боязно, когда стоишь у двери, дожидаясь своей очереди. Все мысли превращаются в один ком, и кажется, что совсем ничего не помнишь. Но это от переживаний. А на самом деле, стоит только вытянуть билет, сесть за парту и прочесть повнимательнее вопросы, как ответы тут же припоминаются. Но это если, конечно, ты готовился, а ежели нет, то будешь, как Генка, пыхтеть за партой, уткнувшись носом в билет, и коситься по сторонам.

Прошло уже несколько недель, как мне сняли гипс. Наконец-то я вырвался из этого ужасного плена и теперь могу снова легко передвигаться и даже бегать. С Генкой я больше не вижу. Не то чтобы с ним не разговариваю или показываю свою обиду, просто его хулиганские выходки мне стали совсем неинтересны. И пускай он думает обо мне что угодно, пускай дразнится. Мне все равно. У меня своя голова на

плечах имеется. И если он и правда мне друг, то не будет так поступать... Хотя какой он мне теперь друг? Стоило мне только избавиться от гипса, как он тут же забежал в гости и предложил умчаться на Волгу. Эх, Генка-Генка, где же ты раньше был, когда мне было так одиноко? Никуда я с ним тогда не поехал, и Шукин ни разу больше за все каникулы меня не навестил. Да я и не расстраиваюсь. Теперь мне есть с кем дружить. И с Зоей ничуть не хуже проводить время и даже интересней.

Каждое утро мы бегаем к фонтану кормить голубей. Покупаем несколько пакетиков семечек. Но они все равно у нас быстро заканчиваются. Эх, сколько ни бери, все равно будет мало, потому, как мне кажется, птичек с каждым разом становится все больше и больше. А голуби к нам уже стали привыкать. Как только мы появляемся на площади, они тут же слетаются к нашим ногам. Ох, и много же их! И разве их всех накормишь? А покупать еще больше семечек мы не можем, потому как наши карманные расходы невелики. Да и самим еще хочется полакомиться мороженым, которое так и манит к себе: «Купи меня, присядь на скамейку у фонтана, полакомись мною!..»

А еще я узнал, как зовут мою соседку, ту маленькую старушку с больными ногами. Евдокия Аркадьевна. Или просто баба Дуся, как мы теперь ее называем. Как-то раз я рассказал о ней Зое, и та предложила помогать ей с покупками. И теперь по вторникам и пятницам мы со списком идем в магазин за продуктами и в аптеку за лекарствами. А баба Дуся в это время дожидается нас во дворе на скамейке. Пока мы в магазин ходим, она и свежим воздухом подышит, и на детишек полюбуется. А то у нее вон какие ноги — конечно, ей тяжело, а нам ведь совсем нетрудно.

— Ой, вы мои хорошие, — улыбнется нам баба Дуся и все норовит дать денежку на шоколадку. Но мы с Зоей не берем. Ведь не ради шоколадки мы это делаем. А просто бабушку жалко. Совсем она одна-одинешенька, и за продуктами сходить некому, донести эти тяжелые пакеты до квартиры. А чтобы баба Дуся не обижалась на нас, мы охотно слушаем ее истории. Одинокому пожилому человеку ведь хочется с кем-нибудь поговорить. И не просто погово-

рить, а чтобы тебя еще и выслушали. Для них это очень важно. Зоя умеет слушать и даже в нужную минуту всегда знает, какие слова подобрать, чтобы поддержать и утешить. А я? Я тоже пытаюсь быть внимательным, но пока только больше удается слушать.

А не так давно мы с Зоей подкараулили Пирата. Да-да, именно подкараулили, потому как нам обоим было интересно посмотреть на его невесту. Хотя бы одним глазком. Но я могу вас огорчить — никакой невесты у нашего Пиратушки не было. Просто добрый хозяин небольшой булочной одинокого пса приветливо встречал теплыми хот-догами. Вот и весь секрет. Оказывается, у нашего Пирата в городе много друзей. И это правильно.

Однажды вечером мы с Зоей на велосипедах уехали в старый район города, к Сизому обрыву. Почему его прозвали Сизым, я не знаю. Внизу обрыва шумела Волга, и совсем рядом шуршали листвою березы. Мы уселись на траву и принялись любоваться закатом, который настолько был прекрасен, что глаз не оторвать. Алые облака медленно уходили за горизонт, и отчего-то в ту минуту казалось, что именно там скрывается самая настоящая тайна, которую никому никогда не раскрыть.

— Как тут красиво, — вырвалось у меня.

— Очень красиво, — согласилась со мною Зоя. — Я люблю тут бывать именно в это время. А еще здесь хорошо по утрам, когда солнышко просыпается, только вон с той стороны, где покосившийся дуб стоит.

— И часто ты здесь бываешь?

— Не так часто, как хотелось бы. Но это одно из любимых моих мест. Тут и Волга, как молодая девица, играет с берегами, и город наш виден весь как на ладони, и березоньки шумят над тобой... И вообще тут очень легко и свободно. Поэтому мне и захотелось показать тебе это место. Хотя, возможно, ты и бывал здесь, но это же было без меня, — Зоя улыбнулась и закинула косу за спину. — Земля-матушка наша удивительно красива. Столько чудесных уголков повсюду — только любуйся!

— А я нигде, кроме нашего города, и не бывал. Правда, еще в Черемушках, про которые я тебе рассказывал, помнишь? Про бабу Аню, про Кольку, про Тузика...

— Помню. Но это ничего. У тебя же, Ваня, еще все впереди. Окончишь школу и тогда сможешь отправиться куда угодно, хоть на край земли. Но не забывай дарить при встрече людям хорошее. Чтобы от путешествия была польза не только одному тебе.

— А поедем вместе? — вырвалось у меня.

Зоя улыбнулась, сорвала ромашку и, поглядывая на ее лепестки, кивнула головой, а потом сказала:

— Однажды мы с мамой ездили под Нижний Новгород. Там на юге области расположено удивительное местечко — село Дивеево. До чего же там красиво! Вот он где, маленький рай на земле. Не зря батюшка Серафим облюбывал это место.

Я ни разу не слышал о таком батюшке и спросил:

— А кто это?

— Неужели ты не знаешь, кто такой преподобный Серафим Саровский?

Зоя очень удивилась. Это было видно. Я пожал плечами.

— Батюшка Серафим родился в восемнадцатом веке в Курской губернии, — рассказывала Зоя, перебирая пальчиками лепестки ромашки. — Когда был маленьким, то упал с колокольни строящегося Сергиево-Казанского собора, но остался невредим. В юном возрасте он тяжело заболел. Во время болезни батюшка Серафим увидел во сне Богородицу, пообещавшую его исцелить. Сон оказался правдивым. Во время Крестного хода мимо его дома пронесли икону Знамения Пресвятой Богородицы. Хворый ребенок приложился к иконе, после чего пошел на поправку.

— Сразу выздоровел? — не терпелось мне узнать.

— Ну, конечно. Богородица исцелила. Позже и у самого батюшки Серафима открылся дар исцеления от болезней. Однажды три с половиной года он питался только одной травой. Позднее тысячу дней и тысячу ночей Серафим Саровский молился на каменном валуне. Некоторые из приходивших к нему за духовным советом видели огромного медведя, которого преподобный кормил хлебом, — Зоя посмотрела на меня и перевела свой взгляд куда-то вдаль, к горизонту, словно не рассказывала она

мне все это сейчас, а читала по невидимой книге. — Не удивляйся. Животные умеют распознавать добрых людей. Оттого и не обижают их.

— Знаю, — кивнул я.

— А однажды, — продолжала Зоя, — несколько разбойников решили ограбить его келью, надеясь найти богатство. Они напали на него, когда тот молился на камне, и очень сильно избили. Преподобный Серафим не сопротивлялся им, хоть и был сильным человеком. В его келье разбойники так ничего и не нашли. Позже эти люди были пойманы, но старец простил их.

— Простил? — я округлил глаза.

— Да. Простил. Как учил Отец наш Всевышний. Прости ближнего своего, да и простит и он тебя. Не стоит на зло отвечать злом. Как бы жилось хорошо, если бы люди придерживались этого правила. Не завидовали бы, не лгали, не обижали слабых и помогали бы ближним. Не было бы войн, и люди просто бы наслаждались жизнью, — тут Зоя посмотрела на меня и добавила: — Тебе обязательно стоит посетить Дивеево, искупаться в святом источнике, пройти по канавке, приложиться к мощам преподобного Серафима.

Зоя снова устремила взгляд вдаль, и я тоже посмотрел на горизонт. Еще совсем чуть-чуть, и тьма овладеет этим тихим местом. И мы засобирались назад. Дома я спросил у мамы о старце, слышала ли она о нем. Оказалось, что мама о нем слышала, но так подлинно и подробно, как Зоя, рассказать про него не смогла. Еще я поинтересовался, куда подевался мой крестик. Как мама ни пыталась вспомнить, когда и почему я его снял и куда он делся, так и не вспомнила.

Отец Сергей

Я несколько раз вспоминал о той поездке к Оврагу на велосипедах. Припоминал и закат, что легкой волной уплывал за горизонт. Но больше всего мою память будоражил Зоин рассказ о старце, который тысячу дней и ночей молился на огромном валуне и даже смог приручить дикого медведя. Я не раз представлял эту картину, когда к старцу подходит косолапый хищник и тот кормит его с ладони хлебом. Но вот мое сердце замирает, потому как дальше я

вижу нескольких разбойников, что в поисках наживы подкрадываются к нему и избивают. И так скверно становится, так жалко одинокого дедушку, что в глубине души я знаю, мне бы хотелось, чтобы их наказали. Но сам преподобный Серафим простил их. Простил тех, кто жестоко, с цинизмом наносил ему удары.

А смог бы я простить обидчиков? От такого внезапного вопроса самому себе я ужаснулся. В школе я нередко сталкивался с тем, что мои же сверстники толпой обижали одного. Я всегда проходил мимо. Ведь меня это совсем не касается, за что бьют и посмеиваются над бедолагой. Возможно, кому-то из этих ребят он не дал списать, а может, и оттого, что просто тихий и незадиристый. Теперь-то я понимаю, что, проходя даже мимо и не заступившись за слабого, я ничуть не лучше тех, кто его обижал. Что мешало мне тогда остановиться и помочь несчастному, видя такую несправедливость? Трусость или равнодушие? Ведь порою я наблюдал, как школьники младше меня придирались к слабому. Что тогда не давало мне заступиться за «виновника всех бед»? Равнодушие. Какое же все-таки это страшное слово, ничуть не уступающее своему значению. А Зоя? Прошла бы она мимо? Нет. Кулакова первой бы кинулась заступаться, и не важно, что обидчиков много и все они старше ее. Уж в этом я был уверен. Я гордился этой хрупкой, как тростинка, и в то же время сильной, словно деревце, девочкой. С каждым днем я все больше понимал, что хочу измениться к лучшему — стать таким же, как и моя подруга. Ведь силен не тот, у кого сила, богат не тот, у кого золото, правда не за теми, кого много...

В субботу утром мы с Зоей отправились не как обычно к фонтану кормить голубей, а в церковь. Мне захотелось приобрести крестик, раз уж свой старый я так и не смог отыскать. Зоя согласилась помочь. Пожалуй, это было единственное место в городе, где я не бывал и уж тем более не знал, что спрашивать и как там себя вести. Хорошо, что со мною была Зоя. Она часто ходила в церковь, и потому мне было с ней спокойней.

Неподалеку от церкви стоял старый двухэтажный барак. Рядом — дряхлые ветхие сараи, которыми давно уже никто не пользо-

вался. Мы направились туда. Поначалу я подумал, что это короткий путь, но это было не так. Просто у Зои, как и у Пирата, в городе было много друзей, с которыми, если случалась возможность, она спешила поздороваться и заодно познакомиться и меня. Так было и в этот раз. На лавочке у покосившегося сарайчика сидел пожилой мужчина в серой рубаше и синем трико, обутый в рыжие сандалии. В почерневших от солидола ладонях он держал велосипедное колесо и плоскогубцами выгибал спицы. Лицо доброе. Хоть возраст и давал о себе знать, но волосы по-прежнему были темные. Ни единого седого волоска. Заприметив нас, мужчина улыбнулся. Зоя приветливо с ним поздоровалась и заодно представила меня. Мужчину звали Александр Сергеевич. Родом он был из села Большое Болдино, которое когда-то давным-давно прославил его тезка Александр Сергеевич Пушкин. И вот уже на протяжении двадцати семи лет этот человек живет в нашем городе, в этом самом негодном доме-сарайчике и ремонтирует велосипеды. И, наверное, люди часто обращаются к нему за помощью, потому как весь его сарайчик был набит запчастями от велосипедов. Когда Александр Сергеевич улыбался, а улыбался он часто, его лицо, хоть и было морщинистым, а все же выглядело в эту минуту молодо. Наверное, в молодые годы он был очень красив. Несмотря на то что его маленькая однокомнатная квартира находилась на втором этаже этого старого барака, в котором жить просто невозможно, человек не отчаивался. С ним приятно было вести беседу. Он рассказывал нам какую-нибудь интересную историю, но все же не забывал попутно ремонтировать колесо. Работы, как оказалось, у него действительно было невпроворот. И, чтобы больше не мешать, мы вежливо попрощались с добрым мастером и поспешили дальше — церковь была рядом. Оказывается, люди могут жить и в неблагоустроенных домах, не иметь хорошей работы и здоровья и все же радоваться жизни и ценить каждую прожитую минуту.

В церковной лавке Зоя помогла мне выбрать серебряный крестик и цепочку. Затем мы направились в церковь, у самых ворот нам попался Зоин знакомый — священнослужитель отец

Сергий. Мы поздоровались, и Зоя поведала о моей покупке. Священник взял из моих ладоней крестик, просунул в ушко цепочку и, перекрестив меня, сам надел мне его на шею.

— Иисус Христос был распят на кресте во имя всего рода человеческого за его грехи. Носи его, радость моя, не снимай. Крест — это сила и оружие христианина на всякую злую бесовскую силу, — сказал отец Сергей. — Господь всегда с тобой. Поможет в беде и укажет правильный путь. Главное — искренне от чистого сердца попросить об этом. Он обязательно услышит твою просьбу.

Я вспомнил недавние Зоины слова и сказал:

— Как было бы хорошо, если бы не было плохих и злых людей.

Отец Сергей светло улыбнулся:

— Каждый в душе добрый человек, да только не у каждого доброта эта видна. Все негодные поступки человека — это бесовские проделки. Потому и стоит посещать церковь, молиться Господу нашему Иисусу Христу, чтобы он уберег нашу душу от лукавого. Все мы перед Господом равны. Он не смотрит на лица царей и князей и не предпочитает богатого бедному, потому что все мы дети Его. В каждом из нас живет Господь. Молитесь, и Он даст вам силы и укажет верный путь. И только тот, кто просит помощи с чистыми намерениями и от всей души, получит ее. Не желай зла никому, ибо не будет зла и тебе.

— Отчего тогда люди добрые страдают? — спросил я у священника.

— Такова воля Господа. Для того мы и рождены, чтобы пройти испытание. И кто с чистой душой пройдет его до конца, без злобы и зависти, тому и будут открыты врата в рай.

— Не каждый следует этому правилу, — вздохнула Зоя.

— Это все от того, что человек перестал замечать истинную красоту, а находит счастье лишь в серебре и золоте. Оглянитесь вокруг, — отец Сергей развел руки. — Вот она, настоящая красота, вот оно, настоящее богатство. Каждый зверь, каждая птица, каждая букашка знает свое место. Только мы, люди, не видим истинной красоты, что даровал нам Бог. Все мы друг другу братья, дети отца Всевышнего.

Я смотрел на этого уже немолодого священ-

нослужителя и соглашался с каждым его словом. Как же приятно пообщаться с добрым и умным человеком! Мы с Зоей попросили у отца Сергия благословения и вошли в церковь.

Счастливым пирог

В церкви немногочисленно. Повсюду горели свечи и пахло воском. Зоя купила две свечи и поставила их на канун — за упокой родителей. Потом подвела меня к иконе, на которой был изображен лик старца со скрещенными ладонями на груди. Это был преподобный Серафим Саровский. Позже такую же икону, только размером меньше, я видел у Зои, когда гостил у нее. Хотя до этого ни разу не был у нее в гостях. Сама Зоя бывала у меня много раз. Мама всегда говорила мне, чтобы я чаще звал ее к нам. И когда я ее приводил, она сразу же усаживала нас за стол. Ох уж моя мама, лишь бы кого накормить! В обед я обязательно должен съесть тарелочку супа, ну а потом уже все что угодно. По ее словам, в супе вся сила. Хотя порой ничего не хочется, кроме бутербродов. Но разве с мамой поешь всухомятку? Помню, когда я был маленьким, то очень боялся, что не вырасту, если через меня кто-нибудь перешагнет. И ничего же. Подрос. Хотя кто только не перешагивал через мое худое тело. Так что не стоит верить во всякие там приметы. Силу можно и гантелями набрать, и необязательно для этого кастрюлями кушать суп. Хотя борщ мамин я очень люблю. Тут ничего не скажешь — борщ получается отменный, можно и добавки попросить. А вот щи, гороховый, рыбный или какой-нибудь другой — еле тарелочку осилишь. Ну, речь сейчас не об этом.

К Зое в гости сам я никогда не напрашивался, хотя удивлялся, почему она меня к себе не зовет. А после церкви совершенно неожиданно Кулакова предложила пойти к ней.

— Сегодня утром тетя собиралась испечь пироги, — улыбнулась она.

Такая новость меня обрадовала. Во-первых, я всегда хотел побывать в ее комнате и полистать фотоальбом, ну а во-вторых, как вы сами, наверное, догадались, пироги — это не суп, их я могу слопать вагон и маленькую тележку.

Вавилова Мария Ивановна, или просто баба Маша, Зоина тетья, встретила нас в прихожей и, поглаживая по голове, проводила в ванную. До чего же милый и душевный человек! Вот бывает же такое, что совсем вроде бы и не знаешь человека, а поговоришь с ним, и кажется, что он тебе очень близок. Баба Маша была из таких людей. Все-таки доброта — она сближает. На вежливость и ласку просто невозможно не ответить взаимно.

Мы сполоснули ладони и последовали на кухню. Пока я был в прихожей и ванной, то успел заметить, что живут они бедно. Мебели мало, а та, что была, очень старая. Да и ремонта давненько уже не было. В ванной комнате плитка, что лежала на полу, была поколотовой, а на стенах и совсем не пойми чего — то есть она, то ее нет. И краны очень плохо работали. Кухня показалась просторней, чем у нас, а все потому, что кухонного гарнитура как такового не было. Старенький холодильник «Свияга», пара полок под посуду и небольшой деревянный стол. В углу кухни висела икона Серафима Саровского, такая же, что и в церкви, только размером меньше. Рядом горела лампадка.

Мы уселись за стол, и баба Маша налила нам супа. Вот тебе и на! Заманили пирогами, а тут... суп. Кушали молча. Само молчание было для меня неловким. Просто я не привык, чтобы за столом не повертеться и не поговорить. Я изредка поглядывал на Зою, может, она что-нибудь скажет, но Кулакова молча уплетала щи. Сам я не решился первым заговорить. Как только мы съели суп, баба Маша подала на стол пироги и поставила чайник. Зоя не стала дожидаться чая и схватила пирог. Я тоже не растерялся.

— У тебя с чем? — поинтересовалась она у меня, как только я надкусил.

— С картошкой. А у тебя?

— И у меня с картошкой, — сказала Зоя. — Тетя, а ты делала счастливый пирог?

— Куда ж я без него! — улыбнулась нам баба Маша.

— Почему счастливый? — мне стало любопытно, что это еще за волшебный пирожок такой.

— Это пирог с... — только и успела сказать Зоя, как я ее перебил.

— Ой, а в картошке конфетка!

— Это и есть счастливый пирог, — обрадовалась Кулакова. — Тетя, смотри, сразу же попался Ване.

— Ну, а как ты хотела, детонька, — баба Маша подошла к столу и положила ладонь Зое на плечо. — Денек-то какой сегодня для Ванюши особенный. Светлый. Крестик нательный с ним. Боженька... он все видит. Вот и счастье в руки.

— Ага, — согласилась Зоя.

Оказывается, это Зоя с бабой Машей придумали такую игру. Как только начинают печь пироги, обязательно в тесто положат одну карамельку. Кому попадется этот пирог, тому счастье улыбнулось.

Дома за ужином я рассказал родителям, что сегодня гостил у Зои и что живут они бедно. Даже простенький ремонт не могут сделать.

— Пап, ты ведь у нас на все руки мастер. И плитку знаешь как положить, и кран всегда починить можешь. Давай поможем им с ремонтом? А я тебе сам во всем помогать буду. Что попросишь, то и сделаю.

Отец с матерью переглянулись.

— Ну что ж, — не сразу ответил папа. — Это очень хорошо, сынок, что ты стал думать не только о себе, но и о других. Пытаешься оказать помощь нуждающимся в ней. И в первую очередь — своему другу. Взрослеешь ты у меня. Взрослеешь, — и еще разок, посмотрев на маму, папа улыбнулся. — Отчего бы не помочь хорошим людям!

Я готов был его расцеловать.

Как только у отца выдались выходные, мы с ним отправились в гости к Зое. Поначалу баба Маша не хотела принимать от нас такую помощь, но папа ее быстренько убедил. Папа мой мастак в этом деле. Всегда находит общий язык со взрослыми. Измерив рулеткой ванную комнату и прикинув, что к чему, отец уехал на машине за плиткой и клеем. А потом мы все трое принялись за работу. Отец и для нас с Зоей находил работенку, которую мы выполняли с огромной ответственностью, стараясь его не подвести. Через пару таких папиных выходных ремонт был окончен. Ванная блестела белоснежной плиткой, а новые краны давали наисильнейшую струю воды!

Бед

Теперь в гости к Зое я заахаживал частенько. Баба Маша научила меня печь пироги и ватрушки. Оказывается, это совсем не сложно и даже весело. Каждый раз мы с Зоей готовили разные начинки. Я — с картошкой, а она — с капустой. Однажды, когда мама была на работе во вторую смену, я испек пироги с повидлом. Ее любимые. Хотя сам я пирог с такой начинкой не совсем люблю. Просто однажды я сильно ожег губы и язык этим самым повидлом, и по сей день всякая охота к нему у меня пропала. Вот уж для мамы был действительно сюрприз, когда она пришла с работы, а ее на кухне дожидалась моих рук выпечка. Отчего-то только она долго не хотела верить, что это я все сам приготовил. Даже спросила у отца, не его ли работа? Но папа ей объяснил, что был все это время в зале, смотрел футбол и больше ему не было дела ни до чего. И что в этом такого удивительного, я никак не мог понять. Словно я не пироги испек, а слетал на Луну. И еще я не мог согласиться с мамой вот в чем: почему этой еде она не отдает такое предпочтение, как, скажем, супу. На мой взгляд, силу богатырскую быстрее наберешь, наевшись пирогами, ежели супом. Да и как приятно уплетать горяченький пирожок с картошкой и запивать его холодным молоком! М-м-м, вкуснятина!

А еще у Зои есть старший брат. Зовут его Юра. Он женат и живет сейчас в Запорожье. У них там тепло и растут грецкие орехи, как у нас яблоки. Однажды он прислал целую коробку орехов. Зоя всю неделю потом их колола. Он частенько зовет ее с тетей к себе в гости, но баба Маша отчего-то не желает так далеко уезжать. То ли боится, то ли годы уже не те. А вот Зоя, как она мне сказала, обязательно погостит у брата, как только окончит школу. Там и до моря недалеко — рукой подать. Море — это, конечно, не наша Волга. На море и я бы с радостью поехал, если бы и у меня кто-нибудь из родни проживал рядом с ним. Но из родственников нас в гости зовет только тетя Груня, мамина сестра. Но она живет не у моря и даже не рядом. Ее город славится утюгами. Только зачем нам утюги? Еще мне приглянул-

ся у Зои кот. Кличут его Цыган, потому что шерсть его черная-пречерная. Он огромный и ленивый. Хотя, как сказала баба Маша, ленивым он стал от старости. Цыган был старше меня и Зои. Было ему пятнадцать лет. Покошачьему это весьма много.

Не успели мы с Зоей опомниться, как и лето пролетело. Так всегда. Учебный год тянется-тянется — ни конца, ни края ему не видно. А наступит лето — не успеешь и глазом моргнуть, как пора уже портфель собирать. Скорее бы повзрослеть! Хотя мама другого мнения. Говорит, что взрослая жизнь никуда не убежит и, пока есть возможность, нужно наслаждаться детством и юностью. Если верить ее словам, она с радостью походила бы годик-другой в школу. Но, мне кажется, мама хитрит. Неужто кому-то охота учить уроки?

В конце августа, когда до школы оставалось совсем чуть-чуть, в наши двери постучалась беда. Отец попал в аварию. У него выдались выходные деньки, и он с утра пораньше отправился рыбачить на Волгу. На обратном пути, не доезжая до города совсем немного, на повороте, папа не справился с управлением, машину занесло в кювет. Мы с Зоей, как обычно, нагулявшись и проголодавшись, забежали ко мне, чтобы что-нибудь перекусить, где нас и застала эта страшная весть. Мама, прикрыв лицо ладонями, плакала. Я подсел рядом, обнял ее, и по моим щекам тоже покатились слезы. С такой бедой я столкнулся впервые и еле-еле находил в себе силы противостоять ей. Я должен быть сильным. Я знал это. Ради мамы, ради отца. Но это оказалось совсем нелегко. Втроем мы отправились в больницу, но к папе нас не пустили. Врач толком ничего нам так и не объяснил. Говорил он успокаивающе, но в его голосе все равно чувствовалась тревога. Вечером мама отправила меня домой. Сама осталась в больнице. Возвращаться в одинокую бездушную квартиру мне не хотелось, но спорить с ней в такую минуту я не стал.

— Все будет хорошо, — сказала мне Зоя, как только мы вышли из больницы. — Нужно верить в чудо, и тогда оно обязательно произойдет.

Зоя осталась ночевать у нас. Мне не хотелось быть одному, и она, догадавшись об этом, ос-

талась со мной. Как же все-таки хорошо, что рядом есть друг, который в трудную минуту тебя всегда поддержит. Зоя хоть и сама еще ребенок, но знала, что сказать. Я всегда это замечал, когда она вела беседу со взрослыми. Вот и сейчас от ее слов исходила надежда и верилось, что все будет хорошо, все образуется. В который раз, глядя на Зою, сердце мое сжималось от боли и жалости. Ведь моя подруга, которая подбирала каждое словечко, чтобы успокоить меня, была сиротой. И кому, как не ей, знать, что это такое — потерять родителя. И тут словно молния ударила меня — а что, если отец умрет? Что, если все эти слова надежды всего-навсего слова? Если случится так, что папу мы потеряем, — как тогда жить? Что будет со мной и мамой? И так мне стало страшно и больно, что я готов был заплакать, разреваться от бессилия. Зоя, заметив это, подседала ближе и обняла меня. Немного стало легче от того, что рядом человек, которому небезразлично моё горе. Я тоже обнял Зою, а перед глазами стоял отец, его добрый взгляд и улыбка.

Вспомнилось, как мы ходили с ним по грибы, когда гостили у бабушки в Черемушках. Чего-чего, а по лесу отец любил прогуляться — каждую тропинку знал. Это папа помог мне стать грибником. Сколько раз я с деревенскими ребятами ходил по грибы и по ягоды и никакого интереса от этого занятия не испытывал. Потому что всегда приходил домой почти пустой, а у тех целые корзины. Конечно, они лес хорошо знают, не то что я. Другое дело — ходить по грибы с отцом. Он и подскажет, где лучше искать, и что за гриб я нашел. Папа каждый грибок знал — и съедобный, и несъедобный.

Однажды мы ездили в Черемушки копать картошку. Как только мы закончили, папа, на скорую руку перекусив, куда-то засобирался.

— Куда ты? — поинтересовался я у него.

— На охоту, — папа по-доброму подмигнул мне.

— А где же твое ружье? — усомнился я.

— А что, неужто только с ружьем на охоту ходят? — отшутился тот и прихватил корзину.

— Ну не с корзиной же, — засмеялся я. — Что, ты в нее зайцев, что ли, складывать будешь?

— Зачем зайцев? — улыбнулся отец. — Грибы.

— А говоришь на охоту...

— А ты разве не знал, что искать грибы — это тоже охота? — и папа протянул мне лукошко. — Не изволите составить компанию?

И я согласился. Как только мы зашли в лес, отец не спеша принялся блуждать возле деревьев, поглядывая под ноги. Я тоже стал ходить от одного дерева к другому.

— Не спеши, сынок, — сказал папа, заметив мою беготню. — Грибы торопливых не любят. Оттого и прячутся от них.

— Прячутся?

— Еще как прячутся! Как детишки малые любят с нами в прятки поиграть. Глаз да глаз за ними нужен. Посмотри, кто это возле ног твоих притаился, — отец подошел ко мне и, присев на корточки рядом с моим сапогом, показал мне гриб, шляпка которого скрывалась под опавшими листьями. Папа достал ножик, чтобы не подпортить грибницу, подрезал ножку. — Это, Ванюш, подберезовик. Этот гриб растет вблизи берез. Оттого и название такое.

Отец положил гриб в мое лукошко, и мы принялись «охотиться» дальше. Поначалу папа подсказывал мне, когда я проходил мимо. Но потом я перестал торопиться, стал повнимательнее и сам не заметил, как мое лукошко быстро наполнилось. Действительно, не любят грибы торопливых. Ох, не любят. Отец тогда насобирал немного. Но он, в отличие от меня, не брал все подряд, а охотился исключительно за белыми грибами. Какой же он все-таки красивый, этот белый гриб! Шляпка широкая, ножка толстая — настоящий богатырь. Потом уже я и с ребятами ходил по грибы и приходил домой не с пустыми руками, как раньше. Главное правило грибника я усвоил — коль пошел по грибы, то не нужно считать ворон.

Вспоминая все это, страх еще больше овладевал мною. Так было страшно потерять отца. Я даже на секунду не мог представить, как мы будем без него. Ох, папа-папа, миленький папочка, не оставляй нас с мамой одних, пожалуйста!

Утром мы с Зоей отправились в церковь. Зоя помогла мне заказать сорокоуст за здоровье отца, и потом мы поставили свечи у иконы преподобного Серафима. Я долго стоял перед

иконой и смотрел в добрые глаза старца. Зоя была рядом. Она читала молитву и крестилась перед образом преподобного. Я не знал ни одной молитвы, но от всего сердца просил спасти отцу жизнь. «Батюшка Серафим, помоги, пожалуйста, папе. Дай ему здоровья, дай ему сил», — шептал я.

Из церкви мы отправились в больницу. Мне верилось, что все будет хорошо.

Настоящее чудо

В больнице меня и Зою встретило хорошее известие. Как только я увидел мамины глаза, то сразу догадался, что папе стало лучше. Но я и представить не мог, что настолько лучше. Мама сообщила, что час назад отец пришел в себя. Радости моей не было предела. Я обнял маму и хотел уже было зайти в палату, но она меня остановила.

— Врач не велел пока его тревожить, — сказала она.

— Да я только на минутку, только посмотрю на него хотя бы глазком.

— Давай лучше дождемся врача, а папа пускай отдыхает, набирается сил, — уставшим голосом произнесла мама. — Врач и так сказал, что в его практике такое впервые, чтобы почти с того света вернуться и сразу же, придя в сознание, заговорить. Настоящее чудо.

— А все потому, что это батюшка Серафим помог папе. Правда, Зоя?

И я рассказал маме, как мы сегодня утром ходили в церковь и просили у Серафима Саровского помощи, чтобы тот помог нам, исцелил отца. И преподобный слышал наши молитвы. Мне сразу припомнился недавний разговор с отцом Сергием, когда тот говорил, что, если Боженьку попросить от чистого сердца, он обязательно услышит. Вот и батюшка Серафим слышал Зоину молитву и мою просьбу.

— Какие же вы у меня молодцы! — мама обняла нас с Зоей и почему-то заплакала. — А я так закружилась, так завертелась, что совсем позабыла пойти в церковь. А ведь когда у людей происходит такое горе, как у нас, они в первую очередь просят помощи у Бога. Когда врачи

разводят руками, только и остается одна надежда на Боженьку.

— Мама, а пойдем сейчас в церковь? — предложил я. Мне не хотелось, чтобы мама плакала, тем более когда все обошлось.

— Сейчас?

— Ну да, — я коснулся маминой ладони и нежно сжал ее пальцы. — Все равно же меня пока к папе не пустят. А вечером все вместе к нему придем.

Мама улыбнулась мне и вытерла слезы. Зоя тоже согласилась составить нам компанию. И мы втроем покинули больницу.

И в этот раз в церкви было немногочисленно — несколько монахинь и пара прихожан стояли у икон. Зоя сказала, что нужно прийти на вечернюю службу. Она и маму мою обещала познакомить с отцом Сергием. Так как я уже был знаком с этим хорошим человеком, мне и самому захотелось, чтобы мама с ним познакомилась. И папа тоже, когда поправится, обязательно должен встретиться с этим добрым и рассудительным священником. Как же хорошо, что этот человек проживает в нашем городе, и спасибо Зое, что она меня с ним познакомила!

Мы с мамой поставили свечи у икон преподобного Серафима, Христа Спасителя и у Богородицы. Мама тоже заказала сорокоуст за здоровье отца. Когда же мы вышли из церкви, мама открыла сумку, достала кошелек и дала нам с Зоей денег, чтобы мы раздали их просящим милостыню. Это были инвалиды и маленькие сгорбившиеся старушки. Мы с Кулаковой поделили деньги и положили их в каждую протянутую ладонь.

Вечером вернулись в больницу. У Зои не получилось пойти с нами. В этот раз к папе нас пустили. Надев синие бахилы и накинув халаты, мы прошли в палату.

Отец лежал у стены и смотрел на дверь, будто знал, что мы с мамой сейчас зайдем. Мы встретились с ним глазами, и папа чуть улыбнулся нам. Мама присела на стул. Папа был практически весь перебинтован, левая нога загипсована и подвешена на растяжке. Рядом стояла капельница. В прозрачной бутылке маленькие капельки не спеша бежали друг за другом. Отец выглядел неважно, и мне снова

стало беспокойно за его здоровье. Но стоило папе снова улыбнуться, как улыбка его сразу прогнала все тревоги. Живые папины глаза успокаивали меня и маму, говоря нам, что все хорошо.

— Ну как ты? — еле слышно спросила мама.

— Чувствую себя неплохо. Честно, — ответил папа. Голос и правда прозвучал бодро, как и раньше. Не было ни малейшего намека, что ему больно.

Мне припомнилось, как однажды под самый Новый год папа простудился и весь праздник пролежал с температурой в кровати. У него был жар. И как бы он ни говорил мне тогда, что все у него хорошо, а только я не верил. В голосе чувствовались слабость и боль. Даже когда папа спал и лежал с закрытыми глазами, было слышно легкое постанывание. В ту минуту даже самый маленький ребенок догадался бы, как ему плохо. Но сейчас папин голос действительно прозвучал бодро. И мы с мамой немного успокоились.

— А когда тебя выпишут? — спросил я.

— Это, брат, теперь не скоро, — ответил мне отец.

— Врач что говорит? Разговаривал с ним? — мама провела ладонью по папиной щетине.

— Говорит, что в рубашке родился. И что здоровье у меня богатырское, — папа снова улыбнулся. — Нет, ну правда, чувствую себя хорошо. Честно. Как ни странно — ведь и боли никакой нет. То ли от уколов, то ли... Кто его знает. А только такое ощущение, будто только что проснулся. Словно и аварии никакой не было.

— И не помнишь ничего, пап?

— В том-то все и дело, сынок, что помню все хорошо. Как рыбачил, как... Ох, Ванька, ты знаешь, какого я сома выловил? У-у-у! Думаю, килограммов на сорок. Наверняка. Дождик, помню, моросил, и как пошел на обгон, и... Все помню. Помню хорошо. Еще помню сон, но это когда я уже без сознания был.

— Что за сон? — спросили мы с мамой в один голос.

— Будто стою я у берега реки, а вода в этой реке черная-пречерная. И вот стою я и гадаю, искупаться мне или не стоит. И чем дольше я не захожу в воду, тем сильнее желание мое за-

нырнуть. А вода аж бурлит под ногами, того гляди сама схватит и утащит на дно. И вдруг слышу позади чей-то голос. Обернулся, а передо мной старец стоит. А за ним — поле как ковер, засеянное разноцветными цветами и травами. И вдруг молвит он мне: «Идем за мной». И я пошел. Идем молча. Рядом бабочки порхают, живность всякая время от времени пробегает. Иду и люблюсь. Так хорошо и спокойно на той полянке мне было. И вдруг старец остановился и говорит мне, рано, мол, тебе сейчас со мной, прислушайся, говорит. Я прислушался и слышу, Ванька, твой и Зои Кулаковой голос. Правда, о чем говорили, не помню, но голоса были ваши. Велел мне старец закрыть глаза. Я закрыл. Потом велел открыть. Я открыл, а передо мной врач с медсестрой стоят. Вот так, видно, и пришел в себя.

Мы с мамой переглянулись. Оба понимали, о ком папа рассказывал и что за старец был в его сновидении. Мама достала из сумки маленькую иконку Богородицы с младенцем и положила ее на край тумбочки, рядом с папой. Теперь Боженька всегда его будет оберегать. Какая же все-таки мама у меня молодец! Я тоже теперь, когда буду в церкви, обязательно для папы куплю иконку Серафима Саровского. Ведь его папа видел во сне и именно он велел закрыть глаза и вернуться к нам обратно, к земной жизни.

Только я присел на корточки у кровати и обнял папу, как вошел врач. Он вежливо попросил нас покинуть палату, потому что, хоть папа и выглядел бодро, но ему еще нужно отдыхать и набираться сил. И мы, попрощавшись, послушно вышли из палаты. Теперь-то я был спокоен за отца и убежден, что у него все будет хорошо. А отдых, конечно, ему сейчас необходим. Пусть отдыхает, мы с мамой навестим его завтра.

При встрече я рассказал Зое папин сон, про то, как он видел старца, и что тот, услышав наши молитвы, вернул нам папу. Зоя ответила мне, что ничуть не сомневалась, что батюшка Серафим нам поможет. Главное, как сказала она, это верить в чудо, и оно обязательно произойдет.

Чудом было не только то, что папа вернулся к нам почти с того света, но и как он пошел на

поправку. Через три недели его выписали из больницы, и он уже смело расхаживал на костылях, как совсем недавно это делал я. А еще мы с отцом решили, что довольно Пирату скитаться, не имея своего угла. Как-никак, а уже осень, а она, как известно, щедра на сырую погоду. Да и до зимы недалеко. И мы решили смастерить для Пирата конуру. В этом нам помогли Зоя и сосед дядя Миша. Будка получилась большой и теплой. Мы ее поставили у самого угла дома, где баба Маша постоянно кормит Пирата кашей. Правда, наш четырехлапый друг не сразу пришел в восторг от своего дома. Как мы с Зоей ни пытались его туда затолкнуть, он ни в какую не собирался залезать в конуру. Упирался, и все тут.

— Что за смешная собака! — сказал тогда дядя Миша и, как всегда, провел ладонью по своим длиннющим усам.

— Что тут скажешь, привык к свободе, — сказал отец. — Пойдемте, не будем ему мешать, думаю, он в скором времени догадается, для кого предназначен этот маленький домик.

И действительно, стоило нам отойти, как Пират внимательно осмотрел будку со всех сторон, осторожно просунул голову внутрь и после скрылся в ней и сам. Мы с Зоей наблюдали за ним с детской площадки, и, когда Пи-

рат все-таки принял наш подарок и поселился в домике, мы очень обрадовались.

С того дня Пират каждое утро провожает нас с Зоей в школу. Как только мы выходим из подъезда, он радостно виляет нам хвостом. Я, как обычно, скармливаю ему мамины пироги, и мы вдвоем идем на уроки. По дороге мы с Зоей гадаем о том, куда первым делом с ней поедем, когда подрастем. Мы решили обязательно отправиться в кругосветное путешествие. А пока я пообещал самому себе, что этот год осилю без единой тройки. Посмотрим, смогу ли. Но в одном я теперь убежден точно: если чего-то захотеть, если сильно чего-то добиваться, то обязательно у тебя все получится.



Антон Евгеньевич ЛУКИН

родился в 1985 году.

Окончил Ардатовский аграрный техникум.

Прозаик. Автор девяти книг прозы.

Публиковался в периодических изданиях, среди которых

«Наш современник», «Огни Кузбасса»,

«Литературная учеба», «Южная звезда», «Молодая гвардия»,

«Литературная газета», «День литературы» и др.

Лауреат премии «Умное сердце» имени Андрея Платонова (2012).

Дипломант всероссийского конкурса «Золотой Дельвиг» (2013).

Лауреат ресурса «Российский писатель» в номинации «Новое имя» (2013),

гран-призер литературного конкурса «Хрустальный родник» (2014),

финалист международной Южно-Уральской премии (2015).

Член Союза писателей России.

Живет в селе Дивеево Нижегородской области.



Александр Владимирович ВОРОНИН

родился 3 апреля 1961 года в г. Гатчине.

До 1989 года кадровый военный.

*Стихи публиковались в различных журналах,
альманахах и коллективных сборниках.*

Автор трех книг стихотворений:

«Метаморфей» (1997), «Круговорот» (2000),

«Одиночество — удел избранных»

на финском языке (Хельсинки, 2008).

Член Союза российских писателей.

**Александр
ВОРОНИН**
г. Петрозаводск



Рубаи

Не смейся над судьбою в миг удачи.
Удача — щедрость рока, не иначе.
Кто думает, что посрамил судьбу,
тот от ее коварства позже плачет.

Ты пьешь вино и ищешь в нем забвенье,
и наслажденья ищешь в нем мгновенья.
Но парадокс, от жизни ты возьмешь,
чем больше пьешь, тем меньше наслажденья.

Твердят: история Отечества пуста,
лишь рабства в ней следы и воровства.
Не веруй в этот бред, кому-то надо,
чтоб стал Иваном ты, не помнящим родства.

На молодых людей не сетует мой стих.
Не стервней и ты, клеймя позором их.
Лечи как можешь юных душ недуги,
покой наш в старости зависит лишь от них.

Решила посмотреть одна звезда,
что есть вблизи земля, а что — вода.
Но молвил месяц: «Если вниз сорвешься,
обратно не вернешься никогда!»

Корысть присуща каждому, но все же
я в этом смысле — безобидный ежик.
Мои иголки служат для того,
чтоб от чужой корысти спрятать кожу.

Работу ищет вол, а соловей
поет о жизни и любви своей.
Зачем ему пахать, возить поклажу?
Его работа — песня, ей же ей!

Чем более ты истиной влеком,
тем безразличней все, что есть кругом.
А вот вокруг тебя живущим людям
ты кажешься все большим дураком.

Лишь малый срок нам дан для оправданья
явления на свет и обладанья
кусочком жизни сладким, как лимон,
и всем понятным, словно бормотанье.

Пустую бочку стукнешь молотком —
звон оглушит столпившихся кругом.
А полная почти не отзовется —
вот так и мудрый перед дураком.

Как прячемся за масками легко мы
с одною целью — чтоб внушить знакомым,
что нашей брэнной жизни вариант —
не выпавший случайно, а искомый.

Свои глаза мне Ангел смерти дал,
и я изнанку мира увидал.
С тех пор непросто жить, поскольку знаю,
что правит бал совсем не идеал.

Кто менторски вам что-нибудь твердит,
тот мудреца порой имеет вид.
На эту маску вы не покупайтесь —
зануда он, а может быть, пиит.

Бога о своем угле молю с колен,
чтоб с удобствами, внутри бетонных стен.
Диоген квартировал в какой-то бочке.
Я — культурный, не могу как Диоген.

Ты сидишь за столом, предвкушая обед,
и не знаешь, что в Космосе множество бед.
Как ты можешь, скотина, борщом наслаждаться,
если кто-то не ест на одной из планет?!

Я от тещи ушел и ушел от жены,
а ночами мне снятся ужасные сны —
что для новых свершений я снова женился.
Упаси меня Бог от такой новизны!

Думаю, в мире абсурдном я что-то постиг.
Даже трудом неустанным чего-то достиг.
Только все истины, все покоренные пики
кажутся чем-то серьезным и важным —
лишь на миг.

Один товарищ мой поведал мне о том,
что влагу мудрости ему налил Платон.
Не ведал он, что животом начавшись,
сосуд его кончался животом.

Заблудился поэт в лабиринте словес.
Говорит, что с дороги сбивал его бес.
Если не было сроду чутья на дорогу,
то какого же беса туда он полез?!

Для чего обещаешь любимой полмира,
если дать ей не можешь обычной квартиры?
Будь уверен, не много воды утечет —
превратишься в лжеца из былого кумира.

«Заметался пожар голубой...»
Эту песню, приятель, не пой!
Если б этот пожар заметался,
не отбились от них бы с тобой.

Тривиальную истину вам изреку,
но ее адресую я лишь дураку:
пусть по разным морям, через разные реки
все религии — путь к одному маяку.

Поскольку мы ничтожные и брэнные,
мы часто злые, жадные и скверные.
Но кто-то в мире есть ужасней нас,
коль в страхе разбегаются вселенные.

Увидев шуку, набожный карась
не спрятался в спасительную грязь,
а на виду у всех молиться начал
и навсегда утратил с миром связь.

Не суждено вкушающему пыль
однажды изменить свой вкус и стиль.
Он просто не сумеет оторваться,
а сладкой пыли — миллионы миль.

Если смерть забирает тебя в свой предел
много раньше, чем сам ты того бы хотел,
не жалей, что тебя этот жребий коснулся,
пожалей, что почти ничего не успел.

**Александр
 ТИХОНОВ**
*п. Большееречье
 Омской области*

ПО ВЕСНЕ...

рассказ

Дачный посёлок по весне напомнил ему заброшенное кладбище: заросшие бурьяном, заваленные прошлогодней ботвой участки. Вместо поваленных оградок — поломанный штaketник. Илья Иванович знал хозяев доброй половины здешних дач. Вон там ещё не до конца растащенный на кирпичи двухэтажный домина без крыши — дача советского чинуши, тяжело заболевшего в девяностые и умершего в начале двухтысячных. Ну и куда ему двухэтажное дачное надгробие? С собой забрал? А таких вот дач без хозяев или с новыми хозяевами с каждым годом всё больше. Идёшь себе по аллее, видишь за кустами людей в спецовках, жгущих старую ботву, кричишь им:

— Звягины!

Оборачиваются, а это не они.

— А Звягины тут уже не сядят, мы дачу купили, — говорит кто-нибудь из новых хозяев.

Остаётся лишь протянуть тоскливое: «Извините, обознался...»

Как на всяком кладбище, встречаются целые домики, аккуратно побеленные, с целыми дверями, относительно ровными заборами. Тут явно рачительные хозяева. «Родительский день» для двух-трёх поколений начинается в мае и длится до октября.

Работавший до выхода на пенсию водителем автобуса, Илья Иваныч частенько вспоминал, как летом ему доверяли дачный маршрут. В восьмидесятые было много молодёжи, спешащей на дачу. В девяностые — сплошь старушки. Теперь же контингент разный, но в основном все люди

моложе пятидесяти пересели на машины и добираются своим ходом. Скучно стало ездить в дачном автобусе с такими же, как он, стариками — все темы разговоров уже измусолены, аки вставная челюсть. Хотелось поговорить с кем-то помоложе, узнать новости, понять, чем дышат люди на десять-двадцать лет младше его.

Прогулка по разорённым дачам без попутчика — полезное в физическом плане, но беспросветно тоскливое занятие. Домишки, похожие на брошенные скворечни, почерневшие, иссохшие калитки, наспех перехваченные проволокой, скрипящие на ветру.

Сегодня Илье Ивановичу повезло. Параллельно ему по соседней аллее шла женщина лет пятидесяти, вела в руках велосипед. Илья узнал её и кинулся через ближайший проход между дачами навстречу.

— Игнатов, — замахал руками, — Петровна!

Женщина остановилась. Поправила сползшую на глаза косынку, прищурилась, пытаясь понять, кто позвал её по отчеству.

— На дачу, да? — уже шел к ней старик, понимая, что нашел себе попутчика.

— А! — наконец признала его женщина, — Иваныч... На дачу, куда ж ещё! Надо хоть посмотреть, что с избушкой, забор подлатать. Говорят, опять по дачам лазали.

— Лазали, — со знанием дела подтвердил Илья. — Я зимой ходил тут: заборы поломаны, в домиках все двери нараспашку.

— А что тут искать-то? Уже весь металл, какой был, разворовали.

— Это да... А они на пакость теперь. Моя вон в избушке по осени всё прибрала, коврик старый постелила, кровать заправила. Шторочки там всякие. Всё перевернули, аж тошно. Хоть ничего не делай. Ещё столбы металлические повыдирали.

— Да, — закивала Игнатова, — точно. Ко мне сын приезжал прошлым летом, я ему говорю: «Давай все металлические столбы вытащим и заменим на деревянные, чтобы никто забор не поломал, если придут за металлом». Он пытался-пытался их раскатать, убил день на один столб. А эти махом все восемь выдрали. Силы, видать, много.

— Это они по весне, пока земля оттаивает. В это время столбы как по маслу выдёргиваются. Я вон тоже хочу весь металл к чёртовой матери сдать, чтобы не лазали. Так ведь не отвadiшь! Будут каждый год забираться, что-то искать. Моркошка подрастёт — выдерут, лук — туда же.

— Во-во, — дачница закивала. — Мы надрываемся, дачу унавоживаем, сорняки выпалываем. А они пойдут, продадут, на бутылку заработают и радуются жизни. Я тут на рынке прошлым летом с одной ругалась. Пьянчуга с пристани. У неё дачи отродясь не было. Всю жизнь бичевала, сколько её помню. А тут сидит «Викторию» продаёт. Я подхожу: «Откуда клубника?» — «С дачи», — отвечает. Я говорю: «С чьей дачи?» — «Да с моей». Я говорю: «Ах ты, бесстыжая! Нет у тебя дачи. У кого-то наворовала и торгует сидит».

— Всё так. У меня родственники однажды, пару лет назад, приехали на поле картошку копать, а там какие-то крепкие ребята уже половину поля опростали и копают, как будто так и надо. Они с вопросом: «Вы какого чёрта тут делаете?» Те отвечают: «Наше поле!» Родственники мои: «Нет, наше!» А один из бугаёв такой: «Иди, старпёр, отсюда подбру-поздорову, пока не прикопали». Ну, он и сел со своей бабкой на пустые мешки.

— И чего?

— Ничего. Подождали, пока те ребята в машину к себе урожай покидали и уехали, тогда только оставшуюся половину начали выкапывать. Мало ли, дураков хватает. А вдруг и правда пришибут там же на поле. С них станется — лопатой по затылку, и всего делов.

Соседка энергично закивала:

— И ведь не сделаешь ничего.

— Можно пугнуть или попробовать поймать, но... сама знаешь, что потом будет. Кого виновным выставят? Хозяина.

— Это да... Илья Иваныч, а ты не надумал ещё дачу бросать? — вдруг спросила собеседница.

— С чего бы? — пенсионер даже остановился.

— Ну, мало ли. Дети и внуки уже выросли, в большом городе живут. Вам с супругой много ли надо? Всё в магазинах можно купить.

— Да тут такое дело... Ты, Петровна, когда на пенсию?

— Через два года.

— Во-от... С работы уволишься?

— Уволюсь, наверное. Зарплату сокращают всем, так что за копейки днями работать — нет уж, пусть будет пенсия по минимуму, проживу.

— Дача поможет?

— Ну, конечно, — женщина расплылась в улыбке. — Всё-всё! Поняла, для чего тебе дача.

— Не только. Ещё этакое лекарство от скуки и тоски. Сидеть дома неохота, а дача и время занимает, и едой обеспечивает.

— Вот и Анна Викторовна Самарцева, — Игнатова кивнула в сторону одной из дач, калитка которой была распахнута, а возле домика стояли вилы и лопаты, — до чего божий одуванчик, а всё туда же, к земле... Ну, в смысле к даче.

— Да ладно, все мы к земле тянемся, — усмехнулся Илья Иванович, — поздороваться бы надо с одуванчиком.

Собеседница кивнула и тут же громко, звонко, по-девичьи закричала:

— Анна Викторовна! Вы тут?

Из домика выглянула немолодая женщина. Худая, с маленьким морщинистым лицом, недовольно посмотрела на бредущих по аллее людей.

— Чего вам надо?

— Ой, извините... — Игнатова смутилась, — я думала, Анна Викторовна на даче работает.

— Умерла она. Ещё по осени, — бесцветно отозвалась женщина и снова скрылась в домике, застучал молоток.

Илье на ум тут же пришло странное сравнение: вот строили люди себе гнёзда, вили их. У кого-то простенькая избушка из фанеры, тонкая и лёгкая, как птичье гнездо, у кого-то — добротный скворечник. А теперь живут там совершенно иные птицы. Кто-то вырубил старые ели и сосны, посаженные первыми владельцами дач лет тридцать назад, лягут под то-

пор яблони и вишни, на место которых посадят что-то новое. Каждый будет менять окружающий мир под себя. И так станет из года в год, из века в век меняться этот самый окружающий мир, ничего постоянного не оставляя.

— Извините, женщина... — широко улыбаясь, Илья Иванович шагнул к забору и громко добавил: — Можно вас отвлечь на секундочку?

Неприветливая хозяйка «скворечни» вновь показалась на крыльце, на этот раз с молотком в руках.

— Ну?

— Меня Ильёй зовут. Илья Иванович. Мы с вами теперь соседи.

— И что? — в голосе новоявленной соседки отчетливо различалось раздражение.

— Просто, — старик развёл руками, — хотел познакомиться. Мало ли...

Неловко развернулся, пошлёпал по грязи к стоящей поодаль спутнице.

— Анна! — ткнулся в спину растерянный окрик. — Меня Анна зовут!

Обернулся, посмотрел с прищуром.

— Вы извините, что я с вами так, просто мама... — и заплакала.

— Это вы нас извините, — Илья примирительно выставил перед собой ладони, попятился к велосипеду.

— Что это с ней? — не поняла Игнатова.

Илья Иванович хмыкнул:

— Пойдём-ка отсюда, Петровна.

— Это ты её, что ли, довёл?

— Нет, не я. Это она сама себя... — и пошел по аллее.

Спутница догнала старика минут через пять:

— Да кто она такая?

— Дочка Анны Викторовны, — на ходу бросил Илья Иванович, — старшая.

— Это которая в Германию уезжала?

— Да.

— Вернулась, получается... А почему она плакала?

— Мать умерла, — буркнул Илья.

— Так мать-то давно умерла. Может, она плакала, что дачу продать не может?..

Старик вдруг остановился как вкопанный, и Игнатова едва не налетела на него.

— Ты чего, Иваныч?

Старик запрокинул голову, взглянул на небо, подернутое лёгкой рябью облаков.

— Скворчки... Слышишь? Поют, свистят.

Женщина прислушалась, едва различила редкое птичье посвистывание.

— Вот пришла она на дачу, — тем временем продолжал Илья Иванович, — зашла в избушку, а там всё как при матери: на столе перчатки рабочие лежат, на крючках вдоль стен спецовки...

— Ты это о чём?

— О жизни, Петровна. О жизни...

□

Александр ТИХОНОВ

родился в п. Большеречье Омской области.

Окончил исторический факультет

Омского государственного педагогического университета.

В настоящее время — заведующий научно-краеведческим центром

Тарской центральной районной библиотеки (г. Тара).

Стихи и проза публиковались в коллективных сборниках,

альманахах, периодических изданиях Омска,

Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Москвы и других городов.

Автор книги стихов «Облачный парус» (Омск, 2014),

за которую удостоен звания лауреата

Всероссийской литературной премии им. М.Ю. Лермонтова,

региональной литературной премии им. Ф.М. Достоевского (Омск, 2015).

Лауреат конкурса «Северная звезда» в номинации «Поэзия» (2014)

и «Проза» (2015).



Владислав БАХРЕВСКИЙ

г. Москва

*Владимиру Фёдоровичу Шальнову и селятинцам,
строителям атомного щита страны.*

Докторская колбаса

На восемьдесят втором году жизни Владимиру Фёдоровичу Крыгину хуже ныть в спине, до миражей возжелалось докторской колбасы.

— Во-ло-дя! — досадуя на старческую блажь мужа, тихим голосом, но чеканно, молвила Наталья Ивановна — стало быть, допёк. — Советский Союз — аук! Вот уже двадцать третий год — аук!

— Двадцать третий год, — повторил за супругой Владимир Фёдорович.

Он сидел на любимой табуретке, нога за ногу, сцепив пальцы на коленке, — смотрел на стеллаж с книгами — тоскливо.

За двадцать три года всё, что было советского, каждодневного, размылось, а книги — явь. Торжествующее свидетельство уровня советского человека, драгоценность 50–70-х годов. Для нынешних обитателей квартир, особняков книга — досадное неудобство. Держать дома — несовременно, а выбрасывать приходится таясь. Мусор аккуратный, да всё-таки стыдно... Лучше, чтобы тебя не видели выбрасывающим в бак тридцать томов Диккенса, тридцать томов Достоевского и зелёную прорву Чехова, Тургенева, Пушкина...

Владимир Фёдорович самолично лазил в бак за Гёте и за полным собранием Пушкина.

С чем только не покончили!

С галошами и совестью.

С любовью и сатином.

С милицией, с образованием...

С грамотностью идёт расправа, с мозгами. Но вот ведь в чём несуразность... Глаза глянут на пятиэтажки из серого кирпича, на клуб «Мечта», на пожилого прохожего, заставшего время, когда их посёлок по причине чрезвычайной секретности на картах СССР обозначать воспи-



СТОЛПНИК

повесть

решалось строжайше — ноздри, не спросясь, воздух в себя тянут.

Нынешнюю колбасу, сырокопченую, сервелаты, даже в колбасном отделе не унюхаешь. А ту, за которой в очередях стояли, слышно было даже на вокзальной площади за добрую версту. До магазина топать да топать, и магазин-то — павильончик, но запах на все пятнадцать республик.

Владимир Фёдорович Наталье Ивановне хотения свои не открывал, крепился. Единственный раз брякнул, объясняя невесёлое настроение, да у Натальи Ивановны сердце понятливое. Бабье.

Он ведь даже подтрунивал над собой.

— В детство впадаешь, товарищ пенсионер!

Очень ему хотелось отгородиться от теперешней жизни. Детством так детством. Но Бог дал ему голову ясную, здоровье русское. Крестьянского корня отросточек.

А вот наваждение никак не унималось. Взять бы и купить! Однако у Натки насчёт еды строго. Она и мясо отвергает: могут кенгуриное подсунуть. На индейку тратится.

Поймал себя как мальчишку-воришку. В старых вещах повадился копаться: колбасный дух вынюхивал. Такая несусветная дурь!

Нет, не урезонил себя. Однажды проснулся на мокрой подушке: во сне плакал.

Маленько в себя пришёл — вспомнил сон. На зоне за тройное перевыполнение плана его поощрили батоном докторской колбасы. Микояновской, когда в колбасу мясо клали. Поддержать поощрение, пока он руки вымоет, взялся конвоир и ушёл, унёс.

Владимир Фёдорович не мог понять, это всё тогда было или теперь пригрезилось.

В магазины не ходил с 91-го и газет не читал с 91-го. Но спятить, тоскуя по колбасе?

Сидя на табуретке, на дедушкиной, разглядывая тома Вальтера Скотта, уж такие розовые! Коричневые, толстые Бальзака, переводил глаза на полку, где стояли книги, посвящённые живописи. Эрмитаж, Государственная Третьяковская галерея, Феофан Грек, Пуссен, Васнецов-старший. Здесь же в картонной коробке книга-награда. За окончание школы поощрили. Георгий Леонидзе «Сталин. Детство и отрочество. Книга первая».

Наталью Ивановну он довёл до строгости глупейшим признанием, отказываясь от обеда.

— Ничего не хочу. Колбасы бы. Советской.

Встревожил глупостей своих ради...

А Леонидзе не читал. Столько лет стоит. Взгрозился на табурет, снял с полки книгу, вынул из футляра. Открыл.

*Не сидел на кровле ястреб,
И орлы не клекотали.
Крылья птахи над лачугой
Мёрзлым бисером блистали.*

Сталина с птахой мерзлой сравнивает?..

Сверху красными буквами — «Рождение», чуть ниже эпитафия: «По восточному преданию, когда родился великий человек, на кровлю его дома садился ястреб, а в воздухе был слышен клёкот орла».

Интересно, куда это Леонидзе гнёт...

*Птахе холодно, как людям,
В стенах, снегом занесённых,
Плотный снег лежал повсюду,
Словно шерсть на веретёнах.
Только крикнули соседи:
— В околотке нашем тёмном
Чудный мальчик появился,
Поздравлять отца пойдём мы!*

Перевернул страницу.

*Петуха тут в дом приносят, —
Бдительным пусть мальчик будет,
Ласточку у рта проносят, —
Как она, пусть быстрым будет.
Ставят соль у изголовья, —
Пусть он мудрым в жизни будет,
Сахар на сердце положен, —
Пусть он добрым к людям будет.
Под луной он спит погожей, —
Пусть он крепкотелым будет.
В колыбель кладут железо, —
Непоколебимым будет.*

И железным был, и ночами не спал. А вот сахар в грузинских селениях был, скорее всего, редкостью. Соли принесли вдоволь.

— Вдоволь, — твёрдо сказал Владимир Фёдо-

рович и, держась за стеллаж, сошёл с табуретки на пол. — Всё! Край!

Ноги — в сандалии, Дашку — на поводок. Совсем не в урочный час пошёл выгуливать.

Дашка — лайка. Умница. Свернули не в ту сторону — стала оглядываться на хозяина. Однако не перечила. Собаку Владимир Фёдорович привёл к трём магазинам. Привязал к чугунной изгороди, голову — в плечи, сам от себя, должно быть, скрывался — и ныр в «Копеечку». Авокадо, ананасы, вина французские, итальянские, чилийские! Пялиться на изобилие не стал, скорее к колбасе.

— Взвесьте, пожалуйста!

— Сколько? И чего?

— Докторской. Полкило.

— Какой?

Владимир Фёдорович глаза сощурил, вглядываясь в прилавок.

— Матушки вы мои!

Цены проставлены крупно.

«Докторская экстра» — 275, «докторская черкизовская» — 254, «докторская павловская» — 245, «докторская останкинская — матат» — 244... А копчёные так и вообще по 800!

— Давайте «Экстры» граммов триста.

Сотня с собой была.

Вид у колбасы зовущий. Запаха, правда, не ощутимо. Вышел из магазина — Дашка смотрит, но хвостом не помахивает.

— Тебе первой! — подольстился к лаечке Владимир Фёдорович. Перочинный нож он всегда брал в лес.

Отрезал, не жадничая, освободил от чехла. Ему показалось, колбаса упакована в чехол и чехол этот явно не съедобный. Положил толстое манящее поленце на траву. Лайка голову вежливости ради нагнула к угощению и попятилась.

— Та-ак! — сказал Владимир Фёдорович, он собирался съесть весь ломоть, но теперь отрезал ломтик.

Колбасы в колбасе не ночевало.

Быстро пошли с Дашкой к лесу. Возле «Мечты» увидели собаку. Вольную, ничью. Дашка гордая, попусту не лает. Дворняга тоже знала себе цену.

— Милая, держи! — окликнул собаку Владимир Фёдорович, кинул половину оставшейся покупки.

Дворняга благодарно завиляла хвостом,

скакнула к царственному дарению. Обнюхала и отошла.

— Собаки не едят! Из чего же, колбаса, тебя состряпали враги народа?

Шёл за Дашкой и не знал, что делать с остатком. Бросить — неудобно. Намусоришь. Собаки не берут. Кошкам такая еда подавно ненужна.

Дашка рванулась, залаяла. Белка! Владимир Фёдорович, пытаясь поймать выскользнувший поводок, уронил колбасу. Глянул — никого. Не стал поднимать обронённое.

Домой вернулся повеселевший. Изобилие империи новых русских, судя по докторской колбасе, — паскудство.

Наталья Ивановна сидела у телевизора. Показывали полки с винами и объясняли: всё, что на этих полках, — жульничество. Кричащие марки, цены европейские, а товарец наш, родненький — подделка. В винах нет винограда, а вино без винограда — пойло.

И вдруг Гайдара показали. Губками шлёпает, сквозь щёки пионер умненький проступает, чело министра, телеса буржуина. О колбасе соловьём разливается. «При коммунистах за колбасой стояли очереди, в нынешней России, в его, буржуинской, — колбасный рай!»

— В журнале «Коммунист» работал, — сказала Наталья Ивановна.

— Сволочь! — согласился Владимир Фёдорович.

— Зачем так! Они своё стряпали тишком и состряпали. Он ведь лицо современной России.

— Морда! Его детей и правнуков приговорить бы к пожизненному жранью ихней колбасы без мяса!

Плюнул и застыл, глядя на своё безобразие. Пошёл на кухню, принёс ведро с водой, тряпку. Тёр пол до дыр.

— Ну, довольно! — Наталья Ивановна испугалась за своего старика: весь на нервах. — Володя, Гайдар — прошлое. Зачем накручиваешь себя? По инсульту соскучился?

Отнёс ведро и тряпку, вымыл руки, смотрел виновато.

— Не сердись. Я знаю: они сами себя прокляли. Ельцин, Гайдар, Бурбулис, Лужков, Мышовец и обаятельная скотина Черномырдин.

Сел рядом, на любимый диван: у внучки, когда привозят, здесь царство...

— Гайдар, который писатель, в шестнадцать лет

— кровавый палач. Задумали мальчишку, интернационалу служил. А дар ему был даден от Бога. Я в тимуровцев не играл — блокада, колхоз... Но хорошее это дело — страну любить, помогать женщинам, у которых мужья на фронте, у которых дети малые... Но сам-то Тимур Аркадьевич на отцовском покаянии, без войны и не служа в армии, в адмиралы выбился. А мразь — внучок...

— Бог с ними! — Наталья Ивановна погладила по плечу своего Владимира Фёдоровича. — Давай чайку заварим. Я нынче из калины варенье сварила.

— Калина-малина! — Владимир Фёдорович улыбнулся. Хорошо улыбнулся. — Сразу вспоминается Кан. Как мы этот Кан перекрывали. Господи! Господи!

— Володя! — смотрела уж такими синими. Ради этой синевы и самому нужно быть как небо.

— Натка!

— Вон твоя карта! — У них до сих пор поверх ковра — карта СССР. — Вся страна — твоя работа. И в заграницах есть где флажки поставить... Таинственный ты у меня человек. Господи, сколько ты сделал для страны!

— Волю зарабатывал, — сказал Владимир Фёдорович, глядя на свои ладони.

— И это было... Я твою жизнь до минуточки знаю. Сколько прожито, столько и пережито.

— Одного всё-таки не знаешь. — Владимир Фёдорович почему-то вывернул карманы брюк, пустые. — Я ведь Васей был.

— Как Васей? — растерялась Наталья Ивановна. Глаза у неё снова насторожились.

— Не смотри так... Я в здравом уме. Скрыл от тебя, потому что струсил. Уж очень ты была мне дорога. Жить с этим, Натка! — Головой вскрутил. — Короче говоря, Васей я был четыреста шестьдесят четыре дня. Сколько тут минуточек-то?

Обняла Наталья Ивановна своего Володю Фёдорича, плакала счастливыми горькими слезами.

— Что ж ты один-то носил в себе это? От меня тайлся? Мы Богу обещали делить посланное нам на двоих. И казну, и казни...

Уж так разволновалась, замесила тесто, пирожков напекла, с рисом, с яйцом, с яблоками.

Пирожков отведали уже перед сном, хоть сытость сну помеха. А когда легли, всё-таки спросила:

— Не поняла одного, Васей-то почему тебя окрестили?

Владимир Фёдорович помолчал, но откликнулся.

— Подождём, Наташа! Когда-нибудь само собой скажется.

Вздыхнул. И уже посапывает. Словно бы намучился, а теперь полегчало. Вздыхнул легко, но Наталья Ивановна знала цену лёгкости таких вздохов Владимира Фёдоровича.

Фары из-под воды

Сквозь смрад сгоревшего в дизелях мазута, через удушье казённого, на себе носимого: робы, ушанки, засаленных рукавиц, вонючих валенок — хрустальная чистота мороза и воли. Мороз и воля на тысячу вёрст.

В одну сторону, направо. В сторону Студеного, по-старому — Святого моря. Воля, вот она, да от неволи никуда не денешься. Прёт наможенной дорогой по Обской губе — шестьдесят три трактора и начальник на «Победе».

Радуюсь неожиданной затычке, Вася расстался с кабиной, прыгнул на ослепительный снег. Дорогу перемело, агрегат пробивает очередной туннель.

Академик тоже покинул свой трактор. Скорее всего ради Васи.

— Глаза береги! Роговицу обожжёшь.

Академик и впрямь был великая шишка в науке, а Вася Васей не был. Кликуха. Васей Блаженным наречён за хождение босиком по снегу ради работы — ради ста процентов и полной пайки.

Для воров всё это крестьянская упёртость. Шестёрка трудового народа, дурь. Но мороз-то за тридцать, и без валенок — украли. Без бушлата — вытряхнули из бушлата, чтоб опаматовался. А парнишка — через сугробы в лес, на работу, на верную смерть.

От такого у пахана в паху вышло защемление. Вернули психа. Одели, обули. Отпустили вкалывать. И ничего — по сей день пайку зарабатывает полную. Живёхонек.

— Вася! Ты обещал мне о кувяках рассказать. Доберёмся до места — не забудь.

Академик улыбался, подставлял лицо солнцу. За глаза ему не страшно — у него чёрные очки.

Впереди взревели дизелями тракторы. Академик и Вася кинулись к рычагам. Колонна тронулась, пошла, но агрегат, пробивший туннель, остался на льду. Неволя, она такая. Очень нужное может бросить — себя выказать.

Безобразие и выламыванье — всё равно что наколка.

«Победа» начальника краем дороги полетела в голову колонны. Тракторы снова встали. Начальник послал за агрегатом Академика.

Трактор сполз с замороженной дороги на лёд. Сияние из белой пустыни нестерпимое, будто Бог сошёл с неба. У Васи сердце ёкнуло. Смотреть на такой снег и впрямь что на Бога, на солнце. Но Вася всё-таки посмотрел и за мгновение перед тьмой в глазах увидел. Крестом себя осенил: ничего другого не успел для Германа Эмилевича. Беда быстрее мысли. Увидел кабину, уходящую в чёрную воду.

Тишиной накрыло, как смертью. И Васю, и колонну. Но тишина — жизнь. Смотрели.

Полынья издали чёрная.

Кто был ближе, видели в полынье свет. Вода над трактором будто линза.

— Самусь! — позвал начальник.

Снег под валенками бежавшего скулил.

— Промерь глубину!

О трактористе, о Германе Эмилевиче, об Академике — ни слова: картина понятная.

— Десять метров! С сантиметрами.

И опять немота.

— Тому, кто подцепит трос, скошу половину срока. Слово коммуниста.

— Такое ведь было! — вырвалось у Васи.

Теперь все, кто стоял под тем небом, смотрели на него. Непонятное сморозил. Вася смутился, но улыбнулся братьям по-своему, во всё лицо. И, как всегда, виновато.

Братаны на щедрость начальника ни гу-гу.

— Попробую! — сказал Вася.

— Тебе же полтора года осталось! — заорал Чёрт. — За девять месяцев на тот свет?!

— Германа Эмилевича достать, — Вася опять-таки улыбался.

— Нужно спасти трактор! — уточнил задачу начальник.

— Само собой, — согласился Самусь.

Начальник поднял глаза на Васю. Глаза у

старшего лейтенанта серые. В них столько же места, как в белой пустыне.

— Идёшь?

— Иду, товарищ начальник!

«Гражданина начальника» старший лейтенант не терпел. И «старшего лейтенанта» не терпел. Он — не тюрьма, он — строитель. Но такое уж ведомство. Впрочем, сыпал приказами как начальничек.

— Новые валенки! Ватные штаны! Полушубок! Спирт! — и вдогонку: — Самусь! Верблюжьи носки! Бельё не забудь.

Васю подвели к полынье: поглядеть, примериться.

Перевязал тесёмки на шапке, чтоб шапку течение на глаза не надвинуло.

— Течение могучее! — сказал начальник.

Васю обвязали верёвкой, вложили в руки крюк.

— Десять метров! — напомнил Самусь, капитан с Азова. Он пароход утопил.

Вася снял рукавицу, перекрестился, улыбнулся, шагнул в полынью.

Когда рвался вниз, ему светили фары. Той самой полуторки. Крюк сцепил с крюком, рванулся вверх, а снизу — он это видел — фары. Свет фар вытолкнул его из воды. Головой о лёд ударился. Снесло-таки. Но начальник людей берёт. Вытащили. Отнесли в «Победу». А чтоб неудобства от такого мокрого поменьше было — растелешили на морозе. Содрали валенки, робу, штаны. Шапку водитель выкинул. Нижнее бельишко всё-таки в машине с него стягивали. И дальше шло честь по чести. Дали стакан спирта, разведённого и на меду.

Тёрли махровым полотенцем. Облачали.

Спирт, да на меду, для непьющего и никогда не пившего средство сильное и благотворное.

Когда Вася проснулся, не мог вспомнить, почему он в машине начальника, чего ради?

И тут начальник спросил:

— Вы давеча сказали, что такое уже было. Где было?

— На дороге жизни, — ответил Вася. Он тотчас всё вспомнил и вернулся в нынешний день. — Нас вывозили на трёх полуторках. Наша была как раз третья. Первая прошла, а вторая — под лёд. Мы-то уцелели, тормознули, но попали в полынью — не выбрались бы. Кузова бре-

зентом затягивали. От мороза, от ветра. Я щель всё-таки проделал. Видел фары из-под воды.

— Вы, оказывается, блокадник!

— Нас вывезли за три недели до прорыва...

— А в блокаде вы были...

— Восемьсот пятьдесят один день. В местах заключения — шестьсот четырнадцатый.

— Вы дни считаете? — изумился начальник.

— Так ведь жизнь... из дней. Мы и в Ленинграде считали...

Недоговорил...

Фары из-под воды искали небо, но по небу металась прожектора, на крышу сыпались зажигалки. Тоже приходилось метаться.

У тёти Зины из домоуправления таких, как он, шестнадцать гавриков. Светка была моложе его на два года, единственная девочка в их команде. Ребят тётя Зина собрала разновозрастных. Кому четырнадцать, а кому одиннадцать. Ему уже исполнилось тринадцать.

Ожидая налётов, сидели в домоуправлении, слушали по радио товарища Жданова. Жданов говорил всегда спокойно, говорил правду. Где хуже, где очень трудные бои. И о хорошем. На каком рубеже отбили все атаки, сколько у немцев за день танков сгорело, сколько сбито самолётов.

Речи Жданова вместо обеда. А кипяток сначала был вволю — сколько хочешь... Светка размешивала кипяток щепкой. Поднесла кружку Володьке.

— Деревом пахнет. Вкусней.

Взял щепочку, бросил в свою кружку.

— Вкусней.

А сам не мог понять, кому всё это снится.

* * *

Владимир Фёдорович открыл глаза и долго соображал, где он?

На Обской губе, когда провалился в сон после нырянья в полынью. Нырял он Васей Блаженным, а пробудился Владимиром Фёдоровичем...

Пока спал, — спал он в тот раз двое суток, — начальник исходатайствовал Владимиру Фёдоровичу Крыгину освобождение. Правда, с условием продолжать работу в том же лагере вольнонаёмным. Герой на воле техникум окончил и два курса института. Специаль-

ность «гидростроитель» очень востребованная на объектах треста «Гидромонтаж».

... Стена книг. На этот раз пробудился от сна пенсионер Крыгин.

Владимир Фёдорович лежал на диване, на любимом, укрытый пледом из ливийской пустыни. А в желудке — память о голодных судорогах. Блокаду перетерпел, и ни язвы, ни гастрита.

— Отдохнул? — спросила Наталья Ивановна.

— Савельев звонил.

В выходном платье, на плечах — павлопосадская шаль.

Селятино

— Мы куда-то идём? — Владимир Фёдорович не мог сообразить, что за праздник сегодня.

— У Савельева в «Мечте» выставка. Презентация.

— Ах ты господи! Он же у нас художник!

Наталья Ивановна подала белую рубашку и пошла за пиджаком.

— Без цапек! — распорядился Владимир Фёдорович.

— Да уж это дело известное! — принесла костюм, коему от роду далеко за сорок, но практически ненадёванному.

Брюки Владимир Фёдорович менять не стал: удобные. Ботинки надел те, к которым Дашка привыкла. Дашку тоже взяли. Выставка в «Мечте», а возле «Мечты» — «Тропа здоровья».

Картины Савельева были развешаны в светлой комнате нижнего этажа. Здесь время от времени ставят свои прилавки торговцы башкирским мёдом.

Картин — скорее картинок — было много, все в деревянных рамках, величиной со школьную тетрадь. На картинках посёлок, места рыбалок. Савельев первую рыбку поймал в четыре года. Но и в семьдесят по-детски верен удочке, червячку на крючке.

Прошлись по выставке. Савельев всё время был за спиной дорогого зрителя, смотрел на свои картины его глазами.

— От твоего художества покойно на душе, — сказал Владимир Фёдорович. — Будто жизнь та же самая... Прежняя, говорю.

— А она не та же самая! — усмехнулся художник.

— На сборище с Натальей Ивановной останетесь?

— На какое сборище?

— Администрация выносит на суд жителей план завтрашнего Селятина. Собираются леса сводить. Даже дубраву.

— Дубраву?! — у Владимира Фёдоровича все жилочки застонали, глянул на жену. — Ты знала?

Наталья Ивановна во всю свою жизнь ни одного раза схитрить не сумела: смотрела честными глазами. Знала.

— Я в дубраве в позапрошлом году два белых нашёл. Один с кулак, другой — детка. — Владимир Фёдорович даже застонал.

— Ещё целая стена, — напомнил о себе Савельев.

Пошли по выставке дальше, Владимир Фёдорович уже не скользил глазами по фотографически точным картинкам, а прямо-таки впивался в каждую.

— Наши пятиэтажки... Ты молодец, Анатолий Васильевич! За эти картины отдельных деревьев, дубов, сосен, за этот лесок у госпиталя, за тропинки — спасибо, брат! Всё затопчут гиппопотамы. Мой последний дом в Селятине, что сам ставил, 47-й. В нём и квартиру получил. Девятиэтажка. Но она не ломала жизни, не застила свет Селятину. На самом краю. Загораживала собой шоссе, отражала шум. Ты понимаешь, что затевают администрация и этот пришлый миллиардер?

— Понимаю. Наш посёлок строился для элиты.

— Ну какая элита? Рабочий народ. Ребята квалифицированные, разумеется. Инженеры вкалывали, и рабочие вкалывали. Для жизни был посёлок, а нас в муравейник заталкивают.

Савельев, глядя на свои картины, головой кивал. Взял за руку Владимира Фёдоровича, отвёл к окну.

— Ты знаешь, что я прочитал о том нашем деле... Для меня оно в тресте последним стало, как для тебя 47 — дом. Огород городили, конечно, гигантский!

— Планетарный! — согласился Владимир Фёдорович. — В том проекте я тоже участник.

Они оба, каждый на своём месте, готовили атомный взрыв-работягу: первый шаг к переброске северных рек в Среднюю Азию. Спасать Каспийское море, орошать пустыню и уж, конечно, ещё для чего-то сверхтайного...

— Ты представляешь, сколько планирова-

лось взрывов? Владимир Фёдорович! Двести сорок девять!

— Двести сорок девять?!

Смотрели друг на друга.

— Я ведь и второй готовил, — открыл секрет Владимир Фёдорович. — Потом заряд изымали...

— Ты всё-таки представь себе: двести сорок девять ядерных взрывов. Подземных — это да. Может, и не вредных, но ведь такая встряска! Удары по ядру Земли! Как по мячику в футбол, Володя. Не сатанинская ли была затея сия? Ты в церковь-то ходишь?

— По субботам. Вечерню стою. По воскресеньям в храме тесно.

Савельев показал на стену.

— Новая церковь, вон она у меня!

— Ты селятинский Нестор! — Владимир Фёдорович обнял старого товарища.

— А сам-то чем занимаешься?

Владимир Фёдорович спохватился.

— Дашка привязана!.. Тем и занимаюсь, Дашку выгуливаю.

Наталья Ивановна взяла супруга под руку.

— Я сама с Дашкой погуляю, а ты послушай. За дубраву заступись.

Он смотрел на жену, и глаза у него слезились.

— Натка! А может, мы своё отжили? Всё, что было хорошо нам, — мешает нынешним.

Глаза супруги сверкнули не хуже молнии.

— Коли мы живы, так давай жить, а не доживать.

Владимир Фёдорович склонил голову: виноват. Прошёл в зал, поднялся к пустым рядам, сел в крайнее кресло.

В первых рядах серебряные головы. По затылкам не разобрать, свои или это люди иной эпохи, когда «Трест», сохраняя наименование, был уже фикцией «Гидромонтажа». Зал наполнялся медленно. Впрочем, до двенадцати ещё четверть часа.

Владимир Фёдорович понимал, что дремлет, готов был усмехнуться: «Старичё ты, старичё!», но картинка пошла та самая, какую он во всякий час гнал от себя пробуждением непременным и незамедлительным.

Он бы и эту дрёму развеял в прах, но решил схитрить. Собрание начнётся через считанные минуты, можно успеть прожить то, что дорого, а до запретного не дойдёт — разбудят.

Две долгие минуты

В зале было жарко, и во сне было жарко. Снился тот самый год, когда нестерпимый зной грянул в апреле на их лагерные чащобы, изуродованные зимним сплошным лесоповалом.

30 марта тридцать градусов мороза, а через неделю тридцать градусов кипящего под солнцем воздуха.

Комары не вывелись. А вот в мозгах пошла чесотка. Васе шепнули: Риббентроп и Молотов поставили на него большие деньги. Никто, однако, зэка не гнобил, жизнь ровная. Для священников даже пошли поблажки. Двух батюшек, старичков, определили в водовозы. Остальную церковную братию с лесоповала перевели обрубать ветки.

А тут и Васю, лесоруба-передовика, поощрили странным перемещением на лёгкую работу: возить брёвна с делянки из-под горы к штабелям у большой дороги, наверху.

Взял Вася вожжи в руки, и лёгкая работёнка превратилась в ад.

Жеребец, могучий, ярко-рыжий, кляцнул зубами у самого плеча, слюной обдал. Тут Вася и вспомнил: прошлым летом у хлебопекарни лошадь отгрызла возчику руку.

Поглядел на своего зверя — истинный лев и грива-то львиная, а упрямства — всей ослиной породе на зависть. Стопроцентная пайка за сто процентов плана грозила обернуться дыркой от бублика.

Вася выломал прут, но рыжий сатана на каждый удар взлягивал.

Передние ноги мохнатые — царь зверей. Ни единого шага вперёд.

— Подсунули лошадку!

В прежнее время воры сатанели от Васиных ста процентов, от них его кликуха — Вася Блаженный.

Сто процентов плана — килограмм хлеба — сила в теле. Про пайку ему в Ленинграде в блокаду один человек рассказал. Они с ним грузили трёхтонку окоченелыми трупами, стояками для вместительности ставили.

Тот человек отбывал срок на Беломорканале. Теперь Вася и сам знал: без пайки на зоне хана.

Риббентропу не скучно побалдеть, глядя,

как Вася Блаженный пайку вышибет из жеребца, отгрызшему руку у какого-то болвана.

А чего вот надобно начальничку Молотову? Куска хлеба жалко? На свиноферме для лагерной охраны свиньям буханки в жратву замешивают. Или тут другое дело. По Васиной ударной работе срок убыл вполовину, для других работяг наглядно.

Жеребец стоял, прядая одним ухом. Вася сел на пенёк. От жары волосы чуть ли не дымят.

Под горой какое-то колдыбанье, пенье вроде бы. Батюшки, что ли? Точно! Показалась бочка. Прёт своим ходом. Лошади в оглоблях нет.

Вот оно что! В оглобли впряжено шестеро батек, по бокам бочки — батьки, сзади тоже. Бочка пузатая, с аэростат.

Вася поклонился священникам.

— Может, мой уросливый ради чина духовного смирится?

Завёл бешеную тварь в оглобли, запряг, вожжей щёлкнул.

Храп как рёв. Такая пошла пляска. Оглобли звенят, бочка подпрыгивает. Ужас!

Вася всё-таки подступил к своему сечевнику. Это ведь Запорожская Сечь признавала однуединственную работу — саблей головы сносить.

Выпряг из бочки, завёл в оглобли своей тачанки — тащить бревно.

Дали батюшки храбрецу воды испить. Он и спрашивает:

— А ваша лошадь куда подевалась?

Не ответили. Благословили и давай впрягаться. Тут Вася поглядел на своё исчадие и попросил.

— Батюшки, разрешите напоить животину.

Два ведра выдул рыжий, а как Вася за вожжи — храп, бешенство. Ну что делать?! Полез Вася опять-таки в ореховый куст, выломал стяжок, тяжёлый, как палица. Стяжком по ногам, по ногам, по ногам. Упрямец вскачь пошёл, но и бревно потащил. А Вася по ногам, по ногам, по ногам. Застонала рыжая тварь, как человек.

— Я тебя слышу, — сказал Вася урослине, — и ты меня услышь!

Поднялись на гору. Свалил возчик бревно у штабелей, сел верхом на рыжего. Уж очень много времени потеряно.

Ворам, как и запорожцам, работать зазорно. Малина Риббентропа под синими небесами, в берёзовой прохладе. Гульба в этой райской ро-

ше клубила кромешной каруселью. Вася не разобрал, что там у них творится.

Разорались друг перед дружкой, ор гнусавый, приклатнённый, истеричный. По ушам бьёт до боли.

— Зда! Зда! Зда! Ип-пг-гуй!

Вася пустил рыжего в объезд, но успел разглядеть: кобыла серой масти, в яблоках, на кобыле гирлянда из кипрея. Со стороны крупа, со штабеля отёсанных брёвен кто-то дёргается, завывая от наслажденья.

Васю замутило, жутко замутило. Не сблевал, но желчью обожгло горло, шибануло в нос.

Всех перекрывая, взвился над лесом насадный вопль и шепелявый гундос Чёрта.

— Даме — вина!

— Кагорцу! — взвизгнул Зюзя Хияк. — Кагорцу! Тащи длинногривых, пусть причастят нашу мамулю.

Все голые, водой поливаются из бочки.

Вася невольно потянул узду на себя, и рыжий вдруг послушался, встал. Батюшек кого гнали пинками, кого волокли. Пятеро-шестеро риббентроповых сволочей очутились возле Васиного жеребца, отобрали узду, потянули в водоворот утех, а когда приблизились, стащили Васю на землю. Гоготали в лицо глумливо и радостно. Изумлялись простоте сапога.

— На бабе-то лежал?

— Такую тебе представили шахну. Обьединье.

И очутился Вася перед мордой кобылы. Глаза чёрные, сама как серебро. На чёлке венки из васильков. Через спину и по шее гирлянда пламенного кипрея.

— Ша! Играем свадьбу! — гундосо прокрякал Чёрт.

Возлежавший на ковре Риббентроп поднялся и кистью левой руки мотнул в сторону священников.

— Без креста какая свадьба? Крест! Этому! Он владыка.

Владыке вложили в руки сколоченный из двух досок штакетника крест.

— Жениха! — заорал Чёрт.

Корчась и взвизгивая, Зюзя Хияк впился когтями в Васину руку, тащил к кобыле.

Владыка, высокий, ещё не поседевший, не сломленный, поднял крест над позорищем.

— Опомнитесь! Господь с нами!

— Это ты про нас?! — Чёрт хихикал, фыркал и сипел. — Надо же так насмешить. — Гаркнул. — Оставьте Васю Блаженного! Владыку к невесте. Вот жених!

Подбежал к Риббентропу.

— А чегой-то они не пляшут? — тыкал обеими руками в сторону священников.

— Непорядок, — согласился Риббентроп. — Ничего, сей миг запляшут. Прижечь всем пятки! А венчать жениха владыку с невестой нашей будет отец Серафим. Он самый святой. С Афона!

— Это было! — сказал Вася. — Это было!

И пошёл к Риббентропу. Хияк Зюзя, быстрый как выюн, метнулся наперерез. В руке финка, а у Васи — стяжок! Забыли забрать. Рука, как плеть, описала полный круг, хрястнул череп. И Вася стоял уже перед Риббентропом.

Стяжок он почему-то отбросил... А глаза распахнул... Звонок звенел. Две минуты истекли, успели-таки истечь.

В зале полутемно, на сцене — экран. На экране — «Тропа здоровья».

Озабоченные прогрессом

Камера с тропы углублялась в лес. Повалившаяся берёза, пепелище от костра, консервные банки, пластиковые бутылки... Озеро окурков!

Вася смотрел на это, не умея сообразить, куда подевался его уросливый жеребец и как он из того леса очутился в этом.

...Бомж хлебаёт на экране пиво, в бутылку уже вцепилась рука его соседа.

Свет включили, экран ослеп.

Владимир Фёдорович стёр с лица обеими ладонями то ли сон, то ли прошлое.

На сцене нынешний хозяин «Гидромонтажа». Крупный, серьёзное лицо, благочестиво поджатые губы, благочестивый вздох.

— Вам лес надобен для разведения этой пьяни? В таком лесу...

Повёл рукой, свет тотчас скис, на экране снова куча бутылок. Оплывший окопчик времён войны, доверху набитый отбросами пиршеств. Камера смакует пакеты, обёрточную бумагу, бутылки.

— Глядя на такой лес, говорить о культурном

отдыхе — насмешка над культурой и прямое издевательство над отдыхом... Сидят, как в мусорном ящике. Матерят друг друга и мать-природу.

«Какие у оратора-капиталиста смиренные глаза!» — Владимира Фёдоровича передёрнуло. Отвращение было неожиданным, как неожиданная рвота, с которой начинаются иные болезни.

В зале свистнули. И ещё раз — оглушительно. Начальник треста пожал, обиженный, плечами, сел.

«А какого треста он начальник? Трест ау вместе с советской властью».

И опять замутило. На сцене восседала — ложь.

— Так не гляди! — сказал себе Владимир Фёдорович вслух и даже не пошевелился. Краем сознания прибил себя к месту — гвоздем. Прожитая жизнь — прахом пошла. Страна была великая, дела великие, выходит, и народ был великий. Но кто на сцене-то в те поры красовался? Тоже ведь смотреть было противно и слушать было противно.

Всё-таки там... другое...

Вспыхивал экран, женщина, начальник проектного управления, представляла будущее Селятина.

Вырисовывались две составляющие проекта: вместо дубравы и берёзовой рощи, где проходила «Тропа здоровья», — Ледовый дворец, вместо семидесяти трёх гектаров бора по другую сторону посёлка, за больницей, — этажи высоток.

— А кто будет жить в этом муравейнике? — крикнули даме.

Ответили тоже из зала.

— наших денег не хватит порог в тех квартирах купить! — И довсочек к реплике: — За сколько совестёнку продала?!

— Как вы смеете?! — у дамы звенели слёзы в голосе. — Я мою работу исполнила честно... И вовремя!.. Вовремя!

Это был уже крик.

— Я потеряла... Я схоронила...

Одолевая отчаянье, что-то говорила и говорила о проекте, что-то показывала электрической указкой на карте.

Всё это было не по-человечески, но администрация и бедой попользовалась.

Веское слово молвил глава администрации.

Костюм кремлёвского покроя, благородная

седина на висках и стальные глаза на ласковом лице. Благодарил Селятина за поддержку.

«Кто же его поддерживает?» — Владимир Фёдорович завертел головой. Вся поддержка сидела в первых рядах — рабочие рабы из ближнего зарубежья...

Почему-то расхваливал проект глава администрации соседнего посёлка. Пламенно говорил секретарь коммунистов. За Чернобыль ордена Ленина получил — гордость рабочего класса Страны Советов. Обрушил гнев на правителей: миллионы беспризорных детей! Уличил партию власти в коррупции — воровство всеобъемлющее. Пригвоздил заодно к столбу позора всех, кто противостоит администрации и тресту в развитии посёлка.

Такого идиотизма Владимир Фёдорович перенести не мог: сердце застучало. Поднялся, пошёл вниз по стеночке зала к дверям.

— С тобой тоже всё понятно! — крикнули герою-чернобыльцу. — Тебя начальником участка поставили. Хлеб отработываешь!

— Он стоеросовый дурак! — сказал Владимир Фёдорович, но самому себе.

С Гришкой Медным лбом у них много чего было. Незабываемого.

Капитализм — сволочь!

Объявили: выступает Татьяна... Фамилию буркнули неразборчиво.

Владимир Фёдорович тотчас сел на свободное место в первом ряду. Татьяна Павлова пытается противостоять мошенникам. Молодая женщина говорила внятно и по делу.

Трест не имеет прав на лес. Право присвоения незаконно. Несколько документов у них — фальшивки. Люди из администрации идут на все подлоги, ибо кусок лакомый. Жильё в посёлке такое же безумно дорогое, как в самой Москве.

После Татьяны снова выступил глава. Кланялся, сердечно благодарил за поддержку проекта.

— Будущее посёлка важнее нескольких гнилых деревьев.

Владимир Фёдорович встал, плюнул и вышел из зала.

— Верблюд! — сказал себе, пересекая вестибюль.

На улице его ждало солнце, а на скамье Наталья Ивановна. Дашка у её ног. Вскочила, виляя хвостом, кинулась к хозяину.

— Ну что там? — спросила супруга.
 — А ну их!
 Шли домой — под ноги смотрел.
 — Ты, может, что-то обронил? — спросила Наталья Ивановна.

Быстро коснулся её руки.
 — Натка! Я смотрю, где они, твои следочки, на этой дорожке?

— Посёлку под шестьдесят, а нашего здесь житья — почти вполовину. Натоптано многими.

— Жалко, что я не олигарх! — По лицу было видно, Владимир Фёдорович взаправду огорчился. — Я твои следы отлил бы из серебра, а на даче, у твоих цветов, — из чистого золота.

Посмотрела в глаза, и в глазах её вся их жизнь.

— Твои следочки, Володя, я вышила бы шелками, но ты вспомни, где оставлены тобою следы. Тайга, пустыня, земля, промороженная до самого ядра.

Владимир Фёдорович остановился как вкопанный.

— Я обещал Герману Эмильевичу о кувяках рассказать.

— Какому Герману Эмильевичу? — глаза Наталья Ивановна вскинула испуганно.

— Академику.

— Академику?!

— Он был настоящий академик.

— Как ты говоришь... О ком не рассказал?

— О кувяках. Племя такое было — мураши. Они своих покойников не хоронили, а опускали в бездонные земные щели... Я в Большом Мурашнике одно лето у родственников жил.

Дашка смотрела на Владимира Фёдоровича, и Наталья Ивановна тоже. Ну, вспомнил — ладно. А стоит так, будто вернуться хочет.

— С какой стати кувяки эти самые в голову тебе лезут?

Улыбнулся.

— Натка! Я не знаю, где живу теперь. Всё ещё там или здесь. Там всё, что мог, сделал. А нынче делать ничего не надо, разве что — жить...

— Чего большего-то? Жить! В Бога веруешь, а жизнь от Бога. Коли даёт — живи.

— Мы со смыслом привыкли жить-то.

— Весь смысл у Бога. Живёшь, значит, нужен Ему на земле. Значит, чему-то быть.

— А чему уже быть-то...

Владимир Фёдорович руками развёл, но всё-таки взор в себя обратил. Что-то аукнулось сердцу.

Первый столпник мира

До земли сорок локтей и двадцать лет от жизни. От суеты сует. Но вот уже тридцатый день, опершись плечами и головой о внешнюю стену обители, сидит женщина.

Утром в тридцатый раз женщину не пустили за эту внешнюю вторую стену. В мужской монастырь вход воспрещён даже матерям иноков.

Имя упрямцы — Марфа. Последний раз он слышал её ласковый голос тридцать лет тому назад.

Тридцать лет раба Божия Марфа искала сына и нашла его, безупречно одинокого, ибо он единственный у Бога человек, живущий между землёй и небом. Его ноги попирают столп — от земли оторваться невозможно. Не Ангел, чтобы жить среди небесного эфира. Однако ж свет мира омывает его тело все дни стояния и тьма Вселенной всякую ночь ложится на его плечи.

Имя ему Симеон Столпник.

Из родного Сисана он ушёл, исполнив работу очередного дня: утром, ещё до восхода солнца, матушка дала ему три лепёшки, мех с водой и сосуд с молоком.

— Пусть солнце будет щадящее, а травы росные.

Улыбнулась, осеняя крестным знамением, и эта улыбка — единственное его имение.

Он пас овец. Овцы самые мудрые животные, живущие с человеком. Они пройдут ровно столько, чтоб насытиться вполовину. Другую половину труда оставляют на обратную дорогу. Овца не оттолкнёт овцу от воды, торопясь утолить жажду. У всех свой черёд.

И когда шёл он в тот день за овцами вверх по гребням холмов и вниз, низинами, где была тень, не помнил о зное и не искал среди камней затаившегося волка. Ликующее слово «Блаженств» звучало в нём, текло по земле и было светом неба.

«Блаженны нищие духом, ибо их есть царство небесное.

Блаженны плачущие, ибо они утешатся.

Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся».

Радостно озирая холмы, он искал правду и смеялся, потому что правда была в сердце, в совести, и в зелени травы, и в трубах света с небес.

«Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.

Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.

Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное».

В тот день он пригнал овец к загону, затворил за ними ворота и увидел, что все три лепёшки не съедены, вода не выпита, а молоко прокисло. Оставил молоко и пошёл к Богу.

На столпе как на облаке. Над землёй, над суетой, но никак не над жизнью.

Простоявши укором бытию двадцать лет, он не переборол в себе даже детства.

Детство не соблазн и не рай и уж никак не награда.

Детство — росточек, с такой же точкой роста, как на травинке, пробивающей асфальт.

Неумелое, ласковое, оно изумительно могущественное. Пуповиной едино с Любовью, с Богом. Детство — образ Слова, сотворившего мир.

И Симеон Столпник имел дар детства. С отроческих лет пастушок, с тринадцати — пастух.

На родной его земле камней больше, чем травы, но в небе звёзд больше, чем камней.

Шагая за овцами, Симеон встречал солнце и провожал солнце. Люди оставались в Сисане. Некому было подменить детства — жизнью, Бога подменить — жизнью. В восемнадцать лет Симеон оставил овец и ушёл в монастырь. Игумен пожалел юношу, отказал в постриге.

Семь дней стоял Симеон у ворот монастыря, и монахи ворота перед ним открыли. Через два года инок Симеон ушёл в другой монастырь, искал строгую жизнь. Но юный монашек, не довольствуясь постами, многочасовыми службами, принялся оплетать себя колючими растениями. Он всегда был в крови. Братия возроптала, игумен потребовал умерить аскетизм, но Симеон умерщвлял плоть, пугая даже старцев.

Игумен изгнал юного аскета из обители. Стремясь к молитве в уединении, Симеон жил на дне высохшего колодца.

Иноческая братия нашла подвижника, вернула в монастырь. Но Симеона тяготило многолюдье. Ушёл в Каппадокию. Поселился в пещере на

вершине горы. Ища спасения, он провёл Великий Пост без пищи и воды. Испытание выдержал и на другой год половину Великого Поста стоял, а другую половину провёл на коленях, ибо без пищи и без воды, приходилось беречь силы.

Здесь, в Каппадокии, Марфа, мать подвижника, обрела сына после многих лет поиска. В тот же день Симеон исчез.

* * *

У столпника свои навыки жизни. Спать научился стоя. Вернее, это были дрёмы, иногда мгновенные, но случались и долгие, покойные дремоты. С вереницами сновидений. Вчера был ему сон тонкий, забытье совсем краткое, неполное — он чувствовал лучи солнца на правой стороне лица.

Видел Сирию сразу всю и очень далёкую от нынешнего дня. Огонь пожирал каменные дома. Дома огромные со множеством окон, и окон этих многие разы. Вдруг обвалилась обугленная стена, ибо пожарище сожрало дом изнутри. Чёрные языки жирной сажи тянутся через всё небо — весь город в пожарище.

Видение было короткое, как жизнь искры с горящей травы, но ему показали все земли и все города Сирии, Ирана и неведомых стран. Всполохи огня, вырастающие до облаков, пылающие люди. А потом он увидел Марфу. Отторженная от него, сына, двумя каменными стенами, держась за стену, Марфа, мама, поднялась с земли и смотрела на него. Подняла руку, осенила крестным знаменем, осторожно легла, уютно положив голову на узелок, и больше не двигалась.

Это было в видении, на рассвете, и всё, что произошло с женщиной за двумя от него стенами, теперь происходило и произошло наяву.

Наконец-то он заплакал.

Удивительно! Он утратил способность плакать ещё в пещере: к нему шли с такими бедами, что слёз у него не стало, кончились в первый же год пещерной жизни.

Теперь он плакал, плакал и знал: в пустыне, где развалины изумительной Пальмиры, пролилась дождём такая щедрая туча, что высохшие сто лет тому назад реки переполняются водой.

Утром пустыню покрыли от края и до края си-

ние цветы. Но здесь, за стенами его монастыря, по каменистым холмам паслись овцы, пастух всё стоял, стоял, и овцы устали дёргать жёсткую траву. Сойдя в низину, где была тень, сбились тесно, замерли. Пастух сошёл с вершины холма к овцам, сел на камень и потерялся среди камней.

А на столпе столпнику опять был сон. Опять тонкий. Мгновенный.

Он увидел матушку, нашедшую упокоение под стенами монастыря, где спасается сын, увидел двух юношей в белых сияющих одеждах. Оба наклонились над усопшей, что-то подняли, и ему показалось: они держат завернутого в свет младенца. За спинами юношей раскрылись огромные сияющие крылья, крылья подняли их над землёй, и они несли ношу с ласковой бережностью, как живое и драгоценное. Крыльями не взмахивали, но устремлялись выше, выше. И тут ударило в глаза солнце. Сон оборвался, и над столпом было небо и свет.

У него в голове стояли слова, обращённые к Богу: «Прими душу рабы Твоей Марфы». Но уста его были запечатаны. И он стоял недвижим, потому что... Потому что к матерям надо относиться по-сыновьи, если даже ты монах за двумя стенами и на столпе.

Господь милостив.

Когда братия пришла вечером к его матушке и положила матушку в гроб, он закричал со своего столпа, умоляя поднять гроб в его недоступную крепость.

И подняли. И глядел он на лик Марфы, а братия снизу видела: над столпом светает.

Вечер перетекал сразу в утро. Небо нежное, розовое. Света всё прибывает, столп в свету. И просияло так, будто солнце взлетело к зениту. Но солнце уже закатилось. Таково счастье материнское. И прощение материнское.

Соблазн в эпоху социализма

Они спали в одной постели. С молодости Наталья Ивановна, раздеваясь, выключала свет. Но ведь лето. День меркнет медленно.

Владимир Фёдорович вздохнул затаённо: Натка по сию пору сохранила статью. Может, ради этого его погляда, затаённого. Разумеется, природа. Как нынешние говорят: «гены». Но

Владимир Фёдорович в последнее время стал замечать всеобщее безобразие женского пола. На лицах дам маски изощрённой ухоженности, а телеса, да ведь у многих, чудовищные. Как с мужчинами-то спят? Возле такой горы жира всех чувств отвращение, а в самом лучшем случае — жалость. Впрочем, спят, живут... Вот только не от того ли сильный пол глаза водкой заливает... Раскормленные буржуины среди девочек, среди мальчиков... Кто-то, возможно, болен, но в блокадном Ленинграде подобной болезни не встречалось. От голода опухали, однако ж это совсем другая расплывчатость тела.

В Переславле-Залесском тоже ведь раскормленных не имелось. И позже, когда со Сталиным коммунизм строили. С Хрущёвым всех лошадей сожрали — обошлось, а вот при Брежневе в Евпатории открыли лагерь для лечения переедания.

Теперь-то жратва нездоровая. У капитализма всё фальшь: демократия, золото куполов церковей, красота макияжа...

И уж, конечно, колбаса — аргумент Гайдара.

Владимира Фёдоровича даже передёрнуло, когда докторскую, драгоценно-дорогую вспомнил.

— Ты что? — спросила Наталья Ивановна.

— Картины жизни чередой прошли. Двадцать первый век.

— Что за картины?

— России, освобождённой от идей и от совести.

— Нашу жизнь вспоминай.

Он взял Натку за руку.

— Где это было? Мы с тобой на зелёной вершине холма, кругом лес как море. Река. Уж такая величавая.

— Где как не в Сибири.

— То ли Кан, то ли Енисей... А помнишь реку под Тобольском? Всё громадное! Лес, земля, река. Мы высоко, река внизу, как с неба глядим... Натка, какая река-то?

— Тобол.

— А-а! Тобол.

И они заснули. Разом.

Он увидел степь в маках, солнце и море, на строительстве которого работал в качестве практиканта. Спыхватился. Воспоминание засекреченное, столько секретного было в жизни, а теперь во снах. Но его уже понесло.

Особое тогда случилось время: первые месяцы без Сталина. На летнюю практику его послали в Ростовскую область. Морем именовали Цимлянское водохранилище. В самом широком месте — сорок километров.

Подспудная задача практики позже открылась: учили жить бок о бок с зэками. Этот контингент — ведущая сила в строительстве коммунизма. Посёлок пророчески звался Солёным. Здесь, разделённые стеной, — два лагеря: мужской и женский.

В ту самую пору председатель Совета министров товарищ Маленков выдал паспорта колхозникам. Отменять крепостное право на Руси — дело отважное и наказуемое. Царя-Освободителя убили бомбой, Маленкова объявили государственным недотёпой, от власти убрали. Но умер он всё-таки своей смертью, крестьянский Бог России хранил.

Первую неделю практикант работал в лагере мужского пола. Ему попалась бригада серьёзных сидельцев. Все работы, что-то укравшие на своих заводах, остановленные в проходных. Работали основательно — сроки отсидки работой сокращали.

Но мудрец, руководивший практикой, решил показать практиканту и контингент в юбках. Владимира Фёдоровича направили в лагерь через стену. Работу предстояло выполнить вполне женскую и даже трогательную. Спасти цветник, редчайшую коллекцию. Цветник уйдёт под воду. Для гидротехника спасти цветы — занятие странное, но практикант — затычка. Впрочем, для того и практикант — быть везде, приглядываться, учиться пониманию.

Владимиру Фёдоровичу отрядили пятнадцать женщин, расконвоированных. Цветник в ста метрах от лагеря, на берегу озера. Тюремная начальница за порядок и дисциплину ручалась.

— Они сроки почти что отбыли. Работа приятная. Всё будет нормально.

С полчаса трудов впрямь всё было нормально, но тучи разошлись, стало жарко. И сначала одна, потом другая и все пятнадцать — разделись.

— Перерыв! — объявила бригадир. Легли в тени сарая, на траву-мураву. Что-то надо было делать, а как подступиться: они же ну совсем без всего. Встал боком, глазами упёрся в крышу сарая.

— Я понимаю — жарко... Даю двадцать минут.

Бригадир, заводила — красавица. Ей бы в кино на главную роль.

— Не слышим! — голос ангельский. — Твои слова ветер в сторону относит. И невежливо разговаривать отвернувшись. Мы женщины...

— Я говорю, у нас — норма. Нам нужно потопиться, чтоб цветы спасти.

— Не слышим! — закричали женщины хором. — Ближе подойди!

Подошёл.

— Ты чего, начальник? Ты нас не уважаешь? Повернулся лицом.

— Ну вот я.

Бригадир ручкой махнула, и все пятнадцать подняли и раздвинули ножки.

Обомлел, а красавица властно, грозно:

— На каждую гляди! Чтоб без обиды. Морду отворишь — все цветы растопчем.

Струсил. Не нашёлся. Шёл от одной к другой. Атаманша поднялась, глазами в глаза и вздохнула.

— Эй, сучки! Он же девственник! — рукой на ширинку. — Мокрёхонько.

И ни единого смешка. Поднялись, оделись, пошли работать...

Владимир Фёдорович проснулся от того, что пижама внизу намокла. Он уже забыл, как это бывает. В ванную пойти — Натку разбудишь... А перед глазами чредой все пятнадцать. Может, и постыдно, да за пятьдесят с лишним лет — не померкло... Скорее всего игра с ним была первым выбросом вулкана перед взрывом. На другой-то день опять надо было идти к этим же.

В лагере его удивили кишащая суета и гомон. Шёл, замедляя шаг... Что-то, видимо, случилось. И вдруг увидел перед собой вчерашнюю заводилу. Просияла.

— Девственник! — подошла, взяла за руку, потащила за собой. И кажется, они очутились в пекарне: тёплым хлебом пахло. В пекарне — никого.

— Что случилось? — спросил он.

Хохотнула.

— Наши сломали стену. Теперь все у соседей... — Смотрела в лицо, не смаргивая. — Я тебя ждала. Девственника... Ты узнаешь самое, самое.

Сняла свои казённые одежды. Он видел неправдоподобно белое. Две розы на груди, золотой хохолок над сокровенным.

У них это было нескончаемо. Изумлялась восторженно.

— Девственник! Долго же ты терпел! Ты всё, всё получишь. И не забудешь. Сколько бы у тебя ни было... Меня не забудешь.

Его объяла такая ласка, он столь щедро извергал своё нерастраченное...

Потом она довела его до пропускной. Оберегала от нечаянного нападения. Охрана сбегала. Любовный коммунизм затянулся на две недели.

Приезжал генерал Барабанов. Просил приступить к работе, сорваны государственные сроки. Восстановили стену. Работа пошла.

Начальник Владимира Фёдоровича удивлялся, понять не мог: никого не постреляли, не искали виновных. Наверное, важнее было построить море к сроку. Дело делалось сверхударно. Но стену снова повалили. Через два месяца. И тогда со стороны лагеря урок поставили эшелон с солдатами. Другой эшелон под парами, без конвоя — со стороны женского лагеря. Этот уволил освобождённых. Освободили всех. В те годы беременных из тюрем, из лагерей освобождали!

* * *

Утром Владимир Фёдорович глаз не мог поднять на свою Натку.

О практике на Цимлянском море он ей не рассказывал. Про других женщин, которые были добры к нему, тоже, конечно, помалкивал. Их было совсем немного... Для него всё это непросто. самого себя стеснялся. Росточка аккуратного, глаза никакие... А то, что сердце ласковое — оно же за грудной клеткой. Сердце Натке открылось неведомо как.

Они жили, будто это один человек. Но вот ведь грех-то! Той сладости, какой одарила его безымянная заключённая, он никогда больше не испытал. И не желал повторений. Боже упаси. Но помнил.

Наказание за сон запретный, не остановленный, последовало противнейшее и скорое.

Советские лоси

В два часа дня, как это у них и положено, Владимир Фёдорович шёл, ведомый Дашкой, «Тропой здоровья». Роща, заслонявшая Селятино от Киевского шоссе, пораженчески отступила под натиском бетона.

Вольготные развязки дорог отхватили добрую треть рощи. Ещё прошлой зимой за ними подглядывала из дупла чёрная загадочная желна. Дашка на птиц не лает, всё это было молча, осторожно, внимательно.

За один круг по «Тропе здоровья» вспугивали двух-трёх белок. А хозяином леса был дятел. Там постучит, здесь постучит, да строго! И вдруг с поднебесной берёзы барабанная трель — прямо-таки музыка виртуоза.

Весной «Тропу здоровья» обступали ландыши, росли густо, изумляли жданной, но всегда нечаянной красотой падающих вверх цветочка-капелек. Потом купавки подавали о себе сладкую золотую весть. Бетон и природа несовместны. Владимир Фёдорович в лес теперь не углублялся, шёл как городской человек по культурной тропе под рёв моторов. Полотно развилки поднято вровень с вершинами берёз.

— Бежать отсюда надо! — сказал Владимир Фёдорович. Дашка замерла, голову понурила, а потом всё-таки посмотрела на хозяина. Вроде ничего, идёт.

Повеселела, но оглядывалась, Владимир Фёдорович видел: смеётся.

Тропа, сделав круг по лесу, выводила к «Мечте» со стороны дубов. У «Мечты» три «мерседеса». На лужайке между дубами три господина в «кремлёвских» костюмах, чуть поодаль — чёрные пиджаки охраны.

Птенчиков петушком заливается. Белой ручкой указывает, где стоять Ледовому дворцу, где быть музею и библиотеке.

— Дашка! Мать честная! Они уже музей себе строят. Ленина запинали, но дела-то у самих большевистские. Всё им надобно сокрушить, переиначить, а народу нашему в который раз корячиться с нуля. Одна разница. Большевики твердили: для народа пуп надрывают, эти же ради себя, ненаглядных, в ярмо Россию загнали. Библиотека — это же фиговый лист.

— Вы сами видите! — долетал голосок Птенчи-

кова. — В этой паршивой рощице берёзу не отличишь от ели — такие же тёмные. Дубы сплошь больные. В прошлом году желудей не было.

Глава районной администрации пожал Птенчикову руку.

— Здесь для всего хватит места, всем можно угодить. Дворец — спортсменам, библиотека с музеем — интеллигенции и великолепная парковка.

— Ларчик-то у них уж очень прост! — усмехнулся Владимир Фёдорович. — Парковка.

Хозяин строительной фирмы, влезшей в здание треста «Гидромонтаж», умница: выживает прибыль из бывлой славы атомщиков. Этот сказал сдержанно:

— Во всякое время лицо у жизни своё. Мы постараемся что-то сохранить.

Дашка вдруг рванулась, залаяла. Начальство встрепетулось, оглянулось, но собаку Владимир Фёдорович успел в ельник завести.

Обошли «Мечту» с тыльной стороны. На пустыре аккуратные ямы. Забор будут ставить. На другой стороне дороги уже стоит: растут этажи громадного дома.

От села Крутилова остался пруд. И только. Нынешний пруд — козырь предвыборной кампании господина Птенчикова.

Владимир Фёдорович к облагороженному водоёму ни одного раза не подошёл и у Селяты не был.

Селята — это уже козырной туз. Наглядный местечковый патриотизм, недюжинный интеллект... прохвоста нынешних времён.

Из пришедших на выборы селятинцев — пятой части посёлка — за Птенчикова проголосовало на шестьдесят человек больше, чем за Павлову, совсем ещё девицу. Шестьдесят голосов при административном ресурсе да при технологиях спецов... Но у корыта власти — Птенчиков.

Не желая идти вдоль забора, Владимир Фёдорович по зебре перешёл дорогу возле «Трилистика» — первой высотки в Селятине — и вот он, Селята.

Селята стоял на том самом месте, какое избрано было для бюста Ленина.

— Смотри, Дашка, — приказал Владимир Фёдорович. — Смотри! Вместо вождя мирового пролетариата, стало быть, честной жизни, —

дворовый человек митрополита, за коровами приглядывал.

Стояли и смотрели.

Кто-то из краеведов наткнулся в компьютере на счастливое для Птенчикова имя, у Птенчикова завершался срок пребывания в начпулах. Ухватился за Селяту как за миллион. Да ведь и впрямь за миллион, вернее за миллионы. За два-три года у кормушки кое-что набегает, прилипает.

Митрополита Фιοгноста история России помнит. Наследовал первому митрополиту Москвы Петру — строителю Успенского собора и Государства Московского. В Орду дважды ездил.

Селяту Владимир Фёдорович ненавидел не видя. И вот — сошлись.

Бронзовый ряженный старичок. На голове шапчонка. Сочинительница жизнеописания Селяты ужаснулась картузу, какие носили московские подмастерья до революции. Скульптор понятия не имел, кого лепил.

Нашли в Интернете колпак XIV века. Иллюстратор, чтоб нагляднее представить одежду минувших времён, натянул колпак на голову смешного старикашки, этим старикашкой, торопясь спихнуть скорый заказ Птенчикова, скульптор и одарил Селятино.

В руке у Селяты посох с набалдашником, явно не пастуший. Шуба нараспашку, лёгкая, летучая, как у барышни весёлого поведения. То ли плясать пошёл, то ли бахвалится милостью митрополита. Фальшивый старичок, и улыбка у него фальшивая.

Рука в том месте, где прикладываются, сияет. Так сияет нос овчарки пограничника на станции Революции, в метро. Нос овчарке трут студенты, чтоб экзамены сдать без сучка-задоринки.

А здесь — подделка. За что Птенчиков ни примется, всё у него ненастоящее, поддельное. Впрочем, такое время. Время лгущих и ворующих. Россию раскатали как блин, и все от этого блина уголки отламывают.

Дашка обнюхивала круглый постамент. Высоко возносить Селяту Птенчиков не решился, за ёлками укрыл. Опять же соблюдена европейская мода. В Европе великих людей, каменных и бронзовых, прямо на землю ставят.

Селята тоже вроде на земле, а всё-таки маленько над землёй, по-ихнему и по-нашему.

Владимир Фёдорович повод дёрнул сердито, пошёл прочь сноровисто, но вернулся. Постучал по Селяте. Показалось: крашеный гипс. Но нет, звук пустоты. Впрочем, навряд ли Селята бронзовый. У бронзы звук бронзы. Здесь что-то иное. И сам себе сказал:

— Поганое дело — хаять.

Перешёл с Дашкой дорогу и прямо на пруд. Возле пруда работяги копали канаву.

— Фёдорыч! Слышал, сколько заплачено за эту красоту?

— Уж не знаю. Деньги у нас непостоянные, капитализм.

— Семь миллионов.

Смеялись дружно.

Впрочем, выглядел пруд прилично. Вымощен плиткой по кругу. Берега, уходящие в воду, оправлены камнем, белыми кругляшами. Четыре скамьи, деревянные, для отдыха удобные. Мостик с выгнутой по-кошачьи спинкой. Под мостик скатываются струи из крошечного водопада. Наверху, у железного забора школы, — беседка.

— Беседка любви! — сказали работяги.

— Народ успел назвать?

— Народ с третьего этажа, где Птенчиков чиркает.

Ложь, ложь! Владимир Фёдорович любил Крутиловский пруд. За его дикость. Здесь закидывали удочки старожилы «Гидромонтажа». Где только не бывали! На морях, на великих реках, на знаменитых озёрах, а рыбке из пруда радовались как дети. Дети тоже ловили карасиков по соседству с героями.

Дикость пруда была естественная. Травка на высоком берегу возле школы вымахивала в полтора человеческих роста. Над вершинками трав вились синие иголки стрекоз.

Господи! На ничтожной этой прудке Владимир Фёдорович бобра видел! Пришёл бобёр поискать место для дома.

А уж ласточки как радовались воде! С высоты, с визгом вниз и — чирк! Чирк!

Владимир Фёдорович внуку, совсем крошечную, приводил на пруд на стрекоз посмотреть, высокой траве поудивляться.

— Жулики! — сказал Владимир Фёдорович

Дашке. — К чему ни приложат умишко — всюду куш.

Сел на лавку. Удобно, а всё равно мерзко. Сокрушало бессилие. Всё видишь и ничего не переменишь. Пенсионер. Представил себе нынешних, работающих, — ознбило. Эти все — нынешние — пикнуть не посмеют противу творящегося на просторах страны, где так вольно дышит человек, после самоуничтожения СССР.

— Всё, что было, — сплыло, — сказал Владимир Фёдорович Дашке, распуская поводок: пусть к воде подойдёт.

Дашка кромку берега обнюхивает. Увлеклась.

Сказал себе: «Нечего нос воротить от нынешнего пруда. Земля за людьми прибирается по-хозяйски». Так оно и есть. На месте Крутилина до нынешней весны росла мать-и-мачеха. Русские цветочки высыпали уже на другой день, как снег сходил. Солнышки. Скромнее мать-и-мачехи цветов нет, зато первый шмель — их. Первая радость старого и малого, переживших зиму, тоже от мать-и-мачехи.

Трава за единый год затянула рану на земле, оставленную Крутиловым. Вместо домов зелёные холмики. Десяток яблонь уцелело. На этих яблонях Владимир Фёдорович три года кряду видел парочку чижей.

Господин, купивший всё, что уцелело от «Гидромонтажа», ставит на тлене села чудовищный дом. Память о Крутилове закатана в бетон фундамента. Но ведь эта махина тоже станет прахом и порастёт травой.

Владимир Фёдорович вдруг вскочил и, таща за собой Дашку, взбежал на мостик, потрогал «водопад». Почудилось — искусственный, как Селята, как этот окольцованный плиткой пруд, как вся теперешняя жизнь с гайдаровской докторской колбасой без мяса.

Немочь объяла. Снова сел на лавку, закрыл глаза. Солнце грело, как греет солнце. Слава богу, пока ещё не лампочка. Уплыл. Память — среда текучая. Недаром говорят: река времени. Понесло, понесло...

Вынесло на берег Волги, в Куйбышеве. Он, совсем молодой прораб, был творцом чуда, и на это чудо пришли смотреть его создатели. Дамба строилась под его ответственность. В тот счастливый день он даже усомниться забыл в надёжности сего скоропалительного сооружения.

На девяносто процентов толпа смотрящих состояла из эзков. У смотрения был особый смысл. Волгу выпустили из заключения, и она — Господи! Волга! — устремилась в котлован. Свобода для неё была обманная: загоняли в клетку — работать. В стране рабочих все на работе. И реки тоже. Наградой эзкам станет освобождение.

Радость громады воды, подчинившаяся человеку, была радостью каждого, кто всё это сотворил и кто теперь смотрел на великое своё дело.

Земля была горестно прекрасная. Октябрь. Лес — золото. А между бурьянами — зелено. Тепло стояло, молодая трава пошла.

Вода трубит, будто мамонты восстали из мёртвых. Все затворы подняты. Каждый шириною в двадцать метров Волгу возвращали в её природное ложе. Вода ликовала, не ведая, — путь к морю перегорожен могучей плотиной. Хочешь в Каспий — турбины крути. Река разбойников и дикой воли отныне рабыня. Точнее, труженик, работающий для народного блага. Как те же крестьяне и рабочие.

Поток завораживал. Это же сама жизнь Страны Советов — летит, крушит.

Женщина охнула.

— Телячий остров под воду уходит!

Остров потому и телячий, что на нём лосихи телятся.

— Смотри-ите!

Лоси, корона к короне, составили звезду на воде. В центре этой звезды — лосихи и лосята. Все, кто безрогие.

— Ещё звезда! Смотрите, ещё!

— А там-то...

Восемь звёзд плыли к исконному, к противоположному берегу. Подплывали, размыкали острия лучей звезды, и стадо выходило на сушу.

Не оглянувшись, лоси шли на поиски большого леса. Ни единый зверь не посмотрел на преодоленное, на оставшееся позади. От человека прочь.

— Есть Бог! — сказал эк. У него и лицо-то было седое, и сам весь как в паутине. Перекрестился.

— У них, чай, школ нету! — крикнул шофёр из кабины. — На матросов не учат. А деваться некуда: надо — и поплыли.

— Между прочим, будто после выучки, строим! — сказал седой эк.

— При чём тут Бог! — кто-то из мелкого начальства поостерёгся смолчать. — Матушка-природа.

— В советской стране и лоси советские! — подб्रेхнул Гнида, шестёрка. — Звёздами плавают.

Холодом несло с реки. Владимир Фёдорович зябко шевельнул плечами и очнулся.

Селятинская прудка.

Ветер поднялся.

Горло обдало желчью. Надо Натке сказать, чтоб спорыш заварила.

Кристалл

Жену встретил на улице. Шла на рынок, Дашку с собой взяла. Дома Владимир Фёдорович сразу отправился в свой уголок на террасе. Здесь хранилось многое ненужное и старые газеты.

Сел в плетёное креслице. Взял с тумбочки свой камень. Камень был с кепку — горный хрусталь. Подарок эзков, работавших на Байкале.

Кристалл и от природы прозрачный, гладкий, а Владимир Фёдорович шлифовал его рукою никак лет уже сорок. Собирался поставить вместо зеркала в самодельном телескопе. Что хотел углядеть во Вселенной, где он — предел совершенству? Определился недавно. Внучка любит звёзды. Телескоп будет ей подарком на десятилетие. Впереди ещё два года.

Выглаживал камень ладонью левой руки. Взял газету. Большими буквами сверху: «Вчера, сегодня, завтра. Засиб работает». Что-то заводское. На фотографии цех, расплавленный металл. На другой — молодые парни.

Прочитал: «Бегущая волна шахтёрских забастовок продолжает катиться по стране».

— Идиоты!

И пожалел, что осудил. Одурачили шахтёрскую братию, околпачили. Получили своё. Что ни день, взрывы метана, закрытые шахты, оставленные на произвол судьбы не только посёлки — города. Славно боролись, сполна им дадено.

Поглаживая камень, Владимир Фёдорович окинул взглядом свои богатства. Похоже на корзину с выброшенной в мусор Родиной. Родина — это всё-таки время.

Наверху бумажной стопы «Правда». «27 марта 1991 года». Заголовки набраны жирно: «Встреча М.С. Горбачёва с руководителями хозяйств», «Обращение премьер-министра СССР». Ниже: «Мораторий на забастовки», «Защитим человека», «Об итогах референдума СССР, состоявшегося 17 марта 1991 года», «Принимая вызов времени: наш собеседник — член Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК КП Эстонии (КПСС) Л. Э. Аннус». И три кратких сообщения: «Об открытии третьего (внеочередного) Съезда народных депутатов РСФСР», «К сведению народных депутатов РСФСР» и анонс: «Быть русскими дана нам доля. Статья на 3-й странице». Прочитал в левом столбце: «Встреча Президента СССР с руководителями колхозов, совхозов и других формирований агропромышленного комплекса».

Кто он, Горбачёв? Мелкая сволочь, купившаяся на мировую славу за миллион Нобелевской премии? Такую страну продал за миллион? Завербованный смолоду? Или хоть и предатель, но по малоумию, по тщеславию? Заурядный человечиска, сбитый с толку восторгами Европы и Америки? Герой? Освободитель всего мира... От кого? Да от России.

Коммунистическая идея в исполнении Брежнева для всех была посмешищем.

Но вот ведь какой фокус. Всё, что говорили советские газеты о капитализме мерзкого, — сбылось, и худшее впереди.

Выставил камень на свет. Смотрел в глубину кристалла. Если что-то и есть сокровенного в прозрачном этом чреве, так не для всякого. За сорок лет ни единого намёка на чудо не углядел. Вообще ничего не углядел. Обрадовался приходу Натальи Ивановны и Дашки.

Дашка подождала, когда ей вытрут лапы, пришла на террасу. Смотрела, как проверяла, всё ли в порядке у хозяина?

— Библиотекарушу встретила, — сказала Наталья Ивановна. — У них мероприятие, посвящённое блокаде. Просит, чтобы ты рассказал о пережитом.

— Детям?

— Нет, это для посёлка. Кто-то, может, и будет из школы.

Дашка положила голову на колени Владимира Фёдоровича.

— Вот и собака чувствует, каково вспоминать блокаду.

А в нём уже пошло.

... Дверь не мог отворить на улицу. То ли разбухла после потепления, то ли сил уже нет никаких. Шибанул плечом, а от двери Сашка отвалился, лучший друг. Жажигалки с ним собирали на крыше...

— Володя! — тихонько окликнула Наталья Ивановна.

Посмотрел. Висок потёр.

— Я Сашку в грузовик грузил. Стойма поставили. Стойма вменялось больше.

Наталья Ивановна прислонилась плечом к шкафу с книгами.

— Господи! Зачем я тебе сказала!

Владимир Фёдорович погладил Дашку, встал.

— Я к ним схожу... Кто-то, может, и поймёт. Живём так, будто этого не было. А оно было.

Приказ русского народа

В Селятинской библиотеке нет зала. Собрались в читальне. Стеллажи с книгами оставляли место для овального длинного стола. За столом — слушатели и выступающие.

Владимир Фёдорович пришёл минута в минуту: на часах двенадцать. Заведующая Наталья Васильевна указала на стул рядом с собой.

— Мы уже начали — все пришли на четверть часа раньше. Нина Викторовна рассказала об окружении Ленинграда, о героизме жителей.

За столом — три сотрудницы библиотеки для взрослых, две — детской. Чашин — у него на всех старожилы Селятина по поэме. Две учительницы первой школы, Нина Викторовна — завуч второй, она-то и привела юношу и девушку — старшеклассников. На дальней стороне стола четыре пенсионерки. Одну Владимир Фёдорович знал: последовательница пророка Иванова зимой босая ходит. Через стол, напротив, ещё слушательница: дочь заведующей читальным залом, первоклашка. С её дедом Владимир Фёдорович живёт в одном подъезде. Ваня — бывший водолаз. В Селятине все бывшие. У Вани стаж работы под водой — одиннадцать тысяч часов.

В общем, народ пришёл.

— Сколько тебе лет? — спросил Владимир Фёдорович первоклашку.

— Восемь и четыре месяца.

Глаза у девочки большие, тёмные. И ресницы тёмные, стрелочками, а брови золотистые.

— Я был старше. Мне шёл тринадцатый в блокаду.

— Продолжайте, Владимир Фёдорович, — попросила Наталья Васильевна.

— С чего начать-то? Ну, мы жили в Стрельне, — и замолчал, соображая, о том ли говорит.

— Рассказывайте всё, как было, — ободряла завуч. — Вы свидетель великого исторического события. Каждая малость бесценна.

— Исторических событий мы не видели, — покачал головой Владимир Фёдорович. — Просто жили... Жили, говорю, мы в Стрельне. В Стрельне я окончил пять классов. Школа помещалась в Константиновском дворце. В настоящем дворце. Первый этаж был наш, законный. А на втором стояли кареты. Царские. Константин — брат двух царей. Он и сам был царём. Один день, жил в Варшаве. Не захотел возвращаться в Петербург, отрёкся от царства. Можно сказать, что и от России.

Девочка подняла руку.

— Вы про войну расскажите.

— Я как раз про войну и говорю. В Стрельню пришёл танковый полк. Мы танкистам папиросы приносили, помогали рыть окопы. Ежи ставили. Из рельсов, чтоб немецкие танки не прошли. Учиться в блокаду не пришлось. Моя школы — крыша.

— Настоящая крыша? — удивилась девочка.

— Ещё какая настоящая, над седьмым этажом. Чтoб чего не пропустить, пойдём по порядку... Мой отец — человек простой. Крестьянин. Вернее, из крестьян. В городе он в магазине работал, ящики, в которых продукты возили, расколачивал... В общем, простой, не очень грамотный, но беду сердцем чувствовал наперёд. Мама работала медсестрой в госпитале. Она на работу спозаранок уехала, а отец проспал. Он и говорит мне: «Володька, айда со мной. Чего тебе одному сидеть. Пальто надень. Подует с Невы — в рубашонке иззябнешься». И одел, и с собой забрал. Уже уходили, а он вернулся, листок с численника сдёрнул: «13 сен-

тября 1941 года». Даже теперь этот листок в глазах стоит... Вот так! Вечером дождались маму и втроём поехали на электричку, на Балтийский вокзал. А радио на вокзале через паузу одно и то же объявляет: «Наши войска в результате тяжёлых боёв оставили Стрельню. Поезда временно отменяются». А люди говорят: «Немцы Сосновку взяли, стоят у Лигова».

И так ясно Владимир Фёдорович увидел всё это: вокзал, люди под громкоговорителем. У кого-то в Стрельне семьи... Куда теперь деваться?

Отец не хуже радио одно и то же твердит: «Хорошо хоть пальто взяли. Одет, слава богу. А вот нас с матерью немец оставил в чём есть».

Мама уже столько крови повидала в госпитале, не растерялась: «Нового ничего не скажут. Идёмте к Анне Кузьминичне».

А отец своё: «В чём есть немец нас оставил».

Мама крепко так взяла отца за руку: «Телеса чем-нибудь прикроем... Погребё лишились — вот это худо».

О погребё всю блокаду помнили. Мама как человек, нужный фронту, получала 250 граммов хлеба, отец — 175, подростку на день полагалось 125...

Затянулась пауза... А Владимир Фёдорович ещё и воздух в себя потянул, но вспомнить запаха пайки не получилось. Девочка держала руку, согнув в локте. Видимо, повторила вопрос.

— А как вы с немцами воевали?

— Трамвай номер 25, — сказал Владимир Фёдорович. — Мы на этом трамвае ездили на Балтийский вокзал.

Посмотрел на девочку.

— Воевали красноармейцы, а нам, жителям, нужно было перетерпеть войну. Главное, остаться живыми.

— У вас был такой приказ?

— Да, был такой приказ, — согласился Владимир Фёдорович. — Приказ русского народа.

— Кто же вас всё-таки пускал на крышу? — изумилась завуч.

— Управдом тётя Зина. Окаймление крыши было леерное: не падали.

— Зажигательные бомбы тоже ведь бомбы! Взрослые позволяли детям... Я понимаю, — война, но любая оплошность — и ожог. Напалмом!

— Детей Господь бережёт! — сказала пенсионерка, ходящая по снегу босиком.

— Всяко бывало! — Владимир Фёдорович показал на крошечный шрам под левым глазом. — Я её дёрнул, да она успела крышу прожечь. Со всей натуги на себя — искрами сыпанула. Одна искра в глаз. Всё померкло, а всё равно не бросил, донёс до ящика, в песке утопил... Светка, хоть и моложе была, потащила меня в санчасть. Санчасть тётя Зина в подвале разместила. Домовую. Искра попала в косточку под глазом. — Капли уж такие жгучие! Мне Дина из пипетки закапала, она в седьмой перешла, а рану обрабатывала её мама. Говорили, у неё имеется диплом врача, но работала в опере: шила платья королевам.

Владимир Фёдорович спохватился. Он что-то рассказывал, а что-то чередую проносилось в глубинах памяти.

— Короче говоря, зажигалки для блокады — детская забава, — сказал это завучу. — Я не шучу. Шпионы доложили немцам: вреда, мол, почти никакого. И лётчики стали кидать ящики с зажигалками. К ящику подступиться не просто...

Вдруг вспомнилось.

— Мы однажды с отцом целый час сидели под аркой. Со стороны улицы обстрел, и фугасная бомба разорвалась. Асфальт разворотила, выгребла волной старую каменку, может, петровскую... Ишибанула камнями по стене, по окнам, а к нам под арку только запах. Тропиловый. А с другой стороны арки горели два ящика зажигалок. Вот мы и ждали, когда сгорят. Да только ждать — это жить.

— А мы-то нынче разве живём, ожидая? — Наталья Васильевна даже порозовела. — Мы замираем, а времечко течёт.

Мысль была неожиданная.

— Верно! — согласился Владимир Фёдорович. — А в Ленинграде, мальчишками, мы умели жить всякую минуту. Если подумать, ведь на самом деле надо было гнать чем попало ту жизнь... Теперь даже представить себе не сумею, что было во мне и во всех наших ребятах... Скакать по крыше с бомбами — дело дикое, но это и было нашей жизнью. Это было нормально, даже если тебя разбомбили... Квартира Анны Кузьминичны на Лиговском проспекте, рядом с кинотеатром «Шторм»... В тот вечер я никого из наших ребят не встретил,

один пошёл на «Джультбарса». Джультбарс — овчарка. Пограничник. В Стрельне я двадцать раз «Джультбарса» смотрел, а на том сеансе кинемеханик всего одну часть успел прокрутить. Объявил: «Воздушная тревога». Бомбоубежище находилось под зрительным залом. Нас в «Шторме» было две девочки и пацанов человек пятнадцать. Из взрослых — никого. Кинемеханик поленился в подвал спуститься. Я даже места себе не выбрал, где сидеть. Ухнуло! Пол подпрыгнул, и — тьма. Прямое попадание... Но — тихо, все живые. Потом девочки заплакали. Тут до меня и дошло: я у них самый старший. Вот и скомандовал:

— Вставайте! Идти надо по стенке, ощупью. Где потянет воздухом, там выход.

Но они маленькие, испугались. А я чую — струйка холодная. Ножик всегда в кармане, перочинный, с тремя лезвиями. Поковырял в трещине, руками крошево разгрёб — свет. Совсем щёлочка.

Девочки меня оттолкнули, стали кричать. У девчонок голоса писклявые — далеко слышно. Мужчина подошёл. Ополченец.

— Терпите! Красноармейцев пойду позову.

Через час, может, поменьше, машина загудела. Вход в бомбоубежище загораживал упавший марш лестницы. Тягачом оттащили.

Вышли на улицу, а уже сумерки. Но света — весь мир. Гляжу, а у одной девочки — лицо белей бумаги, глазки закатились. Нашатырный спирт ей нюхать давали. И нам тоже.

Владимиру Фёдоровичу показалось: его внимательная слушательница что-то очень часто глазками моргает. Спросил:

— Понимаешь, какой я счастливый?

— Понимаю, — сказала девочка. — Вы всё ещё живой.

И смотрела, смотрела...

— Живёхонек! Я, когда собирался к вам, в энциклопедию заглянул. За три месяца 41 года, с сентября по ноябрь, немцы сбросили на Ленинград и на меня 64930 зажигательных бомб, 3055 бомб фугасных, а снарядов из пушек было выпущено 30154. Не знаю, как это подсчитано. Выходит, бомбы, снаряды, пули после первых трёх месяцев искали меня ещё целых три года.

— И не нашли, — тихо сказала девочка.

— Немцы — народ, уважающий порядок. Воевали по расписанию. Мы все знали: с шести утра до двенадцати дня — обстрел, а бомбёжки с восьми. Перерыв на обед до часа. С часа до шести вечера, до ужина, опять обстрел. В шесть часов вечера обязательная бомбёжка.

— Вы не прятались, а немцы ни разу вас не нашли! — у девочки глаза сияли.

— Один снаряд близко разорвался. Меня к стене волной прижало. Сам очухался. Другой раз фугасная бомба возле маминой работы упала, у госпиталя. Меня подкинуло метров на пять, шибануло о ворота. Сознание потерял, но людей было много, отходили... Ну, что ещё?

— Какая помощь была от вас городу? — спросила первоклашка.

— А ведь была! — обрадовался вопросу Владимир Фёдорович. — Сколько мы погасили зажигалок, не знаю. Без счёту. В песок её, пшикнула, и за другой. А вот когда зима пришла, наша братва наловчилась из двух санок короба сооружать.

И язык прикусил.

Хватило ума промолчать о самой полезной работе для Ленинграда.

Господи! А ведь это была ежедневная работа. Не подвиг, даже не заработок куска жмыха. Нужное, обыкновенное дело мальчиков тринадцати лет. Окоченевший труп умершего на улице человека или убитого они вшестером втаскивали в короб из двух соединённых санок и, трое впереди, трое позади, меняясь, везли на Волковское кладбище. Убрали с улиц за зиму 42-го года шестьдесят семь трупов. Тут счёт был. Тётя Зина благодарила, и награда была: по две плитки жмыха. Плитки огромные, со школьный портфель. Всё это чуть не ухнул на первоклассницу. Покашлял, воды выпил.

— Вот так. Вообще, санки были такое же счастье, как теперь «мерседес». Воду на салазках возили. От нашего дома до воды добраться — три раза под обстрел попасть. Помню, какая-то протока. Лёд метровой. Ляжешь, кружкой черпаешь, а потом в ведро...

По читальне шумок пошёл: за стол садилась Татьяна, та самая женщина, возражавшая проектировщице.

— Простите! Я совсем опоздала? — спросила Татьяна.

— Ничего, — ободрил Владимир Фёдорович. — Блокада — это горе. Не всё-то горе мира надо нам на себя взваливать.

— Оно наше, — не согласилась Татьяна. — Не знать горя своего народа — страшный грех. Горе, которое народ пережил, его сила, его дух.

— Что у тебя случилось? — спросила библиотекарь.

— Вчера у прокурора была, сегодня у следователя.

— И что?

— Обещают посадить на четыре дня.

— Дня или года? — уточнил Чашин.

Юноша и девушка засмеялись, но тотчас примолкли.

— Какую причину надумали? — спросил Чашин.

— Я перекрыла движение.

— Где? Когда?

— Когда спилили лес возле госпиталя; мы действительно загородили дорогу КамАЗам.

— Лес спилили? Возле госпиталя? — изумился Владимир Фёдорович. — Берёзовую рощу? С дятлами?

— Берёзовую рощу. Теперь готовятся истребить лес за госпиталем и за больницей — семьдесят три гектара.

— Прокурор во всём этом нарушения закона не видит? — спросила Наталья Васильевна.

— Это же одна малина: хозяин треста, наш Птенчик, и, разумеется, вся государь района! — сказала это пенсионерка.

У библиотекарши запылали щёки. От Птенчикова она очень даже зависела, и от районной власти тоже.

— Товарищи! Вернее, господа. Мы отвлеклись. У нас встреча с ветераном, с блокадником.

— Всё в порядке, — успокоил библиотекаршу Владимир Фёдорович, — я закончил.

— Нет-нет! Мы вас так не отпустим! — щёки библиотекарши были уже пунцовые. — Расскажите о самом важном. Что являлось во время блокады светом? К чему вы стремились?

Затеваётся вырубка леса, милую женщину, не согласную с начальством, затакашивают в тюрьму: море демократии.

Владимир Фёдорович отодвинул стул, чтобы уйти, но девочка снова тянула руку.

— А какая еда была в блокаду?

— Вот это вопрос по делу, — сказал девочке блокадник. — Мы в нашей семье питались строганиной.

— Строганина — это вроде бы рыба?! — удивился Чашин.

— Блокадная строганина — иное. Мы с отцом нашли военный склад. Его разбомбили, конечно. Но мы среди мусора отыскивали портупей, кожаные ремни, четыре кобуры и главное — подмётки и выкройки голенищ офицерских кожаных сапог. Сахарного песка нагребли пять вёдер, смешанного с пылью, с кирпичной крошкой... Ну вот! Подмётки и ремни строга-ли на тонкие пластины, потому что строганина.

Владимир Фёдорович пошёл было из-за стола, но вернулся.

— Впрочем, мы меню разнообразили. У тётушки нашей, у Анны Кузьминичны, квартира была из пяти комнат. Она эвакуировалась с заводом. Представляете, нам достались пять комнат с обоями, и все пять на клеестере из муки. И от государства втроём: папа, мама и я — получали пятьсот пятьдесят граммов хлеба. Впрочем, про строганину закончу.

Он говорил это, но слышал себя издали. Уп-лыл бы, да не отпускали глаза девочки. Смотрела на него, смотрела, смотрела сквозь время и пространство.

— Отец в чулане Анны Кузьминичны нашёл косу, — слышал себя Владимир Фёдорович. — Анна Кузьминична из нашей деревни, под Переславлем-Залесским. Наша. Вот и взяла в город самое нужное в крестьянской жизни. А старший сын у неё был коммунист, секретарь.

Снял с полки книгу в переплёте, шаркал по обложке ладонью.

— Куском косы вот так, вот так, — отец делил кожу на пластины, чтоб были чуть ли не на просвет...

Умолк, опустил руки. Глаза прикрыл веками, потому что в этот самый миг он стоял в очереди за хлебом. Там, у себя... Тот хлеб был зелёный. Китаец пекарь добавлял в муку зелёные помидоры, иначе бы не хватило... А в сторонке, уставясь на руки продавщицы, выдававшей хлебные пайки, смотрела мама Дины, подлечившая ему глаз, обожжённый искрой зажигательной бомбы.

Лицо у неё было в пепле, Володька удивился: целую неделю немцы зажигательных бомб не бросают, квартал даже из орудий не обстреливали. Что-то затевается, но пока передышка, пожаров не было, и пепла не было.

Он снова посмотрел в сторону мамы Дины, когда был уже седьмым в очереди.

Китаец подал продавщице очередную буханку, она разрежала её пополам. Половина осталась у китайца в руках, другую половину продавщица принялась делить на самые маленькие пайки по 125 граммов, потому что пришла Светкина очередь, у неё пятеро маленьких братьев.

Володька видел: мама Дины смотрела на свои повисшие с плеч руки. Догадался: соображает, как их поднять.

И вдруг мама Дины кинулась к прилавку. Пальцы как когти. Вырвала из буханки у китайца кусок мякиша, зелёный, липкий. Её сразу схватили, но другой рукой она была наотмашь, как Чапаев саблей.

— У меня трое! Два года, четыре и четырнадцать. Хотя бы воробьиную пайку. Хотя что-то на язык.

И щерила зубы, как кошка. Подойдёшь — загрызёт.

— ...Владимир Фёдорович! — долетело до рассказчика из такого далека, как другая жизнь.

— Она ушла, её не посмели остановить, — сказал Владимир Фёдорович.

На него смотрели, не понимая.

— Владимир Фёдорович! — поднялась библиотекарь.

— Простите! — Он поклонился. — Вспомнил, как женщина хотела спасти детей. Они все умерли. И дети, и сама... А у нас была строганина. Строганину мы кипятили. Первый бульон выливали. Размягчённой кожей заправляли кастрюлю... Второе варево шло для еды.

Врачи в Переславле-Залесском поставят диагноз блокаднику-школьнику: выпячивание желудка. Плохо пережёвывал строганину из солдатских подмёток. Разжевать — зубов бы не хватило, но проглотил — и желудку есть что переваривать. Для поддержания жизни в подмётках сапог красных командиров нечто полезное имелось.

— Вас уже спрашивали, но всё-таки, — будто через пелену пробился очередной вопрос. — Дорогой Владимир Фёдорович, скажите, а хорошие дни... бывали?

Спрашивала завуч. Пожал плечами.

— Все дни были хорошие. Проснулся — значит, живой. А были ещё дни счастливые. Мы со Светкой и Сашей пробрались в Лиговку, на дачу к Анне Кузьминичне. Это было в октябре. Морозы землю приморозили, но ещё не очень. Мы кочерыжки дёргали. Немцы нам орали. Здоровенные мужики. Солдаты, понятное дело, но никто из них ни разу не стрелял. Мы их хорошо видели, но я в тот день принёс домой мешок кочерыжек. Мама насолдила три ведра. Всю зиму у нас были щи почти что капустные.

— И вы — живой! — тихо сказала девочка.

— Бог берёт для хороших дел! — твёрдо ответил. — За восемьсот пятьдесят дней, а наша семья была в блокаде восемьсот пятьдесят один день — у меня всего две контузии... Человеческая порода очень даже живучая.

Девочка в который раз подняла руку.

— А мы сможем, как вы?

— Сможете, — сказал Владимир Фёдорович.

— Вы же русские.

Дина

Дома горестно спохватился.

— Я не сказал ей про очень важное. Ах ты господи!.. Склероз... Да ещё Татьяна ошарашила.

Наталя Ивановна ничего понять не могла.

— О чём ты не сказал? Кому? Какая Татьяна?

— Татьяна — защитница леса. Её к следовательно таскали... Вину придумывают... А всё, что я там говорил, — для одной девочки. Для внучки нашего водолаза. Весёлого в моих рассказах, сама знаешь, а она слушала. Она меня выпрашивала. А про самое «то» — не сказал.

— Про что про «то»?

— О записках.

Наталя Ивановна села рядом.

— Нынче даже в Кремле Бога любят, но для вас в ту пору, да и сегодня, это же сокровенное.

— Сокровенное, — согласился Владимир Фёдорович. — Но ведь и скрывать это, пусть сокровен-

ное, — большой грех. Мы жили не такой жизнью, как теперешние. Нас такими растили... А живы по единственной причине: Бог не оставил русскую землю, нас не оставил. Девочка — умница. Об этом она должна знать в первую очередь.

Сидели друг возле друга, родные.

Гнать Бога с русской земли начали в Петрограде. А в Ленинграде, когда смерть стояла у каждого порога, и о Христе вспомнили, и о Богородице, и о святых.

Светка узнала о блаженной весной 42-го. В Светкином подъезде умерли семнадцать человек, все Светкины братья, кроме малышки. В других подъездах, где детей помногу, тоже убыль была большая.

В тот день они дежурили со Светкой, ждали налётов. Сидели у тёти Зины в кабинете, слушали радио: Берггольц свои стихи читала. Светка вдруг прислонилась губами к уху и стала шептать.

— Кто хочет жить, пишут записки блаженной. На Смоленское кладбище надо идти. Записки кладут на святую могилу.

За полгода до войны пятиклассников из Стрельни возили в Казанский собор, в Музей истории религии и атеизма.

Показывали мощи. Не подошёл посмотреть, за спинами ребят прятался. Помнил деревенскую жизнь, как они с бабушкой зажигали перед иконой Богородицы свечу, как бабушка учила его молиться за папу, за маму...

Не посмел глазеть на музейный экспонат... А Светкин рассказ — дело верное. Согласился сразу.

— Пошли! Ждать нам нечего. Только чего писать-то?

— Нужно написать имена, о ком просишь. Чтоб дала жизнь. Твоему папе, твоей маме, всем, кого жалеешь.

Позвали Сашку и пошли втроём.

В записке он написал имена мамы, папы, брата Андрея — на фронте воевал. Записал Дину, её маму, её братьев, Светку, её братика. Места не оставалось — Сашку, тётю Зину записал мелкими буквами.

По дороге их два раза бомбили. Пересидели в бомбоубежищах. Пробрались к кладбищу — опять налёт, сиганули в старую воронку, а там вода.

Его записка размокла. Сашка оторвал кусочек от своей, карандаш у него тоже был. Чтoб не ошибиться, спросил у Светки, для верности:

— Как написать-то?

— Пиши: «Хочут жить», а дальше имена.

Эти два слова «хочут жить» на клочке бумаги заняли много места. Уместились: Капитолина — мама, Фёдор — папа, Андрей — брат, Владимир — это он сам. Букву «р» пришлось сверху приписать. Записки они положили под кирпич.

— ...Ну что ты загоревал? — ласковая рука у Натальи Ивановны. — Внучку Ивана Никитича зовут Лизонька, придёт к нему в гости, тогда и расскажешь про святую Ксению Петербургскую.

— Мы не знали, как её зовут. Я ведь о чём вдруг подумал: все, кого мы записали, уцелели! Светкина мама блокаду пережила, Сашкины родители тоже выжили. Но Светка-то, но Сашка-то! Они же себя не записали, и я во второй записке их не записал. И Дину не записал. Бумажка у меня была в два пальца.

Вся блокадная жизнь вспучилась, ухнула в сердце на мгновение и померкла.

— Надо всех помянуть, кого помнишь, — сказала Наталья Ивановна.

— Поминаю! — головой вскрутил. — Тогда надо было поминать, живых.

Суп у Натальи Ивановны был его любимый — лапша на курином бульоне. Курица деревенская, выращена в курятнике, тесто для лапши своими руками замешивала. Вкусно.

После обеда прилёт: отойти от всего. И на тебе! Пожаловала Лола Ахматовна — директор всех столовых, где им с Наткой пришлось строить очередное нечто.

— Татьяну отвезла на суд. Суд шёл три минуты. В Можайск нашу бунтарку отправили. Четверо суток будет сидеть за свою и за нашу правду.

— С меня довольно! — сказал Владимир Фёдорович женщинам. — Поеду на дачу, в лес, пока его не спилили.

* * *

Уехал на электричке. Всего одна остановка и пятнадцать минут пешком. Обрадовался деревьям, и деревья, встречая, смыкались теснее.

Занёс в дом рюкзак, сел на крыльце. Небо над соснами нежное, а между деревьями разлившееся, как желток, солнце. Всё в золоте: деревья, воздух, золото на руках и, должно быть, на лице. Жар заката яркий, но не ощутим. В струйках ветерков вечер. Вечер на цветах сада, на травах, на кронах яблонь. На земле вечер. Земля дышит, хорошо дышит, как юная женщина.

Сидел, не думая ни о чём, ничего в себе не держал и до того, зная, слился со своим клочком леса, сада, со своим домом, что какие-то мгновения, минуты, вообще время — прошли мимо него. Увидел звезду, и тотчас Дина встала перед глазами. Не та с пипеткой, когда капала жгучие капли, спасая ему глаза. Не та, сидящая на скамейке во дворе с томиком Пушкина.

Она была белее белого снега, выпавшего ночью. Она вся была как снег.

Зимой Дина носила шубку, пушистую, пушистые унты, шапка у неё была как одуванчик. Всё это белое, но не как снег. Живое, золотистое. А платье её мама сшила для Дины из тёмно-синего бархата. Из лоскутов, оставшихся от царицыных нарядов.

Мародёры, сволочи, раздели.

Мальчик, Володька, знал безобразное слово, каким называют у девочек то, почему они и есть девочки. Но он ещё ни разу не видел это. А тут они вшестером подняли Дину из снега и положили в короб, замёрзшую, ограбленную.

Глаза никуда не денешь. Ему пришлось сначала толкать сзади. Он не смотрел туда, куда смотреть нечестно. Но, разгибаясь, вымученный, увидел сразу всю Дину.

Одна рука у неё была на груди. Тоненькая, белая, как у фарфоровой балерины, в самом низу живота клинышек. Раздвоенный. И когда он увидел всю Дину, ему не было стыдно. Это же так на всей земле, у всех женщин. Это Бог так сотворил.

Но во всякую новую передышку он смотрел на лицо Дины. Лицо было белее снега. Это была белизна совсем другая, такой белизны он ещё не видел и потом не видел, прожив семьдесят лет.

Глаза у Дины не были закрыты. Никто из ребят, даже Светка, не умели закрывать глаза окоченевшим.

Дина смотрела в небо, но много дальше облаков, потому что небо в её замерших глазах отражалось самое синее — Богово.

Они долго были с Диной, до Волковского кладбища далеко.

Как такое рассказать Лизоньке? Зачем?

Это всё навеки его.

И — вздрогнул. Он ведь смотрел Дине в глаза, потому что хотел увидеть смерть. Чтоб знать. Но в глазах Дины стояло недоступное небо.

Владимиру Фёдоровичу нестерпимо, невыносимо захотелось в Переславль-Залесский, где отживали после блокады.

Башня

Нужны луковица, чёрный хлеб, соль, коптилка. Хлеб он привёз из дома, соль в шкафчике, луковицы нет. С грядки можно взять!

Для копилки надобны керосин, пузырёк, фитилёк...

— Лампадка!

Очень похоже.

Сошёл с крыльца. Небо померкло, но светится, а на земле — тьма.

Грядка лука за домом. Там, сразу за огородиком, где кроме лука три грядки огурцов, грядка гороха, грядка моркови и на плантации пять метров на пять — клубника, по клубнике — чеснок.

Зелёный лук — хорошо, но нужна луковица. Подкопал пальцами, нащупал клубень. С ноготь на большом пальце, но всё-таки. Пёрышки, конечно, тоже вкусно.

Разогнул спину, всматриваясь во тьму сосен. Кто-то щеки коснулся. Быстро, весело. Ахнул про себя. Он, когда жили у бабушки в Переславле, до переезда в Стрельню, выходил вечером к деревьям. С ветром у него была дружба.

— Неужто тот самый!

Постоял, подождал — само детство, что ли? Пошёл домой.

В Переславле-Залесском, когда они вырвались из блокады, электричество по вечерам давали на два часа. Книги он читал, зажигая коптилку. Ломоть хлеба, посыпанный солью, луковица — и «Страшная месть» Гоголя. Вкусно, светло, страшно. Страх желанный — родня тайны.

Расположился Владимир Фёдорович на кухне. У лампы язычок огня поменьше, чем у

копилки, фитиль он всегда брал пошире, зато нет копоти.

Свет отбирал у тьмы половину стола. Снял с полки первый том Николая Васильевича. Издание «Библиотеки «Огонька». От ветхости обложка сама собой отпала, держится на матерчатой полоске.

Открыл том где откроется, но сам-то знал, какая выпадет страница.

Вышло: та самая.

Владимир Фёдорович по сию пору читал без очков.

Глаза нашли нужную строчку: «За Киевом показалось неслыханное чудо. Все паны и гетьманы собирались дивиться сему чуду: вдруг стало видимо далеко во все концы света. Вдали засинел Лиман, за Лиманом разливалось Черное море. Бывалые люди узнали и Крым, горою подымавшийся из моря, и болотный Сиваш. По левую руку видна была земля Галичская...»

Дальше про Карпатские горы, про рыцаря с закрытыми очами... Самая жуткая повесть школьной поры.

Владимир Фёдорович сидел замерев, очей не закрывал.

Погасил пальцами лампадку. Снова вышел на крыльцо.

Флоксами пахло, табаками.

Ночь своё взяла, но тьма не была тьмой: звёзды горели.

Владимир Фёдорович обогнул дом.

— Вот она.

Сказано было о башне. Белая, круглая — настоящий столп. На звёзды в детстве насмотреться не пришлось, тем более когда работал. Но теперь-то всё время твоё. И звёзды твои.

Башню он сложил сам. От основания до купола двадцать семь метров, чтоб свет из окон не мешал смотреть на Вселенную.

Башня круглая, стены из тесаного белого камня, «Дубраву» из него собирались возвести.

Изнутри само помещение обсерватории он выложил кирпичом: внучке зимой холодно не будет.

Ступени внутри — винтом.

Высота купола два тридцать. Прозрачный. Когда темнеет, сливается с небом. Но столп всё-таки светится.

Владимир Фёдорович подошёл к башне, положил обе руки на камни. Непонятно что, но ощущали. Сказать, камень как живой, — это будет правдой, но Владимир Фёдорович уловил в шероховатостях доверчивость, а на самом-то деле — благодарность.

Посмотрел вверх — столп не мог быть источником света, но улавливал крохи дня из сумерек и отдавал этот свет земле, небу и ему.

Пришло на ум: а Симеон Столпник, должно быть, на таком вот стоял. Сорок семь лет. Перед Богом.

Отходил Владимир Фёдорович от столпа, глядя на его вершину. Вот ведь каких людей земля рождала! Ради молитв подвижников и солнце не погасло, и земля жива, не сошла с пути благословенного.

— Главное, не для показу! — сказалось вслух. Видимо, о столпниках. Не для показа себя стояли, ради правды.

Белой тропкой пошёл к дому, но остановился, поискал глазами любимую одинокую звезду. Является, когда и светло, и добрых полчаса одинока в небе. Про столпников опять подумал: открывается ли столпникам запах звёздного океана, запах звёзд, звёздных туманов Млечного пути? У солнца аромат явный, сильный. Лунный свет всё-таки без аромата. К нему тянешься, а потом что-то чужое, не пускающее к себе.

Потрогал языком зуб, даже не понял, когда кусочек откололся. Зубами придётся заниматься.

Но о болячках даже думать не хотелось.

Лекарств на ночь не выпил, разделся в темноте, лёг и заснул. Уж очень много вместил минувший день. Конечно, всё, что прошло перед глазами, — пережитое.

Пережитое, а будто явь.

Пережитое, а настоящая жизнь.

Хорошо уснул.

Свете тихий

В Селятине протезистов двое. Молодая женщина Светлана, но к ней очередь, и Василь Василич, большой специалист: свёрнутые челюсти на место ставит, — десять лет был главным врачом района. К нему — никого.

Владимир Фёдорович с Василь Василичем — старожилы Селятина. Неприлично отказываться от услуг почти родного человека — водочку, было дело, пивали.

Специалист напирал пузцом, дышал перегазом. Это уж ладно бы! Но у Светланы на ручках — пальчики, а тут лапы, и на лапах — брёвна. Омерзение от огромных пальцев во рту сменилось покорностью.

Куда теперь деваться? Впрочем, Василь Василич работал основательно, не торопился. Это тоже надо ценить. Бормашина — она и у Светланы бормашина.

Часа не прошло — всё лишнее сточено, слепки сделаны, примерка в понедельник. А сегодня уже четверг.

Вышел Владимир Фёдорович на волю — и сразу под куполами.

Церковь освятили полтора года тому назад, а первую службу батюшки отслужили только в нынешнюю Пасху. Хозяин теперешнего «Гидромонтажа» наказал упрямых селятинцев: не дал денег на завершение внутренней отделки храма. Лес им, видите ли, нужен? Впрочем, и батюшки хороши: разрешили спилить гигантские ели — загораживали церковь со стороны улицы. Ненависть к дереву, как у древних обитателей дремучих русских боров.

Нога у Владимира Фёдоровича побаливала, а ступени в храм высокие, к высокому ведут. Двери открыты, вошёл и ахнул — внутренне: побеленное помещение. На росписи у администрации денег нет. Две большие резные иконы перенесены из деревянного храма. Словно бы чужие здесь. Место ненамоленное.

На престоле семисвечник. От престола веяло теплом и сокровенностью: Господь с нами.

Бабушка говорила: церковь — Богов дом. Бабушка на клиросе пела. Голос у неё домашний, ласковый. С таким голосом из хора выделиться невозможно, так хор не то место, где выделяются: поёт едино, слитно — молитва общая.

Бабушка свою ниточку вела скромненько, да только Владимир Фёдорович слышал это ласковое тепло. Чувствовал себя частицей сокровенности, уловимого душою дыхания, исходящего с престола через Царские Врата.

Ту летнюю сессию он сдал досрочно, на неделю раньше приехал из Москвы.

С автобуса чуть ли не бегом, а дверь дома закрыта.

В церковь. Поют!

Чемодан под лавку, а сам на любимое место, под своды, перед евангелистом Иоанном Богословом. Иоанн с орлом. Крылья у орла подняты — гроза небесная, и евангелист — гроза: взор, как молния, устремлённая в вечность.

Когда в детстве читали с бабушкой «Откровение», она показала ему самое заветное слово Иоанново: «И ничего уже не будет проклятого».

— Пусть эти слова станут твоими, — напроорила бабушка. — Веруй, и всё в твоей жизни само собой устроится.

В тот день, стоя перед столпом Иоанна-евангелиста, он вспомнил почему-то другие слова «Откровения»: «И ночи не будет там».

На клиросе как раз изумительное пели: «Свете тихий». Студентик дыхание затаил, уловив в хоре ласки дома родного, ниточку бабушки. И будто потолок на голову — матерщина. Ярая, злобная — поругание всего, что хорошо.

Прихожане, как от чумы, по сторонам шарахнулись... На курьих ножках через раздавленных прихожан, через всё пространство просторного храма — Полчеловека, Глиста вонючая, Валериан Валерианович — комендант рабочего общежития.

— Ленинский субботник, а они распелись, растаки-то ваши, туды да сюды! Сознательный народ трудится на благо СССР, а они, подпевалы поповские, тянут советского человека назад, в трясины царизма.

Орёт дурак, но — служба. Певчие поют. И тут Валериан-то Валерианович — Полчеловека, Глиста вонючая — разгневался во всю пролетарскую мощь. Сиганул на клирос, женщине-регенту сапогом под колено, скинул старичка-тенора, ухватил бабушку студента за шиворот, поволок за собой по ступеням. Все знали, Полчеловека посадил за один только май трёх порядочных жителей с улицы, ведущей к церкви. Школьного сторожа — человека с высшим образованием: служил начальником почты в Первую мировую; героического деда — по праздникам надевал шинель с Георгиевским крестом, и Антонину Красногорскую — актрису немого кино. Театральный кружок вела в педучилище. Оскорбила Глисту вонючую, пришёл свататься

в красном галифе, а она прищемила жениху пальцы дверью. Но студент третьего уже курса не соображал, кинулся на помощь бабушке и врезал коменданту рабочего общежития кулаком точнёхонько между глаз.

Полчеловека рухнул на колени и завизжал по-бабьи:

— У-у-убива-а-ають!

Через мгновение студенту, не успевшему даже поздороваться с бабушкой, заломили руки — и в воронок. Валериан Валерианович был не прост — с милицией пожаловал к молящимся.

Расправа с защитником бабушки и стариков была скорая: пять лет по 58-й статье. В телятник с решёткой — и поехали. На холода.

...Кто-то пел молитвы. Владимир Фёдорович очнулся от пережитого.

Голос из алтаря. Батюшка, должно быть, молится. Подобрело сердце. Стены, верно, новёхонькие, да церковь вечная.

Поклонился престолу, вышел на паперть — поклонился храму, иконе над входом, кресту в небе и Христу.

Жизнь в человеке ворохтается в духоте, в тесноте, но душа открыта хорошему. Это ведь и есть жизнь: всё пережить, дотерпеть до разумных, до радующих дней.

Из пережитого тоже есть что оценить по высшей правде. По совести. Совесть в человеке — Бог.

— Господи, Ты всё ведаешь. Не за Тебя пострадал тот смелый паренёк, какой был во мне. За бабушку.

Уж такая она, правда.

Господь, может, и улыбнулся бы: студент восстал против гонителя христиан, да во время службы, не испугался Полчеловека, хотя знал, что это сексот, обрекающий доносами добрых, боголюбивых людей на тюрьму, на Сибирь.

Да только зачем выдумывать, прошлым своим величаться. Ему срок вкатили за противодействие советской власти, за хищное воинствующее мракобесие. Обвинители даже не заметили нелепость формулировки: это ведь Христос бесов изгонял из людей, это Христос отодвинул мрак за пределы Вселенной.

Всё это нелепое крутилось в голове, а навстречу шла женщина. Издали очень красивая, но когда была близко, увидел: вся эта кра-

сота нарисованная, макияж откровенный, нарочитый. Богово, своё, напроць замалевала, невольно оглянулся: разрез юбки у модницы дальше уж некуда.

Осадил себя.

— Не суди!

Девочки стайкой обогнали. Хорошенькие, счастливые, из школы торопятся. И как ветерки — матерки. Не сердятся, щебечут и не замечают, что с губ у них мерзкие жабы соскакивают.

— Вот они, ангелы наши! — вслух сказал и опять смирил себя.

— Не суди, старик!

Остановился, повернулся лицом к церкви, смотрел на купола золотые, на кресты.

— Господи, помилуй! Свете тихий, святые...

А дальше слов в нём не было, забыл любимую с детства молитву.

— Свете тихий... Свете тихий.

У берёзы

Он вставал в пять утра — удобное время для молитвы. Когда были дети, дети спали. И на всех своих стройках, вольных и за колючей проволокой, он, ранняя птаха, обретал время, ему принадлежащее.

Читал утренние молитвы Троице, Иисусу Христу, Святому Духу, клал двенадцать поклонов и заканчивал моление «Символом веры», прошением о здравии близких, о помиловании ушедших в вечность, но бывших его жизнью.

Сегодня он спал по-детски крепко, по-детски долго.

Разбудил вкусный запах разогретых творожников.

— Как же я машину не услышал? — удивился Владимир Фёдорович.

Наталья Ивановна улыбнулась.

— В гараж не заводила. За воротами оставила.

— А где Дашка?

— В смородине дрыхнет.

Дашка любила полежать среди кустов смородины.

Вечером дача была неуютной громадой, но явилась Наталья Ивановна, и помещение стало тотчас домом.

Владимир Фёдорович покосился на стол, и тоска, угасшая было, нашла причину пробраться в сердце.

Стол семейства. Когда-то Владимир Фёдорович уж так обрадовался большому столу. Продавец просил цену немалую, пришлось занять деньги у своих рабочих. Зато на даче с того дня обедать садились всем миром: четверо детей, отец и мать Владимира Фёдоровича, мать Наталии Ивановны, сама Наталья Ивановна и он, по правую руку от своего отца, от Фёдора Гавриловича.

Дача у них смахивала на барак, зато никому тесно не было, у каждого своя комната.

— Ты чего куksiшься? — угадала Наталья Ивановна скрытое томление мужа.

Показал на пустую часть стола.

— Если сами уж такие занятые, могли бы внуков привезти.

— Верочку привезут, — сказала Наталья Ивановна. — Сердиться на наших ребят — грех.

Конечно, грех! Старший, Иван Владимирович, в Приморье осел. Это и впрямь далеко.

Елена ещё дальше. Место жительства Буэнос-Айрес — сотрудник посольства. Но Васька-то — бурильщик! Бурят они бог знает где, так ведь работают вахтами. Зачем им Тюмень! Можно было в Селятине обосноваться, в Москве на худой конец. Две недели — дома, две — в тундре. Младшая, Наташенька, как раз в Москве. Кондитер. Сладкую жизнь устроила бы Васькиным глазастикам. Трёх девок родил!

— Пишут по компьютеру, звонят! — заступилась за детей Наталья Ивановна.

— По скайпу! По праздникам!

— Чем тебе не угодил скайп? Всех видишь, а что по праздникам — значит, помнят, уважают. Праздников у нас много: церковные, семейные, советские, нынешних властей.

— Вот именно — властей! — хмыкнул Владимир Фёдорович.

— Народу нашему всё равно чего праздновать, был бы день нерабочий.

— А вот это не для всех радость! — поднялся, подошёл к Наталье Ивановне, поцеловал, а она глаза прикрыла. Так у них повелось издавна. — Вкусные творожники. Спасибо тебе, родная, к берёзе схожу.

К берёзе Владимир Фёдорович ходил как на

исповедь. Дашка уже у ног, радостно помахивает хвостом. Кинулась показывать дорогу, будто знала, куда направляется хозяин. А ведь последний раз у берёзы они были в апреле, в половодье. В еловом лесу лежал снег. Малая Десна разлилась как большая река. В апреле берёза, ради которой они приходили сюда, светилась, как светятся девочки по весне.

Теперь в пойме бушевала трава. Травяные разливы готовят праздник цветов в июле.

— Дашка, река-то где? — засомневался Владимир Фёдорович — туда ли забрели... И вырвалось: — Боже мой!

Ряска пожрала Малую Десну. Владимир Фёдорович, ища сочувствие, придвинулся к берёзе.

— Речек себя лишили окончательно.

Берёза, и теперь светившая вокруг себя — так невесты на свадьбах без оглядки делятся с гостями и со всем белым светом счастьем, вершину зелёнокудрую уносила невероятно как высоко. Владимиру Фёдоровичу вдруг почудилось: от обиды сбежала с земли на небо.

Может, и на него в обиде. Не изумился, как обычно, красотой, белизной. На всех людей — в обиде, на этот самый народ, до того загадивший землю, что реки не текут — стоят в недоумении, а вода — в детстве светлая, кристальная, пахнет ладно бы болотом, но мерзостью отхожего места. Владимир Фёдорович прижался к берёзе щекою. Береста шёлковая.

— Что-то, милая, не так... До того не так — дальше некуда.

Стоял и плакал. Слышал: берёза листьями перебирает, успокаивает: «Погляди, сколько травы!»

Травы изобилие, но в её круговертях запущенность, бездомность, безобразность.

— Не ходят косы по муравушкам. В деревнях нынче даже кур не держат. Бабки в капитализм ударились, считают карандашиками на бумажках, и выходит: хлеб и зерно, потраченные на птицу, — в убыток.

Сверху, от берёзы, Владимир Фёдорович усмотрел на реке бочажок. В бочажке вода неубитая. Пока что. Но по берегам осклизлые коряги. Вдоль берегов гниющие водоросли, а на дне, должно быть, липкий омерзительный ил.

— В детстве был нам даден иной мир.

Положил на берёзу ладони и не почувство-

вал ответа. А ведь раньше отвечала. Он был свой для неё.

— Господи! Господи!

С людьми стряслось непоправимое, с русскими людьми. И оно, непоправимое, для природы язва смертоносная, подлейшая. Земля и те, кто жили землёю, — ипостась неделимая. Разве не сумасшествие — планетарное — умертвить деревню ради города. От природы отречься. Тело человека — земная жизнь, душа — птица небесная. Тело без души — машина из костей и мяса, душа без тела — ангел. Человек потому и венец творения, ибо соединяет в единое в себе землю и небо. Изгнание из жизни человека природы — сатанизм, поругание человека и Бога.

Сказал берёзе:

— Русские люди поверили в великую цель и были великими. Набирались ума и могущества — превратить пустыни, даже саму Сахару — в сад. Сад в Сахаре — это, должно быть, и есть возвращённый рай.

Губами коснулся бересты. Не отвечала. Дерево и дерево.

Повёл глазами по реке, по земле — ни к чему непригодны. Всё брошено. Русские люди оставили свою землю.

— На самом-то деле нас, русских, весь наш народ согнали со своей русской земли.

Сказал он это берёзе, отстранившись. Тоже ведь обиделся.

На реке — ряска, гниющая трясина. Трава на берегу отталкивающая: ни лечь, ни сесть.

— Родина... Ёлки-моталки!

Поднялся на насыпь железной дороги — так прямей к дому — и обомлел: вся пойма белопенная — борщевик торжествовал на земле Московии.

Когда же всё это началось? С чего? Какое слово стало мертвящим?

И вдруг ясно подумал: дети среди этого не растут. Они здесь не бывают. Для них так называемая природа — весь земной шар. Дашка принималась к чему-то. Фыркнула, чихнула, заскулила.

— Прости меня! — погладил Дашку. — Пошли ельником, глядишь, белку встретим.

От берёзы были уже далеко, но Владимир Фёдорович вдруг побежал обратно: листик берёзовый в губы взять, как в детстве. Берёза, вот

она, а листья — в небесах. Огляделся. Тощий пенёчек, кто-то смахнул молоденькую берёзку очень острым топором. От корня побег, на побеге — листок. Единственный.

— Ты уж расти помаленьку!

Повернулся к пойме. Кубышки! В детстве очищал до сердцевины. Еда была сладкая, не больно вкусная, но с особым таинственным запахом. Кинулся к кубышкам. А шапки белые, огромные — борщевик. Опять борщевик. Ноги к земле приросли.

Говорят, эту пакость наш русский биолог вывел. Корм коровам. Но коровы, скорее всего, языки пожгли.

А теперешняя пакость, уж конечно, от американцев. Говорят, и бычка, страшного, с чёрной башкой, сожравшего всю рыбу в озёрах, в карьерах, в речушках, — они запустили!

— Господи! Какой только чушью мы не напичканы! — Дашке сказал, а Дашка даже ухом не повела: стало быть, так оно и есть на самом-то деле.

Русские разговоры

Дашка сама отворила калитку.
— Что-то вы быстро обернулись, — удивилась Наталья Ивановна.

— Белок нет, лаять не на что! — Про слёзы свои нечаянные, про ужас свой перед борщевиком промолчал.

Наталья Ивановна высаживала в грунт какие-то росточки, она их сначала дома высаживала, в ящичках.

— Что-то небывалое?

— Небывалое, — согласилась Наталья Ивановна. — Расцветут — мы с тобой моложе станем.

— Я поливать буду!

— Воду им земля даст; разговаривать с ними надо. Любить.

Владимир Фёдорович дотронулся до плеча жены, как недавно до берёзы.

— Спасибо тебе! — и ступевал нежность деловым вопросом. — Натка, не помнишь, где у нас книги, которые отец Матвей подарил?

— Погляди в Наташиной комнате. Она брала почитать об иконе «Скоропослушнице».

Владимир Фёдорович пошёл было в дом, но вернулся.

— Натка, как ты думаешь, Хрущёв — дурак или всё-таки сволочь?

Наталья Ивановна распрямилась, отирала ладоней землю.

— Чего тебе Хрущёв дался?

— При Хрущёве гречу перестали сеять, медовые реки наши обмелели. А садов сколько этот зараза вырубил?

— Хрущёв пастухов ликвидировал. — Наталья Ивановна набирала-набирала воздуха в себя и вздохнула наконец: — Женщины освободились от ига коров. Сначала в городах не стало стад, потом и в сёлах.

— А кукуруза даже в Селятине росла. И великолепно! За Киевским шоссе, напротив «Дубравы» как раз. Ты же помнишь.

— Помню, за грибами через кукурузу ходили.

Владимир Фёдорович нежданно рассмеялся.

— Я представил себе книгу о дуростях правителей России. Прежних, исторических, советских разумеется, ну и теперешних... Ведь кто-нибудь напишет.

— Когда Сталин был теперешним, всякое его решение называлось «линия партии».

— Не согласен — на Колыму! — Владимир Фёдорович почесал в затылке. — Ты права, Натка! В России власть — Бог.

— Не знаю, как при Никитке, а при Горбачёве сажали.

— Сажали, — согласился Владимир Фёдорович. — За неуважение к президенту.

— Что это ты в политику вдарился?!

Наталья Ивановна смотрела непонимающе.

— Землю нашу разорили. Чего там разорили — убили...

— Моим цветам радуйся.

Владимир Фёдорович постоял, потрепал по загривку Дашку.

— Пойду ответ искать. Будет ли нам воскресенье.

И тут в калитку постучали.

— Хозяева дома?

Гришка Лобов — коммунист, секретарь, а также подручный хозяина Лжегидромонтажа. Странное явление, хотя дружили, делали одно дело.

— Милости просим! — пригласила нежданного и давно уже неприятного гостя Наталья Ивановна.

Лобов вошёл в калитку, широко улыбаясь, в правой руке — метровый жерех, в левой связка ершей.

— На Угре наловили. Я к вам.

Владимир Фёдорович смотрел на Гришку, переводил глаза на супругу.

— И жаркое, и уха царская, — молвила Наталья Ивановна.

— Трудовая, — уточнил коммунист. — Но среди ершей — три стерлядки.

— Григорий Петрович, сколь помню, трудящиеся массы по-царски жить собирались! — Наталья Ивановна иногда становилась ехидной, однако ж, выходит, приняла незваного.

— Пошли в дом, — пригласил Гришку Владимир Фёдорович.

— Э-э, голубчики! — остановила бывших друзей хозяйка. — Сначала рыбу придётся почистить.

— Согласны! — У Гришки Лобова настроение было превосходное, взялся вспарывать животы колючим ершам. Владимир Фёдорович чистил чешую жереха и стерлядок. Сидели на лавке, за столом на двух столбах.

— А помнишь? — сказал Гришка.

Им пришлось работать на Новой Земле, в Шевченко, это уже Туркмения, у Каддафи, а также на Байкале...

На Новой Земле Владимир Фёдорович от белых медведей Гришку спас.

Просмотрел коммунист, подпустил слишком близко двух медвежат. И медведица — вот она! Если бы кинулась... Но Владимир Фёдорович увидел всё это, выскочил из дома навстречу медвежатам с двумя банками сгущённого молока. Одну кинул ближнему, вторую чуть поотставшему. Большой медвежонок, пестун, должно быть, банку раскусил — сладко, заурчал. Другой, младшенький, занялся своей добычей. Гришка — в дверь, и дверь — на засов. Потом смеялись — оставил спасителя на съеденье. Но грешить нечего, опомнился тотчас, выскочил, потащил друга в дом.

Медведица издала за детишками приглядывала. Медвежатам угощение понравилось. Не раз приходили сладенького выпросить.

В Туркмении, в Шевченко, Гришка учил уму-разуму новичка атомным премудростям. Уран в тех местах добывали открытым спосо-

бом. Владимир Фёдорович был в отчаянии: за что его радиацией казнят, а Лобов всё показал, всё разяснил. Не руда страшна добытая, смертоносна обогащённая.

Хорошая была работа, государственная. Деньги платили такие — министры столько не получали.

— А помнишь? — для них как тайный марсонский знак. Посмотрели в глаза друг другу. Живо ли хоть что-то от прежних, когда были солью, славой и силой Отечества, всего русского под солнцем, или нынешнее существование отменило в пенсионерах всё великое. Вот именно — великое.

Дашку выгуливать — это, разумеется, позиция и даже оппозиция. А вот радеть за карманы хозяина, изображая из себя борца за прогресс — откровенная подлость.

— Ты видел, как его изуродовали? — спросил Владимир Фёдорович.

Лобов понимал, о ком это.

— По всем программам показали. Акуле на зубок попался.

— Какой акуле? — не понял Владимир Фёдорович.

— Акуле капитализма — США.

— А сам он чья акула?

— Его режим — порождение племенного бытия... Народ Каддафи был, как и он, в доле тех богатств, какие давала родная земля.

— Доля вождя, разумеется, ограничений не ведала.

Лобов по-хозяйски открыл дверцу старинного буфета. Он в былые времена наведывался к Владимиру Фёдоровичу. Делился тревожными сомнениями. Элита рабочего класса, член обкомов, райкомов, президиумов — Гришка многое видел и знал закулису. Мучился. Понимал: коммунистическая власть заражена вирусом перерожденческим.

Выводы из этого своего знания они делали несовместимо противоположные. Владимир Фёдорович обещал неминуемый феодализм и монархию, причём не прежнюю — святую, а новейшую — проститутскую. Лобов, коммунист упёртый, не сомневался в окончательной победе человека труда над торгашом.

— Какого труда?! — возмущался в конце восьмидесятых Владимир Фёдорович. — У нас

школа и комсомол озабочены организацией свободного времени. Страна растит из ребят белоручек, презирающих всех, кто с молотком, серпом и у станка.

Спорили они в те поры до ненависти друг к другу. И вот она — постсоветская действительность. Всё поперано: религия коммунизма и религия православия. Человек поперан и его тяга к творчеству. Само государство поперано. Вместо страны — синдикат расхитителей. Генералы воруют! Эфэсбешники! Совесть превращена в систему самонаказания.

Всё это забушевало в недрах души Владимира Фёдоровича, а Лобов уже достал бережённый редкостный коньяк и рюмки. Не спросясь. Как когда-то. Взгляд Владимира Фёдоровича был уж очень выразительный, и Гришка поднял обе ладони.

— По единой! За нас чокнуться не грех, но мы давай не чокайся, Каддафи помянем.

Разлили коньяк. Аромат такой, будто в пустыне после невероятного в этом краю дождя.

Выпили.

Лобов сел за стол, глядя перед собой.

— Вы все в предатели меня зачислили. А я — за строительство. Лес загажен до полного безобразия. Нами загажен. С благословения высшей власти, разумеется. Додумались на зарплате лесника экономить. У лесников зарплата во все времена была самая ничтожная. Но власти уничтожили именно лесное хозяйство, чтоб отдать на разграбление самое надёжное богатство русского народа — лес. А тут ещё короед подоспел...

— Всё, конечно, так, — Владимир Фёдорович собирал мысли для возражения.

— И так, и этак, и растак! — Гришка сверкал глазами. — Неужто беды не видишь? Мы же работать разучились. Все теперь охранники!

— Где ж вы были? — зло усмехнулся Владимир Фёдорович. — Депутатское большинство у вас сохранялось восемь лет. И за эти восемь лет Ельцин и его восприимчивики извели и рабочий ваш класс, и трудовое крестьянство, и прослойку. Интеллигенция, сколь помню, прослойкой именовалась.

— Мы спасли Россию от гражданской войны.

Лобов был лысый, безбровый, безусый, высокий лоб в тончайших морщинах, а щёки мо-

лодые, гладкие, вот только верхняя губа — стариковская: морщины сверху вниз, рот щелью, губы усохли.

— Ах, спасатели вы наши! Что ни миллиардер — коммунист. Партсекретари, обкомовская мразь собственность государственную порасхватала. Воры они и есть воры, а вот коммунисты — сволочи!

— Так уж и сволочи! — усмехнулся Лобов.

— Сволочи! — твёрдо повторил Владимир Фёдорович.

— Я почему за строительство. Это — настоящий труд. Труд профессионалов. Приобщение молодых к профессиональной работе.

— Семьдесят три гектара леса нынешняя техника смахнёт за три дня. Башен взгромоздить — три месяца! — Зубами скрипнул. — Кто поселится-то в этих домах? Азербайджан, Армения, цыгане! Не рабочий Азербайджан, не рабочая Армения — торгаша.

— А цыган чего приплёл?

— Цыгане о таборах давно забыли. Наркodelьцы.

— Так уж и все... Ну, коли я сволочь, давай за сволочь выпьем. Со сволочами ты у нас будущее строил.

Лобов взял бутылку, наклонил над рюмкой. Владимир Фёдорович бутылку отобрал, но поздновало.

Лобов отлил в его рюмку из своей.

— Прости, но ушицы я всё-таки похлебаю.

— Как пожелаешь! — Владимир Фёдорович убрал бутылку. — До лучших времён.

— А налитое за что хряпнем?

— За совесть.

У Гришки глаза слезой заволокло.

— Я, бессовестный, в реактор на сто тридцать шесть секунд пошёл. За совестливых!

Проглотил свою капельку.

Владимир Фёдорович тоже выпил.

Реактор для Каддафи строили. Всё безукоризненно — запустили. И тогда вдруг обнаружилось: пушка не проходит.

Посчитали, сколько допустимо хватануть... Наложили краску на пушку — определили место, где лишние микроны. Коммунист Лобов, член обкомов и президиумов, кандидат в кандидаты ЦК! — пошёл на позволенные сто сорок секунд.

Владимир Фёдорович выдернул Гришку на мгновение раньше из неосязаемого ада. Потому и за столом теперь.

Пушка снова не прошла, и Владимир Фёдорович тоже дозу схватил. Двадцать восемь секунд драил наждаком стену.

Уха у Натальи Ивановны получилась изумительная.

— А интересно, твой таймень всё ещё плавет? — вспомнил Владимир Фёдорович.

Это на Кане случилось. Григорий Петрович стоял на самом краю обрыва, удочку повело, он дёрнул — а рыбка большая-пребольшая. Удочку двумя руками ухватил, и тут его самого дёрнуло: с трёхметровой высоты в Кан ухнул.

Тайменя вытащили сообща. Это был такой красавец, такой старожил Кана — единогласно с крючка сняли и отпустили.

— А не водит ли нас Опытный Рыбарь Америка на крючке по прозвищу Украина? — задал вдруг вопросик коммунист Лобов.

— Нехорошо на белом свете! — сказала Наталья Ивановна. — Карты для всех одни — жизнь, но всяк играет собственную игру: в дурака, в Акулину, в «свои козыри»...

— Нет, милая, игра идёт высшего класса: преферанс, канаста, бридж...

— Боюсь, покер затеяли. А вот кто банк сорвёт? — Лобов вдруг затосковал. — Ленина бы!

— Убитые города, убитые люди, даже страны, как пепел с сигары Черчилля! — сказала Наталья Ивановна.

Владимир Фёдорович не поленился, поискал на полке и нашёл зелёную картонку с круглым окошком. В окошке — лицо Каддафи. Величавое, мужественное. «Великая зелёная декларация прав человека в эпоху масс. 1397. 1988».

Прочитал:

«Ливийский арабский народ, собравшийся на первичные народные конгрессы, вдохновляясь Первым заявлением Великой Революции 1 сентября 1969 года, которая окончательно закрепила торжество свободы на его земле, и руководствуясь содержанием исторической Декларации об установлении Народовластия от 2 марта 1977 года, открывшей новую эру, которая венчает борьбу человечества и укрепляет его упорное стремление к свободе и раскрепощению, руководствуясь

Зеленой Книгой, указавшей человечеству путь к окончательному освобождению от власти личности, класса, клана, племени, партии, во имя создания общества свободных людей, равно располагающими властью, богатством и оружием...»

Владимир Фёдорович положил три странички в корочках на стол.

— Зелёная Книга — путеводитель человечества...

Молчали. Не пили. Не ели.

— Каддафи дал своей Ливии сорок лет покойной жизни, — вздохнула Наталья Ивановна.

Владимир Фёдорович налил себе воды.

— Сказано: «И многие лжепророки восстанут и прельстят многих; и, по причине умножения беззакония, во многих охладееет любовь».

Лобов поднялся, поклонился хозяйке:

— Уха была хороша, жерех сладок... Но для чего-то я всё-таки лез в жерло смертоносное? Для чего? Для Каддафи, для ливийцев, ради Ленина и его пути?

Пошёл, вернулся, пожал руку Владимиру Фёдоровичу.

— Ради Ленина я туда шёл, ради Советской Страны, чтоб её ценили, любили.

И все снова помолчали. Многие любили Ленина, многие любили Страну Советов и особенно русских... Когда мы были СССР.

Симеон Столпник

В комнате дочери, Наташиной, — картина «Розы». Розы на шкатулке — резьба по кости мамонта. Его подарок.

На чайном сервизе «розы». Работа Петра Васильевича Леонова. Вот уж был человек живущий!

Розы на вышивках — это её и Наткины, покрывало — сплошь розы, белые, из белых ниток. Наташа — мастер по тортам, и, как это ни странно, на её тортах ни единой розочки, никогда.

«Месяцеслов» — оба тома — лежали на белом подоконнике.

Открыл верхний том. По месяцу — «Март». Преподобномученица Евдокия. Пробежал глазами первую строку: самарянка, Финикия Ливанская...

Взял другую книгу. «Сентябрь». Начало церковного новолетия.

Преподобный Симеон Столпник. 459 год. Родился в каппадокийском селении Сисан, в христианской семье Сусотиона и Марфы. С 13 лет стал пасти овец своего отца. К первому послушанию относился добросовестно и с любовью. А как могло быть иначе? Пастись овец — занятие мужское. А то, что не растерял, так свои. «Однажды, услышав в церкви Евангельские заповеди блаженств, был потрясён их глубиной. Не доверяя собственному незрелому суждению, он тут же обратился с расспросами к опытному старцу...» Христианин, а в тринадцать лет впервые услышал «блаженства». И, конечно, неправда, что отрок подступил к старику за истолкованием «блаженств». В тринадцать лет пора бы знать, что они такое. За незнание Евангелия отец и мать получили бы от священника внушение: кого растите?!

Владимир Фёдорович вдруг огорчился: что это со мной! Церковную книгу взялся критиковать.

Разве не замечательно: в тринадцать лет пастушок отправился за Божьей правдой. В монастырь — где она ещё! Слезами убедил монахов принять в число братии. В восемнадцать — пострижение. Начало подвига. Постился, молился, да с такой верой, с таким самоотвержением — монахи возроптали. Аскеза юноши посрамляла их размеренную молитвенную жизнь. Игумен потребовал умерить истовость или же расстаться с монастырём.

Симеон выбрал подвиг. Жил на дне высохшего колодца. Все обеты, данные сердцем Господу, исполнял радостно и без отступлений. Игумен вернул инока в обитель, но монастырская жизнь — это жизнь братии.

Чтобы никого не искушать, Симеон перебрался жить в пещеру, недалеко от села Галанисса. Три года был пещерником. Здесь он решил весь Великий пост отдать молитве, не вкушая пищи и не принимая воды. Обет он выдержал и на следующий год разделил Четырнадцатую на две части. Первые двадцать дней молился стоя, остальные сидя, чтобы не растратить телесные силы. И тут Владимир Фёдорович понял: это у него самого силы иссякли. Нужно было взять в толк прочитанное.

В правдивости написанного не сомневался. Объяснить разумом, как это прожить сорок дней без воды, — не захотел. Было, значит, было. Сидел, прикрыв глаза веками.

...Голубоватая стена, белый, выскребанный ножом пол. Понял, что дремлет, что он в Переславле-Залесском. Сумерки. За окном серебряно. Он смотрит в пол, потому что половицы светятся. И голос бабушки — светится:

«Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшися от злых, благодарственная восписуем Ти рабы Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовём Ти: радуйся, Невесто Неневственная».

Музыка речи такая — стук сердца тишает. Молитва — тайная тайна. При Симеоне такого не бывало, а вот он, советский мальчик, знал: за молитву могут посадить. В молитве есть сила страшная даже для большевиков. Они ведь во всём победители. У них Ленин, у них Сталин. Но молитву слышат Ангелы, Богородица, Бог. Если бы он знал самую святую молитву в Ленинграде, Дина была бы жива, и Сашка был бы жив, и Светка. И многие, кого они стоймя ставили в кузов трёхтонки.

Напривычные церковные слова бабушка объясняла. «Взбранной» — значит, сильный в брани, в бою. Очень храбрый. «Яко» — то же самое, что «как». «Восписуем» — воссылаем, возносим к небу.

Бабушка прочитала ему молитву три раза, и он запомнил слово в слово.

Дальше читать житие Симеона Столпника Владимир Фёдорович не стал. Не всё сразу. Коснулся руками скатерти с розами. Запечатлённое девичество Наташи.

Что-то в груди защемило, затосковало.

— Господи! Какая прожита жизнь! Господи, это и есть Россия. Это же Россия в его сердце, в его жилах перетерпела всё, что ему послано было.

— Володя, чайку попьём? — окликнула супруга.

Он пошёл к столу.

— А когда тебе к протезисту? — спросила Наталья Ивановна.

Он как раз отодвинул стул, чтобы сесть, но теперь замер.

— Назначено. А вот на какое число? Натка, можно у них как-то узнать? Совершенно забыл.

— Записывать надо.
 — Записал. Но на чём?
 Засмеялась.
 — Невелика проблема. С утра съездим.
 Спросишь.

Дубрава

Вторая примерка получилась такая же скорая, как и первая. Коронка вышла у техника узковатой. На доводку, на напыление золота — неделя.

— Я от двери не успела отойти, а ты уже дома! — порадовалась Наталья Ивановна и показала на Дашку. — Она-то впрямь от двери не отошла, знала, что обернётся в считанные минуты.

Владимир Фёдорович приласкал свою лайку.

— Ну, серебряная, пошли на «Дубраву» глянем. Новый хозяин, говорят, ремонт сделал.

О «Дубраве» доложил Савельев, перекинулись парой слов, когда на примерку торопился.

Дашка вела к «Тропе здоровья» с оглядкой. И верно, Владимир Фёдорович потянул её туда, где грохотали машины. Заупрямилась, но поводок требовал. Смирилась.

«Дубрава» — последнее серьёзное детище нашего строителя. Начинал объект как пустычок. После плотин через неукротимые реки, после секретных сооружений под водой, под землёй — придорожный ресторанчик. Два этажа. Но только взялись за дело, приехал первый секретарь обкома. Это столичной-то области!

И — первое указание. Белый камень заменить деревом. Стали завозить дуб, примчался второй секретарь. Вместо дуба объект следует возвести из лиственницы, обработанной специальными растворами. На декор, на внутреннюю отделку приказано использовать редкие породы африканских, индийских и американских деревьев.

Селятино — место для заграничных посольств лакомое. В посёлок ходу нет, хотя посёлок он и посёлок, разве что с «Тропой здоровья», с бассейном, со стадионом, где весь грунт привозной, международные матчи можно устраивать. И вообще, 49-й километр от Москвы.

Возможно, чья-то дача в этой стороне или нечто государственного назначения, но стройка шла под неусыпным контролем вто-

рого секретаря. Мог появиться в любой день и час. Редкостные для страны материалы строительства выбраковывались беспощадно. Замена следовала достоинств сказочных.

От посёлка ресторан отделяла дубрава. Фасадом на шоссе, в сотне метров, справа нешумная дорога в Селятино, отгороженная опять-таки дубами, слева роща невероятно высоких берёз и елей. Вершинами деревья в облаках, а сам лес — заповедник чёрного груздя.

В первый день жизни в Селятине, именно в дубраве, Владимир Фёдорович собрал двенадцать белых. На счастье грибы дались ему. Позже попадались. По два, по три. А с того времени, когда Советский Союз испарился за один день, — ни единого.

Подумал этак — Дашка гавкнула.

— У нас с тобой наше государство украли, — вслух сказал.

Дашка остановилась, зарычала. И как раз к «Дубраве» вышли. Фальшивая черепица крыши, вместо изумительно простого, истинно сказочного фасада — нечто стеклянное, стекло окаймляет белый блестящий металл: современно. И вот они, официанты, чернявые, рослые, белолицые. Скорее всего — родня хозяина. Может быть, даже дети. Хозяин — азербайджанец.

Владимир Фёдорович натянул поводок, прошёл мимо былой своей сказки. Пройти ещё раз сквозь строй официантов — днём у них ни одного посетителя — не хотелось. Спустился по тропе к лесу, обрезаемому бетонкой разьезда.

Двинули напрямки, по зарослям орешника.

Продрались — боже ты мой.

Поваленные ветрами деревья собраны в квадраты. Каждый квадрат — свалка бутылок, пластиковых тарелочек, стаканчиков, вилок, ложек, салфеток всех цветов.

Безумная ресторация. Гадюшник новорусской жрачки.

— Дашка, может, мы с тобой в параллельный мир угодили?

Лайка сделала стойку.

— Ты это чувствуешь? Дашка, ведь нам с тобой жизнь подменили. А жизнь-то была выстраданная. Без дураков.

И сам сделал стойку.

— А народ? Выходит, и народ подменный,

подметный? Тогда почему ты и я, Наталья Ивановна, Савельев, наш водолаз, его внучка Лизонька — прежние? И Татьяна, вполне современный человек, но такая же, как все мы?

Домой пожаловали удручённые. А Наталья Ивановна телеграмму в руках держит.

— Федя Осколков зовёт отвезти нового медку.

Стояли с Дашкой на пороге.

— Нынче вторник, коронку Василь Василич поставить обещал в понедельник. На дорогу двое суток, на мёд — трое.

— А Дашку оставим кому?

— Втроём поедём.

Бронзовые мальчики

— Да посмотри же ты вокруг! Будто срок отбыл и — дома. У себя. — Владимир Фёдорович гладил вставшую на него лапами Дашку.

Наталья Ивановна не очень-то понимала, что здесь домашнего.

— Городок зелёный, ухоженный, старые дома сохранились...

— Ты под ноги себе посмотри!

Через зелёный ковёр гусиных лапок — белая, без изыяна стрела дороги. Дорога упирается в мост через реку.

— Дашка-то разглядела. Обнять готова. Мы же с тобой в СССР.

У Натальи Ивановны веко дёрнулось.

— Володя, ты уж прости меня...

— Под ноги, говорю, гляди! Половину города прошли, а ты хоть единый окурочек видела? Обёртку от конфеты?

Наталья Ивановна засмеялась, тихонечко, очень счастливая.

— Напугал ты меня! — поцеловала ненаглядного в височек. — А ведь и впрямь, как в Селятине при Кузнецове.

— При Берии.

— Зачем тебе этот Берия? Кузнецов каждый вечер обходил Селятино. Всё, что было не так, искоренялось на следующий день. Наше Селятино при Кузнецове отметило тридцать лет, а было уж такое ухоженное, будто вчера родилось.

— Вот и здесь люди живут, уважающие самих

себя, — показал на аллею могучих лип. — Не устала? Тогда пошли поглядим, куда ведёт.

Аллея вела к памятнику. Облицованный гранитом пьедестал. На пьедестале пятеро бронзовых мальчиков. Трое — старшеклассники, подросток в пионерском галстуке и совсем мальчишечка.

— Этому в пионеры было рано, а сражаться за Родину в самый раз, — Владимир Фёдорович положил ладони на гранит. — Тёплый!

Сели на скамейку.

— Осколков рассказывал про своих героев. Мальчишки надули немцев: прикинулись послушными. Кабины и стёкла от пыли чистили, здесь стояла целая колонна грузовиков. Но у ребят была взрывчатка. Приручили немцев, в каждую кабину по заряду и рванули.

Наталья Ивановна перекрестилась.

— Одиноко мальчишкам сегодня.

— Здесь все знают о ребятах. Они совесть Кречетова. В советское время пионеры давали клятву перед памятником. А теперь первоклассники первого сентября цветы сюда приносят. Самый младший на памятнике — родной Феде Осколкову.

— Уж очень военная фамилия у твоего друга.

— Федя говорил, что у них в роду офицеры и монахи. Нам пора. Федя на мосту назначил свидание.

Река была уж такая своя и так обрадовалась Владимиру Фёдоровичу да Наталье Ивановне, будто ждала их и дождалась.

С обеих сторон под мостом цветники кувшинок. Запах золотистый.

— Ты заметила? — радовался Владимир Фёдорович. — Асфальт метров за двести от моста закончился, я думал, конец дороге, но смотри, и за мостом то же самое. Асфальт до моста не дотягивает.

— И что это значит?

— Дают реке дышать. Деревня вроде бы, живут на земле, а землю всё равно берегут.

Возле кустов над рекой сидели два мальчика с удочками.

— На другой берег посмотри, — показала Наталья Ивановна.

На другом берегу с удочкой девочка. Рукой вдруг взмахнула, вода, сопротивляясь, вспенилась — и вот она, рыбка.

— Большая! — удивился Владимир Фёдорович. Девочка снимала с крючка улов, а мальчики, повыдергав из воды лески, принялись менять червей. У них не клевало.

Показался автомобиль. Федя Осколков отворил обе дверцы, не покидая водительского места.

— Не будем терять времени, хочу вам показать самые знаменитые наши достопримечательности.

Наталья Ивановна с Дашкой сели на задние кресла.

— Как твои медовые дела? — спросил Владимир Фёдорович.

— Слава богу! С мёдом. Лето в этом году летнее. Пчеле — благодать.

— А может, наоборот? — сказала Наталья Ивановна. — Пчёлкам самая работа.

— Ещё какая! Но разве человек не радуется, если у него много работы? — Осколков поправил зеркальце, чтобы видеть лицо Натальи Ивановны.

— Если работа требует ума и сердца. А если бесконечная и бессмысленная — человек гаснет.

Машина пошутукалась с белым гравием — и птицей по асфальту.

— Я не знаю, понимают ли пчёлы сладость мёда, но они дорожат ароматом. — Осколков повернулся, глаза весёлые. — Давно это замечаю: пчёлы строят своё благоуханное небо. Дорожат именно простором запаха пасеки.

— От тебя тоже мёдом пахнет, — сказал Владимир Фёдорович. — Ты тоже частица пчелиного неба.

— Так оно и есть! — согласился Федя Осколков, прибавляя скорости.

Можно ли жить не ворую?..

Ехали через просторное поле пшеницы. За полем — лес вязов, за лесом — село.

Подъехали к зданию с колоннами.

— Бывший Дворец культуры? — догадался Владимир Фёдорович.

— Почему бывший? Отремонтированный — это да, вполне действующий.

На первом этаже читальный зал библиотеки. Светло, книги на стеллажах, и словно бы вместо стен.

Читателей у светлицей библиотекарши двое. Седоусый запорожец, перед которым стопа старых газет, и мальчик, глянувший на вошедших зоркими глазами. Мальчик — кудрявая голова, сидел, подложив ногу под себя. Книжка перед ним небольшая и явно не детская.

— Вероника, это мои гости! — представил Осколков. — Московская.

Наталья Ивановна подошла к читающему мальчику.

— Можно посмотреть твою книгу?

Мальчик заложил страницу пальцем, показал обложку.

— Мифы Древней Греции. Кун.

— Тебе много осталось?

— Тридцать семь страниц, — сказал мальчик.

Библиотекарш смотрела тревожно. Наталья Ивановна отошла от читателя. И тут в зал две девочки внесли тяжёлую сумку.

— Готово дело! — сказала старшая и принялась выкладывать на стол книги.

— Прочитали?

— И Настя прочитала, и я прочитала. А «Детство Никиты» мы сначала прочитали каждая про себя, а потом ещё раз — вслух, по очереди, по страничке.

Гости попрощались, чтоб не мешать работе.

Осколков показал зрительный зал с голубыми креслами. Спортивный зал с тренажёрами, кружок художников с выставкой рисунков, кружок рукодельниц с выставкой вышивок и вязанья. Мастерскую горшечников.

— Всё работает.

Проводить гостей вышла библиотекарш Вероника.

— Я очень вам благодарна, — пожала руку Наталье Ивановне.

— За то, что не спросила, сколько лет вашему читателю?

— Он этого ужасно не любит. Ему пятый год, и все задают один и тот же вопрос. Посмотрел какую-то телепередачу о Греции и так достал домашних вопросами, что мама привела своего Ромочку к нам.

— С какого же возраста он читает?

— Это первая его книга.

— Азбука удивительная, — засмеялась Наталья Ивановна. — Такого мальчика растить не просто.

— Да нет. Он человек весёлый! — улыбнулась Вероника. — Любит пшённую кашу и лягушек.

— Потому что среди лягушек случаются царевны?

— Сказку он прочитал, отдыхая от своих греков.

Ехали, призадумавшись.

— Что только не вытворяют нынешние педагоги с детьми! — высказался Владимир Фёдорович. — А мы всё равно — русские. Какой мальчик растёт!

Осколков свернул с дороги в берёзовую рощу.

— Немножко перекусим у наших Березаев, потом — в Круглый дом.

Крестьянская изба на ресторан уж никак не походила. Внутри широкая горница, длинный стол, плетёные креслица вместо лавок.

— Фёдор Максимыч! — обрадовались гостям Березаи.

Мать, дочь, сын с женой показали свой теремок, повели на террасу.

Наталья Ивановна собиралась выпить чаю, но Владимира Фёдоровича соблазнил запах борща. Вторая дочь хозяйки пронесла фарфоровую супницу во вторую половину дома.

— Коли борщ, так и пампушки! — подсказала хозяйка.

— Тогда уж и пельмешки на второе и вареники на сладкое! — закончил заказ Осколков.

— А медку? — спросила хозяйка.

— Моим гостям беспрерывно, а мне взварцу на черёмухе.

Борщ как пламень — ешь и не тяжелеешь.

— Никаких заморских фокусов, но вкусно, красиво! — Владимир Фёдорович был доволен.

— Пельмени заказали напрасно, — засомневалась Наталья Ивановна.

— Ничего лишнего не будет, — пообещал Фёдор Максимович.

Он спозаранок наработался на пасеке и теперь отдыхал.

Терраса на берёзы смотрит. Берёзы белые, белизна шёлковая, зелень тоже какая-то очень зелёная, молодая. Владимир Фёдорович улыбнулся старому товарищу.

— Спасибо. Хорошее место для жизни, Федя, а вот скажи мне... Фамилия у тебя русская, а всё же непривычная. И, по-моему, не здешняя. В вашем краю у многих украинские корни.

С ответом пришлось повременить: сёстры Березаи принесли на подносах пельмени.

— Отведайте!

Наталья Ивановна отведала.

— Владимир Фёдорович! Мы с тобой мимо СССР на самую святую Русь попали. Такое тут всё настоящее.

— Признайся, Наталья Ивановна! Ты нас любишь как раз за то, что мы настоящие. Вот такие. Советские, русские. Наша жизнь и твоя едины, нераздельны. А гордость за всё прожитое — без греха, совесть — без ржавчины. Работали, о деньгах не думая. Верили: наш труд на пользу людям всей земли. А оно так и есть. Нашими трудами по нынешний день Россия жива... И с церковной стороны. Вроде бы забубенные безбожники, но люди-то мы творящие, выходит, божьи. Бог — творец. По чистоте своей, по совестливости не углядели обмана, не услышали сатанинского хихиканья... А взвар тоже чудо стряпанья!

— Погляди, Федя, как Дашка тебя слушает! — показал Владимир Фёдорович. У Дашки был свой лоток, и косточка была, но, верно, уши наострила, больно горячо говорил Федя. — Коли взварок допил, об Осколковых расскажи.

— Мёду отведайте, Наталья Ивановна! — разговоры разговаривал, а был зорек.

Наталья Ивановна пригубила золотистый напиток.

— Будто в детство окунулась, но ведь это хмельное!

Осколкову понравилась похвала.

— Такой мёд, правда, столетних настоев, пивал Владимир Красно Солнышко с Ильёй Муромцем. А вот об Осколковых надо бы побольше мне знать... Помнишь, в заливе как раз святого Владимира дело наше делали.

— Замечательная командировка! — согласился Владимир Фёдорович. — Я с вершины одной сопки в один и тот же миг видел оленя, двух чёрных мишек с белыми ошейниками, а с кедра на меня смотрела скорее всего ласка.

— А я там удивлялась местным жителям — вместо картошки репу сажали, — вспомнила Наталья Ивановна.

— Не край света, а начало всему великому, — Фёдор Максимович глянул на поданный Березаи счёт. — Я ведь тогда в Уссурийске встре-

тил Осколковых. Оказалось, один из прадедушек был артиллеристом, а потом постригся в монахи, стал игуменом монастыря. Превратил монастырь в процветающее хозяйство. Между прочим, китайцы и до революции нанимались на работу. Строили игумену Иллариону братские корпуса... Перед самым отъездом в Арсеньеве мне ещё раз повезло: поговорил с одним рыбаком из Осколковых. Рыбак этот бывал на Аляске. Там есть городок Николаевск, и в том городке живут русские люди, старообрядцы. Старообрядцы, узнавши фамилию рыбака, свозили его в оставленный посёлок — на кладбище. На этом кладбище американскими буквами на крестах всего одна фамилия: Осколковы. Рыбак запомнил иные имена: инокия Евфимия, матушка Киликия, Прокл, Миней, Акила. — Фёдор Максимович улыбнулся, но грустно. — Так что мои приткие родичи даже Аляску освоили.

Владимир Фёдорович быстро взял кожаную папку со счётом. Изумился:

— Наталья Ивановна! Еда и питьё самые натуральные, но и цена вполне человеческая.

— Так вот и живём! — сказал Осколков.

Уже в машине Владимир Фёдорович снова удивился.

— Что у нас за страна такая! В одной аптеке за «Крестор» берут чуть ли не две тысячи за двадцать восемь таблеток, а в другой — девятьсот рублей. Тоже, конечно, но всё-таки...

Наталье Ивановне горько вздохнулось:

— Таких Березаев нам и не доставало в СССР! Осколков ладонью хватил по гудку.

— Какой страной были! А какой были бы...

— Знаете, что в Березах самое удивительное? — спросил Владимир Фёдорович и ответил сам себе. — Не воруют. Бизнесмены, а не воруют.

Лысая гора

Осовевшие после обеда, прикатили в ухоженное селение. Каменное круглое чудо-вище надвигалось на них неотвратно, и Осколков выключил мотор.

— Круглый дом.

Вышли из машины. Странная громада побелена совсем недавно. Два этажа с пупком ба-

шенки, но куда значительней дурацких небо-скрёбов Лужкова.

— Древность, — сказал Владимир Фёдорович.

— 1812 год. Мы на хотмыжской земле, в знаменитом Головчине. А что это такое, неизвестно.

Мощь и замкнутость здания озадачивали. На видимой стороне просторного пространства — три прямоугольных проёма, а между проёмами — ниши, может быть, для статуй. По второму приземистому этажу всего три квадратных окна. Башенка сверху приземистая, никакая.

Владимир Фёдорович вздрогнул... Был всего лишь промельк... Запах немецких солдат... Строй, но не тех, которые орали в Лигове, когда кочерыжки собирали, — обветшалых, пленных. И офицер, дерущий от гордыни морду.

Услышал голос Натки.

— Это тоже теперь ДК?

Осколков ответил с удовольствием.

— Театр... Дом начали строить до войны с Наполеоном. Затраты получились большие, и хозяин имения, губернатор Новой Сербии, весьма прохладно исполнял повеление императора Александра о формировании народного ополчения.

Владимир Фёдорович хотел дотронуться до стены, но не дотронулся.

— Идёмте внутрь, рассказы надо рассказывать с начала, — Осколков отворил дверь перед Натальей Ивановной.

В подвальной части Круглого дома — ресторан, кафе.

Первый этаж отдан театру. Кресла по кругу, вдоль стены. Сцена просматривается с трёх сторон.

Сели в кресла.

— Головчино основал граф Гаврила Иванович Головнин, — Осколков показал на портрет графа. — Головнин был при Петре Великом с детства. Его постельничий, родственник матери Петра — Натальи Кирилловны. Перед Полтавой стал канцлером и в том же году, 1709-м, купил многие тысячи десятин пустующей земли в Хотмыжском, Карповском и Болховском уездах. На этих огромных землях граф имел всего семьдесят дворов крестьян. Победа над Мазепой и Карлом XII обогатила Головнина: переселил на свои земли черкас с разорённой войной Украины.

— А Сербия-то при чём? — не понимал Владимир Фёдорович.

— И до Сербии дойдём! — улыбнулся Осколков. — Потеряли Головнины все эти свои умения в 1741 году. Гаврила Иванович был среди первых людей империи — член Верховного Тайного Совета. После смерти Петра Второго вместе с сыном они посадили на престол Анну Иоанновну, опять первые, но в 1734-м Гаврилы Ивановича не стало, однако сынок Михаил Гаврилович был сенатором. В правление Анны Леопольдовны и несчастного Ивана Антоновича, в шесть месяцев от роду севшего в тюрьму на всю свою жизнь, Головнин-младший был уже вице-канцлером. И не сориентировался во время переворота, не поддержал Елизавету Петровну, а посему в 1741 году, лишённый чинов и всякого имущества, отправился доживать век в Якутск, — Осколков поднялся. — Пойдёмте на второй этаж. Там картинная галерея.

— Ты про театр собирался рассказать! — напомнила Наталья Ивановна.

— Сначала о Новой Сербии, чтоб вас не запутывать... Головчино после 41-го года отошло государству, но в 1755-м Елизавета Петровна пожаловала имение генерал-майору Хорвату. Хорват перешёл из австрийского подданства в русское и получил в управление Новую Сербию. Губерния занимала часть нашего края и теперешнюю Кировоградскую область... А Сербия?

Они уже стояли перед картинами.

— Работы белгородских художников. То, что они подарили Круглому дому... Ну а Хорват, любимец Елизаветы, попал в немилость при Екатерине.

— Скорее всего, проворовался, — сказал Владимир Фёдорович.

— Тебя бы надо к Путину — коррупцию искоренять! — засмеялся Осколков. — Точно! При Екатерине Хорват за многие злоупотребления был лишён всех чинов, но имение Головчино к тому времени принадлежало его наследникам... А теперь о театре. Театр у нас исторический! Основан в 1827 году, между прочим, внуками Гаврилы Головнина. Труппу набрали из крепостных, и слава наша гремела во всех южных губерниях России.

Круг по галерее был завершён.

— Как вам картины? — спросил Осколков.

— Красиво, реалистично! — похвалила художников Наталья Ивановна.

— Пишут белгородцы намеренно размашисто, даже умышленно корявенько — блюдут оригинальность, но, согласен, люди наши — реалисты.

— Фамилии у всех русские, украинские, — сказала Наталья Ивановна.

— Потому и реализм. Где модерн — там еврей, — Осколков показал на небольшой холст, в простенке у лестницы, винтом уходящей на башню. — Красный бык на зелёной корове. Шарада? А на фамилию поглядите.

— Левитан — самый душевный певец русской земли! — строго возразила Наталья Ивановна. — Лучше Серова царя Николая никто не написал.

Осколков всё-таки возразил.

— Мика Морозов, Ермолова, Шаляпин, девочка с персиками! Но ведь также Ида Рубинштейн. Угольком начертано.

Владимир Фёдорович замахал руками.

— Бой останавливаю!.. Ты, Федя, чудо-то нам покажи.

— Чудо нужно почувствовать. Вас башня ждёт. Между прочим, когда подниметесь на самый верх, загадайте что-либо хорошее — сбывается.

— А ты разве не с нами?

— Там надо одному побыть. Я бывал.

— Загадывал?

— Загадывал.

Владимир Фёдорович усмехнулся.

— Вижу — не сбывалось.

Винтовая лестница привела на круглую площадку. Через окно видна одна половина парка, через другое — другая. Аллеи делят парк на сегменты.

На стенах — знаки: циркуль, пирамидка, в пирамидке глаз, ещё что-то. Масоны.

— Господи! Не у этих умников прошу — у Тебя: пошли во власть России людей, любящих русское на русской земле.

И вдруг подумал: немцы здесь были, и никаких разрушений. И будто окунуло... «туда». Строй солдат в мышинового цвета мундирах. И к этому строю идёт с перевязанной грудью командир, разведчик, герой.

Владимир Фёдорович обеими ладонями отёр лицо. Башня, на стене — циркуль, пирамида, в пирамиде — глаз... Веером у ног винтовая лестница. Наступил на первую ступеньку, шагнул на вторую, на третью... Теперь он был «здесь». Дрожащею рукою перехватывая перила, сошёл вниз.

— Аллеи видел? — спросил Осколков.

Владимир Фёдорович хотел поскорее взять в рот таблетку, только от чего?

Осколков ждал.

— Аллею видел, — сказал Владимир Фёдорович.

— Вокруг Круглого дома девять сегментов. На сегменты парк делят аллеи. Между рядами аллеи — сады, имеющие мистическую задачу. В каждом саду деревья особых пород. Каких, теперь никто не знает. Всё это собирало и концентрировало силу.

Осколков смотрел на Наталью Ивановну.

— Я не пойду... Не хочу. Нас Дашка заждалась. Пошла к выходу.

Владимир Фёдорович был позади всех, чтоб не выказать слабости в ногах. Подгибались в коленях.

— Масоны — люди прогресса, — сказал Осколков. — Но все их знания — тайна для жителей земли. Существа надмирные.

— Масоны — враги власти в России, какой бы эта власть ни была, — сказала Наталья Ивановна. — Прикидываются любящими Бога, а на печати у них козёл со звездой над рогами.

Вышли к свету. Отвязали скулившую Дашку: лихо было лайке одной.

— Поехали? — спросил Осколков.

— Поехали! Поехали! — поспешно согласился Владимир Фёдорович.

Уже в машине, лаская Дашку, Наталья Ивановна сказала:

— Мы с Владимиром Фёдоровичем в Исторический музей недавно ходили. Лужков десять лет держал под замком русскую историю.

— И что в истории нового? — усмехнулся Осколков.

— Не было битвы на Чудском озере, не было Куликовского поля.

— Знаешь, чем история у нынешних властей заканчивается? — спросил Владимир Фёдорович. — В последнем зале, у выхода меню обеда в день коронации Николая Второго. Ни революции, ни Советского Союза.

— Отечественной войны не было?!

— Не было, — подтвердила Наталья Ивановна. Машина катила между двумя полями, с одной стороны дороги — пшеница, с другой — длинноусый ячмень.

— Ваш Круглый дом — памятник для России очень даже знаменательный, — сказала Наталья Ивановна. — Мистику берегут как память о лучшем в делах человеческих. В музее, в Историческом, о декабристах — умолчание, но выставлены масонские ордена Пестеля. Пестель — ярый противник самодержавия, но его государство — это надзор за повседневной жизнью человека и надзор над душой. Очень похоже на НКВД.

— Я думаю, какая-то здравая мысль всё-таки имела место, когда строили Круглый дом, — сказал Осколков. — Удивительный парк с необыкновенными садами, удивительное сооружение.

— А может, это не памятник, — рассердилась Наталья Ивановна. — Может, это действующий храм? Володя, ты-то чего молчишь?

— Я знаю, что есть масоны, но что это такое?

— Игра образованных шалопаев, возомнивших себя совладельцами Божьего мира! — засмеялся Осколков.

— А убийства за отступничество? — спросила Наталья Ивановна.

— Игра серьёзная. В них адреналин прямо-таки кипит!

— Всё это мерзость, — сказал Владимир Фёдорович. — И всё это очень даже серьёзно. Очень и очень серьёзно, ребята. Мне под большим секретом однажды открыли тайну дуэли Пушкина. Застрелил нашего поэта не Дантес. Это Данзас, секундант Александра Сергеевича, одноклассник по лицу, выстрелил своему другу в пах. Пушкина казнили масоны. Якобы за измену.

Осколков долго молчал.

— Пожалуй, это уже чересчур.

— Я потому и рассказал... На выдумку похоже, на сенсацию.

Наталья Ивановна снова рассердилась.

— Советская власть религии уничтожала, но и все колдуны при ней исчезли. Скажи мне, Федя, почему на наши головы свалились сегодня шаманы, колдуны в седьмом поколении, ясновидящие, гадалки, ворожеи, маги таро? Что творится в мире?

Осколков пожал плечами.

— Европа осатанела, и на нас оторопь напускают... Хотите svoju в одно таинственное местечко... Они, видите ли, ни во что чудесное не верят! Похлеще Круглого дома.

— Что же это такое, если похлеще? — удивилась Наталья Ивановна.

— Нашу Лысую гору покажу.

— Лысая гора... Что-то в голове крутится, а не вспомню, — признался Владимир Фёдорович.

— На Лысую гору под первое мая ведьмы на метлах слетаются, — сказала Наталья Ивановна. — Да только Лысая гора в Киеве, на берегу реки Лыбедь. При князе Владимире — место языческого капища, но монахи Киево-Печерского монастыря нечисть разогнали, и там у них была пасека.

Осколков библикнул.

— Браво! Но наши люди убеждены: настоящая Лысая гора на хотмыжской земле. Колдовское место у нас сильнее и киевской Лысой горы, и германского Броккена. Дело в том, что при царе Алексее Михайловиче в нашем краю была ссылка. Сжигать на кострах людей не хотели, спроваживали в Дикое поле. Наша земля — это ведь и есть Дикое поле. Вот колдуны, собранные в одном остроге, и скопили свою силу.

— Выходит, у вас тут сплошь джуны и чумаки? — Владимир Фёдорович повернулся к Наталье Ивановне. — Как их, этих-то?

— О ком ты?

— Ну, об этих! Дашка, напхни!

Дашка тотчас гавкнула.

— Экстрасенсы, — сказал Осколков и остановил машину.

Под деревьями стояли удобные скамьи.

— Соснами подышим. Вы смеётесь, а я на Лысой горе побывал... Не где-нибудь — в «Известиях» поместили о наших небывалостях. Знаменитая в прошлом газета. Правительственная.

— И что писали? — спросила Наталья Ивановна, отпуская с поводка Дашку.

— Не убежит?

— Она у нас лайка, — обиделся Владимир Фёдорович. — А на Лысой-то горе что у тебя было? Колдунью с волосами до пят встретил?

— Я сначала вам расскажу историю, какая в газете была. Этот самый журналист из «Извес-

тий» на ночь глядя забрался на вершину и стал ждать неведомо чего. С горы виды красивые, но темнеет. Вот уже и ночь, а происшествий ноль. Хотел уже к дороге спуститься, к машине, вдруг женский голос: «Берегись встречной!» Тут наш герой с горы скатился, в машину. А на дороге — никого, жилья поблизости нет. Черно! И опять голос: «Берегись встречной!» Тут как раз огонь дальний, одинокий. Должно быть, мотоциклист. Страх обуял газетчика. Поставил джип у самого края кювета, затаился, и тут мимо — КраЗ. Огромный, тяжело груженный, а фара с одной стороны, справа. Принял бы за мотоциклиста — врезался бы. Вот такая история.

— Главное — исход хороший! — порадовалась Наталья Ивановна. — А с тобой что приключилось на вашей Лысой?

— Да никакая она не лысая. Правда, на самой-то вершине хвощи растут, ниже — кустарник, а у подошвы — ожерельем заросли кипрея. Тепло было, куртку подстелил, сижу, вечереет, земля потемнела, а в небе облака даже очень белые. И — голос. Женский, добрый: «Поезжай! Поезжай! Тебя дома ждут!»

Я без страха сошёл с горы, доехал до дома, а входить всё-таки... не по себе. Обошёл дом — всё нормально, цветы под окнами не помяты. Дверь открываю: «Кудах-тах-тах! Кудах-тах-тах!» Я чуть было в бега не ударился, но вспомнил: за печкой наседка на яйцах. Я её посадил на лебединые. Шесть лебедей высидела. Они теперь в парке нашем на прудах живут.

— Не очень страшная история, — сказал Владимир Фёдорович.

— И не очень-то колдовская, — решила Наталья Ивановна.

— Но голос-то всё-таки был. Невелико чудо, да разве не чудо?

Владимир Фёдорович сказал сухо, устало:

— Федя, поехали домой, не хочу я Лысой горы.

— Спросим Наталью Ивановну.

— Я тоже не хочу колдовства.

Поехали в Кречетов на городские пруды лебедей смотреть.

Оставили машину на стоянке, прошли парком к воде. Осколков повёл гостей на старицу. Вышли на берег и замерли. Мимо плыл огромный белоснежный лебедь, за ним — че-

тыре серых. Потом опять белый лебедь и снова четверо серых. И ещё белый и серые, белый и серые.

— Никогда не видел серых лебедей! — удивился Владимир Фёдорович.

— Это лебедята! — порадовался птицам Осколков. — Из шести моих осталось пятеро. Пятый одинокий. Его белую лебедь убили где-то на перелёте.

Смотрели на лебедей, будто сон.

— Лебеди — это очень красиво, — вздохнул Владимир Фёдорович. — Вернёмся домой как из страны, где живёт счастье. У вас тут разумная жизнь. Созидательная, это в наше-то время, при наших властях, отгородившихся от светлого будущего человечества.

— Чем? — спросил Осколков.

— Колбасой, в которой нет мяса.

День мёда

Добрались до дома, расставаться даже для сна не хотелось, но радость забирает силы тихой сапой. Не стали ужинать, легли, а проснулись — День мёда.

Этот день Фёдор Максимович установил для себя и своего народа. Народ явился ровно в одиннадцать.

Несколько лет тому назад пчеловод пригласил на новый мёд среднюю группу детского сада — семь мальчиков, восемь девочек. На другой год воспитательница напонила:

— Дети ждут медовый праздник. Мы прочитали четыре книжки о пчёлах.

Ребятишки пришли повзрослевшие, принесли стопу картинок с портретами пчёл и пасечника. Так появился для Осколкова особый день в году, самый жданный.

Теперь его народ — третьеклассники. В третий осень пойдут, к тому же все они не только школьники, но стражи медовых рек. Пятилеточками запретили родителям срывать цветы в лесу, на лугу... В цветах жизнь пчёл. Желаете букетов, ступайте в магазин, там цветы парниковые и даже голландские — в общем, не живые.

Все пятнадцать стражей и московские гости сели за стол в саду, под навесом.

Вкушали от сотов из ульев, поставленных в разных местах земли хотмыжской. Для ребят это был конкурс распознавания мёдов: липовый, гречишный легко опознать: он тёмный, мёд майского разнотравья, мёд поймы Ворсклы, самый ранний мёд, с цветущих ив. И к изумлению селянцев — мёд с Лысой горы. А также мёд белой акации, с цветущей горчицы, с рапса, мёд луговой — с клевера.

Первое место заняла девочка! Личико мечтательное, овал украинки, имя Ганночка.

Последнее место осталось за мудрёным на вид Велемиром. Ганночка ошиблась всего дважды, а Велемир дал четыре правильных ответа. На головку Ганны возложили корону королевы Пчелиного царства — корона давалась на год, награждали бочонком мёда.

За чаепитием пошли разговоры. Мальчик с удивительно белой головой, прямо-таки серебро, с редким именем Анкудин вдруг отчаянно сверкнул глазами:

— А всё-таки я бы их всех в тюрьму засадил! На целый год!

— Кого ты собираешься покарать? — удивился Фёдор Максимович.

— Всех, кто живёт в Карповке.

— И стариков с детьми?

— Тем более! Старикам я бы назначил два года высылки в пустыню Сахару, а всех школьников перевёл бы на один класс ниже.

— Я тоже, — согласилась с Анкудином Ганночка. — Не в тюрьму, конечно, а штраф со всех!

— Ребята, я упустил это событие, что случилось в Карповке? — спросил пчеловод.

Староста третьего класса Василиса подняла руку.

— Фёдор Максимович, в Карповку пришла белка, жители всей деревней белку прогоняли, а потом принесли ружьё и убили.

— Грустное дело. Объяснимое, но грустное.

— Я что-то не понимаю! — Наталья Иванова отодвинула в сторону тарелку с сотами. — Как это объяснимое?

— Поверье, — развёл руками Осколков. — Если в деревню приходит белка, случится пожар.

— Двадцать первый век на дворе! — Владимира Фёдоровича удивил этакий пережиток старого времени.

— Когда я вырасту, — сказал Анкудин, — в нашем Кречетове люди будут жить, как живут в Джуно и Николаевске.

Фёдор Максимович объяснил гостям.

— Анкудин тоже Осколков, они с мамой в апреле побывали у родственников на Аляске. Расскажи, Анкудин, про Аляску, что у них лучше нашего?

— У них около смотровой площадки, перед ледником, два ручья, оба широкие и оба перегородены плотинами бобров. А над этими ручьями — мостики на высоких столбах, на деревянных. Люди приезжают смотреть, как медведи лососей ловят. А на тропе, которая ведёт к леднику, вернее возле тропы — большой камень, скала. На скале надпись. Жители Джуно любят и помнят волка Ромео. Волк дружил с собаками, не убегая от людей, но приезжие охотники убили Ромео. Люди о волке скорбят, а злых охотников посадили на три года в тюрьму. А ещё можно с корабля посмотреть на китов. Я видел два хвоста и видел, как киты показывают спины, фонтаны видел, котиков видел на красном буйке. Видел бизонов, когда ехали в Николаевск к моей прабабушке, а там видел одного медведя, а в Джуно медведицу с тремя медвежатами, видел много оленей по дороге в Николаевск, а в Джуно косули дорогу нам перебежали. Там орлы с белыми головами, там огромные вороны. И я видел индейцев, которые орлы, и других, которые вороны. Но были индейцы-лососи, кижучи... Я видел медвежью вонючку. Похожа на початок кукурузы, медведи от спячки просыпаются и едят, чтоб желудок очистить. Видел мальков чавычи в огромном бетонном бассейне. Чавыча — это первый сорт лосося, вернее разновидность... Я Гренландию сверху видел, лёд Ледовитого океана, а на льду ветер снегом рисовал зверей. Видел настоящий русский дом, многих русских людей, хотя они живут на Аляске. Я видел... я видел...

— Передохни, — сказал мальчику Фёдор Максимович. — Я покажу кружку, какую ты привёз.

— Но я видел памятник собаке. Собака приходила встречать корабли. На пристань. Она не пропустила ни одного корабля.

Лицо у мальчика с серебряной головой от волнения стало красным, голова сияла.

— Ребята, мои московские гости привезли торт. Думаю, нам всем достанется по кусочку.

Фёдор Максимович достал из холодильника внушительную и очень красивую коробку.

Торт резала Наталья Ивановна, а за столом разговоры шли самые серьёзные.

Неудачливый медовед Велемир стал рассуждать о существах, населяющих землю.

— Звери, птицы, рыбы, люди — это всё высшие творения, потом змеи, лягушки, потом насекомые, всякие одноклеточные... Потом вирусы. А я думаю, есть мир существ, которые в тысячи раз мельче вирусов... Это и есть параллельные миры.

— Подожди, Велемир, — попросил Фёдор Максимович. — Я кружку покажу.

Кружка была из толстого фаянса, белая. На одной стороне — деревянная церквушка с крыльцом, с одним куполом, с колокольней. На другой стороне — крест, а вокруг — надписи, сверху крупно:

— «Святой Николай — русская ортодоксальная церковь», — прочитал Осколков. — А это даты: поставлена церковь в 1894 году и какие-то знаменательные — 1973, 1977, 2006-й.

— Эта церковь в Джуно, — сказал Анкудин. — А в Николаевске живут русские люди, они все там старообрядцы. И моя прабабушка тоже. У них вера как у нас, только очень строгая.

— Продолжай, Велемир, ты говорил интересно! — попросил Фёдор Максимович.

— Я не верю, будто коровы и медведи умнее мышей и крыс, — сердито сказал Велемир.

— А дельфины умнее нас? — ехидно спросила староста Василиса.

— Дельфины умнее селёдки, а вот медузы, может быть, умнее всех. Они самые древние обитатели земли.

— По-твоему выходит, человек не венец творения? — вступил в спор Фёдор Максимович. — То, что медуза древнее человека, Библия согласна. Но у медузы нет души, душа — величайшее исключение из всего живого мира. Одушевлённый во Вселенной один только человек!

— Термиты, муравьи, пчёлы разумнее человека! — сказала Ганночка. — Они не делают больно Земле.

— Многие из стражей медовых рек признают царства муравьёв и пчёл! — отрезал Велемир.

Наталья Ивановна объявила:

— Берите торт. Муравьям такая вкуснятина даже не снилась.

— У нас будет не жизнь муравьиная, — сказал Велемир. — У нас будет муравьиное единство.

— А я человек-пчела! — объявила Ганночка.

Фёдор Максимович не понял:

— Как это так? Что в тебе пчелиного?

— Очень просто. Пчела строит соты не по порядку и не по плану. Она кладёт соты в пределах рамки, но где попало, а потом всё это оказывается единым. Я в свою рамку буду носить сначала знания и постараюсь уметь делать всё самое главное для человека. Потом я, как муравей с большими челюстями, буду солдатом. Буду сражаться за правду на земле. Потом я буду, как смертоносная оса, убивать коррупцию. Потом побываю во всех краях земли, соберу мудрость всех народов, и мои соты займут всё пространство моей жизни. Тогда я наполню соты открытиями, важными для жизни на земле и в космосе. И это буду — я.

— Замечательно! — сказал Фёдор Максимович. — Я хоть уже много прожил, но постараюсь тоже соорудить свои соты, — и окликнул Анкудина: — Я гляжу, с тортом ты управился, чай выпил, вот и скажи теперь, что нам нужно перенять из жизни людей, живущих на Аляске.

— Я знаю что. У них в Джуно всего два завода. На одном пиво варят, на другом — растят мальков чавычи. Когда мальки подрастут, станут рыбками, их выпускают на волю. Мальки плавают по всему Тихому океану, а через семь лет возвращаются в Джуно, в бетонный свой дом, где родились. Мечут икру, дают жизнь своему роду, а их собственная жизнь заканчивается... И я подумал: наши люди, когда выучатся в школе, в институте, должны отправляться в путешествие, набираться всяческих знаний, а потом возвращаться со всеми тайнами разных народов и работать в своей стране, для своей земли.

Подняла руку девочка с красивыми веснушками на личике:

— За мёд и за чай, и за торт — спасибочки! Ребята умности говорят, но лучше всего

жить там, где родился, и быть человеком и ангелом.

— Ангелом? — удивилась Наталья Ивановна.

— Человек он человек — это мы, а вот ангелы умеют летать.

— А ты уже летаешь? — спросил Фёдор Максимович.

— Пока нет, но я учусь.

Никто не засмеялся. Летать всем хотелось.

— Я тоже обязательно буду летать, — сказал Анкудин. — На самолёте или в космосе. Сверху много чего видно. Например, какая у нас земля. Каких снежных зверей рисует на льду ветер. На земле мы не знаем, что ветер умеет рисовать. А сверху я это видел. Он художник.

Праздник закончили песнями, какие в Кречетове поют. Ребята ушли, унесли медовые подарки. Медовые подарки и москалям были приготовлены: плоские саквояжи, а в них по две рамки мёда. Ноша оказалась тяжёлая, а Осколков настаивал взять с собой к рамкам ещё три трёхлитровые банки. Убеждал:

— Такого нигде не купите! Здоровья на три года.

Мамонт

Со стола убрали, часок отдохнули, и Осколков повёз селятинцев в центр Кречетова поклониться святому Иосифу.

Святого почитали в России и на Украине. Сын казацкого полковника, он молодым постригся в монахи, был избран игуменом Мгарского монастыря. Царица Елизавета Петровна, будучи в Киеве, распорядилась возвести мудрого игумена в архимандриты и определить настоятелем Троице-Сергиевой лавры. Через четыре года Иосиф получил епископскую кафедру. Стал владыкой Белгородским и Обоянским.

— А ты на Лысую гору чуть нас не определил! — укорила Осколкова Наталья Ивановна.

Мощи святителя покоились в Белгороде, в кафедральном соборе, а в Кречетове над могилой владыки возвели часовню. Восемнадцатый век. Узкие, высокие окна, между окнами — колонны, стены голубые, купол золотой, над куполом — куполок с крестом.

— Здесь молился мой отец, уходя на войну с германцем в 1914-м, — сказал Осколков. — Владыка услышал молитвы: отец получил два Георгия, орден Владимира с мечами. Офицерский.

За офицерство отца Федя и сидел с Владимиром Фёдоровичем в одном лагере. У него и дед офицер, в японскую воевал.

— Ты у нас белогвардейское отродье, а я подкулачник! — Владимир Фёдорович даже не улыбнулся.

— Черноглазая Оксана меня предпочла. Я был счастлив, душа комсомольская, кристалл. Вот и вступился на семинаре за офицеров, расстрелянных в Крыму. Соперник мой — буденновец, не потерпел вражеских разговоров, написал куда следует... Я — на Колыму, а моя Оксана с героем — в загс. У неё отец был диаконом. Запугал.

Дело с посадкой Феди Осколкова было странное. Он вступился не за всех беляков, а за молодых, офицерами стали в последний год германской войны, чины им давали за грамотность... Федя сожалел, что не было суда. А за отцом Феди, капитаном, числилась заслуга: спас от расстрела рабочих железнодорожного депо, но на сторону красных не перешёл... Бросил оружие, ходил по деревням, стёкла вставлял.

— Сколько судеб поломано, сколько уничтожено искренних талантливых русских мальчиков! — погоревала Наталья Ивановна.

— Бог жизнь даёт! — обнял друга Владимир Фёдорович. — На меня бомбы падали, деревья, ножи сверкали у самого горла, охрана затвор передёргивала — жив.

Поехали домой, поставили обед разогревать. В креслах сидели у открытой двери в сад.

— Твой отец, русский воин, стёкла вставлял. Мой ящики в магазине расколачивал. А говорят, был знаменитым садоводом в Переславле-Залесском. Мы с мамой его расторопностью уцелели в блокаде. Разбомбленные склады дали нам еду. Сахарный песок в мусоре — всё-таки сахарный... Но отец спас нам с матерью жизнь ещё раз, когда из блокады вырвались... Есть такая станция — Буй. В Буй для блокадников обед приготовили. Каждому по тарелке куриной лапши с хорошим куском

мяса. Мама за ложку, я, чтоб время не терять, из тарелки хлебнул... Тут отец по столу ладонью — хлоп! Тарелки у меня, у мамы отобрал, официанта попросил принести две пустые и разделил свою порцию на троих. Вкусно было очень, и очень мало, но в поезд сели, а на следующей станции из нашего вагона вынесли шесть трупов.

— Давайте всё-таки выпьем за нашу очень и очень большую жизнь! — Федя принёс драгоценный коньяк — подарок Владимира Фёдоровича.

— За что же выпьем? — спросила Наталья Ивановна.

Федя Осколков сверкнул весёлыми глазами.

— За мамонта!

— За мамонта! — рассмеялась Наталья Ивановна.

Владимир Фёдорович и Фёдор Максимович были уже ценные инженеры «Гидромонтажа», оба женаты, получали большие деньги, и было за что. Сооружали объект на берегах Ледовитого океана.

Лето, негаснувший день, мерзлота вечная. Копнули — мамонт. Целёхонький.

На обед рабочие партии Хохай и Омалька принесли свежее мясо. Не оленина, всем надоевшая. Нежирное, вкусное. Мамонт. Рискнули, с неделю питались доисторическим существом. Огромная туша разошлась по стойбищам.

— Знаете, что это такое — омалька? — спросила Наталья Ивановна. — Морошка по-ихнему.

— А Хохай?

— Не сказали.

Фёдор Максимович подошёл к стеллажу с книгами, открыл шкатулку, достал золотистобелое украшение: птица-женщина с распахнутыми крыльями, грудь высокая, но в то же время это вроде бы и сова. Полярная. Вместо глаз — алмазы.

— Из бивня. Подарок моей Нойке от стойбища... — протянул Наталье Ивановне. — Прими.

— Это святое и твоё, — не согласилась Наталья Ивановна. — Я тоже с нашим мамонтом не расстаюсь.

На чёрном шнуре на груди у неё — неброская прекрасная роза.

— Хохай резал.

— Нойка! — вздохнул Владимир Фёдорович.
— Другой такой хохотуны не видывал.

Осколков положил крылатую женщину перед собой на стол.

— Помянём всех наших!

Нойка была его жена. Из местных, красоты какой-то счастливой, озорной и такой серьёзной.

Помянули ушедших.

— Давайте ещё рюмочку за наш Байкал! — предложила Наталья Ивановна.

— Байкал! — развёл руками Осколков.

Владимир Фёдорович сказал:

— Байкал всякий день у меня перед глазами. В нашем подъезде водолаз Иван. Ты его знал.

— Как не знать. Ты ставил ему избу на льду, а мы избу камнями загружали, утопить надо было на сорок восемь метров, не выше — не ниже.

Пошли на реку с кувшинками попрощаться — утром уезжать.

А кувшинки уже под воду ушли — вечер.

— Хорошая у вас земля, люди хорошие.

Лицо у Владимира Фёдоровича было мечтательное и грустное.

— Вот что значит один человек, — сказал Осколков. — Губернатор наш золото. Без народа, конечно, жизни не бывает, но народ любит, когда о нём думают. Отвечает благодарно.

Утром возле чемодана стояли рамки с сота-

ми — тяжеленные, три банки целебных мёдов, тоже тяжеленные.

— Федя! У нас с Владимиром Фёдоровичем на двоих четыре руки! — рассердилась Наталья Ивановна.

— Кречетов не село, не город, но наши люди всегда в нужном месте в нужный час! — Осколков поцеловал руку грозной женщине.

... Поезд тронулся, и прошлое, вернувшееся к ним на трое суток, побежало вспять, к себе.

В Москве пассажиров, прибывших из Кречетова, встретили два бравых молодца. Посадили в машину, отвезли в Селятино.

— Ай да Осколков! — изумлялся Владимир Фёдорович. — Нужные люди у него в нужном месте в нужный час.

Окончание следует

□

Владислав Анатольевич БАХРЕВСКИЙ —

прозаик, поэт, детский писатель, драматург, публицист, критик.

Родился в 1936 г. в Воронеже.

Окончил педагогический институт в Орехово-Зуеве.

Автор более ста книг для взрослых и детей.

Первая его книга — «Мальчик с Веселого» — была издана в 1960 г.

Наиболее известны его исторические романы: «Василий Шуйский», «Смута», «Тишайший», «Никон», «Аввакум», «Страстотерпцы» и др.

Многие произведения писателя адресованы детям:

«Дядюшка Шорох и шуршавы», повести «Агей», «Голубые луга», «Скиф и грек», «Кипрей-Полыхань», «Солдат-орешек», «Повелитель пампы» и т.д.

Лауреат премии Всероссийского конкурса на лучшее произведение для детей и юношества (1968),

Всероссийской премии «Капитанская дочка» (1997),

премии им. Александра Грина (2005),

литературной премии журнала «Север» (2013) и др.

Член Союза писателей России с 1967 г.



**Дмитрий
ГОРОХ**

г. Петрозаводск



Тесный микроавтобус урчит, но тащит нас все выше. Справа отвесные изломанные скалы со следами недавних обвалов в сочных ягодных пятнах шиповника и облепихи, слева глубоко внизу по каменистому дну ущелья бежит немыслимой лазури блестящий поток извилистой речушки Баксан. Питают ее тающие ледники, пока еще скрытые от глаз травянистыми склонами гор, и сама она цвета расплавленного голубовато-зеленого художественного стекла.

От красивых ли высот или же от высокой красоты кружится голова, пока, наконец, подвижное облако, в которое на очередном витке вкатилась «микрошка», не оставило мир за серыми ставнями. Непередаваемое ощущение сырого погреба и деревенской парилки в «черной» бане, где свет из маленького тусклого окошка пробивается лишь на расстояние вытянутой руки, через минуту сменяется восторгом, когда, фыркнув совсем уж обессиленно, гордая «газель», навьюченная как ослик, оставляя за собой клубы пара, вдруг вынырнула в солнечной высокогорной долине.

Над окружающими хребтами, еще недавно грозными и недоступными, а тут будто упавшими

ниц и распростертыми в прах, в зыбком воздухе, сияя, блистал белоснежный двуглавый Эльбрус, и каменные руки отрогов благоговейно тянулись к его стопам...

«Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал». Прилипчивые слова из песни давно крутились в голове, когда в сознание ворвался бесстрастный голос гида: «Сейчас мы въезжаем в балкарское село Тегенекли, расположенное в верховьях Баксанского ущелья на высоте двух тысяч метров. Справа мы видим памятник Владимиру Семеновичу Высоцкому, самый высокогорный из существующих. Здесь, в Приэльбрусье, он снялся в фильме «Вертикаль» и написал одну из самых известных своих песен...»

Так, экскурсией на Чегет и Эльбрус наш короткий отпуск распался на две части: до гор и после. Все, что я видел до сих пор в окрестностях Кисловодска: песчаные и меловые горы, пещеры, водопады Аликоновки, скалы причудливых форм, даже сам курортный парк Кисловодска с его терренкурами, беседками, гротами, аллеями, рощами, мостиками через Ольховку, долиной роз, Красными, Серыми и Синими камнями, каскад-

ными лестницами и павильонами, разбитый в 1823 году по приказу генерала Ермолова и засажженный привозными деревьями, некогда самый большой парк Европы, теперь же второй по площади из-за того, что новое время не в силах было сопротивляться нуждам бизнеса, начавшего откусывать от этого праздничного торта, все это без сомнения великолепно, восхитительно и даже умопомрачительно. Но только ледяные вершины Кавказа смогли потрясти космической силой пейзажа и оторвать окрыленный дух от уничиженного и растоптанного в человеческом существе тела. До того я бывал в Альпах, но они показались мне не так поразительны.

Приземлился наш литературно-отпускной десант в аэропорту Минеральных Вод третьего октября. Поэт Олег Мошников, бард Федор Кузьмин и я, на пару с супругами – вшестером – сняли комнаты в частных домиках на улице Кольцова в Кисловодске. Наш хозяин представился Юриком, был он отставным сотрудником милиции, из нужды ставшим «акулой» турбизнеса, и милейшим, предупредительным человеком. Однажды он сварил шулюм, приготовил шашлык из баранины на виноградной лозе и мы устроили совместный пир со стихами, песнями и отличного качества местным коньяком, источников которого в этих благодатных краях едва ли меньше, чем нарзанов (и того и другого надо употреблять в меру, чтобы не навредило).

Жили мы в старом центре города неподалеку от Свято-Никольского собора, разрушенного и заново отстроенного, прямо напротив остатков первоначальной крепости, переустроенных под краеведческий музей. Именно эту крепость упоминает Лермонтов в повести «Княжна Мери». Со строительства военных укреплений в 1803 году и началась история города Кисловодска, что любопытно, ровно через сто лет после основания Петрозаводска. В 1820 г. в Кисловодской крепости жил А.С.Пушкин. Конечно, мы не могли здесь не выступить.

Конкурировать с различными заезжими гастролерами, коих здесь великое множество, не входило в наши планы, первым и единственным пунктом которых значилось: никаких планов. Не было ни афиш, ни оргкомитета. Директор «Крепости», немало изумленный, но мужественно не подавший виду, доверил нам скрасить официальное мероприятие юных натуралистов.

Зал был полон седовласых старцев; после затянувшихся речей, приветствий и награждений по непонятному для непосвященных поводу нам да-

ли слово. Научная интеллигенция слушала вежливо и хлопала глазами. Спящий на военном совете Кутузов смотрелся здесь огурчиком. Несколько остроумных шуток Олега Мошникова из жизни современного «водяного общества» публика встретила благосклонно, ободренный выступающий тут же предложил прочитать напоследок короткий рассказ и, несмотря на робкое, но дружное «мы пойдем», взялся читать... Под конец одна дама замешкалась, чтобы подарить нам сборник своих стихов с трогательной надписью «Юным натуралистам Карелии от юннатов Кавказа»...

Первые наши дни были заняты пешими прогулками по многочисленным и неповторимым дорожкам и тропинкам парка. Здешние пути имеют ту особенность, что ведут они все не в Рим, а к Нарзанной галерее. Богатырский напиток нартов, пожалуй, не чудеснее нашей марциальной воды. Но горный воздух и южный климат заставляли москвичей и петербуржцев XIX века целый месяц трястись на перекладных в повозках по пыльным и ухабистым трактам степной России, чтобы жить здесь в калмыцких кибитках, под защитой военного гарнизона. Только этим оправдывается рассвет курортного дела на Кавказе и упадок оногo в нашем крае.

Поднимались мы и на каменную вершину Мало-го Седла. Под нами почти на пятьсот метров ниже жил и работал город, впереди по горизонту широкими мазками тянулись зеленые склоны хребта, над которым, когда небо безоблачно, в голубоватой дымке сияют снежные вершины Эльбруса. Неподалеку на горе Красное Солнышко, на краю утеса лет десять назад был установлен бронзовый памятник сидящему на скамеечке Лермонтову скульптора Николая Ходова. Романтическая фигура молодого офицера, фронтовика наклонена вперед, взгляд устремлен на Эльбрус, внизу пропасть, а он вот-вот встанет и шагнет.

Странная судьба у этого памятника. Удивительно похожий монумент стоял во Владикавказе, но ночью был варварски демонтирован и увезен по распоряжению администрации: то ли вспомнились былые обиды осетинов на поэта, то ли это отголоски местных политических распри. А два года назад уже кисловодские чиновники решили низвергнуть поэта с Парнаса и отвели ему место в нижнем парке у мостика «Дамский каприз». Теперь, получается, бронзовый Лермонтов не в силах отвести взгляда от каменного грота, облюбованного местными и приезжими ценителями для романтических встреч. Пользуясь замешательством Михаила Юрьевича, другие активные да-

мочки в это время зачем-то елозят на его коленях и натирают до блеска нос.

Путешествуя в Северную Осетию, мы фотографировались у грандиозного монумента Уастырджы – Святого Георгия на трехногом коне, авторства все того же Николая Ходова. Стальной всадник как бы возносится из скалы и нависает над дорогой в Алагирском ущелье. Образ святого сильно отличен от канонического и больше соответствует древнему языческому герою. Двадцативосьмитонная статуя тоже, вслед за низвергнутым памятником Лермонтову, грохнулась вниз однажды. То ли небеса надавили, то ли земля притянула, то ли просто такая местная традиция.

Христианство пришло в Осетию на половину тысячелетия ранее, чем в русские земли, но, не затронув глубоко души народа, осталось во внешней обрядовости. На древнем капище осетины пристроили иконы Уастырджы и Мады Майрам (Мать Мария), соорудили павильоны: здесь они слушают тишину древнего бога, имя которого может быть любым: Ахура-Мазда, Зевс, Савоф, Христос, и ни одно из них не будет настоящим. Здесь под куполом неба в окруженном скалами ущелье – в истинном храме их веры – мужчины приносят жертвы тому, о ком тысячелетия стерли любые фантазии, оставив тишину присутствия и отклик молитв.

Кавказ – большая коммунальная квартира этносов, где про соседа расскажут любую гадость вполне беззлобно. Невозможность разъехаться учит терпению и философскому взгляду на жизнь. При всей своей природной горячности и отчаянной смелости истинный сын Кавказа выглядит настоящим флегматиком. Подобной «броней» наделен только ядерный реактор.

Как родовая каменная башня, нависшая над пропастью, где клочья тумана налетают призраками былых смельчаков и порывистый ветер сбивает с ног, так – не нараспашку – и душа осетина. Скромнен и незаметен и сам горец. Вспомните Сталина, ходившего в заношенном френче и движением мизинца отдававшего приказ на переселение народов. Здесь, в Осетии, бюсты и улицы вождя встречаются повсюду.

В одном из отвесных каменных склонов на входе в ущелье предки осетин построили крепость. Похоже ласточки строят гнезда. Мы не увидели никакой крепости, пока не перешли по мостику через бурный ручеек Фиагдона и не оказались прямо перед ней, настолько искусно и незаметно была сооружена известняковая стена с бойница-

ми, закрывшая вход в пещеру. Попасть в нее можно было только через единственный лаз по веревочной лестнице. Сама пещера вмещала сотни людей и была готова к длительной осаде. Выше, справа и слева, виднелись бойницы других укреплений, независимых друг от друга, вместе же получался неприступный по средневековым меркам оборонительный комплекс. Только воины Тамерлана, взявшего крепость измором, и пушки генерала Абхазова, разрушившие стены, отпраздновали здесь свою победу.

Другой раз мы готовились выступить восьмого октября в Минеральных Водах на вечере памяти А.С. Грибоедова. Собрал вечер в музыкальном колледже известный в Карелии и на Кавказе журналист, актер, педагог и поэт Николай Прокопец – организатор поэтического театра «Кредо». Птенцы его актерской школы читали грибоедовские шедевры, впрочем, «читали» не то слово, они шептались, плакали, кричали, пели и играли стихи так выразительно и так эмоционально, что поднявшиеся было смешки скованной и закомплексованной части студенчества смолкли, не в силах противостоять стихии, разбуженной Мастером в этих подростках. Сам Прокопец блистал привычно, колдуя и ворожа над залом, укутывая в бархат голоса и прожигая взглядом, мастерски удерживая внимание сложной аудитории. После исполнения вальсов Грибоедова и романсов на его стихи искушенная публика перешла в руки гостей, кроме нас выступил поэт из Карачаево-Черкесии Мусса Дудов, читавший тихо и трогательно. Полки дрогнули, не в силах дослушать мои литературоведческие изыски о взаимоотношениях «Арзамаса» и «Беседы любителей русского слова», и в данной ситуации простительнее было скомкать трактат, чем потерять армию. Стихи Олега Мошникова и песни Федора Кузьмина подняли боевой дух, и бурные аплодисменты новыми звездами упали на погоны нашего честолюбия.

Эльбрус! Он и сегодня манит, величественный и мягкий одновременно. Его очертания женственны, но под ними клокочет ярость живого вулкана, он выше людей, и все человеческое ему чуждо. Ему поклоняются, его обожают, он мог бы стать пастырем, но он равнодушен к миру. Скрытые в нем силы больше его и нас. Его убийственная мощь и его жертвенная красота покорили меня своим совершенством.

Когда нам посоветовали поездку в урочище Джилы-Су, мы согласились уже только потому, что хотелось снова увидеть Эльбрус. В первый

раз мы приближались к его восточным и южным склонам. Это самый популярный маршрут. Здесь все обустроено: гостиницы, кемпинги, электрические канатные дороги, горнолыжные спуски и многое другое, что сделано человеком и для человека. Человеческое участие ничуть не умаляет природных красот.

Вершина Чегета – отличное обзорное место: на юге – северные склоны Главного Кавказского хребта, величественный Донгуз-Орунбаши с ледником «Семерка», сразу за перевалом начинается Грузия, на севере – южные склоны Эльбруса, Джилы-Су, плато Бермамыт, где сходятся границы Ставропольского края, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, город Кисловодск. Такая вот занимательная география! Ну и, конечно, сам подъем на одну из семи высочайших гор планеты: не затратив ни одной килокалории, мы с комфортом поднялись на 3500 метров и высадились на станции «Мир». Здесь яркое солнце, снега и легкий морозец. Две вершины – вот они, на ладони. Легкая прогулка! Только там в это время мороз за сорок и выюга, и на самых, казалось, истоптанных альпинистских маршрутах ежегодно гибнут десятки людей. Мы не были альпинистами, не думали покорять или брать штурмом, и магическое внеземное притяжение, поиграв, отпустило нас.

В другой раз мы попадали к подножью Эльбруса с севера, по ущелью Малки, где следы человеческой культуры и скульптуры еще крайне редки и силы природы властвуют безраздельно. По единодушному признанию всех в нашей команде, это было самое восхитительное, ни с чем не сравнимое путешествие. Ранним утром все было скрыто в густом тумане. Душа уже не ждала открытий и радовалась лишь детским восторгам тела, которому были обещаны теплые ванны Джилы-Су и чудодейственные источники на любой самый взыскательный вкус и на любую самую запущенную болезнь.

Как известно из сочинения Псевдо-Аполлодора, автора «Библиотеки», Прометей был прикован к склону Кавказских гор. Адыгские сказания местом пребывания богов называют гору Ошхамахо. Однажды предводитель нартов Насрен-жаке отважился проникнуть на священную гору и сразился со злым богом Пако, укравшим у людей огонь. Разгневанный таким самоуправством, верховный бог Тха приказал приковать богоборца к скале цепями. На кабардинском языке «Ошхамахо», что переводится как гора счастья, – и есть Эльбрус. В девятнадцатом веке черкесы

еще показывали русским путешественникам каменья в вышине, к которому был прикован герой.

Журналисты называли Джилы-Су мистической здравницей России. Эзотерики свили себе здесь гнезда выше орлиных. Тут и славянский рай – Ирий, и древние цивилизации, и немецкий аэродром в горах, где должен был приземлиться Гитлер, чтобы отыскать пятый элемент. Воистину, сон разума порождает чудовищ!

Кроме тумана, других чудовищ мы не встретили, да и туман стал рассеиваться, и утренние золотистые лучи солнца пробивали в сером саване подвижные бреши. Автобус сделал остановку на высокогорном плато. Пожухлые краски осенней степи были подернуты инеем. На горизонте ветер гнал облака, то скрывая, то открывая вновь заснеженные пики, в этот момент словно обрамленные равным паспарту. Солнце светило все ярче, и неожиданно впереди открылись прозрачные дали. Над дорогой возвышался двугорбый Эльбрус, и только отсутствие барабанной дроби и пионерского горна доказывало реальность происходящего.

У теплого источника какие-то люди разбирали последние самодельные навесы и палатки, собранные из разного старья. Несколько строительных бытовок, почти никогда не пустующих, здесь вроде пятизвездочной гостиницы. Из расщелины kloкочет серно-кислый нарзан, изливаясь в природную ванну, где умещаются до десяти человек. Доктора еще не придумали для Джилы-Су правил и распорядка, и каждый волен пить из разных источников, смотреть, как реки берут начала из ледников, как извергаются с немыслимой высоты водопадами, следить за полетом орла и любоваться рассветами и закатами. В этом месте чувствуется дух веселой и дружной коммуны. Блага цивилизации с неременными иерархичностью и барышничеством еще не зазвучали в урочище пустозвоном современных рыночных и общественных отношений. Но вот уже построено асфальтированное шоссе и на границе стоит шлагбаум, и назначена плата за въезд, и коммерсанты выстроились в очередь за право торговать, строить и управлять. И я уже слышу хохоток Пако, и грохот цепей стеновещего титана, и мне уже кажется, что на несуществующем аэродроме зажигаются посадочные огни.

Когда в Кисловодске задождило, осень все-таки, мы осознали необходимость спуститься с гор и направились в музеи. Уютная дача художника-передвижника Николая Ярошенко стала домом для замечательной коллекции живописи и графики. Генерал-майор был народником, но сам в на-

род не ходил, однако талант его и слава привели народ к нему. Федор Шаляпин, напротив, не для того выходил из народа, чтобы когда-нибудь вернуться. Когда воодушевленные рабочие и крестьяне настигли его в Петербурге и замаячила братская перспектива делить вино, женщин и деньги, великий бас тихой сапой перебрался в Париж, куда лапотникам путь был заказан. Теперь вот и усадьба Шаляпина в Кисловодске закрыла перед нами свои гостеприимные двери. Помяв шапки в руках, мы спросили короткую дорогу до домика Солженицына, донна – хранительница музея – не отказала себе в удовольствии послать нас кружным путем. Поняв, что заблудились, мы задали тот же вопрос встречным мальчишкам. Те, в свою очередь, поинтересовались, зачем нам Солженицын, ведь он же вроде помер. Не иначе, решили мы, лешак нас водит, и разбили туземные чары заморским гаджетом. Навигатор проложил новый путь, который и вывел нас к цели.

Теремок тети А.И. Солженицына в аристократической части города, где писатель прожил несколько детских лет, был приговорен как член семьи, претерпел немало, но уцелел, вопреки здравому смыслу. В свое время размещались в нем и парикмахерская, и мастерская, и котельная, и был он заброшен и разорен, и уже приступали к сносу, а вот же, обветшалый и загаженный, бомжевым приютом дожил он до перестройки. Всю улицу снесли, Пантелеимоновскую церковь взорвали, а этот дом устоял, чтобы по-дедовски, развалиной, но в полный рост встретить проехавшего железкой через всю страну от Магадана до Москвы, а потом и до Кисловодска изгнанного великого русского писателя и патриота, когда он триумфально возвращался на родину. После смерти Солженицына дом начали восстанавливать. И вот уже в 2015 году, летом, открылся замечательный, очень современный музей, новым языком говоря, интерактивный и мультимедийный.

О детстве писателя, о его родителях, о первых воспоминаниях пятилетнего пацаненка, таких ярких, что пронес их Солженицын через всю жизнь, ставших истоками его творческой полноводной реки, не иссохшей, не ставшей частью чужого потока, но вобравшей в себя тысячи и тысячи ручейков-судеб, чтобы влиться в конце пути в вечность, о войне и шарашке, о рудниках и ссылке, о Новом Мире, об изгнании и возвращении говорят фотографии и документы, интервью и фрагменты фильмов на видеоэкранах и динамических витринах, и экскурсовод в этом оркестре не первая скрипка, а одухотворенный дирижер.

Руководитель музея Александр Подольский провел нас наверх, в третий этаж башенки, где под крышей установлен телескоп. Для детишек здесь будет устроен Астрономический клуб, ведь и сам Солженицын в школе преподавал астрономию и физику. Как верно заметил Олег Мошников в своем стихотворении:

*На чердаке поставлен телескоп –
Звезду писателя увидеть после смерти.*

Но мы ошибемся, если решим, что этот замечательный исторический и архитектурный памятник в древнерусском стиле, что эти статные хоромы с каменной горницей и деревянным теремом, увенчанным фигурной крышей, с резными балкончиками и крыльцами, с шатровой башенкой, редчайший образчик в современном городе, открыты взору и возвышаются над окружающим ландшафтом. Ничуть не бывало. С четырех сторон, буквально вплотную, растут железобетонные стены каких-то гостиниц, образуя подобие колодца или каменного мешка, в котором новый век держит свои «безделушки», вроде низвергнутого памятника Лермонтову или дома Гориной...

Нам показали неприметную тропу, и уже через минуту, спустившись по склону, мы прошли мимо светящихся окон дома-усадьбы Федора Шаляпина.

Последнее наше выступление должно было состояться в Пятигорске. Елена Даниленко, заведующая отделом «Дом Алябьева» Государственного музея-заповедника М.Ю. Лермонтова, планировала организовать маленький поэтический вечер. Но, как это часто и бывает, все произошло несколько иначе. Мы, как пилигримы, шли за звездой. А звездой был Николай Прокопец. Камерное мероприятие превратилось в новый вечер памяти А.С. Грибоедова, приуроченный к 220-летию со дня рождения поэта и дипломата. Только теперь не студенты, а творческая интеллигенция собралась в зале, публика тонкая и взыскательная.

Заслуженная артистка России Ирина Комленко исполнила два ромansa, музыка Анны Сааковой на стихи Грибоедова прозвучала впервые. Олег Мошников прочитал свой «Алмаз».

*Январским днем смертельно Пушкин ранен.
В преддверье ночи Лермонтов убит...
Растерзан Грибоедов в Тегеране –
В чреде смертей безвременных – пиит,
Встав в полный рост, шагнул под ятаганы,
За ним – посольство, Петербург, Кавказ!*

*Скривился царь российский: «Басурманы!
Чего с них взять? Ну разве что – алмаз...» –
За голову посла – Вазир-Мухтара,
Чтоб шах Державе предан был и впредь...
Царю о прочем думать не пристало,
Раз выгодна Двору такая смерть!
Мол, был посол негибок и невежлив –
Отсюда недоимки и джихад...
И то, судья нашелся – словом режет!
А резать может только бриллиант...
Персидская резня – забыта Высшим Светом.
Полна казна. Набиты закрома.*

*Открыл глаза России Грибоедов:
В крови караты, горе от ума.*

*На Черной речке ал рубин рассеян,
Рассыпан на горе Машук агат...
Поэта русского бесценен дерзкий гений
И – огранен бессмертием талант!*

Федор Кузьмин спел несколько песен. Читали стихи поэты Умар Яричев из Чечни, Светлана Клименко из Пятигорска. В художественном чтении вместе со своими студентами по-прежнему неотразим был сам Прокопеч, перемежая чужие поэтические строки своим отточенным мастерством рассказчика. Судьба и творчество Грибоедова в его изложении казались утонченной вязью малоизвестных фактов и неожиданных сопоставлений. Зал рукоплескал. Мне была уготована участь завершить этот вечер все тем же докладом. Грибоедов никогда не бывал в Карелии, но в Петрозаводске живут потомки Пушкина, хранится посмертная маска поэта. Взаимоотношения двух современников, двух гениев дают неожиданный ракурс. Чтобы не утомлять читателя пересказом, представлю главные тезисы.

Молодой Грибоедов примкнул к литературному обществу «Беседа любителей русского слова», основанному Державиным и Шишковым. Он был патриотом, любителем всего русского и противником западного тлетворного влияния. Позже над преклонением общества перед всем иностранным он еще посмеется в «Горе от ума». Пушкин весело обрушивал весь свой талант на участников «Беседы...», осыпая их градом колких эпиграмм. Сам Пушкин состоял в «Арзамасском обществе безвестных людей», защищавшем от нападков идеи Карамзина о необходимости реформирования русского литературного языка. Как всегда у нас, говорили они об одном, но разными словами. Вряд ли кто упрекнет Карамзина

или Пушкина в отсутствии патриотизма. Тем не менее такое свойственное всем русским неумение слышать друг друга и здесь сыграло дурную шутку. Плодотворные споры о развитии языка породили и первую трещинку, ставшую в будущем пропастью, между «западниками» и «славянофилами». Сегодняшние либералы и консерваторы самозабвенно продолжают любить Россию, каждый по-своему.

Тем не менее и Пушкин, и Грибоедов, понимая ограниченность двух подходов, идут каждый своим путем, но идут навстречу друг другу. На нейтральной полосе рождается русский литературный язык. Похожую оценку в их творчестве получают также идеи декабристов. И Чацкий, и Онегин – носители новых, западных идей, они «прогрессивно мыслящие люди», как нарекут их позже. Декабрист Чаадаев один из прототипов этих персонажей. И Пушкин, и Грибоедов вкладывают в уста героев собственные мысли, наделяют передовыми идеями, дают им возможность проявить себя в обществе, наблюдают и... выносят безжалостные приговоры обществу, героям, себе. Татьяна «русская душою», пережив влюбленность, отвергает Онегина. Чацкий говорит красиво, но «не служит, то есть в том он пользы не находит...» Вот и шпилька автора, служившего ревностно. Заявление «служить бы рад...» остается пустым звуком. Непонимание персонажем российской действительности приводит к краху. Оболганный Чацкий бежит, а его идеи оказываются дискредитированными. Так же поспешно и необдуманно было выступление декабристов, которое только отодвинуло проведение либеральных реформ. Недаром сначала герой был довольно прямолинейно назван Чадским.

Менее понятно происхождение имен Онегин и Ленский. Идея имен-гидронимов, производных от названий северных рек, не оказалась плодотворной. К тому же Ленский изначально, в черновиках, назывался Холмский. Отсюда: «Они сошлись. Волна и камень, стихи и проза, лед и пламень...» Переименование в Ленского, в случае имен-гидронимов, приводит к смешению, а должны быть единство и борьба. Пушкин полифоничен, многослоен: и его герои раскрываются во взаимодействии политических взглядов (западничество – русская самобытность), литературных подходов (стихи – проза) и эмоциональных характеристик (лед – пламень).

Если не река Онега, то тогда озеро. Идея тоже не нова. Но рассмотрим такие аргументы. Первый русский реформатор – Петр Первый, а к изу-

чению личности Петра и его времени Пушкин подходил весьма серьезно, на берегу Онежского озера тот основал железоделательные и пушечные заводы. В победе над шведами этот факт весьма важен. Управляли Петровскими заводами приглашенные иностранцы: Георг Вильгельм де Геннин, затем Чарльз Гаскойн. Онежское озеро звучит и в поэме Ломоносова «Петр Великий». Державин, который, «в гроб сходя, благословил» Пушкина, был губернатором Олонецкого края и написал знаменитую оду «Водопад». Наконец, приятелем Пушкина оказался Александр Полторацкий, внук Гаскойна, с которого будто бы списан Онегин, о чем подробно пишет в своем замечательном исследовании петрозаводский краевед и писатель Николай Кутков. Впервые эта гипотеза была озвучена им в журнале «Север» еще в 1998 году. Неоспорим тот факт, что Пушкин много раз и слышал и встречал в рукописях слово Онега или Онего, относящееся именно к озеру. Когда позже декабрист Федор Глинка, сосланный в Карелию, напишет поэму «Карелия», в которой Онега (озеро) названа зеркалом страны, Пушкин с напутственным словом, «выписав несколько отрывков», напечатает ее в своем журнале. В этот момент Онегин уже назван, но роман еще недописан.

К тому, что сказано, стоит добавить еще одно соображение. Николай Кутков много пишет о доме Лениных. Там Пушкин встречается с Полторацким, знакомится с его двоюродной сестрой Анной Керн, любовные многоугольники молодых людей едва не приводят к дуэли. В конце концов, именно в доме президента Академии художеств и директора Публичной библиотеки А.Н. Оленина, в присутствии всех действующих лиц, Крылов читает басню, где есть строка «Осел был самых честных правил...». Здесь стоит пойти до конца и предположить, что Пушкин мог анаграмматически воспроизвести имена главных героев из фамилии Оленин. Оленин – Онегин – Ленский.

Смерть Грибоедова из политических соображений повелено было считать результатом опрометчивого усердия самого дипломата. Цензура бдительно вымарывала любые упоминания о трагедии. Пушкин лишь через семь лет в «Путешествии в Арзрум» публично откликнулся на смерть Грибоедова. Несколько фраз о знакомстве и встречах, о жизни его и характере, и в конце, как эпиграф: «замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе следов. Мы ленивы и нелюбопытны...»

В том же «Путешествии в Арзрум» Пушкин сно-

ва возвращается к «Водопаду». «Граф Пушкин и Шернваль, смотря на Терек, вспоминали Иматру и отдавали преимущество реке на Севере гремющей. Но я ни с чем не мог сравнить мне предстоявшего зрелища». Река гремющая – это карельская Суна. Иматра – местечко в Финляндии. Север в образном строе поэта окутан был представлениями более возвышенными, чем реальными, и занимал отнюдь не последнее место.

Закончил я свой доклад стихами на все ту же вечную тему: места Европы в размышлениях о России.

*Что это за мир такой правильный,
Что это за жизнь без чудес?!
По линейке все тракты, травы ли
И почти не кучеряв лес.*

*Сколько глаз: горизонт плакатами
Занавешен, скрывая суть.
Чисто вымытыми, богатыми
Проживает неспешно чудь.*

*Мягким бризом укутав голову,
Спит земля в гамаке дорог,
Самоцветом сияет Оулу –
Новгородский былой острог.*

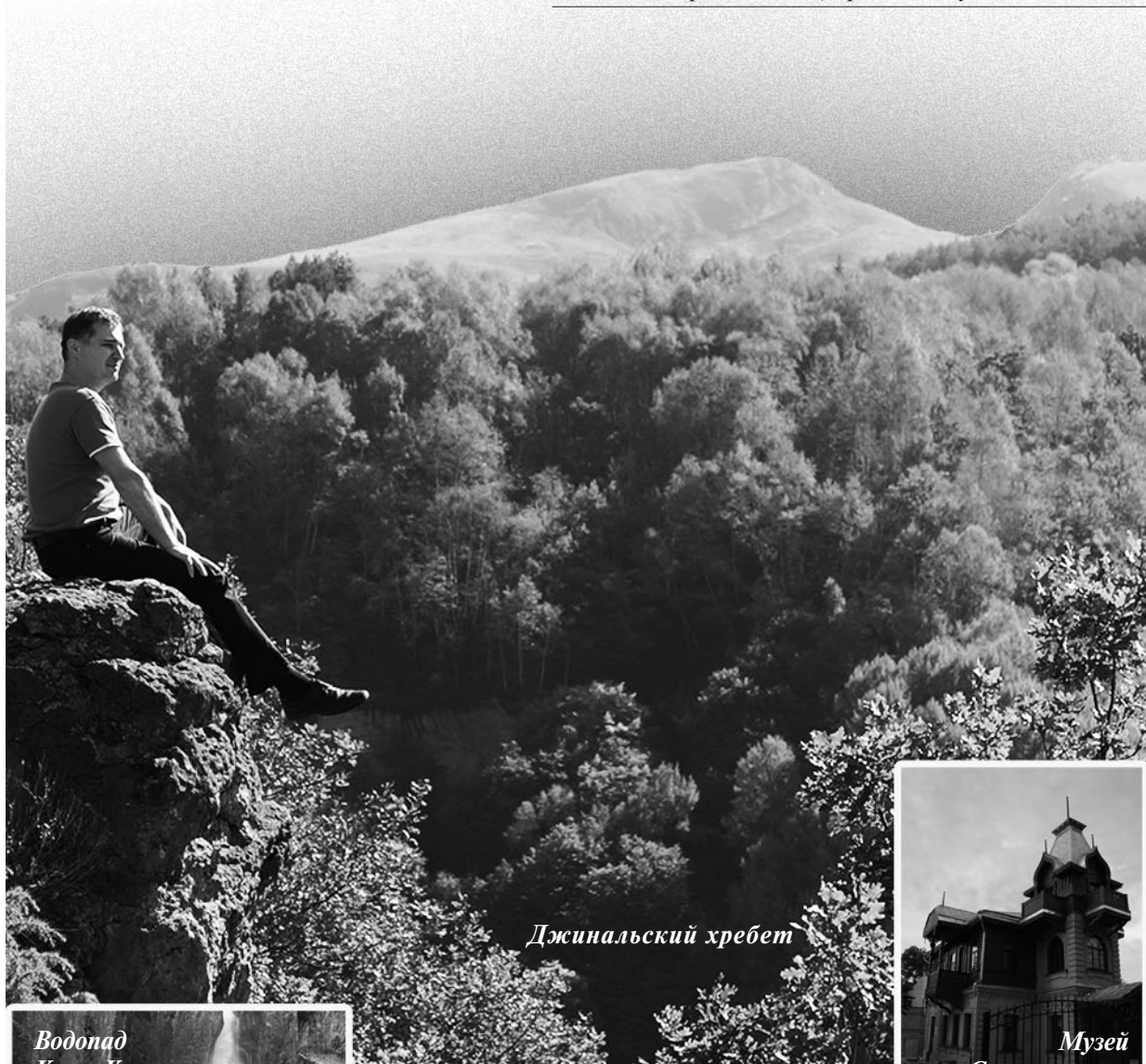
*Миновали разборки Ордена,
Рима, Дании и Москвы...
И сжигали потомки Одина,
Чтоб опять навести мосты;*

*Пузырились хмельной отвагой ли
И разбойничали вдали,
Или снова: вдовы оплакали,
И шелка везут корабли,*

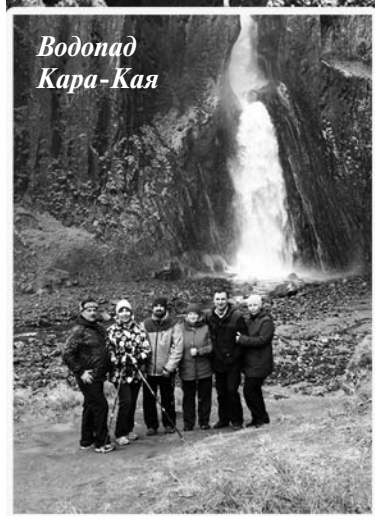
*Дабы нынче кумиром общества
Без опоры на -изм и -ость,
Оставляя вмиг скоморошество,
Восторгался наивный гость:*

*И богатством туземным, сытостью,
И разумностью бытия,
И, смутившись совсем, открытостью
Безо всякого пития.*

*Так живут: и не репу парить им,
И не божьей искать росы...
Смех Европы слышен на паперти
Молчаливой святой Руси.*



Джинальский хребет



*Водопад
Кара-Кая*



*Музей
Солженицына
в Кисловодске*



В экспозиции музея Солженицына

Будучи в Пятигорске, грех не пройти по городу, любуясь попеременно Бештау и Машуком, подняться к беседке «Эолова арфа» или спуститься к Провалу, купив билетик у медного, но такого вечно живого Остапа Бендера, пройти по парку, постоять на месте дуэли Лермонтова, вот здесь, под проливным дождем лежало его тело...

Лермонтовские места! Кому-то пустой звук, кому-то пионерское детство, кто-то бывал здесь не раз и готов приезжать еще, я был здесь впервые. В домике Лермонтова меня поразили его картины и еще почему-то письменный стол. Массивный стол коричневого дерева с зеленым сукном, самый обычный для того времени. За этим столом поэт написал стихи «Выхожу один я на дорогу», «Нет, не тебя так пылко я люблю», «Пророк». На этом зеленом сукне остались разбросанными черновики и в бронзовых подсвечниках оплывали огарки свечей в его последний вечер.

Вернувшись в Кисловодск, я по-новому перечел «Княжну Мери». Я взобрался на гору Кольцо и посмотрел на окружающий мир в огромный иллюминатор батискафа, застывшего в глубине времени.

Таким было наше путешествие «с милого Севера в сторону южную», к синим горам Кавказа. И хотелось бы, чтобы вместе с нами, в обратную сторону, перенесся дух Лермонтова, Грибоедова, Солженицына, и в Петрозаводске, вместо вскользь упоминаемых экскурсоводами – петрозаводской тюрьмы, где отбывал срок Николай Клюев, и барельефа на месте сгоревшего дома

Гаврилы Державина, появился настоящий литературно-исторический музей.

Отнюдь не хочу быть очередным вопиющим в пустыне, но Петрозаводску такой музей необходим как воздух. В домике горного инженера или во флигеле на Круглой площади. Ломоносов, Державин, Глинка, Пушкин и Полторацкий – есть чем увлечь туриста, для которого в нашем городе не много осталось исторических мест. Современный интерактивный музей с большими видеоэкранами и динамическими витринами, он не требует много места, но сколько же информации он вмещает! Современную молодежь вряд ли восхитит старинный диван, даже если его протирал сам Гаскойн, а вот современный девайс, выдающий голографию Гаскойна, «живая» карта объезда Державиным красот Олонецкого края его привлечет. Главное, рассказать нам есть о чем и гордиться есть чем.

Фото предоставлены автором



Дмитрий Анатольевич ГОРОХ

родился в 1975 году в г. Сортавале.

Окончил Петрозаводский государственный университет.

Живет и работает в Петрозаводске.

Автор книги стихов «Возвращение к морю»,

стихов и статей «Пыльца на ладони».

В «Севере» публикуется с 2004 г.



Галина Алексеевна ГОРБАЧЕВА

родилась в Петрозаводске.

Окончила исторический факультет

Петрозаводского государственного университета.

Работала по распределению в городе Кеми.

С 1990 года — преподаватель Петрозаводского лесотехнического техникума.

Впервые опубликовала стихи в 2012 году в сборнике «И будет помнить вся Россия!»

(Петрозаводск, 2012).

В журнале «Север» публикуется впервые.

**Галина
ГОРБАЧЕВА**

г. Петрозаводск



ВЛЮБЛЁННЫЕ

*Когда Боккаччо пел «Декамерон»,
На зачумленный свет глаза сощуря, —
Там, за углом, уже жила Лаура,
Уже Петрарка был в нее влюблен...*

Отрешённость движений как танец
На планете, где шаг невесом,
Но пронизанный солнцем румянец
Озаряет ответным теплом.
Мимолётные взгляды, как тени —
И такие же тени в ответ...
Убегать от любви — преступленье,
Но прекрасней преступников нет.
Рядом быть — бессловесная мука,
Испытание тайною... врозь —
Что-то тянет обратно друг друга,
Как земля — виноградную гроздь.
А садовник ... он хмур и немолод,
Холит грозди, гадая о том,
И какой ещё выдержат холод,
И каким ещё станут вином...

* * *

Прошепчи одно желание,
Пусть услышат небеса.
Замирая в ожидании,
Я смотрю в твои глаза.
Пусть исполнятся пророчества
Золочёных древних книг!
Эту ночь и одиночество
Мы разделим на двоих.
Прошепчи одно желание.

«Убегать от любви — преступленье...»

ЛЮБОВЬ

С острыми коготками, смеющаяся,
Но глаза её часто печальны,
Драгоценная, замирающая
На излуче ладони и тайны,

С сердцем маленьким и колючим,
Обрывающимся со страха отчаянно,
Чьих ключиц — неуклюжих уключин,

Лепестками крыл отягчаема, —
Изумрудами хрупкость сцеплена,

Чей запах горько-ментолов,
Шкурой поблёскивающая серебряно,
Из рода ящеров и драконов, —

Что мне с ней делать?
Чем кормить?
Отнесу процентщику в лавку,
Подвесит её на золочёную нить,
А нет — наколет пусть на булавку...

Задыхаясь от стыда,
Умирая от отчаянья,
Я хочу ответить «да»...
Но боюсь крестов и виселиц,
Тихих песен и молитв.
Я боюсь, что кто-то выстрелит,
Притворившись, что убит.

КАМЕНЬ

Ты бросил в меня камень.
И сердце зажглось болью.
По небу летел Ангел.
Огонь окропил кровью.

Твой камень вложил в сердце —
Кораллом — и свил рифом.
На тысячу лет дверцу
Замкнул ледяным шифром.

Дрожали в огне пальцы.
Глаза мои в лёд вмёрзлись.
Земля, расступись,
Сжался!..
Ловите меня, звезды...

КОЛЫМСКИЙ АСФОДЕЛЬ

*На стёкла вечности уже легло
Мое дыхание, моё тепло...*

О. Мандельштам

Мы научились, — время, вспять —
По стёклам вечности стрелять.

Хватило б камня у богов
Для всех Голгоф.

Когда во тьме ледел барак,
Дыханья не было, ведь так? —

Там Смерть, туманя зеркала,
Крылом легла?..

Там — Рим, Петрополь, Коктебель...
А здесь метель, метель, метель —

И хлоркой пахнет асфодель
Колымских недр.

Но Млечный Путь горит светло,
Хоть вечность — хрупкое стекло,

И миру не принадлежа,
летит душа.

* * *

Золотая оса и собака с доверчивой мордой,
Или бешеный бег, или Фауст над звёздной ретортой,

И солёное море, на звонах алхимии цвета,
И беззвучие крика, и капля, и позднее лето, —

Нестерпимо на синем, — на белом,
Прибойном и вьюжном,
На немом языке, где-то в городе терпком и южном,

Где гроза по глазам и взлетели над папертью флаги,
Где нарезаны люди из ломкой и тонкой бумаги.

Задыхаясь от света, нам сны принесут почтальоны.
Задыхаясь от скорости, к югу рванутся вагоны...

ХРУСТАЛЬНЫЕ ЗВЕРИ

Стеклянные своды над миром звенели,
Прозрачное небо летело над нами...
Там жили когда-то Хрустальные Звери.
Мы всё потеряли.

Звериные тропы тугие капканы
Опутали смертью, печалью и болью —
И эту добычу, ведя за арканы,
Назвали любовью.

Впечатай клеймо в золотые подковы,
Придумай замки и железные двери,
Не то не разбили б земные оковы
Хрустальные Звери.

Лови в зеркалах отражения света.
Разлей по стаканам забытое солнце.
Пусть время уходит дорогою ветра,
Ещё остаётся.

Сергей ВЕРИГИН

г. Петрозаводск

КРОВЬ ЗА КРОВЬ СМЕРТЬ ЗА СМЕРТЬ

БОРЬБА ВОЕННОЙ КОНТРРАЗВЕДКИ КАРЕЛЬСКОГО ФРОНТА ПРОТИВ ФИНСКОЙ РАЗВЕДКИ В 1941–1944 ГГ.

**По источникам из фондов
российских ведомственных архивов**



История борьбы советской контрразведки против деятельности разведывательных служб Финляндии в годы Великой Отечественной войны представляет значительный интерес для исследователей, так как дает возможность более объективно и всесторонне показать военное противоборство между СССР и союзницей Германии на северо-западном участке фронта – Финляндией. Эта проблема не получила еще достаточного освещения в российской историографии. Вместе с тем, следует отметить, что за последнее десятилетие было опубликовано несколько статей Э.П.Лайдина, С.Г.Веригина, О.М.Хлобутова, С.С.Авдеева и других исследователей, посвященных отдельным направлениям деятельности финских разведслужб в военный период и противодействию этой деятельности со стороны органов советской контрразведки.

Однако основное внимание в этих работах уделено деятельности территориальных органов государственной безопасности – 4-му отделу НКВД (НКГБ) Карело-Финской ССР и четырем отделам Управлений НКВД (НКГБ) СССР по Ле-

нинградской, Мурманской, Архангельской и Вологодской областям. Борьба военной контрразведки – Особых отделов НКВД (с апреля 1943 г. – УКР «Смерш» НКО) Карельского фронта против финской разведки не получила в них широкого освещения. В данной статье предпринята попытка на основе анализа большого комплекса архивных документов из фондов российских и финляндских архивов, многие из которых до последнего времени были секретными и только недавно стали доступны исследователям, восполнить этот пробел отечественной историографии.

Наряду с ожесточенной борьбой на полях сражений Великой Отечественной войны между противоборствующими сторонами развернулась небывалая по масштабам «тайная война». Одновременно с войсками вермахта и его союзников против Советского Союза были брошены наиболее опытные силы разведывательно-подрывного аппарата гитлеровского рейха и его союзников. По расчетам противника, этот разветвленный квалифицированный аппарат должен был с помощью шпионажа, диверсий, террора и провокационных акций ослабить бое-

вую мощь Красной армии, подорвать морально-политическое единство народов СССР, дезорганизовать советский тыл.

К началу вступления Финляндии в войну с СССР на стороне нацистской Германии страна располагала развитыми разведывательными и контрразведывательными органами. Разведку против СССР вело Управление военной разведки (разведывательный, иностранный и контрразведывательный отделы) и ее периферийные органы – разведывательные отделения в городах Лаппеенранта (Ленинградское направление), Йоэнсуу (Петрозаводское направление), Каяни (Беломорское направление) и Рованиеми (Мурманское направление). В годы войны Управление возглавляли полковники Ларс Меландер (1937–1942 гг.) и Аладар Паасонен (1942–1944 гг.).

В условиях позиционной войны на Карельском фронте для решения своих задач финскому военно-политическому руководству постоянно требовались новые сведения о Красной армии и ее планах. Одним из способов получения необходимой информации было использование разведки. Однако финская агентурная разведка оказалась не готовой к решению задач в новых условиях, возможности технической и легальной разведки были ограничены, а ведение войсковой разведки в советской прифронтовой полосе не обеспечивало получение необходимых сведений,

Рассчитывая на быструю победу, финская военная разведка не создавала разведывательных школ для широкомасштабной подготовки агентуры. Столкнувшись с нехваткой информации о противнике после начала позиционной войны, она начала испытывать острый недостаток агентурных кадров, что и стало одной из основных причин создания разведывательных школ по подготовке разведчиков, радистов и диверсантов. В конце 1941 – начале 1942 г. на приграничной территории Финляндии и оккупированной Карелии финская разведка создала 5 разведывательных школ: в Петрозаводске (2 школы), Рованиеми, Суомуссалми и Медвежьегорске.

Подготовка разведчиков в Петрозаводской разведшколе началась в мае-июне 1942 г., на курсах готовили одновременно до 20 агентов. Первый курс окончили в начале августа 1942 года 12 агентов, их разбили на пары и направили в советский тыл: 1-я группа разведчиков Петрозаводской разведшколы была направлена с разведзаданием водным путем в Ленинградс-

кую область; все остальные направлены воздушным путем: 2-я группа – в Беломорский район, 3-я группа – на Московское направление, 4-я группа направлена 20 августа 1942 г. в советский тыл (направление неизвестно), 5-я группа направлена 22 августа на Мурманское направление, 6-я группа 3 сентября 1942 г. в Каргопольский район Архангельской области.

Из 12 заброшенных агентов 11 разведчиков были сразу же задержаны (большинство явилось в органы советской власти добровольно, некоторые были арестованы органами безопасности). И только один агент Палилов (М.Ф. Полубейцев), сброшенный 20 августа 1942 г. на парашюте в район Беломорска, пойти с повинной в НКВД не решился, но он был арестован 8 января 1943 г. в Москве при призыве в РККА. Никаких заданий финской разведки он не выполнял.

С сентября 1942 г. по январь 1943 г. на курсах Петрозаводской разведшколы обучался 31 человек, которые в январе 1943 года были заброшены в советский тыл. Известны места заброски девяти агентурных групп (по 2 человека в каждой): в Карелию – район Беломорска и Сегежи, а также в Архангельскую и Вологодскую области. Практически все были задержаны.

Всего, по разным данным, в школе было подготовлено от 80 до 300 агентов. Однако точную численность подготовленных курсантов очень сложно определить, так как многие курсанты, скажем Рованиемской разведшколы, проходили обучение в Петрозаводской разведшколе, а их фамилии указываются и в той, и другой школе.

Кроме того, в конце мая 1943 г. по окончании Петрозаводской разведшколы 15 курсантов (7 радистов и 8 разведчиков) были направлены в Рованиеми, где в местной разведшколе занимались еще 1 месяц, а затем были заброшены самолетом в Архангельскую и Вологодскую области. Всего в мае 1943 г. в Рованиемской разведывательной школе находилось до 20 агентов, в основном прибывших из Петрозаводской разведшколы.

Активно, хотя и с меньшими масштабами, чем Петрозаводская разведшкола, работали и другие финские разведшколы: Суомуссалминская, Рованиемская и Медвежьегорская.

Разведывательные задачи забрасываемой разведшколами агентуре ставил разведывательный отдел Главной Ставки. Они включали выявление тактических и стратегических планов командования Красной армии, сбор данных о политико-моральном состоянии Красной армии и населения советского тыла, сбор сведе-

ний военного характера и данных о состоянии промышленных предприятий, работающих на оборону, а также о железнодорожном, шоссейном и водном транспорте и другие задачи. Кроме того, финская разведка готовила агентуру для внедрения в действующую Красную армию для сбора разведданных.

Агентура направлялась в ближний и глубокий тыл Карельского и Ленинградского фронтов: в города Беломорск, Сегежа, Пудож, Мурманск, Кандалакша, а также населенные пункты Ленинградской, Архангельской, Мурманской и Вологодской областей.

Активность немецкой и финской разведок на Карельском фронте вызвала беспокойство у военно-политического руководства СССР и командования Красной армии. Поэтому перед органами безопасности были поставлены задачи по локализации их деятельности. Эти мероприятия осуществлялись по двум направлениям. Первое включало внедрение своих разведчиков и агентов в разведывательные школы, второе – ликвидацию или уничтожение разведывательных школ противника. При этом все действия проводились параллельно и одновременно территориальными органами НКВД Карело-Финской ССР и военной контрразведкой Карельского фронта, причем мероприятия по второму направлению возлагались на 4-й отдел НКВД (НКГБ) КФССР.

С первых дней войны военная контрразведка Карельского фронта предпринимала шаги по внедрению своих агентов в финские разведшколы. В марте 1942 г. Особый отдел Карельского фронта внедрил в Косалмский разведывательный пункт финской разведки своего разведчика – Степана Дмитриевича Гуменюка. При отработке его биографии сотрудники Особого отдела пришли к решению оставить ее без изменения, полагая, что противник может сам все узнать; обсудили, какую информацию о советской воинской части передаст Гуменюк на допросах у противника, одновременно в задание ввели элементы дезинформации о наших войсках. На заключительном этапе отработали технику перехода разведчика на сторону противника, уточнили линию его поведения на допросах, при общении с военнопленными и особенно с администрацией и курсантами разведывательной школы, если он будет в нее зачислен, о методах сбора сведений и способах связи. К концу февраля 1942 года подготовка агента была завершена, все вопросы по заброске и

заданию Ленинградца утвердили у руководства Особого отдела Карельского фронта.

В одну из ночей начала марта 1942 года он через Повенецкую губу Онежского озера был переброшен в тыл финнов под видом изменника. Заметив противника, Гуменюк поднял руки, держа в одной из них белый платок, и зашагал навстречу. После допросов его направили в лагерь для военнопленных, где он работал на каменоломнях. В конце марта 1942 года его вызвали в канцелярию лагеря, где финский майор снова начал допрашивать: его интересовали место рождения, работы, родственники, служба в Красной армии, судимость и пребывание в заключении, обстоятельства перехода на сторону противника. Особый интерес майор проявил к Беломорскому гарнизону, в одной из частей которого Гуменюк служил. Разведчик на все вопросы отвечал в соответствии с отработанной линией легенды. Судя по всему, финская сторона осталась довольной ответами Гуменюка, и в начале апреля 1942 г. его поселили в небольшом домике на окраине Петрозаводска. Далее с ним беседовали капитан Мармо и майор Раски, которые завербовали его в качестве агента финской разведки под псевдонимом Александр Морозов. Гуменюк подписал обязательство на русском языке о добровольном сотрудничестве с финской разведкой, неукоснительном выполнении разведывательных заданий, о наградах за героизм и суровом наказании, вплоть до расстрела, за невыполнение задания, за обман, дезертирство и предательство. Поставил дату, а также оставил под обязательством отпечатки пальцев, после чего был зачислен в состав курсантов Петрозаводской разведывательной школы.

Трехмесячная подготовка пролетела быстро, и начальник разведывательной школы майор Раски поставил Гуменюку задачу, состоящую из двух частей: во-первых, проникнуть в Беломорск, установить местонахождение штаба Карельского фронта и воинских частей, а также собрать сведения об установленном в гарнизоне режиме; во-вторых, войти в здание штаба Карельского фронта и подложить в удобном месте взрывчатое вещество с часовым механизмом. В июне 1942 г. Гуменюка забросили в советский тыл на самолете в район Беломорска. Благополучно приземлившись, Гуменюк забрал взрывное устройство и парашют и пришел в Особый отдел фронта, где около двух часов рассказывал о пребывании в финской разведывательной школе, о деятель-

ности разведшколы и о данном ему разведывательно-диверсионном задании, сообщил о том, что противнику известно, в каком здании располагается штаб фронта. С разведчиком встретились командующий Карельского фронта генерал В.А. Фролов и начальник Особого отдела фронта А. Сиднев.

На основании информации, полученной от разведчика Особого отдела, командование приняло ряд важных решений. Признали необходимым в двухнедельный срок осуществить передислокацию штаба фронта. В связи с данными о передвижении вражеских войск в северном направлении предполагалось провести серию мероприятий по усилению наблюдения за противником на Ухтинском направлении. Для укрепления положения разведчика в стане противника решили имитировать совершение Гуменюком «по собственной инициативе» диверсии на военных складах, расположенных на окраине Беломорска. Идею этой инсценировки выдвинул командующий Карельским фронтом В.А. Фролов.

Для этого в двух-трех десятках мест освобожденных складов заложили дымовые шашки и подожгли их. На третий день пребывания Гуменюка в Беломорске начался пожар, вызвавший серию взрывов в помещении складов, где раньше лежали снаряды. Как только начался пожар, бойцы батальона охраны Особого отдела оценили «опасный» район, закрыв доступ к складским помещениям. К месту пожара прибыло много военных и гражданских лиц. Возникли слухи, что «это дело диверсантов». Эти широко распространившиеся в прифронтовом городе слухи создали весьма правдоподобную убедительную легенду, чтоб советский разведчик мог вызвать еще большее доверие со стороны майора Раски и его коллег.

После «совершения диверсии» в Беломорске 29 июня 1942 г. Гуменюк был переправлен через линию фронта из района Сегежи под видом агента разведки противника, возвращающегося на свою сторону после успешного выполнения задания в тылу советских войск. Перед ним была поставлена задача еще глубже внедриться в разведку противника, продолжать сбор сведений о замыслах противника, об агентах, подготовленных к заброске в расположение и на коммуникации Карельского, Ленинградского и Волховского фронтов со шпионско-диверсионными заданиями. По возможности, после тщательного и всестороннего изучения вести

работу по склонению заслуживающих доверия агентов из числа советских военнопленных к явке с повинной. Однако не был решен очень важный вопрос: не были отработаны способы связи Гуменюка с Особым отделом Карельского фронта в случае новой заброски на советскую территорию.

После перехода нейтральной полосы Гуменюк вышел к переднему краю вражеской обороны. Был задержан противником и доставлен в Медвежьегорск. Здесь Гуменюк сообщил о своей принадлежности к агентурному аппарату майора Раски, назвал свой псевдоним – Морозов. Прошло немного времени, и агент Морозов на автомашине Раски был доставлен в Косалму. Майор Раски, казалось, остался доволен докладом, после чего Гуменюк вместе с капитаном Мармо составил подробную схему того района Беломорска, где стоял «уничтоженный» Морозовым склад. И началась проверка достоверности успешно проведенной агентом диверсии, которая поначалу вызывала у Раски сомнения. Повторная аэрофотосъемка подтвердила данные Гуменюка об уничтожении военного склада. Раски объявил Гуменюку, что положительно оценивает работу, сделанную в Беломорске. За проявленное мужество, инициативу и находчивость командование наградило Гуменюка медалью «За заслуги» второй степени.

После возвращения из советского тыла и дальнейшей проверки Гуменюк был зачислен в штат Косалмского разведотряда на правах финского солдата. В сентябре 1943 г. в составе группы из трех человек он был заброшен в район Сегежи, но связаться с Управлением контрразведки «Смерш» Карельского фронта не смог, так как группа отсиделась в лесу. Больше в советский тыл его не направляли. В конце июня 1944 г. в составе двенадцати выпускников разведшколы он оказался в районе Йоэнсуу.

В начале мирных переговоров с СССР его направили в Оулу, где он в сентябре-октябре 1944 г. вел разведку передвижения немецких войск. В связи с перемирием советские власти потребовали выдачи всех военнопленных, ему и другим разведчикам вручили финские документы. В декабре 1944 г. Косалмское разведотделение расформировывается. Гуменюку выдали финскую медаль, и он самостоятельно устраивается (по финскому паспорту) на службу в пограничную охрану в районе Петсамо. В мае 1945 г. после учебы в пограншколе в Хельсинки встречается с бывшими сослуживцами, находит возможность посетить

Союзную Контрольную Комиссию, и 16 мая 1945 г. его тайно на самолете вывозят в Ленинград. По финским данным, С.Д. Гуменюк, он же Терро, уже 11 ноября 1944 года был передан в СССР.

Возвратившись в Ленинград, С.Д. Гуменюк представил в военную контрразведку ценные сведения о деятельности разведывательных органов противника, об известных ему официальных сотрудниках и, особенно, агентах вражеской разведки, заброшенных или подготовленных к заброске на территорию нашей страны с подрывными заданиями. Сообщил также сведения о возможных местах нахождения вывезенных в Финляндию агентов. В своем отчете указал около 100 человек, среди которых были 21 кадровый сотрудник финской разведки, 22 человека из числа обслуживающего персонала, 27 агентов, 21 член диверсионно-разведывательных групп.

В Рованиемскую разведывательную школу (вторую по опыту и размаху деятельности) были внедрены и успешно работали агенты военной контрразведки Карельского фронта О.В. Сожинский и А.М. Крутиков. Советские разведчики были внедрены и в другие финские разведшколы. Всего к 1944 г. за линией Карельского фронта на оккупированной территории Карелии и Финляндии работало 82 зафронтовых агента УКР «Смерш» Карельского фронта.

Первые задержания агенты финских разведшкол в Карелии относятся к концу июня – началу июля 1942 г. Начиная с августа 1942 г. задержания в Карелии, Ленинградской, Мурманской, Архангельской и Вологодской областях носят массовый характер, многие агенты, заброшенные финнами, сами приходили с повинной в советские органы безопасности.

Внедрение в разведшколу, аресты финских агентов позволили карельской контрразведке уже к июлю 1943 г. получить информацию на 64 агента Петрозаводской разведшколы: биографические данные, псевдонимы, даты их заброски, характер заданий. Была также получена информация о руководителях, преподавателях и курсантах других разведшкол противника, формах и методах работы.

Не все зафронтовые агенты УКР «Смерш» Карельского фронта смогли внедриться в разведорганы противника. Многие из них попали в различные финские концлагеря для военнопленных и были возвращены в СССР в 1944 г. после выхода Финляндии из войны по репатриации. После возвращения военнопленных на родину ГУКР «Смерш» НКО СССР через

военную контрразведку фронтов выявляло своих зафронтовых агентов. Контрразведчики хотели получить подробные отчеты об их пребывании в Финляндии и одновременно проверить через свою агентуру, чтобы исключить возможность их перевербовки финской или немецкой разведкой. Военная контрразведка Карельского фронта проверяла осенью 1944 г. своих зафронтовых агентов, возвратившихся из плена: Беломорского сокола (В.Е. Грибов), Зенита (Н.Г. Молофеев), Снайпера (М.И. Вунукайнен), Быстрого (В.П. Яковец) и других.

Наряду с заброской своих агентов за линию фронта с целью внедрения их в разведорганы финской и немецкой разведок УКР «Смерш» Карельского фронта вело активную работу по перевербовке агентов противника. Сотрудниками военной контрразведки в 1943 г. был арестован агент немецкой разведывательной школы в городе Рованиеми Гудок (Николай Андреевич Колесов). Он был перевербован и снова заброшен за линию фронта с целью еще более глубокого внедрения в немецкую разведшколу вместе с агентом Зориным (Михаил Васильевич Рожков), причем Гудок и Зорин не были расшифрованы друг перед другом.

Зорин вернулся на советскую территорию в июле 1943 г. вместе с пятью военнопленными, бежавшими из немецкого плена. У военных контрразведчиков возникли сомнения в правдивости показаний Зорина. Он был помещен на конспиративную квартиру для проверки. К нему подселили советского агента Цветкова, который вошел в доверие к Зорину и раскрыл его как немецкого агента, завербованного немецкой разведшколой в Рованиеми. Зорин действовал не по легенде, а передал противнику всю информацию о своей подготовке в советской разведшколе, в том числе сдал и агента Гудка.

На войне учились обе стороны. С 1943 г. финская разведка стала организовывать «групповые побег» из плена советских военнопленных», внедряя в эти группы своих агентов. Иногда включали в «группы побега» нескольких агентов без их расшифровки друг перед другом. В июле 1943 г. из немецкого плена бежала группа военнопленных в составе пяти человек. Но в этой группе был зафронтовой агент УКР «Смерш» Карельского фронта Ершов, который на допросе показал, что побег был инсценирован немецкой разведкой, создавшей условия для побега. В группу были включены немецкие агенты с целью внедрения в советские разведшколы.



*Финские войска
на улицах
Петрозаводска
и Медвежьегорска*



Несмотря на отдельные провалы и неудачи, которые в первую очередь были связаны с тем, что не удалось попытки ликвидации разведшкол финской и немецкой разведок, органы военной контрразведки Карельского фронта вместе с территориальными органами безопасности – 4-м отделом НКВД КФСР и пограничниками – успешно противодействовали разведкам противника на северо-западном участке советско-германского фронта. Финские и германские разведывательные школы на Севере забрасывали агентуру в тыл РККА в течение всей войны. НКГБ КФСР в своем отчете о результатах контрразведывательной и следственной работы за период 1941–1945 гг., направленном во 2-е (контрразведывательное) Управление НКГБ СССР 29 августа 1945 г., отмечал, что за период Великой Отечественной войны в тылу частей Красной армии на Карельском фронте было задержано 129 агентов финской разведки, окончивших разведывательные школы.

Однако следует отметить, что в финских и германских разведшколах было подготовлено и заброшено в советский тыл значительно больше агентуры, чем задержали советские разведорганы. По данным финского журналиста

Ю.Рислакки, в 1941–1944 гг. финская разведка забросила в тыл Красной армии до 500 агентов, из которых половину составляли советские граждане. Их розыск продолжался и после окончания Великой Отечественной войны как в СССР, так и за рубежом, в результате розыскных мероприятий практически все агенты были арестованы.

В целом можно сделать вывод, что благодаря активности советской контрразведки большинство мероприятий финской и германской разведок на Северо-Западе СССР были сорваны: разведкам противника не удалось осуществить ни одной серьезной диверсии в тылу РККА, заброшенная в советский тыл агентура ограничивалась сбором информации визуальным путем и «втемную».

Изучение проблемы «тайной войны» советских и финских специальных служб в военный период, которое сейчас становится возможным на основе рассекреченных документов российских ведомственных архивов, позволит лучше понять и осмыслить характер войны СССР с союзницей Германией Финляндией в 1941–1944 гг.

Литература

Heiskanen, Raimo. Saadun tiedon mukaan... Päämajan johtama tiedustelu 1939–1945. Helsinki, 1989. 333 S.

Rislakki, Jukka. Erittäin salainen. Vakoilu Suomessa. Helsinki: Love-kirjat, 1982. 502 S.

Авдеев, Сергей Сергеевич. Деятельность карельских спецгрупп на Карельском фронте в тылу противника // Карелия в годы Великой Отечественной войны 1941–1945. Петрозаводск: ИЯЛИ КарНЦ РАН, 2001. С. 9–23.

Веригин, Сергей Геннадьевич. Финские разведывательные школы на оккупированной территории Карелии в 1941–1944 гг. // Санкт-Петербург и страны Северной Европы. Материалы Четырнадцатой ежегодной международной научной конференции. Санкт-Петербург: РХГА, 2013. С.128–141.

Веригин, Сергей Геннадьевич; Лайдинен, Эйнар Петрович. Финская разведка //Север. 1997. № 4. С. 95–99.

Веригин, Сергей Геннадьевич; Лайдинен, Эйнар Петрович. Агентурная разведка армий фашистской Германии и Финляндии на Северо-Западе Советского Союза в 1941–1944 гг.//Подвигу жить в веках. Материалы военно-исторической конференции, посвященной 60-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Петрозаводск: Версо, 2005. С.81–88.

Лайдинен, Эйнар Петрович. Радиоразведка Финляндии // Север, 2000, № 10. С. 95–106.

Лайдинен, Эйнар Петрович. Финская разведка в советско-финляндской войне 1939–1940 // Материалы научно-практической конференции «Военная история России: проблемы, поиски, решения».

Сборник статей. Вып. I. Санкт-Петербург: ИРИ РАН, 2001. С. 50–53.

Лайдинен, Эйнар Петрович. Сортавала – финский разведывательный центр в Северном Приладожье в 1918–1944-е гг.// Сортавала: страницы истории (к 370-летию основания города). Тезисы докладов I Международной научно-просветительской краеведческой конференции (20–21 июня 2002 года, г.Сортавала). Петрозаводск: ПетрГУ, 2002. С. 42–45.

Леонов, Иван Яковлевич, Смирнов, Николай Тимофеевич. В стане врага // Документы свидетельствуют. Армейская контрразведка в годы войны. М., 1994. С.180–203.

Хлобустов, Олег Максимович. Разведывательно-диверсионная деятельность финляндских спецслужб на северо-западном театре военных действий // Карелия. Заполярье и Финляндия в годы Второй мировой войны: Тезисы докладов Международной научной конференции (6–10 июня 1994 г.). Петрозаводск: ПетрГУ, 1994. С 18–19.

Хлобустов, Олег Максимович. Финские командос в советском тылу // Новости разведки и контрразведки. № 13–14. 2000.

Чижевский, Тимофей Анисимович. На Мурманском направлении // Документы свидетельствуют. Армейская разведка в годы войны. М.: Аврора-Дизайн, 1994. С.115–126.

Фото предоставлены автором



Сергей Геннадьевич ВЕРИГИН

родился в 1956 году.

Историк.

Директор Института истории, политических и социальных наук Петрозаводского государственного университета.

Доктор исторических наук, профессор.

Автор 4 монографий и более 150 научных работ.

В «Севере» публикуется с 1993 года.

Сфера научных интересов — советско (российско)-финляндские отношения в период Второй мировой войны, Европейский Север России в годы Великой Отечественной войны. Живет в Петрозаводске.



Юрий
ДЮЖЕВ

г. Петрозаводск



Доктор филологических наук Ю.И. Дюжев приступил к работе над первым томом «Истории русской поэзии Европейского Севера второй половины XX века», в котором освещаются события литературной жизни 1950–1970-х годов. Вниманию читателей предлагается раздел из рукописи будущей книги, посвященный творчеству Н.А. Рубцова (1936–1971). Публикация приурочена к 80-летию со дня рождения поэта, отмечаемому в 2016 году.

До сих пор загадка кажущегося совершенно неожиданным прорыва Николая Рубцова в 1960-е годы на вершины русской поэзии XX века волнует исследователей творчества поэта и почитателей его таланта. «Сейчас хочется поразмышлять о том, – писал Василий Белов, – как, по каким причинам детдомовский мальчик становился вдруг художником, выразителем народных чаяний, имеющим право создать такую строку: «Россия, Русь! Храни себя, храни...» Казалось бы, война отняла у юного Рубцова право на спокойное детство, на крышу над головой и на хотя бы малую толику родительской нежности. Каким-то чудом он сумел выстоять в борьбе с невзгодами, смог получить образование, раскрыть своё природное дарование и «выразить народную жизнь с вдохновенной силой».

Может быть, Рубцова на поэтическую высоту «вознесло само провидение»? Ведь «поэт заглянул в запредельное, за эти таинственные ворота и, поразившись видению, стал искать и нашел сочетание слов, которыми передал небывалость». Такая точка зрения для писателя из Вологды С.Багрова объяснима. Существует же обоснованное в монографии доктора философских наук Николая Теребихина «Сакральная география Русского Севера» (Архангельск, 1993) такое понятие, как «мистика Севера». По мнению ученого, оно «наиболее полно выражает русскость и особую вселенскость, стремление к целостному постижению мира. Русскому человеку неинтересны частности, клеточки мира. Он хочет понять его целиком. Он одновременно и реалист,

и мистик. Русская ментальность – это мистический реализм».

Термин «мистический реализм» ранее уже использовался А.Белым в работах о символизме и был осмыслен как феномен литературы. К числу ярких представителей мистического реализма Алла Злочевская в статье «Три лика мистического реализма XX в.» относил Г.Гессе, В.Набокова, М.Булгакова. Она объясняла появление такого яркого в эстетико-философском плане явления литературы в искусстве модернизма рубежа XIX – XX веков «оплодотворением» принципов классического реализма прививкой неоромантизма. Это дало, по её мнению, импульс к возрождению людей «художественного двоевластия», соединяющих материальный и трансцендентный уровни бытия. И далее следуют размышления А.Злочевской, которые имеют непосредственное отношение к лирическому герою поэзии Н.Рубцова: «Внутренняя логика мистического реализма предполагает особенного героя – личность, живущую не в реальной «жизни действительной», а на грани «двоемирия», на пороге инобытия и субъективно устремленной в «потусторонность». Всё существование их устремлено в бессмертие. Там – в вечности, в искусстве по ту сторону видимости, там их родина, туда устремляет их сердце. А единственный вожатый в земной жизни – «тоска по дому». Все они противостоят окружающему миру пошлости, усредненности, посредственности. Одиночество во враждебном мещанском окружении, а в конце эшафот – этот путь предудказан «яркой личности». Ибо им не пристало жить в мире, где правят здравый смысл, демократия и мещанская образованность».

В свете сказанного о «мистическом реализме» и его героев понятной становится позиция В.Кожина, который опровергал определение поэзии Николая Рубцова как «деревенской» и писал, что зрелым стихам поэта свойственна необычайная сложность поэтического мира: «Сложность эта особенно велика потому, что она залегает в самой глубине и воплощает в себе не изощренность поэтического мира, но внутреннюю сложность самого бытия (точнее, со-бытия) человека и мира». Поэтому лучшие стихи Н.Рубцова «выражают то, что невыразимо ни зримым образом, ни словом в его собственном значении». По мнению критика, «Николай Рубцов одерживает безусловную победу там, где его слово не изображает мир (и в то же время вовсе не уходит в субъективность души), а в самом деле живет им, преодолевая границу между миром и человеческой душой».

По сути, в этом высказывании речь идет о том, что лирический герой Н.Рубцова жил «на грани «двоемирия», на пороге инобытия», отсюда не-

возможность исследователей его поэзии «выразить то, что невыразимо ни зримым образом, ни словом в его собственном значении». Но ведь были какие-то причины и обстоятельства, которые со временем заставили поэта устремиться от реальной «жизни действительной» – в вечность, к искусству «по ту сторону видимости». «Среди малознакомых людей я привык называть себя «одиноким», – писал в конце 1968 года Н.Рубцов, и это одиночество с каждым годом всё более усиливалось, соединяясь странным образом с жадной бессмертия, с тоской о бескорыстном братолюбии и тщетой усилий обрести гармонию.

Попытки мемуаристов найти причину всех бед поэта в житейских неурядицах детства и юности, по причине которых и могли в стихах Н.Рубцова появиться сомнения в разумности устройства жизни и способности человека понять самого себя, не дают результата. Намного позднее в стихах Н.Рубцова возникла чисто метафизическая тоска от пустоты бытия, от печали по ушедшим поколениям и временам, от несовершенства природы человека, склонного к злу и разрушению (в том числе и себя как личности) в силу своего несовершенства. К тому же в рассказе о событиях личной жизни Н.Рубцов не любил расставлять все точки. По воспоминаниям В.Белова, «Н.Рубцов почти не рассказывал о своём детстве. Он стыдился сиротства, словно это была только его личная беда, а не беда всей страны. Виною всему была война».

Но родившемуся 3 января 1936 года в селе Емецке Холмогорского района Северного края (ныне – Архангельской области) Николаю Рубцову еще предстояло до начала войны прожить пять с половиной лет, а именно в этот промежуток времени ребенок учится оценивать свои поступки, проявлять чувство справедливости и сопереживания, делать успехи в контроле собственного поведения. При этом очень важна семейная атмосфера, а она у Рубцовых была обычной для тех лет. Отец, Михаил Андрианович, член партии, работал начальником отдела рабочего снабжения местного леспромхоза и достаточно зарабатывал, чтобы содержать жену и пятерых детей. В момент рождения сына ему было тридцать шесть лет. Со свойственной северянам добротой ему нравилось принимать гостей и весело проводить праздники. Судя по сохранившимся фотографиям, он любил носить русские косоворотки, но если требовалось, надевал костюм с белой рубашкой и галстуком. И хотя Н.Коняев в книге «Николай Рубцов» (М., 2001) пишет, что с довоенной фотографии Михаил Андрианович своим взглядом «пронзает насквозь» так, что «чувствуются

твердость и преданность генеральной линии партии», это выглядит попыткой политизировать события давних лет. Для маленького Коли Рубцова отец в довоенные годы был непререкаемым авторитетом.

«Всё, что было в детстве, я лучше помню, чем то, что было день назад», – писал Н.Рубцов в заметках «Коротко о себе». Село Емецк находилось на левом берегу живописной реки Емца, вело свою родословную с 1137 года. Двухэтажный дом, в котором Рубцовы занимали две комнаты, ещё был крепким и красивым, хотя не имел ни водопровода, ни отопления (*в 2013 г. он был включен в число аварийных и подлежащих расселению жильцов. – Ю.Д.*). Часто мать рано утром топила печки, от которых шло блаженное тепло. С той поры Н.Рубцов «очень полюбил топить печку по вечерам в темной комнате». Вероятно, в такие минуты поэт вспоминал раннее детство, когда русская печь объединяла многодетную семью своим теплом. Хорошо было маленькому Коле в этом селе, где он сделал первые шаги по северной земле, увидел красоту лесов и лугов, навсегда проникшую в его душу, полюбил речные просторы. Жило тогда в селе немногим более тысячи человек. Была и своя достопримечательность – Богоявленско-Покровская церковь. Построенная в XVIII веке, она в своё время имела четырехъярусную колокольню высотой почти 60 метров, которая была самым высоким сооружением Архангельской губернии. Но в 1930 году с церкви были сорваны шпиль, кресты, купола, разграблены иконостас и ризница, и к моменту рождения Н.Рубцова в ней поочередно располагались кинотеатр, общежитие, магазин, склады, а затем, вплоть до 2011 года – пеканья. Его мать и хотела бы, пусть втайне от отца, окрестить маленького Колю и тем самым духовно оградить его от бед и несчастий, но в округе не было к 1936 году ни одной действующей церкви и ни одного живого священника, готового провести такой обряд. Так и остался Н.Рубцов некрещеным до конца жизни, что, по поверьям, является далеко не благом для уроженца православной Руси.

В Емецке семья прожила полтора года. В 1937 году, после упразднения Северного края и образования Архангельской и Вологодской областей, возник дефицит руководящих кадров на местах, и Михаила Андриановича направили на работу в Няндому, вошедшую в Архангельскую область, а в 1939 году получившую статус города. Няндомка находилась на берегу одноименной реки в 347 километрах от Архангельска, так что климат для здоровья детей был более благоприятен. Город

прилегал к железнодорожной линии, соединявшей Архангельск с Вологодой. Градообразующим предприятием было крупное локомотивное депо. Город активно развивался, и для отца семейства это было повышением по службе, чем гордилась вся семья. Михаил Андрианович был назначен начальником отдела кадров райтрансторгпита Няндомского леспромхоза, но кому-то из его сослуживцев это не понравилось. В январе 1938 года на М.А.Рубцова поступило заявление (донос), он был арестован и по март 1939 года был заключенным в Архангельской тюрьме №1. На 18-м съезде ВКП (б) в марте 1939 года было принято постановление о прекращении чисток в партии. В результате обращения на имя съезда М.А.Рубцов был реабилитирован и восстановлен в партии. Это могло быть только в случае признания заявления как доноса. Поэтому подозрение Н. Коняева, что М.А.Рубцов «был арестован не за «политику», не как враг народа, а по уголовной статье, связанной с растратой»¹, не выглядит оправданным. Его можно объяснить только тем, что автор не мог знать, что в Государственном архиве Вологодской области хранится бланк члена КПСС, заполненный при обмене партийных документов в 1954 году, а также учетная карточка члена КПСС М.А.Рубцова. Сведения из этих документов были опубликованы газетой «Тотемские вести» (№166-167 от 30.12.2004 г., №4 от 18.01.2005 г.) и позднее появились в Интернете.

Арест и годичное отсутствие кормильца явились для семьи огромным испытанием, но они лишь подтвердили крепость семейных уз. После возвращения из тюрьмы в марте 1939 года М.А.Рубцов был назначен инструктором-ревизором Няндомского райпотребсоюза. Вышедшая с честью из испытаний семья Рубцовых обрела новых друзей. Зная Рубцовых с 1939 года жительница Няндомы Ирина Федорова вспоминала:

«Мне 10 лет. 1 сентября в наш 3-й класс Няндомской школы имени А.С.Пушкина пришла новенькая – темноволосая худенькая девочка Гая Рубцова. Семья Рубцовых приехала в Няндому из Емецка. Мать, Александра Михайловна, была домохозяйкой. Это были очень хорошие, гостеприимные, добрые люди. Семья состояла из пяти человек. Старшая дочь Надя пошла учиться в 9-й класс, маленькому Коленьке было 3 годика. Семья Рубцовых поселилась в уютном домике на улице Советской, возле городского ресторана. Домик стоял под столетними березами. А потом Рубцовы переехали в дом, где в 1950–60-е годы располагался паспортный отдел милиции. С Галей я и моя двоюродная сестра Зина Федорова подружились

и всё свободное время проводили у Рубцовых. Играли с Колей, нянчились с ним, гуляли на улице. Очень полюбили малыша. Это был темноволосый, худенький мальчик, очень застенчивый».

Для Н.Рубцова сформировавшаяся к трем годам застенчивость имела свои последствия. Когда он повзрослел, она мешала ему в общении, в расширении круга новых знакомых. Он не любил участвовать в многолюдных мероприятиях и получать удовольствие от общения с его участниками. Застенчивость вела к одиночеству, депрессивному настроению, постоянной тревожности. Чтобы скрыть своё смущение, Н.Рубцов вдруг начинал вести себя напористо, неадекватно оценивал агрессивность своего поведения. В то же время застенчивость позволяла Н.Рубцову сохранить свой внутренний мир, индивидуальность и самобытность. По наблюдению психологов, такие погруженные в себя люди (застенчивостью отличались Н.В.Гоголь, А.П.Чехов, М.Ю.Лермонтов) часто обладают высокими творческими способностями. Поиск своего пути в жизни толкает их на выражение чувств и эмоций в стихах и прозе.

При благоприятных условиях жизни, внимательном отношении к нему отца и матери Н.Рубцов постепенно преодолел бы врожденную застенчивость, но судьба уже распростерла свои черные крылья над его близкими. 30 апреля 1940 года умерла старшая сестра Надежда, которая начала работать и помогать родителям в содержании и воспитании младших детей. В январе 1941 года семья переехала в Вологду, где Михаил Андрианович стал работать снабженцем в военторге и где Рубцовы встретили известие о начале войны. В конце 1941 года в семье родилась девочка, которую в честь умершей сестры назвали Надеждой. В начале 1942 года Михаил Андрианович проходит военную подготовку и летом того же года его забирают на фронт. В июне 1942 года умирает мать семейства Александра Михайловна. Старшую дочь, Галину, берет к себе сестра отца Софья. Младших детей пристраивают в детские дома Вологодской области.

Столь трагическая череда событий (смерть двух сестер и матери, прощание с ушедшим воевать отцом, вынужденное сиротство и отправка в детский дом) могли бы разрушить психику любого ребенка. Чтобы спасти маленького человека, природа в таких случаях упрямывает трагические переживания в глубины подсознания, словно вычеркивая их из памяти ребенка. Так и у Рубцова об этих событиях 1940–1942 годов остались лишь некие вспышки эмоций, которые позднее он запечатлел в стихотворении «Детство»:

*Откуда только – как из-под земли! –
Взялись в жилье и сумерки, и сырость...
Но вот однажды всё переменялось:
За мной пришли, куда-то повезли.
Я смутно помню позднюю реку.
Огни на ней, и скрип, и плеск парома,
И крик: «Скорей!» Потом раскаты грома,
И дождь... Потом... детдом на берегу.*

Вместе с младшим братом Борисом Николай оказывается в селе Красково, в дошкольном детском доме. Шестилетний малыш, внезапно ставший сиротой, охвачен отчаянием. Его маленькая душа терзается от одиночества, бесприютности и беззащитности. Но это только начало его печальной судьбы и скитаний по Руси. После расформирования Красковского детского дома Николая разлучают с Борисом и отправляют 20 октября 1943 года в Никольский детский дом под Тотьмой. Он еще несколько лет ожидает хоть какой-то весточки от отца и ждёт его появления на пороге комнаты, мысленно представляя, как он будет счастлив в эту минуту. Но постепенно эти ожидания угасают, и он начинает привыкать к мысли, что отец погиб в боях. Он не знает, что в 1944 году после двух лет участия в боях Михаил Андрианович был ранен, попал в госпиталь в Вологду. Нашел всех детей, кроме Коли. Его документы были потеряны и не обнаружены в Красковском детском доме. В 1944 году М.А.Рубцов женился, и в новой семье родились три сына.

По данным учетной карточки члена КПСС М.А.Рубцова, хранящейся в ГАВО, он был награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1944–45 гг.». С декабря 1951 года работал в Вологде завтранспортом пивзавода. С июля 1952 года заведовал пекарней отделения Северной железной дороги. 18 марта 1953 года получил строгий партийный выговор за выпивку в рабочее время. Был снят с должности и с мая 1953 года работал плотником в 7-м отделении Северной железной дороги. 28 августа 1953 года ему вынесли строгий выговор за пьянку и прогул в течение четырех дней. Когда в конце февраля – начале марта 1955 года отец и сын встретились после 13-летней разлуки, М.А.Рубцов не мог материально помочь своему сыну, он сам нуждался в помощи. В ноябре 1959 года М.А.Рубцов был переведен с должности плотника на пенсию (при наличии трех несовершеннолетних детей) и умер в Вологде 22 сентября 1962 года, когда Н.Рубцов учился в Литературном институте. О судьбе отца Рубцов узнал не сразу, но он так привык к мысли о его героической гибели на фронте, что даже в 1957 году в стихотворении «Березы» писал: «На войне отца убила пуля».

Рано пришедшее осознание своего сиротства, потеря родителей стали для оказавшегося в детском доме впечатлительного и застенчивого мальчика настоящей трагедией, ведь потребность иметь семью, отца и мать – это одна из сильнейших потребностей ребенка. Вспоминая «хрупкого мальчика с бездонными черными глазами», бывший воспитатель Александра Ивановна Корюкина говорила, что «он был очень ласков и легкораним». Будучи Козерогом по гороскопу, мальчик был честен и справедлив, верен и надежен в дружбе. Он входил в состав совета пионерской организации; учился на «хорошо» и «отлично», писал для стенной газеты стихи, играл на устраиваемых детдомовцами концертах на гармошке. Хотя ростом он был меньше своих сверстников, пользовался уважением и был заводилой среди мальчишек. И в то же время, по признанию учившейся вместе с Н.Рубцовым с первого по седьмой класс Евгении Буняк, «был неровным по характеру: то тихим, задумчивым, скромным, то дерзким, колючим». В те годы немногие могли представить скрытые в этом мальчике глубины. При всей заинтересованности жизнью коллектива детдома он был слишком независим, чтобы открывать свои истинные чувства и переживания. Никто не догадывался о его первой любви к девочке Тоне Шевелёвой, пока однажды не застали их на чердаке, где, сидя на приготовленных для просушки вениках, они о чем-то тихо и мирно беседовали. Жизнь научила маленького Колю быть недоверчивым, скрытным, в любой ситуации сохранять чувство собственного достоинства и ставить перед собой высокую планку в жизненных планах. Когда в детском доме решили поставить спектакль о Пушкине-лицейсте, Н.Рубцов «попросил завить ему волосы, чтобы стать кучерявым» и тем самым хоть немного походить на юного поэта. Мальчик любил читать книги, в поисках которых он перерыл не только небольшую библиотеку детского дома, но и брал книги на квартире у А.И.Корюкиной в деревне Пузовка.

На живущих в детдоме юный Коля Рубцов производил впечатление земного, житейского человека. Часто его можно было видеть у детдомовской лошади, которую он гладил и кормил из рук травой и которую в двенадцать лет научился запрягать и ездить на ней верхом на водопой. Вместе со всеми ухаживал за содержащимися в детдоме коровами, свиньями, пчелами, осенью собирал урожай с полей, который был важной прибавкой в питании осиротевших ребят. Но он не был так прост, как казалось окружающим. «Старался быть первым во всём», – вспоминала учительница грамматики Александра Меншикова. Им с детства двигало стремление к успеху, жела-

ние выйти победителем над многочисленными проблемами, которые ставила перед сиротой жизнь. С третьего класса он стал писать стихи, что сразу выделило его из толпы ровесников. Самостоятельно научился играть на гармонии и стал незаменим на вечеринках старшеклассников. Лучше других освоил навыки рисования, обладал врожденным чувством вкуса при оценке цветовой палитры даримых букетов. Именно его учительница просила декламировать перед классом заданные на дом стихи Пушкина. Ему часто мешало дурное настроение, но в детском доме он ещё обладал способностью дисциплинировать себя.

Можно с большой долей уверенности сказать, что к моменту окончания седьмого (выпускного для сельской школы) класса Н.Рубцов уже знал, что его отец жив и что он по каким-то соображениям не может принять его. Это известие могли передать юному Коле и жившие в Вологде родственники, и представители дирекции детского дома, которым надо было куда-то определить подростка и которые через военкомат могли легко найти координаты М.А.Рубцова и предложить каким-то образом решить судьбу его сына. Но ответа они не дождались. Сам же Коля Рубцов уже в четырнадцать лет был слишком горд и независим, чтобы в этой ситуации пойти на контакт с отцом и простить такое к себе отношение. Между тем оставаться в детском доме – по возрасту – уже было нельзя. Николаю предлагали пойти учиться в Тотемский лесотехнический техникум, где было общежитие и куда обычно направляли большинство выпускников детского дома. Но это его не устраивало. Одной из любимых книг Николая был приключенческий роман Р.Стивенсона «Остров сокровищ», и под влиянием «пиратской» экзотики он решил поступать в Рижское мореходное училище. В детском доме даже не попытались связаться с Ригой и узнать условия поступления, настолько были уверены, что лучшего ученика школы с аттестатом наполовину из отличных оценок, да ещё сироту, туда обязательно примут.

«Мечты, мечты... А в жизни всё иначе», – писал позднее Н.Рубцов в стихотворении «Не подберу сейчас такого слова». Когда летом 1950 года он с самодельным чемоданом, который вместо замка закрывался гвоздиком и в котором лежали двенадцать вышитых девочками детдома носовых платков, явился в приемную комиссию, то получил отказ даже рассматривать его документы по причине возраста (в училище принимали с пятнадцати лет). Возвращаться домой ни с чем было стыдно и горько. Он сделал попытку устроиться на какое-нибудь судно, лишь бы не увидеть глаз разочаровавшихся в нём сверстников:

Как я рвался на море!
Бросил дом безрассудно
И в моряцкой конторе
Всё просился на судно.
Умолял, караулил...
Но нетрезвые, с кренцем,
Моряки хохотнули
И назвали младенцем.

Ему ничего не оставалось, как по возвращении на Север подчиниться судьбе и поступить в нежеланный ему Тотемский лесотехнический техникум. Но когда, сдав документы в приёмную комиссию, он пошел знакомиться с городом, открывшееся перед ним красочное зрелище стоявших на холмах вдоль реки Сухоны похожих на белые парусники соборов не могло не поразить душу юноши. Он с тайным восхищением вглядывался в витиеватые украшения церковных фасадов из фигурного кирпича – картуши, любовался сооруженными в XVIII веке церковью Входа Господня в Иерусалим и церковью Рождества Христова, церковью Иоанна Предтечи и церковью Троицы Живоначальной, Воскресенским и Преображенским соборами. Вопреки времени, они сохраняли былую стройность и архитектурное изящество, хотя следы запустения были видны всюду. Это была лишь малая часть из тех 2245 церквей, монастырей и других очагов религиозного культа, которые действовали в Вологодской губернии в 1900 году, когда на каждые сто жителей приходился один представитель духовенства. После революции многие священнослужители были расстреляны или погибли в ГУЛАГе, а церкви закрыты. Но вопреки всему земляки Н.Рубцова из поколения в поколение продолжали «воспринимать Россию сердцем, видеть любовью её драгоценную самобытность и её во всей вселенской истории неповторимое своеобразие, понимать, что это своеобразие есть дар божий»².

Позднее Н.Рубцов напишет в стихотворении «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны»:

И храм старины, удивительный, белоколонный,
Пропал, как виденье, меж этих померкших полей, –
Не жаль мне, не жаль мне
растоптанной царской короны,
Но жаль мне, но жаль мне
разрушенных белых церквей!..

Да и сам техникум располагался в Спасо-Суморинском монастыре, основанном в 1554 году преподобным Феодосием Тотемским, пришедшим сюда из вологодского Спасо-Прилуцкого монасты-

ря. Жили студенты техникума и сидели на занятиях под кирпичными сводами в бывших монашеских кельях (в 2014 году в Спасо-Суморинский монастырь назначили настоятеля, и монастырь получил статус архиерейского подворья, там началась монашеская жизнь. – Ю.Д.). Токи старины буквально пронизывали впечатлительного подростка, и это ощущение причастности к российской истории, к пластам духовной энергии предков, к вечности навсегда пронзило душу Н.Рубцова и запечатлелось в стихотворении «Видения на холме».

На территории Спасо-Суморинского монастыря был похоронен уроженец Тотмы Иван Кусков, основавший в XVIII веке знаменитый форт Росс в Калифорнии. Среди жителей Тотмы ходили легенды о храбрости этого человека и других местных мореплавателей, которые с 1740-х годов с товарами добирались до берегов Северной Америки на своих судах. В память об этом на гербе Тотмы была изображена черная лиса, в большом количестве добывавшаяся тогда тотмичами на русской Аляске. Всё это не могло не будоражить воображение юноши, который в силу своего характера не мог смириться с прозвучавшим в Риге «запретом» на морскую профессию. В душе его жила мечта о вольном океанском просторе, и хотя он успешно сдавал очередные экзамены в техникуме, будущая профессия не радовала его. Из рассказов выпускников он знал, что их до армии отправляли работать в самые дальние леспромхозы, где на делянке доверяли либо вместе с сучкорубами сжигать ветки в кострах, либо поручали вести учет заготовленных кубометров древесины. Николаю с его врожденной любовью к природе, когда обычный шум падающих листьев с березы мог вызвать сильное душевное волнение, как об этом пишет он в стихотворении «Берёзы» («Слушаю – и набегают слёзы / на глаза, отвыкшие от слёз»), было совершенно невозможным участвовать в уничтожении русского леса. Получив в шестнадцать лет паспорт, он уезжает в Архангельск с надеждой устроиться матросом на корабль. По свидетельству очевидцев, он оставляет в общежитии «затрёпанную тетрадку со своими стихами»³, от которых он не ждал большего от жизни. В написанном в техникуме сочинении «Образ Катерины в драме Островского «Гроза» Николай невольно сравнивал себя с жертвой «тёмного царства». Он писал, что такой личности, как Катерина, «поэтически настроенной, религиозно мечтательной, сохраняющей пылкость чувств и воображения», нет места в этом мире, где жестокие удары судьбы быстро разрушают представления о жизни как об источнике счастья и радости: «Жизнь – это суровая проза, вечная борьба, в результате которой именно и должен человек

добыть себе счастье, если у него для этого достаточно духа и воли».

Характер у подростка был сильный, но для работы на Крайнем Севере в условиях большой влажности и холода требовались ещё выносливость и крепкое здоровье. Однако война так выкосила мужское население Севера, что худенького подростка, от которого после жизни при карточной системе остались, как говорят в народе, «одни кости да кожа», все-таки взяли помощником кочегара («угольщиком») на рыболовецкий траулер. В течение десяти месяцев, с сентября 1952 года по июль 1953 года, Николай смог узнать на своей шкуре, что «жизнь – это суровая проза, вечная борьба».

Когда же траулер причаливал к пирсу, то получивших деньги матросов встречала на берегу «избушка под названием пивная»:

*Я сел за стол –
И грянули стаканы!
И в поздний час
Над матушкой Двиной
На четвереньках,
Словно тараканы,
Мы расползлись
Тихонько из пивной...*

Вспоминая об этом случае, Н.Рубцов признается, что тогда, в свои шестнадцать лет, он «первый раз вошел сюда, безгрешный» и после застолья:

*Очнулся я,
Как после преступления,
С такой тревогой,
Будто бы вчера
Кидал в кого-то
Кружки и поленья
И мне в тюрьму
Готовиться пора.*

Такого же рода «экзамены» на выживаемость приходилось сдавать и другим выпускникам детских домов. В 1950-е годы в нашей стране было 6943 детских дома, где жили 935, 9 тысячи человек. Причиной сиротства были последствия голода, охватившего в 1946 году ряд регионов страны; отмена права матерям-одиночкам, начиная с 1944 года, требовать алименты с мужчин, являвшихся отцами их детей; наконец, разрушение крестьянского общинного быта, когда, начиная с Древней Руси, в деревнях существовали различные формы призрения сирот: «кормление по двору», назначение общественных родителей и т.д.

Именно в 1950-е годы впервые возник термин «социальное сиротство», когда сиротами считались воспитанники детских домов, у которых были живы один или два родителя. Отпущенные на «вольную» жизнь воспитанники детских домов с трудом адаптировались к жизни. Что говорить, если даже в 2010 году доля выпускников, покинувших детские дома или интернаты, которым удалось наладить нормальную жизнь, составляла 20 процентов. По тем же данным, 40 процентов становились алкоголиками и наркоманами, ещё сорок процентов совершали преступления. Часть ребят сами становились жертвами криминала, а десять процентов кончали жизнь самоубийством.

Не смог приспособиться к «взрослой» жизни на рыболовецком траулере и Н.Рубцов. В самый разгар навигации, в июле 1953 года, он уволился и поехал в Кировск Мурманской области, где год проучился в горно-химическом техникуме на маркшейдерском отделении. Однако чем глубже он вникал в секреты своей будущей профессии, тем сильнее понимал, что вести учет выемки полезных ископаемых из недр и выполнять геодезические работы – это не для него. Он оставил учебу в техникуме и оставшийся до армии год жизни посвятил поиску ответа на вечный для русского человека вопрос – «кому на Руси жить хорошо?». Его бесконечные метания по стране начались с кратковременного посещения Тотьмы, где он повстречался с Т. Решетовой и, поссорившись с ней, ринулся в Ташкент – «город хлебный», что было важно в канун предстоящей зимы и полного безденежья. С собой он взял гармошку, и добрые попутчики кормили и поили его за исполняемые во время дальней дороги весёлые песни.

Увиденный Н.Рубцовым Ташкент оказался в основном одноэтажным городом. В попытке найти себе какое-то жильё северянин бродил по коммунальным дворам с одной колонкой, из которой вода вытекала в арык, и общей выгребной ямой в глубине двора, а вдоль него одна к другой были прилеплены хибары и каморки. Во дворах росли деревья – урючины, сбор урожая с которых жители двора начинали сообщать и затем тут же во дворе варили варенье. Было жарко и душно. Иногда навстречу попадались верблюды с погонщиками. Вода в арыке была мутной и неприятно пахла. Всё кругом для Николая было странным и чужим. Найти заработок здесь оказалось намного труднее, чем на Севере. Позднее он вспоминал:

*Жизнь меня по северу носила
И по рынкам знойного Чор-су.*

Судя по всему, именно на старинном ташкентском базаре, известном как Чорсу (Чорсу – четыре дороги либо четыре потока), расположенном в старом городе на пересечении четырех улиц, только и смог найти себе заработок Н.Рубцов. На рынке рядом с продуктовыми рядами располагались торговцы ремесленными поделками, работали бани, чайханы, шумел вещевой рынок, где всегда было многолюдно.

Но что-то неуловимо изменилось после смерти Сталина и в настроениях местных жителей по отношению к приезжим. Когда-то в годы войны в Узбекистане нашли приют 200 тысяч эвакуированных детей и подростков. Практически в каждом населенном пункте появился свой детский дом, обеспечение которого продуктами закреплялось за одним из местных колхозов. Узбеки жертвовали для детдомовцев деньги, одежду, муку. Многие усыновляли сирот, а одна семья стала знаменитой тем, что усыновила сразу одиннадцать ребятишек. Но прошло десятилетие, детские дома стали в массовом порядке закрываться, и многие выпускники оказались не у дел. Резко уменьшилось число желающих их усыновить. В итоге в Ташкенте возросло число малолетних бродяг, сбивавшихся в стаи и добывавших себе пропитание незаконными способами. Всё усугубилось амнистией 1953 года, по которой освобождались все лица, осужденные на срок до пяти лет. Многие из них тоже устремились в «Ташкент – город хлебный», так что осенью 1954 года Н.Рубцов после напрасных поисков работы и жилья оказался на рынке Чорсу на самом дне жизни, в страшноватой для него среде беспризорников и бывших эзков. Написанное в январе 1955 года стихотворение «Уж сколько лет слоняюсь по планете...» дает зримое представление о той степени отчаяния, которое охватывало юношу на чужбине:

*Уж сколько лет слоняюсь по планете!
И до сих пор пристанища мне нет...
Есть в мире этом страшные приметы,
Но нет такой печальнее примет!
Вокруг меня ничто неразличимо,
И путь укрыт от взора моего,
Иду, бреду туманами седыми;
Не знаю сам, куда и для чего?*

Как напоминание об испытанном и пережитом юношей в те годы выглядит изображенная его другом Валентином Сафоновым сценка из повести «Николай Рубцов». Речь в ней идет о встрече В.Сафонова, Ю.Кушака и Н.Рубцова мурманским вечером с хмельной ватагой, «особей этак шесть или

семь. Матерятся, кулаками стучат. Запахло мордобоем. Мы с Юркой опустили ведра, готовые защищаться, а Коля проворно нагнулся и схватил с земли ребристый булыжник.

– Не подходи! – выкрикнул с искаженным лицом.

Ватага покружилась вокруг нас и, матерясь, уступила дорогу.

– Колька, – сказал я Рубцову, – ты же противник всякого насилия, а тут... за камень сразу.

Он внимательно посмотрел на меня: не смеюсь ли я? И очень серьезно ответил:

– Я же детдомовский. Меня часто били. Может, вовсе убили б, да вот... приходилось иногда.

...Впервые увидел я Рубцова, готового переступить черту...»

Со своего сиротского детства Н.Рубцов нес в себе скрытую внутреннюю боль, которая жила в нём и губила его при открытом столкновении с реальностью. Тягостные испытания, выпавшие на долю Н.Рубцова в Чорсу, предельно обострили его чувства. Он оказался в загадочном и безжалостном мире, стал свидетелем невыносимых порой страданий тех, кто попал на Востоке на самое «дно» жизни. В процитированном выше стихотворении «Уж сколько лет слоняюсь по планете!» он спрашивает себя, неужели стоило «пройти сквозь бури, грозы, чтоб назваться / среди других глупцом и ...умереть?». В Ташкенте в 1954 году Н.Рубцов пишет стихотворение «Да, я умру!», в котором рисует охватившее его душу видение своих похорон вдали от родины:

*А на что мне хороший гроб-то?
Зарывайте меня хоть как!
Жалкий след мой
Будет затоптан
Башмаками других бродяг.*

Прочитывая пять четверостиший этого обычно замалчивавшегося исследователями поэзии Рубцова стихотворения, Н.Коняев делает вывод, что «впервые в этом стихотворении обращается Рубцов к теме смерти, ставшей в дальнейшем одной из главных в его творчестве». Между тем сам Н.Рубцов писал о своей поэзии: «Особенно люблю темы родины и скитаний, жизни и смерти, любви и удали», где жизнь и смерть соединены воедино, а главным объектом для поэта становится Родина, Россия как некая философско-мистическая и метафизическая реалья. О таком понимании философского подтекста русской поэзии говорил писатель и философ Ю.В. Мамлеев в интервью редакции журнала «Вопросы философии» в 1992 году: «Русскую философию я больше чувствую через литературу, напри-

мер через поэзию Блока, Белого, Тютчева, Есенина». Можно полагать, что к своим 18 годам такой любитель чтения, как Н.Рубцов, уже познакомился с творчеством этой четверки русских поэтов. Кумирами среди них, как он признавался впоследствии, стали С.Есенин и Ф.Тютчев. Первый из них порастил Н.Рубцова «открывающейся в слове и образе доселе скрытой внутренней силой русской мистики», второй – истинно метафизической тоской от неопределенности места и роли человека в мироустройстве, от тщеты усилий обрести гармонию, от ужаса перед хаосом первозданной темной стихии, наедине с которой человек остается ночью:

*О вещая душа моя,
О сердце, полное тревоги, –
О, как ты бьешься на пороге
Как бы двойного бытия!..
Так ты – жилища двух миров,
Твой день – болезненный и страстный,
Твой сон – пророчески-неясный,
Как откровение духов⁴.*

В юности на Н.Рубцова огромное впечатление произвела поэзия С.Есенина. Порой молодому северянину казалось, что это к нему обращается С.Есенин в стихотворении «Русь бесприютная»: ‘

*Я тоже рос,
Несчастный и худой,
Средь жидких,
Тягостных рассветов.
Но если б встали все
Мальчишки чередой,
То были б тысячи
Прекраснейших поэтов.*

Одним из немногих «несчастливых и худых» сирот и послевоенных беспризорников, кто сумел встать на ноги, найти достойное место в стране Поэзии, оказался Н.Рубцов. Но для этого ему надо было понять в Чорсу глубоко и навсегда, что «самое страшное для человека – это потерять Родину⁵».

Уже в марте 1955 года Н.Рубцов оказывается в Вологде и встречается с отцом и жившим в тот момент в его доме братом Альбертом. Отец отказывается прописать Николая у себя, ссылаясь на бедность, слабое здоровье и троих детей от второго брака. Н.Рубцов выслушивает отца спокойно, без обиды. Позднее в «Философских стихах» он рисует портрет человека, когда-то жившего «в лучах довольства полного и славы», на поводу «страстей своей души» и боявшегося разве что «буйного похмелья». Но вот пришла к нему старость:

*Он слёзы льёт, он требует участия,
Но поздно понял, важный человек,
Что создал в жизни
ложный облик счастья!*

Юноша не хочет повторять ошибки отца, в конце жизни ставшего алкоголиком и неудачником, и дает обещание:

*Что я не буду с девушками грубым
И пьянствовать не стану, как отец.*

Н.Рубцов уезжает в посёлок Приютино (ныне в составе города Всеволожска Ленинградской области), устраивается слесарем-сборщиком на испытательный артиллерийский полигон, а осенью 1955 года получает повестку из военкомата и отправляется служить дальномерщиком на один из эсминцев Северного флота. Служба не тяготит Н.Рубцова. Он быстро осваивает свою профессию, обретает на корабле друзей. Регулярное питание и строгий распорядок дня укрепляют его здоровье. На фотографиях тех лет он выглядит человеком здоровым и энергичным. Оптимизмом веет от стихотворения «Мое море», опубликованного в газете «Комсомолец Заполярья» 20 ноября 1957 года:

*Я труду научился на флоте,
И теперь на любом берегу
Без большого размаха в работе
Я, наверное, жить не смогу...*

Н.Рубцова принимают в члены флотского литературного объединения при газете «На страже Заполярья». В 21 год Н.Рубцов впервые оказался среди пишущей братии, но не растерялся, быстро усвоил законы творческого общения. «В те годы флотской нашей юности Рубцов был очень общительным человеком, – вспоминал Валентин Сафонов. – С отчаянной смелостью врубался в любой разговор о литературе, тем паче о поэзии. Если сам читал стихи или вслух размышлял о чьих-то, тут Колю слушать не переслушать». После того как стихи Н.Рубцова начали печататься в Мурманских газетах и сборниках, он стал всё чаще задумываться о возможности после демобилизации соединить свою судьбу с литературой. В.Сафонов передал Н.Рубцову присланный родными двухтомник стихов С.Есенина и по радостной реакции друга понял, что к Есенину у Рубцова «отношение особенное». «Невозможно забыть мне ничего, что касается Есенина, – писал 2 февраля 1959 года

Н.Рубцов В.Сафонову. – О нём всегда я думаю больше, чем о ком-либо. И всегда поражаюсь необыкновенной силе его стихов. Многие поэты, когда берут не фальшивые ноты, способны вызывать резонанс соответствующей душевной струны у человека. А он, Сергей Есенин, вызывает звучание целого оркестра чувств, музыка которого, очевидно, может сопровождать человека в течение всей жизни. Во мне полнокровной жизнью живут очень многие его стихи».

Если использовать сравнение поэзии С.Есенина со звучанием «оркестра чувств», то приходится сказать, что в опубликованных Н.Рубцовым во время флотской службы стихах звуки духового оркестра заметно подавляют лирическое звучание скрипок. К ранним стихам Н.Рубцова мурманский писатель В.Сорокажердьев советует относиться «именно как к начальному пути стихотворца, как к ученическому периоду творчества».

Лирический герой пяти стихотворений Н.Рубцова («Пой, товарищ...», «Матери», «Май пришел», «Отпускное», «Северная береза») из коллективного сборника поэтов Северного флота «На страже Родины любимой» (1958) «с законной гордостью во взоре» вспоминает «схватки с морем штормовым». Он гордится, «что в краю, не знающем печали, / где плывут поля во все концы, / нам охрану счастья доверяли / наши сестры, матери, отцы». Такого рода стихотворения мало чем отличались от других, сочиненных менее даровитыми авторами на «морскую» тему.

Н.Рубцов рано понял, что и в каком духе надо писать «для газеты». В письме В.Елесину от 24 октября 1965 года он, предлагая к публикации одно из своих стихотворений, цитировал строку «Склоню ли голову, слагаю о жизни грустные стихи» и писал далее: «Если вашу газету не устроит слово «грустные», можно заменить его другим. Это сделать легко, хотя никакое другое слово, никакой другой эпитет здесь не будет точнее и лучше. Ещё в этом же стихотворении есть строчки: «Нет, не найдет успокоенья мой беспокойный бодрый дух!» Это вариант для газеты. Но, может быть, газета примет и другой вариант этих строчек: «Нет, не найдет успокоенья во мне живущий адский дух!»

О том, что Н.Рубцов с иронией относился к «бодрому духу» предназначенных для газетных публикаций произведений, свидетельствует стихотворение «Сказка-сказочка» (1960). Сюжет его строится на фантастической истории встречи поэта с «каким-то бесом», который вначале перебил в комнатухе все стоявшие на полу пустые бутылки, потом взлетел на полку книг:

*Уткнулся бес в какой-то бред
И вдруг завыл: – О, божья мать!
Я вижу лишь лицо газет,
А лиц поэтов не видать...*

В письме Александру Яшину от 22 августа 1964 года, касаясь «удивительно неуклюжих, пустяковых «современных» стихов, Н.Рубцов писал: «Уж сколько раз твердили миру, что мы молотобойцы, градостроители и т.п., всё твердят, твердят! А где лиризм, естественность, звучность? Иначе, где поэзия?»

С первых своих шагов в литературе Н.Рубцов мечтал иметь своё «лицо поэта». Датированное 1950 годом и написанное в селе Никольском Вологодской области стихотворение «Два пути» дает понять, что будущему поэту всегда хотелось свернуть с многолюдного тракта в сторону от толпы:

*А от тракта, в сторону далеко,
В лес уходит узкая тропа.
Хоть на ней бывает одиноко,
Но порой влечёт меня туда.*

По-видимому, уже с детства Н.Рубцов стал ощущать себя «белой вороной», не таким, как все, более зорко и пронизательно понимавшим жизнь. При этом он постоянно встречался с отчуждением и непониманием окружающих. Впоследствии в воспоминаниях многие его современники говорили о некоторой странности поэта, мысли и поведение которого разительно отличались от окружающих. «Это был человек необычного склада, со своим особенным внутренним миром, – вспоминал учившийся вместе с Н.Рубцовым в Литературном институте Б.Шишаев. – В нем чувствовалась какая-то необыкновенная добрая глубина... Меня всегда преследовала мысль, что приехал Рубцов откуда-то из неуютных мест своего одиночества... Он казался бесконечно далеким от стремлений людей, находившихся рядом. Даже его скромная одежда, шарф, перекинутый через плечо, как бы подчеркивали это».

Написанное Н.Рубцовым задолго до пришедшей к нему известности стихотворение «Деревенские ночи» (1953) удивляет своей изобразительной силой и неистовым желанием хотя бы на мгновение уйти из мира людей туда, «где ранних звезд мерцание, ржание стреноженных молодых коней». Но лирическому герою мало раствориться в мире природы. Простое созерцание не даст ему «успокоенья», не освобождает от поселившегося в нём «адского духа»:

*К табуну
с уздечкою
выбегу из мрака я.
Самого горячего
выберу коня.*

И вот уже «по травам скошенным» мчится лирический герой, да так, что «ромашки встречные» сторонятся конских копыт, а «вздогнувшие ивы брызгают росой». В этом раннем стихотворении, написанном 17-летним юношей, уже чувствуется огромный запас поэтической энергии, рождающейся на столкновении двух противоположных начал: стремления к одиночеству в тиши лесов и полей – и сжигающего душу желания к настоящей жизни, наполненной в заветных мечтах юноши жадными, мучительными, страстными исканиями, которые рождены, как Н.Рубцов писал в процитированном выше письме В.Елесину, «во мне живущим адским духом».

Между тем мир, окружавший Н.Рубцова с самого рождения, постоянно ставил запреты и ограничения, укрощал его, принуждал смириться, признать превосходство других, более сильных, напоминал, что жизнь – это прежде всего обязанности, зависимость, гнёт дисциплины. Казалось бы, в поэзии Н.Рубцов мог освободиться от бремени власти, от всех помех и ограничений, но и это выглядело во время службы во флоте иллюзией. Однажды, будучи в гостях у Н.Рубцова, С.Багров среди его хранившихся в чемодане бумаг разглядел угол какой-то морской газеты. «Взял её и только успел развернуть и прочесть «Стихи Николая Рубцова», как услышал:

– Не тронь! Это худые стихи. Я писал их во время службы на корабле. До сих пор не пойму, почему я их сохранил?

Николай схватил у меня газету, с удовольствием смял и, открыв дверцу печки-голландки, бросил туда, а потом зажег спичку и подпалил».

Спасением для матроса Н.Рубцова от сочинения стихов с «бодрым духом» было чувство юмора. Даже изнуряющую «шагистику» он умудрялся воспроизвести в «шутке» «На плацу» с озорной удалью:

*Я марширую на плацу.
А снег стекает по лицу!
Я так хочу иметь успех!
Я марширую лучше всех!
Довольны мною все кругом!
Довольны мичман и старпом!
И даже – видно по глазам –
Главкомандующий сам!*

Вошедшее в сборник «Звезда полей» стихотворение «Элегия», датированное 1961 годом В.Кожинным, составителем вышедшей в «Библиотеке советской поэзии» книги «Николай Рубцов. Стихи» (1986), на самом деле тоже было написано в годы матросской службы. Как вспоминал В.Сафонов, «был у нас добрый обычай: каждое занятие литобъединения завершать чтением юмористических стихов, пародий и эпиграмм друг на друга. Вот в такой обстановке и прочел Рубцов стихи, которым в будущем суждено будет стать «Элегией»... После – надолго – первые строки этого стихотворения стали для литобъединения своеобразным паролем».

*Стукнул по карману – не звенит.
Стукнул по другому – не слышать.
В тихий свой, таинственный зенит
Полетели мысли отдохнуть.*

Как вспоминал В.Сафонов, в первом варианте две последних строки читались автором иначе: «В коммунизм – безоблачный зенит улетают мысли отдыхать». И не было в стихах ни слова о Ялте («Если только буду знаменит, / то поеду в Ялту отдыхать»), а последняя строфа целиком повторяла первую, только глагол «полетели» стоял в настоящем времени. Начатое как шутка, стихотворение продолжилось наполненными печалью строками:

*Но очнись и выйду за порог
И пойду на ветер, на откос
О печали пройденных дорог
Шелестеть остатками волос.
Память отбивается от рук,
Молодость уходит из-под ног,
Солнышко описывает круг –
Жизненный отсчитывает срок.*

Четыре года, отданные флоту в самый активный для любого поэта возраст, безусловно, замедлили творческое развитие Н.Рубцова. Он пока не нашел себя ни в стихах о матросской жизни, где главное – «верить с самого начала, / что из тебя получится моряк!» («Первый поход», 1959), ни в любовной лирике, которой он тоже отдал немало времени и сил, поскольку по природе своей, как и отец, любил женщин и ожидал от них ответных чувств. Стоило красивой медицинской сестре в белом халатике зайти к Н.Рубцову в больничную палату госпиталя, где он был прооперирован во время службы, и с профессиональной нежностью в голосе выразить сочувствие, как тут же рождалось стихотворение «Сестра» с описанием охватившей моряка

надежды на встречу: «Думал я о чуткости / рук, державших шприц, / и не боли – радости / не было границ...» Посылая это стихотворение 29 мая 1959 года В.Сафонову, Н.Рубцов смущенно признавался: «Не подумай, что я влюблен, точнее, не подумай, что только я в неё влюблен. Её любят все за чудесный характер и работу. С ней говорить – то же, что дышать свежим чистым воздухом».

В стихотворении «Минута прощания» духовно-нравственное преображение лирического героя под влиянием женской любви раскрыто с чувством благодарности за исцеление от душевной боли и обретение внутреннего покоя:

*...Уронила шелк волос
Ты на кофту синюю
Пролил тонкий запах роз
Ветер под осиною.
Расплескала в камень струн
Цвета винного волна –
Мне хотелось в поцелуи
Душу выплеснуть до дна.*

Чаще всего тема романтической любви в ранних стихах Н. Рубцова связана с обликом женщин, пробудивших когда-то первые, оставшиеся вместе с тем неразделенными любовные чувства. Это Т. Решетова, выпускница Тотемского педучилища, которая, по словам Н. Коняева, «не смогла отвергнуть ухаживания», стала «первой любовью» Н. Рубцова и бродила с ним по берегу Сухоны, дожидаясь ночного рейса парохода на Вологду. Её мама, узнав, что Н.Рубцов сирота, постаралась окружить его заботой. Но между влюбленными произошла ссора, и Таня вместе с сокурсницами уехала на работу в Азербайджан. Именно её вспоминал Н.Рубцов в январе 1955 года, когда писал:

*Ты не одна томишься на чужбине
И одинокой быть обречена.*

Несколько стихотворений поэта посвящено Т.С. – Тае (Таисии) Смирновой, с которой он познакомился в августе 1955 года на танцах в парке поселка Приютино и которой затем посылал фотографии и стихи с Северного флота:

*Сочинять немного чести.
Но хотел бы я мельком
Посидеть с тобою вместе
На скамье под деревцом.*

С мыслью о встрече с Таей приехал Н.Рубцов на побывку в Приютино в 1957 году. Каково же было

разочарование, когда он узнал, что Тая изменила ему. Он воспринял это как предательство и весь свой гнев вылил в посвященном Т.С. стихотворении «После разлуки» (1957):

*Забыла ли ты о друге?
Взгляни же скорей!
Всё ясно...
Три года тебе, подлюге,
Письма писал напрасно.*

Такое прямолинейное выражение чувств пока ещё очень далеко от есенинской грусти в стихах о расставании с любимой женщиной:

*Пускай ты выпита другим,
Но мне осталось, мне осталось
Твоих волос стеклянный дым
И глаз осенняя усталость⁶.*

После армии Н.Рубцову предстояло еще многое узнать и пережить, чтобы трагедию любви не смешивать с неудачной любовью. Пока же от своих друзей Н.Рубцов ожидал, что любовные отношения будут развиваться так же последовательно, как в прочитанных им на флоте советских романах. Отключенный на четыре года от жизни общества, в котором во второй половине 1950-х годов происходили значительные перемены в понимании «вечности в любви», Н.Рубцов только позднее, в пору творческой зрелости, осознал, что любовь, все равно, счастливая или несчастная, для поэта много интереснее долгих лет обыденного брака:

*Вот так же было холодно и сыро,
Сквозил в проулках ветер и рассвет,
Когда она задумчиво спросила:
– Наверное, гордишься, что поэт? –
Наивная! Ей было не представить,
Что не себя, – ее хотел прославить,
Что мне для счастья
Надо лишь иметь
То, что меня заставило запеть!*

Но такого качества стихи о любви стали «выпеваться» у Н.Рубцова уже позднее, а в феврале 1959 года, незадолго до окончания срока флотской службы, он оказался на распутье. В любом отделе кадров он мог показать лишь документ об окончании семилетки. Он бросил учёбу в двух техникумах. Несколько раз влюблялся в девушек, но ни одна не дала согласия стать его женой. У него не было только квартиры, но и каких-либо шансов получить её в ближайшее время. Из-за отсутствия образо-

вания он мог рассчитывать только на самую непрестижную, грязную и тяжелую работу с многолюдным общежитием в придачу. Как он писал в посланном еще с флота письме В. Сафонову от 3 февраля 1959 года, единственным избавлением «от вредного и неприятного расположения духа», от «угарных газов мрачного скептического состояния» помогали ему как письма друзей, так и стихи С. Есенина с присущей им «необыкновенной силой» чувств. Цитируя близкие ему по духу строки С. Есенина из стихотворения «Хулиган» («Мне бы в ночь в голубой степи / где-нибудь с кистенем стоять!»), Н. Рубцов делился впечатлениями:

«Что за чувства в этих стихах? Неужели желание убивать? Этого не может быть! Вполне очевидно, что это неудержимо буйный (полнота чувств, бьющая через край, то – самое ценное качество стиха, точно? Без него, без чувства, вернее без нее, без полноты чувства, стих скучен и вял, как день без солнца) – повторяю: это неудержимо буйный (в русском духе) – образ жестокой тоски по степному раздолью, по свободе. Не важно, что образ хулиганский. Главное в нём – романтика и кипение, с исключительной силой выразившее настроение (беру чисто поэтическую сторону дела). Вообще в стихах должно быть «удесятеренное чувство жизни», как сказал Блок. Тогда они действенны».

Судя по этому письму, Н. Рубцов пытается обрести понимание самого себя, своих желаний, своего гнева и тревоги, своей тоски – чем она рождена, что могло бы её утолить? Он уже знает, насколько сурово тоталитарное общество испытывает человеческое мужество, как трудно в нём человеку остаться человеком. Перед ним, как и когда-то перед С. Есениным, стоит выбор: либо быть бунтарем, либо пленником добропорядочности и ради житейского успеха прилаживаться к пахнущим страхом законам советского общества, существующего в условиях подавленности и покорности. Он видит, что современная поэзия страдает упадком духа, многие стихи «рождаются мертвыми». В письме ленинградскому поэту Герману Гоппе, написанному в марте 1960 года, Н. Рубцов не без иронии вспоминает о своем впечатлении от выступления И. Бродского на Турнире поэтов во Дворце культуры им. М. Горького в конце 1959 года:

«Конечно же, были поэты с декадентским духом. Например, Бродский. Он, конечно, не завоевал приза, но в зале не было равнодушных во время его выступления.

Взявшись за ножку микрофона обеими руками и поднеся его вплотную к самому рту, он громко и картаво, покачивая головой в такт ритму стихов, читал:

*У каждого свой храм!
У каждого свой гроб!*

Шуму было! Одни кричат:

– При чем тут поэзия?!

– Долой его!

Другие вопят:

– Бродский, еще!

– Еще! Еще!

После этого вечера я долго не мог уснуть и утром опоздал на работу, потому что проспал. Печальный факт тлетворного влияния поэзии, когда слишком много думаешь о ней, в отрыве от жизни, в отрыве от гражданских обязанностей! Я знал, что завтра на работу, но не придавал этому особенного значения, и, как видите, поэтическое настроение в момент пришло в противоречие с задачами семилетки, обратилось в угрызение совести. И в деньги, которые мог бы заработать, но не заработал.

Так и в стихах. Поэзия исчезает в них, когда поэт перестает чувствовать землю под ногами и уносится в мир абстрактных идей и размышлений».

Н. Рубцов хочет идти своим неповторимым путем, поминутно чувствуя жажду движения вперед, «романтику и кипение» в своей душе и «удесятеренное чувство жизни» в новых стихах. Переполюющая Н. Рубцова «неудержимо буйная (в русском духе)» тоска по раздолью и свободе требует активных действий – в жизни и в поэзии. Очевидно, что эмоциями Н. Рубцова руководит глубокое убеждение, поддержанное реальными переживаниями и прежде всего – желанием раскрыть возможности в самом себе.

2 июля 1960 года Н. Рубцов посылает В. Сафонову письмо из Ленинграда:

«Работать устроился на советский завод, где, сам знаешь, меньше семисот рублей никто не получает. С полочки особенно хорошо: хожу в театры и в кино, жру пирожное и мороженое и шляюсь по городу, отнюдь не качаясь от голода.

Вообще живется как-то одиноко, без волнения, без особых радостей, без особого горя. Старею понемножку, так и не решив, для чего же живу... А вот мне сама жизнь давненько уже доказала необходимость иметь большую цель, к которой надо стремиться».

К тому времени, с 30 ноября 1959 года, Н. Рубцов уже полгода работал кочегаром на Кировском заводе за Нарвской заставой, успел войти в состав литературного кружка при редакции заводской многотиражки «Кировец» и опубликовать в апрельском номере газеты стихотворение «В кочегарке»:

*...Пахло угольным угаром,
Лезла пыль в глаза и рот,
А у ног горячим паром
Шлак парил, как пароход.*

Заводской газете был близок лирический герой этого стихотворения, вчерашний матрос Северного флота, который «с таким работал жаром, / будто от- дан был приказ / стать хорошим кочегаром / мне, ушедшему в запас». Поэт Николай Новосёлов писал в предисловии к литературной странице многооти- ражки: «От стихотворения к стихотворению крепнет поэтический голос, возрастает литературное мас- терство Н.Рубцова». В тот момент всем членам кружка казалось, что к «рабочей» теме приобщился ещё один достойный человек, вышедший из наро- да. Н.Рубцову предоставили место в общежитии и в мае 1961 года перевели на работу шихтовщиком в копровый цех. По записанным В.Карпушенко вос- поминаниям А.В.Николаева, жившего с Н.Рубцо- вым в одной комнате, сосед вечерами допоздна пи- сал стихи: «В его тумбочке лежала стопка листов, испещренных пометками, вычеркнутыми строчка- ми, вымаранными чернилами словами. Иногда Ни- колай часами бился над словом. Бывало, вернемся с завода в общежитие – в комнате хоть шаром пока- ти: добываем у ребят хлеба, ставим чайник, пьем кипяток. Николай уже успел за день сочинить сти- хотворение, но «замка» стиха, как он говорил, – нет. Опять бьется над словами. И наконец находит, улы- бается. Счастливый, будто червонец нашел».

Наряду с занятиями в заводском кружке, Н.Руб- цов становится членом литературного объедине- ния «Нарвская застава», где велись занятия по теории и истории поэзии. На руководителя ли- тобъединения Игоря Михайлова произвели впе- чатление «удивительно жизнелюбивые» стихи вчерашнего моряка. Осенью 1961 года пять сти- хотворений Н.Рубцова – «В кочегарке», «Впечат- ления детства», «Желание», «Утро на море», «Портовые ночи» – появились в сборнике заводс- ких поэтов «Первая плавка». Для многих членов литературного объединения это был первый шаг в страну Поэзии, и они искренне радовались пуб- ликации. Что же касается Н.Рубцова, то он уже выходил на тропу профессионального литерато- ра и знал, что и как надо писать на «рабочую» те- му. Профессия кочегара окончательно добывала его и без того порушенное войной и сиротством здоровье, но если в данной ситуации от него как от поэта ждали прославления труда – он писал стихотворение «Кочегарка», где заявлял о жела- нии «стать хорошим кочегаром». Полгода работы на рыболовном траулере показали Н.Рубцову

всю изнанку изнурительного труда в море, но от него, бывшего матроса, ждали романтических воспоминаний о пережитом. Так появляется сти- хотворение «Утро на море» с описанием реюще- го над волной паруса, а издали

*Встречая день, мечтательно и страстно
Поет о счастье голос молодой!*

Много общих слов в стихотворении «Портовая ночь», где рифмы подобраны с не свойственной поэту небрежностью: «опять – зажигать», «уют – прильнут», «труд – уют». Пожалуй, только в стихотворении «Желание» Н.Рубцов приоткрывает тот «глубинный пламень», который бушует в его ду- ше и пока не находит своего выражения в стихах:

*Но от грустных слов
мне рот воротит.
Тот глубинный пламень есть в душе,
Что всегда горит во мне и бродит,
Словно хмель в наполненном ковше.*

Поэт выражает желание, «чтоб времени фарватер / не оставил где-то в стороне». Он не может не по- нимать, что навязываемое ему предложение стать певцом «рабочей» темы не дает перспективы роста.

На очередное заседание литературного объе- динения «Нарвская застава» Н.Рубцов выносит шесть стихотворений иной тональности («На ро- дине», «Фиалки», «Соловьи», «Видения в долине», «Левитан», «Старый конь») и получает дружный отпор. На взгляд заводских поэтов, эти лиричес- кие стихи «мелки по теме», в них присутствует «неуместная в стихах такого рода игра слов». За- то хвалят стихи Н.Рубцова на «рабочую» тему («В океане», «Я весь в мазуте, весь в тавоте...»), кото- рые «сразу составили ему добрую репутацию»⁷. Н.Рубцову советовали заняться описанием «тру- дового процесса». Тем самым его отсекали от философской лирики, связанной с размышлени- ями о жизни и смерти, о смысле человеческого бытия, о судьбе России.

«В Ленинграде Рубцов был в какой-то мере чужа- ком, пришельцем, – вспоминал Г.Горбовский. – Однажды привел с собой брата с гармошкой. И мы все пошли в один из ленинградских садилов, сели на лавку и стали играть на гармошке и петь песни. Городские люди на нас с интересом смотрели. А Коля не мог иначе. Ему так хотелось щегольнуть гармошкой, северной частушкой или моряцким гимном – «Раскинулось море широко»... Он таким образом заявлял в городе о себе, сохраняя в себе свое, тамошнее, народное...»

И хотя у Н.Рубцова, в отличие от С.Есенина, в бытовом и будничном плане не было родительского дома, он воспринимал село Никольское, где провел детство и откуда шагнул в большой мир, как свою родную вотчину. Здесь он мог после долгих странствий припасть к источнику всего живого, нравственно чуткого – к родной, «врачующей» природе. Стихотворение «На родину» (1962) начинается с картины мчащихся в ночи «по холмам суровым» грузовиков, в одном из которых сидит лирический герой, обуянный желанием скорее увидеть родные просторы:

*Побегу в родные края,
Побегу
Из долгой неволи
На отдых,
На мед с молоком!*

Родные края предстают здесь в романтическом ореоле как некий сказочный мир, где после «долгой неволи» города можно вылечить свою уставшую душу и встретить добрых людей, дарующих всем «мед с молоком». Тишине этого райского уголка противопоставлен рев грузовиков, водители которых ведут себя как завоеватели сельских пространств: «Припали к рулям, / как зубры! / и гнали – в леса, в леса! – жестоко оскалив зубы / и вытаращив глаза!» Здесь Н.Рубцов интуитивно повторяет конфликт «живого» и «железного», который проходит через стихотворение С.Есенина «Сорокоуст» (1920). В нём от храпа поезда, похожего на зверя «с железной ноздрей», чуют беду строения, поселки, луга, а «смешной дуралей» жеребенок терзает силы в отчаянной гонке с паровозом, не зная, «что живых коней победила стальная конница».

На ту же тему написано стихотворение «Фиалки» (1962), герой которого в большом городе испытывает огромное чувство одиночества, осиротелости. Ему чужд водоворот суеты и денежных забот, где даже лесные фиалки продаются навывнос, а ведь они для вышедшего из деревни лирического героя – «словно живые». Образ срезанных на продажу лесных фиалок усиливает в лирическом герое отчаяние от мысли, что он, оказавшись без денег на чужбине, может никогда не возвратиться на родину. Возникает переключка с началом поэмы С.Есенина «Цветы» (1924):

*Цветы мне говорят прощай,
Головками кивая низко.
Ты больше не увидишь близко
Родное поле, отчий край⁸.*

В свойственные «Цветам» грустно-мрачные тона окрашены и переживания героя «Фиалок», мечтам которого о возвращении в деревенский рай, где любого скитальца угощают молоком с медом, не дают исполниться борющиеся друг с другом за каждую копейку, за место под солнцем озверевшие от бедности посетители вещевого рынка. Они равнодушны к страданиям деревенского паренька, к его попыткам продать последнюю одежду и купить билет на родину:

*Вот хожу я, где ругань,
Где торговля по кругу,
Где толкают друг друга
И толкают друг другу,
Рвут за каждую гайку
Русский, немец, эстонец...
О!.. Купите фуфайку.
Я отдам за червонец...*

Культе денег, культе обыденной жизни, основанной на примитивных иллюзиях, выдаваемых за здравый смысл, были чужды Н.Рубцову, никогда не ощущавшему безопасности, комфортности и спокойствия человеческого существования. Выполняя на заводе физически выматывавшую его работу и получая за неё гроши, живя в общежитии, питаясь плохо и, как всё его окружение, злоупотребляя алкоголем, Н.Рубцов спасал себя духовным самоисследованием, поиском ответа на вопрос: «кто есть я?» Как это бывает в индуистской практике, «все человеческие качества продолжают существовать как бы формально, в том числе и «Эго», но в душе появляется совершенно иной центр... Человеческое «Я» остается где-то внизу как придаток, а вместо него возникает то, что невыразимо на человеческом языке... Появляется реальное иное «сознание», и всё это совершенно конкретно, существуют признаки этого «сознания» как результат «собственного усилия человека, но не в форме рациональных попыток и обобщений, а в форме активизации так называемой сверхрациональной интуиции, интуитивного познания, которое относится к компетенции уже сверхрационального разума. Это познание сверхчеловеческое, т.е. мгновенное познание того, что ты хочешь познать»⁹.

Отсюда – неожиданный для многих его современников творческий взлёт Н.Рубцова к вершинам поэтического слова, вызвавший удивление читателей и критиков по поводу пророческой глубины его стихов. «...Мнится, – писал Вадим Кожинов, – что стихи эти никто не создавал, что поэт только извлек из вечной жизни родного слова, где они всегда – хотя и скрыто, тайно – пребывали».

Одним из первых, кто в Ленинграде почувствовал сердцем, что Н.Рубцов находит свою, «корневую, драматическую тему Родины, России, тему жизни и смерти, любви и отчаяния», был Глеб Горбовский. Случилось это, когда Н.Рубцов зашел к нему в гости и прочел стихотворение, начинавшееся строкой «Трущобный двор. Фигура на углу». «Главное, что стихи взволновали, даже потрясли своей неожиданной мощью, рельефностью образов, драматизмом правды, – вспоминал Г.Горбовский. – И Коля для меня перестал быть просто Колей. В моем мире возник поэт Николай Рубцов. Это был праздник».

В начальном варианте поразившее Г.Горбовского стихотворение называлось «Поэт» и при всём автобиографическом его характере подхватывало одну из ведущих тем в творчестве Ф.Достоевского – тему одиночества человека, живущего не в своей среде, во мраке безвыходности и отчаяния и потому склонного переносить свои переживания в мистическую потустороннюю сферу. Стихотворение начинается с описания чисто петербургского пейзажа, каким он виделся Ф.Достоевскому: городские трущобы, замкнутые с четырех сторон мрачные и грязные дворы, желтый свет из окон, который «горит, но не рассеивает мглу». Неудивительно, что в одинокой фигуре на углу лирическому герою, пришедшему на встречу с приятелем-поэтом, чудится Ф.Достоевский: «Как без него представить эти тени, / и желтый свет, и грязные ступени...» Уже настроенному на некое бесовское наваждение герою всё дальнейшее видится словно в тревожном сне:

*Я продолжаю верить в этот бред.
Когда в своё притонное жилище
По коридору в страшной темнотище,
Отдав поклон, ведет меня поэт...*

Далее, как в «Двойнике» Достоевского, происходит нечто странное: лирический герой, будучи сам поэтом, начинает жить в стихотворении двойной жизнью, раздваивается в собственном сознании. С одной стороны, он опасается всего происходящего в «притонном жилище» – олицетворении ада в его воспаленном воображении, а с другой стороны, с болезненным любопытством фиксирует в своей памяти детали раскрывающегося перед ним мистического зрелища, тем более что узнает себя в хозяине мрачной квартиры, который «как волк, напьется натошак, / и неподвижно, словно на портрете, / все тяжелей сидит на табурете, / и все молчит, не двигаясь никак».

*Он говорит, что всё уходит прочь
И всякий путь оплакивает ветер,
Что странный бред, похожий на медведя,
Его опять преследовал всю ночь,
Он говорит, что мы одних кровей,
И на меня указывает пальцем.
А мне неловко выглядеть страдальцем,
И я смеюсь, чтоб выглядеть живой.*

О существовании в себе другого, «черного чело- века» признавался и сам Н.Рубцов. В воспоминаниях жены В.Астафьева М. Корякиной приводится текст его записки к Н.Л.: «Н.! Я понимаю, что мало извиниться перед тобой (мне все рассказала Анастасия Александровна). Это говорил не я. Это говорило моё абсолютное безумие. Поэтому не придавай абсолютно никакого значения дурости. По-прежнему Н.». И далее М.Корякина продолжает: «Спустя несколько дней Николай зашел к нам пьяный, мрачный и раздраженный. Покачиваясь на стуле, что-то говорил о смысле жизни поэта, начал было развивать какую-то умную мысль, но тут снова заговорило его «абсолютное безумие». Я смотрела на него, совсем другого Колю, неухоженного, нетерпимого, и уж вроде начала сомневаться, один ли и тот же человек Николай Рубцов, написавший много прекрасных стихов, и этот изможденный выпивкой, косноязычный, растрчивающий себя и свой талант так безрассудно».

Но даже когда Н.Рубцов клял себя за проступки, объяснимые «абсолютным безумием» и «адским пламенем» эмоций, он продолжал в стихах совершенно справедливо утверждать:

Поверьте мне: я чист душою...

Необычность поведения Н.Рубцова, как и мистический реализм его стихов, вызывали у его знакомых ощущение встречи с чем-то загадочным и необъяснимым. Иногда поэт «никого вокруг себя не замечает, настолько отрешенным вдруг становится взгляд, устремленный сквозь и через всех в ему одному видимую даль»¹⁰. В такие минуты его словно вела неведомая сила, и объяснение такому поведению, напоминающему медитацию, можно найти в работах ученого из Санкт-Петербурга Ю.А.Андреева. По его мнению, избранным художникам слова даровано выйти на контакт с ноосферой – «гигантской оболочкой вокруг Земли, постоянно накапливающей всё новую и новую информацию о каждом из нас, обо всем, что совершается на планете... Обретение знаний свыше – хоть во сне, хоть наяву – свидетельство этой истины. Выход на информационный канал в ряде случаев позволял

не только предсказывать будущее, но подчас и открывать неизвестные страницы в прошлом».

Провидческое дарование Н.Рубцова проявилось уже в стихотворении «Видения на холме» (1962), первый вариант которого был написан в Ленинграде и представлен в рукописном сборнике Н.Рубцова «Волны и скалы». Позднее, уже в Москве, Н.Рубцов вновь вернулся к тексту стихотворения: вместо выражения «безмолвных звезд сапфирное движение» появился завершающий стихотворение образ: «спокойных звезд безбрежное мерцанье» и т.д. Но корневая основа стихотворения сохранилась.

Создание «Видений на холме» совпало с увлечением Н. Рубцова творчеством Федора Тютчева. Об этом свидетельствуют многие его современники, и в том числе вологодский прозаик С.Багров:

«Вернувшись к раскрытому чемодану, он вынул книгу в желтом потрепанном переплете – «Сочинения Ф.И.Тютчева». Подавая её мне в руки, сказал:

– Вот поэт! Сильнее его не знаю!

– А Пушкин?

– Они друг другу равны.

– А Есенин?

– Он тоже великий поэт».

Ф.Тютчев оказался близок Н.Рубцову высокой оценкой в человеке игры естественных, произвольных сил. Литературовед Н.Я. Берковский называл Ф.Тютчева поэтом-импровизатором, возлагающим надежды на прихоть чувства и мысли, которые сами должны вывести его на верный путь: «В поэтическом изложении он делает крутые прыжки и повороты, узаконивает внезапные свои находки – будет ли это поэтическая идея, будет ли это слово, – твердо верит в правоту своих догадок, не ища доказательств для них... Он отдается впечатлениям жизни, идет за ними, благодарный тому, что они подсказут, что внушат. Как подлинный импровизатор, он сочиняет по мгновенно пришедшему поводу, без подготовки и безошибочно верно». Такая импровизаторская программа классика русской поэзии была близка Н.Рубцову, который в письме А.Яшину от 3.11.1964 г. писал: «Не поэзия от нас зависит, а мы зависим от неё... Главное, чтоб за любыми формами стояло подлинное настроение, переживание, которое, собственно, и создает, независимо от нас, форму. А значит, еще главное – богатство переживаний, настроений (что опять не от нас зависит), дабы не было бедности, застоя интонаций, форм».

Ф.Тютчев оказался близок Н.Рубцову своим пантеизмом, бравшим под покровительство всю органическую жизнь в целом и потому напряженно переживавшим противоречия современного мира: «Что бы ни представало перед Тютчевым, – писал

Н.Я.Берковский, – он всегда подозревал великие несоответствия между явным и тайным, наличным и скрывающимся, идущим в жизнь и уже пришедшим в нее. Повседневная практика обнаруживала, что современный мир находится в распоряжении воинствующего индивида и его «злой жизни», как названа она в тютчевских стихах. Повсюду сказываются последствия и отголоски этой «злой жизни», столько же губительной, сколько и всепроникающей».

Стихотворение Ф.Тютчева «Видение» (1929) исполнено страхом перед разрушительной, вражеской силой, которая внезапно приходит к человечеству в ночи, «в час всемирного молчания». Ничем нельзя остановить зловеющий ход событий, когда «колесница мироздания / открыто катится в святилище небес»:

*Тогда густеет ночь, как хаос на водах,
Беспамятство, как Атлас, давит сушу...
Лишь музы девственную душу
В пророческих тревожат боги снах!*

Лишь немногим, и в первую очередь служителям музыки – поэтам, в эти ночные часы хаоса удастся проникнуть через свои видения в глубину вечного движения природы, в ход истории, в судьбы цивилизации:

*Когда пробьет последний час природы,
Состав частей разрушится земных:
Всё зримое опять покроют воды,
И божий лик изобразится в них!*

Присущее стихотворениям Ф.Тютчева «Видение» и «Последний катаклизм» мистическое восприятие благой, божественной силы и злой, сатанинской характерно и для «Видений на холме» Н.Рубцова. Уникальность духовного опыта Н.Рубцова состояла в том, что это мистическое чувство он вынес не после знакомства с философией и культурой Запада (где Ф.Тютчев провел 22 года), а через личный опыт скитаний по России. Развитию мистического чувства способствовали сиротство и житейская неустроенность, постоянная нужда, разрыв с семьей, тягостное одиночество и безысходность во многих жизненных испытаниях. Главным же для Н.Рубцова было обретение национального исторического сознания после приобщения к богатейшей культуре Русского Севера, когда в душе повзрослевшего поэта появилась способность поставить жизнь русского народа в некую всемирно-историческую связь.

Начиная с «Видений на холме», Н.Рубцов (об этом он писал А.Яшину) предпочитает «использовать слова только духовного, эмоционально-об-

разного содержания, которые звучали до нас сотни лет и столько же будут жить после нас». История вторгается в его «Видения» сквозь призму личности как субъекта, соотношенного с бытием народа. Так же, как для Пушкина «судьба человеческая – судьба народная», так и для Н.Рубцова характерно желание проникнуть в тайну России, послужить ей, пророчески разгадать её судьбу. И начинается он с напоминания о трагическом прошлом Руси:

*Взбегу на холм
и упаду
в траву.
И древностью повеет вдруг из дола!
И вдруг картины грозного раздора
Я в этот миг увижу наяву.
Пустынный свет на звездных берегах
И вереницы птиц твоих, Россия,
Затмит на миг
В крови и жемчугах
Тупой башмак скуластого Батыя...*

В этой первой трети знаменитого стихотворения Н.Рубцов создает осененный православием образ Древней Руси, чья растянувшаяся на несколько веков жизнь под «тупым башмаком скуластого Батыя» стала результатом «грозного раздора» между разрозненными русскими княжествами. При воспоминаниях о пришедших с юга безжалостных варварах, утопивших Русь в крови, разрушивших национальный уклад, сердце поэта наполняется гневом и одновременно – сочувствием к пережившему такие страдания русскому народу.

Центральная часть стихотворения – это песнь любви к России. Вслед за Ф.Достоевским, которому принадлежат слова, что русский народ – народ-богоносец, Н.Рубцов верил в великую миссию России, которая несет миру братство людей и свободу духа. Он признавал культ святости у русского народа.

*Россия, Русь – куда я ни взгляну...
За все твои страдания и битвы
Люблю твою, Россия, старину,
Твои леса, погосты и молитвы,
Люблю твои избушки и цветы,
И небеса, горящие от зноя,
И шепот ив у омутной воды,
Люблю навек, до вечного покоя...*

Как славянофилы и их последователи в XX веке (Вяч.Иванов, С.Булгаков, В.Эрнст), Н.Рубцов близко воспринимал идею «Святой Руси», мечтал о восстановлении утраченной «древней истины». Сознательно или бессознательно, в качестве источника

вдохновения Н.Рубцов всегда видел перед собой родную страну. В «Видениях» поэт предвосхищал новое наступление на Россию сил зла, когда со всех сторон нагрянут «иных времен татары и монголы», и готовил к нему человеческие души.

Русь в изображении Н.Рубцова – это страна «света на звездных берегах», того самого света, который, согласно Евангелию, довелось лицезреть на горе Фавор избранным апостолам, увидевшим светлый лик преобразившегося Христа. И как бы ни скрежетали зубами собравшиеся под горой представители «рода неверного и развращенного», они бессильны помешать наполнить души человеческие надеждой на исцеление и преображение жизни как духовной, так и телесной. Об исканиях Фаворского света в русской литературе говорил 26 февраля 1914 года князь Евгений Трубецкой в докладе, читанном в Москве на собрании Религиозно-Философского общества: «И всегда искание Фаворского света вызывалось у наших писателей живым, болезненным ощущением силы зла, царящего в мире».

То же самое есть в «Видениях на холме» Н.Рубцова, где автор трагически переживает возможную судьбу родной страны, «сугубо страждущей, периодически одержимой духом немой и глухой, немолчно зовущей и требующей помощи», и вместе с тем в финале стихотворения выражает веру в вечное сияние «бессмертных звезд Руси»:

*Я больше не могу!
Я резко отниму от глаз ладони
И вдруг увижу: смирно на лугу
Траву жуют стреноженные кони.
Заржут они – и где-то у осин
Подхватит эхо медленное ржанье,
И надо мной –
бессмертных звезд Руси,
Спокойных звезд безбрежное молчанье...*

Каждому прочитавшему стихотворение «Видения на холме» становится ясно, что его автор любит свою страну, своё отечество и в этой любви черпает вдохновение. Ведь «только любовь привязывает человека к чему-нибудь на жизнь и на смерть; только любовь вызывает в душе ту верность, без которой немислимо никакое государство; только любовь открывает человеку то духовное око, которое позволяет ему отличать в жизни Божественное от небожественного и превращать свою жизнь в истинное служение».

Н.Рубцов готов был приступить к обновлению своего духовного опыта, но его желание по-новому открыть в стихах приметы времени столкнулись с

сопротивлением местной писательской элиты. «Хочется кому-то чего-то доказать, а что доказывать и кому доказывать – не знаю», – писал Н.Рубцов В.Сафонову 2 июля 1960 года. Ему было отказано в публикации на страницах журналов «Смена» и «Звезда». Иногда он выступал на различных мероприятиях (на вечере поэзии рабочей молодежи в Ленинградском Доме писателей 24 января 1962 года, на встрече молодых ленинградских поэтов с коллективом журнала «Звезда» в марте 1962 года, на итоговом отчете рабочих поэтов литературного объединения «Нарвская застава во Дворце культуры имени Горького» 6 мая 1962 года), но читал там стихи о труде моряков да небольшие юморески: «И вот уже в зале искренний смех, веселое оживление после очередных шуточных строк», – вспоминал Б.Тайгин, описывая вышедшего на сцену Н.Рубцова в заношенном пиджаке и мятых рабочих брюках, в шарфе, обмотанном вокруг шеи поверх пиджака.

Всё очевиднее становилось, что в Ленинграде Н.Рубцову не удастся проявить лучшие стороны своего дарования. Свои надежды на лучшее будущее он стал связывать с Москвой, с поступлением в Литературный институт имени Горького. Ради исполнения этой мечты Н.Рубцов без отрыва от производства окончил девятый и десятый классы вечерней школы и 21 июня 1962 года получил аттестат зрелости. Значимое для него событие совпало с другим: ленинградец Борис Тайгин предложил записать на магнитофонную ленту стихи в авторском исполнении и затем сделать машинописный сборник. В течение полутора месяцев, начиная с первого июня 1962 года, работа была завершена. В окончательном варианте в книжку вошло более тридцати стихотворений, разделенных на восемь тематических циклов. «Назвал Н.Рубцов ее «Волны и скалы», – вспоминал Б.Тайгин, – объяснив, что «волны» означают волны жизни, а «скалы» – различные препятствия, на которые человек натывается во время своего жизненного пути».

Рукописный сборник, размноженный в шести экземплярах, открывался авторским предисловием, написанным 11 июля 1962 года. На тот момент Н.Рубцов продолжал испытывать непреодолимую чуждость по отношению к не понявшей его творческих интересов и не принявшей его стихи поэтической элите. «И пусть не суются сюда со своими мнениями унылые и сытые «поэтические рыла», которыми кишат литературные дворы и задворки», – писал Н.Рубцов. – Без них во всем разберемся». Тенденциозность вступительной статьи очевидна, как и её противоречивость. С одной стороны, Н.Рубцов демонстрирует верность традициям поэтов-шестидесятников с их верностью нигилизму по отноше-

нию к респектабельным традициям и не считает «экспериментальным» и «формалистическим» тот уклон в некоторых его стихах, который связан с желанием «поиграть», если подобная игра – «органичное художественное средство». С другой стороны, он говорит о своей потребности в серьезности и глубине, в народно-национальной традиции, в общественных ценностях, без которых нет культуры:

«В жизни и в поэзии – не переносу спокойно любую фальшь, если ее почувствую. Каждого искреннего поэта понимаю в любом виде, даже в самом сумбурном.

По-настоящему люблю из поэтов-современников очень немногих.

Четкость общественной позиции поэта считаю не обязательным, но важным и благотворным качеством. Этим качеством не обладает в полной мере, по-моему, ни один из современных молодых поэтов. Это есть характерный знак времени. Пока что чувствую этот знак и на себе».

«Рукотворная» книга «Волны и скалы» включила в себя всё лучшее, что было написано Н.Рубцовым в предыдущие годы, и в этом её непреходящее значение. Открывалась она циклом стихотворений «Салют морю», куда вошли стихи, выгодно оттенявшие «морскую» страницу биографии автора («В океане», «Я весь в мазуте, весь в тавоте...», «Фиалки»). Первые два из них когда-то были одобрены участниками литературного объединения и читались поэтом на своих выступлениях в городе, а вот «Фиалки» были осуждены за мелкотемье. И здесь проявляется рано проснувшееся в Н.Рубцове качество – не изменять своим принципам в угоду постоянно меняющейся конъюнктуры дня.

Во второй цикл Н.Рубцов включил два стихотворения из своего «рыбацкого» прошлого («Однажды к пирсу траулер причалил» и «Бывало, вырядимся с шиком...») и четыре лирических стихотворения, самым сильным из которых было «Видения на холме» («Взбегу на холм и упаду в траву»). Вошло в сборник и стихотворение «Березы», когда-то (на взгляд Н.Рубцова – несправедливо) раскритикованное в Мурманске. Новые грани дарования поэта открывало стихотворение «Утро утраты» («Человек не рыдал, не метался»), где с удивительной глубиной были раскрыты чувства горожанина, пережившего потерю близкого человека и при этом оказавшегося на улице в глухом одиночестве среди грохочущих «железками машин».

В третий цикл «Птицы разного полёта» были включены четыре стихотворения, которые с большой степенью условности можно назвать любовной лирикой. В одном из них, начинавшемся строкой «Эх, ко-ня да удаль азиата», лирический герой мечтал предс-

тать перед любимой «разбойником, только без кинжала», удивившим девушку своим появлением на городской улице на лихом коне. В другом стихотворении он же бродил по метельному городу «вдоль железных заборов», осуждая девушку, которая и раньше опаздывала на свидания, а этим вечером «не пришла и совсем». Еще один вариант несостоявшейся любви дан в стихотворении «Ненастье», но на этот раз без надрыва эмоций, а с юмором: после отказа встретиться герой ради успокоения насыщает «молодой организм какой-то копченой рыбешкой».

Четвертый цикл стихотворений Н.Рубцов назвал «Звукописные миниатюры» и включил в него стихотворения: «Левитан», где автор, услышав колокольный звон, идет на словесный эксперимент и пишет о «звоне заокольном и окольном / у окон, около колонн»; «Старый конь», вызывающее невольное восхищение талантом автора владеть всем богатством русского языка («Хоть волки есть на волоке / и волок тот полог, / едва он сани к Вологде / по волоку волок...»). Еще в двух стихотворениях «На перевозе» и «Маленькие Лили» озорно и весело обыгрывались близкие по звуковой гамме слова («На пруттик лили / Лили – лилипуты»).

Пятый цикл, названный автором «Репортажи», открывался стихотворением «На родине» («Загородил мою дорогу...») – о новинах колхозной деревни, где «в полях везде машины / и не видать плохих кобыл». При сочинении этого опуса Н.Рубцов был очень похож на мужика из его стихотворения «Репортаж», которого корреспонденты радио просят «рассказать о работе «в свете новых решений ЦК», а ему «непривычно трéкать», он, бедняга, мучается, «вздых срывается с языка», но от него не отстают, «тянут слово из мужика!». Завершало цикл стихотворение «О собаках» («Не могу я видеть без грусти...»). При всей внешней обыденности сюжета в изображении «ежедневных собачьих драк» в стихотворении есть и свой подтекст. Глядя на дерущихся собак, самые наглые из которых «разорвут на части», Н. Рубцов проецирует их нравы на взаимоотношения в раздираемом конфликтами писательском сообществе, когда входящий в литературу, подобно собаке, неизбежно оказывается «друг человеку одному, а другому – враг».

Шестой по счёту включенный в рукописную книгу цикл назывался «Ах, что я делаю!», куда вошло и стихотворение «Да, я умру!».

В следующий цикл «Хочу-хочу!» Н.Рубцов включил одобренные на литературном объединении «Нарвская застава» стихотворения «Разлад» («Никто никогда не писал таких стихов о неудачной любви, где несомненная боль прикрывалась иронией», – вспоминал И.Михайлов) и названное там же «од-

ним из самых улыбчивых его стихотворений» «Утро перед экзаменом». Здесь же появилось написанное в Мурманске стихотворение, которое начиналось словами: «Стукнул по карману – не звенит».

Завершал рукописный сборник цикл «Ветры поэзии», куда в том числе вошли стихотворения «Поэт» («Трущобный двор...») и «Сказка-сказочка» («Влетел ко мне какой-то бес...»).

По воспоминаниям Б.Тайгина, Н.Рубцов книгой «Волны и скалы» «был растроган чрезвычайно» и взял её с собой в Москву, в Литературный институт. «Я на собеседовании читал стихи, держа её в руке, – рассказывал он Б.Тайгину, – а потом она побывала в руках у всех членов комиссии, вызвав у них удивление и восхищение немалое! Думаю, что она являлась для меня как бы талисманом. Всегда буду хранить её как самое дорогое, заветное».

В июле Н.Рубцов побывал в селе Никольское. Он был весел и энергичен, охотно участвовал в сельских вечеринках. Однажды он узнал в пришедшей в клуб Генриетте Михайловне Меньшиковой ту самую девочку Гету, с которой летом 1949 года ездил в Тотьму на олимпиаду детских домов. Тогда он «играл на гармошке разные песни, сопровождал музыкой акробатические номера, которые Гета исполняла с Женей Буняк»¹¹. Дружеская встреча закончилась более близким знакомством. При первых признаках беременности Г.Меньшикова уехала из села в близкий к Ленинграду город Ораниенбаум, где устроилась работать почтальоном. Она навестила заводское общежитие, но Н.Рубцов уже уехал в Москву, успешно сдал вступительные экзамены и был зачислен на первый курс Литературного института. В конце октября Н.Рубцов побывал в Ленинграде, навестил друзей, встретился с Гетой, обещал помогать дочери. От регистрации брака Гета категорически отказалась и вернулась в село Никольское к матери. 20 апреля 1963 года родилась дочь поэта Людмила. Впоследствии Н.Рубцов неоднократно навещал дочь, жил в Никольском месяцами, писал здесь стихи и помогал по хозяйству: пилил и колол дрова, собирал на продажу грибы и ягоды.

Известие о смерти отца поэт получил с опозданием, когда вместе с другими студентами был отправлен «на помощь селу». В сентябре Н.Рубцов побывал на могиле отца, почтил его память.

Словом, 1962 год для Н.Рубцова оказался необычайно богат событиями личного характера, затрагивавшими и его писательскую судьбу. Ему казалось, что полоса неудач окончательно завершилась и ему открыт прямой и быстрый путь к успеху на литературном поприще. Не теряя ни минуты времени, он стал предлагать редакциям столичных журналов свои стихотворения. Точно так же посту-

пали и его товарищи по Литературному институту, и жившие «в городах и весях» тысячи молодых и пока еще не признанных поэтов, мечтавших последовать примеру блиставшего в тот момент целого взвода «эстрадных» певцов современности.

Начинавший в те годы свою литературную карьеру и ставший председателем Союза писателей Санкт-Петербурга Валерий Попов вспоминал в сентябре 2014 года: «Со временем мне повезло: в 1960-е годы началась эпоха, когда литература котировалась выше всего. Более блестящей карьеры не было. Сейчас можно стать депутатом, миллионером, а тогда быстрее всего – писателем. Это почувствовали мы все. Мы читали друг друга и точно оценивали, и уже не было страшно ничего, после того как тебя оценили такие люди... Сейчас несет в основном еще та, прежняя энергия. Но подняться и вырасти из сегодняшних дней? На чём? Раньше был общий стимул – доказать, что мы лучше системы. Теперь некоторые молодые тоже борются с нынешним, но это уже словно дежавю. И азарт, конечно, не сравним».

В Москву Н.Рубцов приехал с целым баулом написанных ранее стихов. Нередко в комнате, где он жил, собирались поэты-первокурсники. «Читали стихи, спорили до изнеможения, – вспоминал С.Макаров. – Николай, уронив в ладони лоб, мог часами молчать, не принимая участия в споре. Только иногда он поднимал на нас свои карие, пронзительные, какие-то пронзительные глаза и говорил: «Эх, вы! Что вы понимаете в поэзии!» И вновь замолкал надолго». В силу своего возраста и литературного опыта он не собирался соразмерять свой талант с теми, кто после школьной скамьи сразу стремился войти в поэтическую иерархию Литературного института. Но иногда на ночных посиделках студентов он мог прочесть свои стихи. Как вспоминал Эдуард Крылов, «впечатление было очень сильным. В то время кумирами читающей публики были Евтушенко, Вознесенский... В Рубцове сразу почувствовалось нечто совсем другое. «Необычная» поэзия «под Евтушенко» звучала уже слишком обычно, а «обычная» поэзия Рубцова прозвучала необычно... Прозаики сразу и безоговорочно признали первым Николая Рубцова, поэты либо вовсе не признавали его, либо признавали с большими оговорками и отводили ему очень скромное место. Самыми же преданными его почитателями были люди нелитературных кругов. Все они, кому я читал стихи Рубцова, просили переписать их и познакомить с автором. Напоминаю, что это был 1962 год».

Из стихов, которые Н.Рубцов разносил по редакциям, отбирались те, которые для него были в творческом отношении уже пройденным этапом,

да и они лежали без движения месяцами. Лишь в июне 1963 года на страницах газеты «Труд» Н.Рубцов увидел своё стихотворение «В кочегарке» – на «рабочую» тему. «Комсомольская правда» в ноябре 1963 года познакомила читателей со стихотворением Н.Рубцова «В океане» – на морскую тему. В «Литературной России» в декабре того же года появилось стихотворение «Я весь в мазуте, весь в тавоте...». Составители альманаха «День поэзии» (М., Л., 1963) отобрали три стихотворения: «В океане», «Утро на море» и «В кочегарке». Повторялась та же картина, что и в Ленинграде: Н.Рубцову упорно напоминали, что он в силу своей рабочей биографии обязан писать стихи «по заказу», на социальную тематику. Такое отношение к его творчеству возмущало поэта. В беседе с вологодским журналистом Василием Елесиным он говорил: «Разве можно дать поэту задание: будь социальным! Выполнить-то он его, может, и выполнит, да только голый техникой. Души, таланта в стихах не будет... Ты можешь сделать так, чтобы сейчас подул ветер? Нет? Так что же ты хочешь от поэзии? Она стихийна! Кто работает по заказу, тот не поэт – ремесленник! Поэзия – буря, а мы только инструменты её...»

В этот сложный для Н.Рубцова период вхождения в московскую писательскую среду он нашел поддержку в лице поэтов Станислава Куняева, Анатолия Передреева и Владимира Соколова. По словам Вадима Кожинова, «поэтический кружок, в который в 1962 году вошел Николай Рубцов, имел, несомненно, первостепенное значение в его творческой судьбе... Главное заключалось в единой творческой позиции участников кружка. Ими всецело владела идея русской Поэзии, воплощающей жизнь человека и народа во всей её глубинной сути». Из многих стихотворений, ранее написанных Н.Рубцовым, его собраты по кружку выделяли те, где вперед выдвигалось чувство преданности русскому Отечеству («Видения на холме»).

Но подобная патриотическая направленность этой группы поэтов вступала в противоречие с политикой партии, которая была направлена на скорое достижение «полного единства наций». На состоявшемся в ноябре 1962 года Всесоюзном совещании по вопросам создания истории советской литературы представитель Академии общественных наук СССР М.Н.Пархоменко говорил о необходимости «целиком» интернационализировать развитие культуры ради «сближения эстетических идеалов, которые, в свою очередь, являются отражением идеалов политических».

Когда в декабре 1962 года А.Яшин опубликовал в «Новом мире» очерк «Вологодская свадьба», на Вологодчине в массовом порядке стали прово-

даться собрания якобы возмущенных этой работой читателей и организовываться «открытые письма» автору. В Никольске на обсуждении очерка выступавшие заявляли, что «это клевета на никольскую жизнь» и что «надо отказаться от такого земляка и закрыть ему дорогу в Никольск». После критики деревенской прозы А.Яшина один из зрителей Вологодского музея, по свидетельству Е.Носова, «снял с гвоздя экспонировавшуюся яшинскую френтовую шинель и на всякий случай спрятал к себе в кладовку».

Фактически после смерти Сталина и прихода к власти Н.С.Хрущева правящая партия отказалась от восстановления традиционной русской государственности и вернулась к идее «советского интернационализма» первых послереволюционных лет. Повсюду закрывались церкви. Насаждалась политика государственного атеизма. Открыто велся курс на денационализацию русского этноса с надеждой через обвинения в «славянофильстве» затормозить пробуждение русского национального сознания. Не удивительно, что когда в советское время В.Кожин писал свои воспоминания «В кругу московских поэтов», он был очень осторожен в формулировках и подчеркивал, что кружок русских поэтов, о котором он вел речь, «в первые годы своего существования представлял собой именно кружок, а не литературное явление в полном смысле этого слова. Он не имел авторитета в каком-либо журнале, альманахе, издательстве, у него не было даже хотя бы «своего» литературного критика». В.Кожину нередко приходилось слышать из уст духовно близких ему русских поэтов горькие слова о «трудности пути в литературу».

Как рассказывал Н.Рубцов, «редактор читает мои стихи семье, друзьям, знакомым, переписывает их для себя, а издавать не хочет». Зато «хождения на Рубцова» стали какой-то модой, поветрием, что раздражало поэта, который вовсе не жаждал такой «подпольной» славы и гнал своих поклонников из общезжития, говоря: «А пусть не ходят смотреть на меня, как в зверинце».

Что касается учебы в Литературном институте, то вместо посещения лекций Н.Рубцов иногда предпочитал подольше поспать, поскольку лучшими часами для сочинения стихов у него были глубокая ночь и самое раннее утро. В итоге не раз получал замечания и выговоры от ректората, в том числе в декабре 1962 года, в январе, феврале и сентябре 1963 года. Когда преподаватель по стилистике, которому Н.Рубцов прочитал свое стихотворение «Осенняя песня» («Потонула во тьме отдаленная пристань...»), сделал замечание, Н.Рубцов стал с ним спорить, но переубедить не смог и в сердцах сказал однокурснику: «К

черту стилистику, если она мешает мне выразить то, что я хочу». Самостоятельность суждений он проявлял во всем, в том числе и в оценке поэзии своих друзей – А.Передреева, С.Куняева, В.Соколова, Г.Горбовского – «был снисходительным, ценя больше дружбу самих людей, чем их творчество. А вот другим не прощал ни малейшей слабости... Если уж «заводился», то спорил страстно, готовый дойти хоть до кулачной драки». В очередной раз Н.Рубцов «завелся», когда 3 декабря 1963 года проник в ЦДЛ (Центральный дом литераторов) и задержался у двери одного из залов, где из уст выступавшего перед учителями докладчика услышал список рекомендуемых для изучения поэтов, в котором не оказалось любимого им классика русской поэзии. Далее, вспоминал В.Сафонов, случилось следующее:

«– А Есенин где? – крикнул Рубцов через зал, ошарашивая оратора и слушателей. – Ты почему о Есенине умолчал? По какому праву?

Тут и налетел на Колю коршун в обличье деятеля из ресторана, ухватил за пресловутый шарфик, повлек на выход. Противник всяческого насилия, Рубцов, задыхающийся от боли и гнева, попытался оттолкнуть интенданта, вырваться из его рук. Подскочила прислуга, при своих, что называется, свидетелях, составили протокол, который лег в основу грозного приказа об исключении»¹².

На волне юбилейных торжеств (в декабре 1963 года праздновали тридцатилетие института) дело перенесли в товарищеский суд. В его решении было предложить восстановить Н.Рубцова в правах студента. Это и было сделано вернувшимся из больницы к юбилею института тогдашним ректором И.Н.Серегиним, который ограничился вынесением Н.Рубцову очередного строгого выговора с «последним предупреждением».

Н.Рубцов успел сдать весеннюю сессию за второй курс, получил отличный отзыв от руководителя творческого семинара Н.Н.Сидоренко, но в июне 1964 года при посещении ресторана ЦДЛ вновь оказался в центре скандала, обстоятельства которого подробно описаны в книге Н.Коняева «Николай Рубцов» (М., 2001, с.131-140).

Всё то, что произошло с Н.Рубцовым и его друзьями в ресторане ЦДЛ, разительно напоминает провокацию, устроенную 20 ноября 1923 года для проверки других русских поэтов – Сергея Есенина, Сергея Клычкова, Петра Орешина и Алексея Ганина. В тот день, находясь в кафе «Стойло Пегаса», в оживленной беседе они затронули вопрос о засыле людей, которые нигилистически относятся к богатейшему наследию русской культуры и однако берут на себя смелость быть «вершителями судеб» литературы послереволюционной России. Один из

сидевших в зале, сочувствующий Соввласти и РКП(б), некто Марк Родкин, подслушав разговор, громогласно обвинил поэтов в антисемитизме и вызвал милицию, которая забрала их в участок¹³.

Этот инцидент произошел после подписания Лениным составленного Я.Свердловым постановления об антисемитизме, по которому многие были арестованы и расстреляны. Дело об антисемитизме Есенина, Клычкова, Орешина и Ганина обрастало в Москве слухами и сопровождалось клеветническими фельетонами в московских газетах. Поэтов спасло лишь одно обстоятельство: среди них был популярный во всем народе Есенин. Власти ограничились товарищеским судом над четырьмя поэтами да угрозами запретить им заниматься литературной деятельностью... После суда истерзанный травлей Есенин был помещен в больницу. В ноябре 1924 года арестовали Ганина и 30 марта 1925 года расстреляли за руководство «орденом русских фашистов».

Примерно по такому же сценарию, как когда-то в кафе «Стойло Пегаса», разворачивались события в ресторане ЦДЛ в июне 1964 года. Дело грозило обернуться для Н.Рубцова большими неприятностями. Он был вынужден написать заявление с просьбой перевести его на заочное отделение и уехал в Николу, к своей дочери.

В январе 1965 года Н.Рубцов был официально переведен на заочное отделение института. Диплом о высшем образовании он получил в 1969 году, защитив его сборником «Звезда полей».

Примечания

- 1 Коняев Н. Николай Рубцов. М., 2001. С. 11
- 2 Иван Ильин о прошлом и будущем России // День. 1993. №12. Публ. Ю.И.Сохрякова.
- 3 Об этом упоминает Н.Коняев в книге «Николай Рубцов» // М., 2001. С.41.
- 4 Тютчев Ф.И. О вещая душа моя...// Тютчев Ф.И. Полн. собр. стихотворений. Л., 1987. С.192.
- 5 Глазунов И. Россия распятая.// Наш современник. 1996. №1. С.268.
- 6 Есенин С. Пускай ты выпита другим...// Сергей Есенин. Собр. соч. в 5-ти тт. Т.2. М., 1961. С.137.
- 7 Михайлов И. В «Нарвской заставе» // Воспоминания о Рубцове. Архангельск, 1983. С.85-87.
- 8 Есенин С. Собр. соч. в 5-ти тт. Т.2. М., 1961. С.219.
- 9 Судьба бытия – путь к философии. Интервью Ю.В.Мамлеева // Вопросы философии. 1992. №9. С.80-81.
- 10 Рачков А. Лицом к лицу // Воспоминания о Рубцове. Архангельск, 1983. С.140.
- 11 Коняев Н. Николай Рубцов... С.27.
- 12 Сафонов В. Николай Рубцов. Повесть памяти // Николай Рубцов. Россия, Русь! Храни себя...М., 1992. С.351.
- 13 См. об этом: Белоконов Ан. Дело четырех поэтов // Север.1993. №10. С.120-131.

(Окончание следует)



Юрий Иванович ДЮЖНЕВ.

*Литературовед, литературный критик,
доктор филологических наук,
главный научный сотрудник*

*Института языка, литературы и истории
Карельского научного центра РАН.*

В результате многолетней работы Ю.И. Дюжневым были подготовлены и опубликованы пять библиографических указателей, пятнадцать монографий и сборников статей, в которых он вынес на обсуждение узловые проблемы развития русской литературы Европейского Севера и дал очерки творчества ведущих писателей региона.

*Лауреат премии РК в области культуры, искусства и литературы (2002),
лауреат премии «Сампо» главы РК (2009).*

*Отмечен званиями «Заслуженный деятель науки РК»,
«Заслуженный работник культуры России».*

Член Союза писателей России с 1977 г.



Ольга ФЁДОРОВА —

писатель, поэт, музыкант, переводчик.

Обладательница Гран-при Международного
литературного конкурса о музыке «Бекар-2005».

Стихи и рассказы публиковались в журналах
«Вокзал» (Санкт-Петербург), «ЛитОгранка»,
«Союз писателей» (Новокузнецк),
«Микролитъ» (Гулькевичи),
«Кольцо А» (Москва), «Север» (Петрозаводск).



**Ольга
ФЁДОРОВА**

г. Санкт-Петербург

по встречной

звёзд фальшивых обманный блеск
мчу сквозь вечность, скорость под двести
в вихре кружится мелкий бес
на секунду забыв о мести

баррикады построил лес
и открылись на сердце раны
в храмах ночью не служат месс
ночью люди не ходят в храмы

в ожидании сеть небес
перекрестье-переплетенье
в храмах ночью не служат месс
не надеюсь я на спасенье

мчу по встречной я полосе
точкой луч прорезает темень
храмы ночью закрыты все
где мне в ночь преклонить колени

всё циклично — паденье, взлёт
я без ангела, без охраны...
как песчинку, меня собьёт
в эту ночь по дороге к храму

«Мчу по встречной я полосе...»

прощай, оружие

захлебнулась, растаяла буря
в небе дымный рисуя узор
я прошёлся по улицам хмурым
возле хаты поправил забор

мы простились под пулями ночью
не навек
ни к чему эта грусть
наш с тобой разговор не окончен
мы продолжим
как только вернусь

поминальной свечой догорает
ведьма-ночь, осушив нас до дна
я зарыл автомат за сараем
говорят, что заснула война

вопреки

полон сад моих разбросанных камней
шепчет дождь не «навсегда», а «вопреки»
сколько дней тебе осталось
или мне
не читается по линиям руки

и не выдал свой секрет полишинель
оборвалась возле рая колея
я твои считаю вздохи в тишине
если ты дышать не станешь,
то и я...

победа

не сроднились мы с сёлами бледными
здесь два шага от боя до боли
в белом танце кружил я с Победою
не по залу — по минному полю

руки сцеплены как онемелые
хрупкий мостик от лета до лета
платье скромное, празднично-белое
наспех сшито из жёлтой газеты

сапогами немыслимо пыльными
мы кружили упрямо и пылко
и струилась вороньими крыльями
по плечам её вдовья косынка

утро сонное скрипнуло ставнями
здесь два шага от боя до бреда
кровью, хлебом и ранами рваными
нас венчали с тобою, Победа

горячий снег

акт последний нелепой драмы
так смешон от судьбы побег
я седым никогда не стану
это просто вчерашний снег

чёрнодырье молчащих раций
выстрел вмиг тишину порвал
и теперь мне навеки двадцать
и медаль — ледяной металл

мутный вечер, такой неблизкий
стёрся крик, затерялся след
я ушёл, не оставшись в списках
я сварился в чужом котле

не увижу салют победный
ангел мой улетает ввысь
я раздавлен горячим снегом
мы в одно навсегда слились

лето в альбоме

влажный след на песке
горстка раковин с моря
трепет ветра, попавшего в сети листвы
и таблетка луны не спасает от боли
птицы тянутся прочь из замёрзшей Москвы

ждёт пустое кафе
и заказанный столик
пёстрой лентою поезд скользнул вдалеке
я продрог и простужен
хоть лето в альбоме
и смеются часы на усталой руке

две недели тепла
растворяю в стакане
кружит голову танец созвездий хмельных
две недели, и осень
в безвременье канет
не спасает от боли таблетка луны

в небесах хрустальных

в небесах хрустальных звёзды спят
и звучат изысканные блюзы
я не буду биться за тебя
за таких, как я, обычно бьются

бесполезен чётко перебор
и куранты не пробьют двенадцать
слишком поздно... прерван разговор
суею танцующего глянца

белизной прозрачных томных крыш
и грозой бессмысленных оваций
ты опять, как прежде, победишь
чтобы снова мне, как прежде, сдаться



1. ОТ ИМЕНИ ЕВРАЗИИ

Первым евразийцем был Александр Македонский.

Перед восточным походом Аристотель снабдил своего ученика географической картой, на которой был указан *конец мира*: его и тщился найти полководец.

При ошибочной установке – впечатляющий результат: охват культур, имеющий небывалую амплитуду.

И не только охват, но и синтез.

Подумать только: в Бактрии ваяют Будд, следуя эллинскому канону!

Быть может, это прозвучит странно, но для меня Олжас Сулейменов – на духовно-идейном плане – как бы сподвижник Александра Македонского, продолжатель его объединяющей миссии.

У миграции народов – свои диапазоны.

Интересно сравнивать их масштабы.

Думаю, что по этому критерию первенствуют два мира – финно-угорский и тюркский.

Казах Олжас Сулейменов – выдающийся русский поэт.

О ценностях тюркской культуры он говорит на языке, сформировавшемся в лоне славянского мира.

Это евразиец до мозга костей – не в декларациях, а в корневой сути.

Хочу оговорить следующее: под евразийством я имею в виду его первый извод – озарения молодых русских изгнанников. Когда-то я был первым публикатором их текстов в ещё советской России («Север», 1990. № 2). Всегда с интересом читал Л.Н. Гумилёва. Но к нынешнему неоевразийству отношусь настороженно – есть в нём псевдопатриотический уклон, чуждый в принципе основаниям движения.

Третий Рим – это хорошо.

Но Олжас Сулейменов был послом Казахстана в *Первом Риме*!

Это весьма значительный – и символический, и симптоматичный – факт.

Вот новая ось – не политическая, а духовная: *Рим – Москва – Алматы*.

И Афины, и Валлетта, и Париж – города, с которыми непосредственно связана дипломатическая служба поэта.

Вообще все столицы мира!

Ось Олжаса Сулейменова *глобальней и универсальней* всех других.

Я бывал и таким,

Я бываю индийским дагором!

*...Так я буду стоять, пряча руки,
у братских могил...*

Я бываю Чоканом!

Конфуцием, Блоком,

Тагором!

Это кредо поэта.

Он космополит?

Если *да*, то с весьма существенной поправкой: мировое гражданство не предполагает у него усреднённости – обезличенности – энтропийного выравнивания.

Прочь идущих с ножницами и гребёнкой!

Казахское и русское соединились в Олжасе Сулейменове *нераздельно и неслиянно*.

Я сейчас говорю в терминах, относимых к Святой Троице.

Это пик диалектики.

Она у Олжаса Сулейменова не рассудочна – она растворена у него в крови.

Кто из нынешних поэтов так органично связан с древнерусской литературой?

Со «Словом о полку Игореве»?

Ценю Виктора Соснору.

Однако порой он соскальзывает в стилизацию.

Тогда как Олжас Сулейменов реально укоренён в начальных пластах русского слова – напрямую черпает из них энергию ритмов и тактов, ударений и интонаций – чудесно претворяет впитанное из древнего текста в нечто новое, считай авангардное.

Вокруг книги Олжаса Сулейменова «Аз и Я», посвящённой «Слову о полку Игореве», шли горячие споры.

Да что дискуссии?

Блестящий трактат был запрещён в СССР – биография поэта включает годы опалы.

Поэт утверждал билингвизм Древней Руси – контрапункт в ней славянского и тюркского.

Их взаимопронизание.

Их срастание.

Разве такое может понравиться националистам?

В основу своего исследования поэт положил смелые этимологии.

Сколько тут копий было сломано!

Я на стороне Олжаса Сулейменова.

Изначально его корнесловие воспринималось мной сквозь призму А.А. Потебни.

Тот говорил о *внутренней форме слова*, выявляемой посредством вдумчивой этимологизации.

Это живая – растущая – форма.

Она обнаруживает удивительную подвижность и пластичность, допуская преобразования, чей результат – подчас весьма неожиданные метафоры.

Слово далеко уходит от собственных истоков.

Его первичные значения нередко оказываются прочно забытыми.

Надо их вспомнить!

Вывести из мрака забвения!

Разглядеть исходное под множеством поздних наслоений очень трудно.

Для этого нужна интуиция.

Нужен дар *эмпатии – вживания – вчувствования*.

Эти качества имманентны Олжасу Сулейменову.

Слово в своём генезисе – если следовать А.А.Потебне – есть плод поэзии.

Кто лучше поэта может познать эмбриологию слова?

Дадим пример этимологических штудий Олжаса Сулейменова.

Вот отрывок из «Слова»:

*Тогда вьступи Игорь Князь вь злать стремень,
и поеха по чистому полю. Солнце ему
тьмою путь заступайте; ночь стонуци
ему грозою птичь у буди; свисть зверинь
вь стазби; дивь кличь врьху древа...*

Что означает слово *стазби*?

А.И. Мусин-Пушкин переводит: «*ревать звери стадами, кричить филинь на вершине дерева*». Подсказку ему даёт аллитерация – на наш взгляд, она идёт рикошетом, не затрагивая глубинных смыслов: *стазби* – *стада*.

Поэт цитирует и другие прочтения.

Наше внимание он останавливает на интерпретации М.А. Максимовича, расчленившего слово: *вьста* – *зби*. Предлог «*в*» у него превращается в приставку.

Вьста – *встал*.

Но всё-таки что означает *зби*?

Чуткий слух поэта услышал в нём значение, ускользавшее от других: «*В древнерусском языке есть похожее слово – зыбь – беспокойство, смятение. В современном – зыбь – колебание. Корень распространён в украинском, старославянском, словацком, сербском (в формах -зиб-, -зьб-, -зеб-, -зайб-)*».

В дословном переводе восстанавливается такая семантика:

*Птичий свист пробудился,
Звериное поднялось смятение.*

Это убедительно!

К тонким наблюдениям поэта хочу добавить некоторые соображения о приставке «*вз*», которая просматривается – или прослушивается – в загадочном слове.

Сочетание двух букв – «*в*» и «*з*» – создаёт мощную экспрессию.

Приставка образует слова, связанные с двумя значениями:

1) внезапность – резкость – напряжённость: *вздыбиться* – *взъяриться* – *взбрыкнуть*;

2) подъём вверх: *взметнуться* – *взвиться* – *взлететь*.

Обе семемы перекрываются – дополняют – усиливают друг друга.

Заметим, что в русском языке зафиксирован глагол *взыбиться* – он как нельзя лучше подходит для перевода места в «Слове о полку Игореве», проанализированного Олжасом Сулейменовым.

Речь в данном случае идёт никак не о тюркизме.

Найти поэта способно высвечивать скрытые планы в русских словах любого происхождения. Олжас Сулейменов пишет: «*Я попытался применить перед этимологическим методом – структурный*». Думается, что прежде всего он применяет своё безупречное поэтическое чутьё – это совсем не лишний инструментарий для языковеда.

Обвинения поэта в пантюризме нелепы.

Хотя в ценностной системе отсчёта любой *изм* – будучи проявлением свободного выбора – должен приниматься как субъективная данность, находящаяся вне обсуждения и осуждения.

Заслугой поэта следует признать то, что он – задолго до легитимизации Л.Н. Гумилёва – поставил вопрос о тюркской ноте в музыке истории.

Попытки заглушить эту ноту сегодня кажутся проявлением великодержавной дебильности.

Что было, то было.

Время, когда наши пращуры, не сумев одолеть внутреннюю рознь, оказались под восточным пригнётом, Л.Н. Гумилёв не считал вовсе потерянным: межэтническое и межконфессиональное общение стало закваской, подготовившей имперское вздымание будущей России.

Однако этот процесс был запущен много раньше Батыева нашествия.

Трижды к русской земле, колебля её, подкатывали тюркские волны.

Хазары – печенеги – половцы!

Эта череда похожа на цепную реакцию.

Что-то на её пути сгорало – что-то получало закал.

В первую очередь выигрывала широта мировосприятия.

Клио явно отказалась поддерживать претензии на этническую исключительность.

Она поощряла диалог.

Хазары: они дали нам актуальный и поныне урок веротерпимости – сохраняя память о своём родовом *Тенгри*, приобщились ко всем трём авраамическим религиям: эти исповедовали иудаизм – эти христианство – эти ислам.

Крымские караимы – потомки хазаров.

Грандиозный поэт Илья Сельвинский был караимом.

Пращуры его жили по Талмуду.

Печенеги: это к ним в 1007 г. – при благоприятствии князя Владимира – отправился с миссией Бруно Кверфуртский, апостол Пруссии, католик. Новообращённую паству успешно окормлял епископ, рукоположенный при сослужении древнерусских иерархов.

Было согласие!

Крестителя Руси мы вправе назвать *первым экumenистом*.

Сегодня подобной толерантности у нас на дух не переносят.

Половцы: отношения Руси и Поля, достигавшие экстремальных напряжений, в ретроспективе выглядят весьма мрачно – но вот просвет, кажущийся обращённым в будущее.

Мы имеем в виду битву на реке *Вигор* (она же *Вагра, Вягра*) в 1099 г.

Русские тогда выступили в союзе с половцами против венгерского короля Коломана (Кальман I Книжник).

Командовали ханы Боняк и Алтунопа.

Благодаря их исключительному воинскому искусству была одержана победа.

Нынче в этом полузабытом сражении видится нечто пророческое.

Как-никак, а это был первый случай, когда *Евразия* выступила против *Европы* – преходящий блок фактически был воспроизведён и закреплён, уже в огромных размерах, Московским Царством.

Русское и тюркское: тут были как резкие пересечения, так и унисонные параллели.

Олжас Сулейменов ощущает себя наследником совместных – весьма обширных – участков обоюдной истории.

В нём их диффузия – их живое переплетение.

Можно сказать, что *всемирность* Олжаса Сулейменова подготовлена генетически – отражает накопления этноса, чьи миграции имели небывалый размах.

Кочевое начало!

Оно помогает накапливать опыт *всевмещения*.

В подвижности тюрков есть что-то маятникообразное: от Востока к Западу – от Западу к Востоку.

С раскачиванием увеличивался обзор пространства.

Волга – Енисей!

Селенга – Дунай!

Мир открывался как единство в разнообразии.

Как *всеединство!*

Трижды мы использовали понятия, включающие в свой состав максималистскую приставку *все*.

Она кажется нам ключевой для понимания Олжаса Сулейменова.

Идёт кочевание.

Встречные племена то сметаются – то ассимилируются – то включаются в союзные отношения.

Последний случай напоминает *симбиоз*.

Наша евразийская империя – в лучшую пору существования – была *симбиотическим* образованием.

Хрупкие равновесия, симметрии, паритеты!

Шовинистские перекосы губили гармонию.

В Олжасе Сулейменове она живёт по сей день.

Поэт остаётся амбассадором и Тюркского каганата, и Золотой Орды, и Советского Союза.

Эхо многозвучного Турана звучит в его поэзии.

Не была ли муза поэта принцессой Турандот в своих прошлых воплощениях?

Я посетил Казахстан лишь один раз – в 1980 г.

Мне показалось: он совсем не похож на жухлую и вялую Россию – напоминал огромную тугую почку, готовую раскрыться.

Тогда моим любимым чтением были «Евразийские временники».

Почудилось: чаянья наших изгнанников начнут осуществляться здесь – под сенью Тянь-Шаня.

Страна-стык!

Страна-средостение!

Современные казахи несут в себе гены как европеоидного, так и монголоидного типа.

Сама природа подготовила здесь грядущий синтез.

Рериховская *Новая страна* пробрезжила мне в Казахстане 1980 г.

Олжас Сулейменов неисповедимо сумел посетить её.

Он и доселе ведёт репортажи оттуда.

В трудах Н.С. Трубецкого и П.Н. Савицкого понятие Турана окружено особым ореолом.

Оно действует гипнотически – завораживает, притягивает.

Мог ли я в застойное время предполагать, что дотяну до тех дней, когда появятся предложения переименовать родину Олжаса Сулейменова в Туран?

В 2010 г. поэт заявил: «*Казахстану опасно становиться мононациональным государством*».

Забудем ли Желтоксан?

Русский нивелир сломался на нём.

Для Олжаса Сулейменова неприемлема и противоположная крайность.

Монолиты – монополии – монологи: это не в духе поэта.

Он любит гетерогенное – разнообразное – многоликое.

В числе его любимых символов – поликристалл.

«Слово о полку Игореве» – из класса поликристаллов.

Как и поэзия нашего славного автора.

Как и взрастившая его Евразия.

Как и ноосфера Земли.

Как и космос.

Поэт-полифонист!

Бесспорный мастер полиалога!

В мире языков культуры – наипервейший полиглот!

Профессор Сорбонны Леон Робель назвал Олжаса Сулейменова «*преемником Гильгамеша*».

Меня поразило это сближение.

Не сразу я осознал его пронзительную точность.

Дело тут не только в том, что поэт успешно ищет связи между языками шумеров и тюрков – герой эпоса созвучен ему в своём глобализме.

О всё издавшем до края мира,

О познавшем моря, перешедшем все горы...

Поэт остаётся казахом, тюрком.

Вместе с тем его русскоязычие провиденциально.

Оно работает на евразийское единение.

2. ОЛОНИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ ОЛЖАСА

Далече до Казахстана.

Но Олжас Сулейменов подробно видит оттуда наш Север.

В уникальной модели мира, которую построил поэт, Олония заняла видное место.

Досконально изучая «Слово о полку Игореве», Олжас Омарович вышел на труды замечательного исследователя, жившего в провинции, – знали и ценили его немногие.

Цитируем книгу поэта «Аз и Я»:

«Но самый волнующий отклик получен от работника Псковского музея Л. А. Творогова, письмо которого о его поисках так называемого олонецкого экземпляра «Слова о полку Игореве» нельзя читать без волнения. Творогов сообщает, что проф. Троицкий в бытность свою воспитанником Олонецкой семинарии видел на занятиях в классе в руках у преподавателя рукопись, о которой этот преподаватель сказал: «Вот здесь содержится другой список «Слова о полку Игореве», но гораздо более подробный, чем тот, который напечатан». Но учитель вскоре умер, а рукопись куда-то исчезла».

Это интрига!

Леонид Алексеевич Творогов родился 20.03.1900 г. Первый раз посетил Псков в 1923 г. Потом окончательно переселился в старинный город – стал музейным работником.

В 30-е годы XX века Л.А. Творогов был репрессирован. Прошёл через Соловецкий лагерь. Находился на поселении в Карелии. Здесь и увлёкся «Словом о полку Игореве».

Ещё одна цитата из Олжаса Сулейменова, касающаяся Л.А. Творогова:

«Работая над текстом «Слова», Творогов очутился в 1923 году в Петрозаводске и там познакомился с одним из преподавателей Олонецкой семинарии, который подтвердил существование и характеристику рукописи».

Не надо ли здесь 1923 г. переправить на 1933 г.?
Вероятна опечатка.

Более поздняя дата лучше согласуется с биографией Л.А. Творогова.

Любимому Пскову он ставил в заслугу сохранение «Слова».

Учёный скончался 28.07.1978 г.

Поставленная им волнующая проблема ждёт своего разрешения.

Особо скажем об упоминаемом в тексте профессоре, обучавшемся в Олонецкой семинарии, – самовидце рукописи, обретение которой могло бы составить эпоху в отечественной филологии.

Иван Егорович Троицкий родился 18.04.1832 г. в селе Красное Пудожского уезда. Отец его был причётником. Ступени образования: Каргопольское духовное училище – Олонецкая духовная семинария – Петербургская духовная академия.

Получив степень магистра в 1859 г., вернулся в Петрозаводск: преподавал логику, психологию, патристику и латинский язык. Через два года был отозван в столицу. В 1884 г. занял кафедру истории и разбора западных исповеданий. Доктор богословия. Действительный статский советник. Редактор журнала «Христианское Чтение».

Советник обер-прокурора Святейшего Синода К.П. Победоносцева – фактически направлял точную политику нашей Церкви, выступая в качестве её безусловного апологета: она во вселенском православии – первая, главенствующая.

Деятельнейший член Императорского Православного Палестинского Общества. Инициатор создания Русского археологического института в Константинополе.

Учредитель общества вспомоществования недостаточным студентам Санкт-Петербургской академии, в чью пользу оставил по завещанию все свои накопления.

Собирал материалы об олонецком архиепископе Аркадии.

Почил Иван Егорович 15.08.1901 г. Погребён на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. Достойный человек!

Тень на плетень наводить не будет.

К его пусть и опосредованному свидетельству о рукописи «Слова» следует отнести с доверием.

Вдруг найдётся?

Поэт вдохновляет нас на поиск.

Не чужд ему наш край.

Приведём полностью северное стихотворение Олжаса Сулейменова:

В КАРГОПОЛЕ, ВСПОМИНАЯ ВЕСНУ

*...Суховеи-янычары,
отложите ятаганы,
осушайте маков чары –
маем полные стаканы!*

*Пусть на празднике Ярилы
задымит ярмо на дышле,
серость души якорила,
толпы «Я» в просторы вышли.*

*В рост идут невыносимые,
лопается лёд оков,
«Я» восходят, как озимые,
из-под холода веков.*

*В каждой лошадёнке снулой
встрепенулся конь Пегас,
в каждом карасе проснулась
золотая рыба язь.*

*Заштормило тихий пруд,
волны «Я» на берег прут,
на траве глубинный дар –
пламенеющий янтарь.*

*В лоск бусой, от света пьяный,
угрожая и моля,
из булыги лезет яхонт –
ослепительное «Я».*

*«Я» желает миру лучшего,
помогает несчастливому,
каждому, в морях заблудшему, –
голубя и лист оливы,*

*каждой женщине – по яблоку,
всем Орфеям по дельфину
(тонушим подставить спину),
кто не понял, тем –
по ялику.*

Чудесные стихи!

И ведь загадочные.

Лучше их воспринимать суггестивно – не требовать аналитического комментария.

Ярило в Каргополе: почему?

Это М.М. Бахтин хорошо объяснит.

Стихи передают раскованность любимого им карнавала.

Понятие западное?

Заменим его масленицей, где славился Ярило. Или ярмаркой.

Строфы наполнены всклень энергией язычества.

Три слова подряд у нас начинаются с эгоцентрической буквы «Я».

Личностное начало процвело на наших широтах – ярко раскрылось в былинах, в деревянном зодчестве.

Уравниловка не про нас.

Не терпим тенёт.

Рвём поводя.

Любим волю.

Для Русского Севера характерно двоеверие.

Народные праздники со всей очевидностью проявляют сей феномен.

Олжас Сулейменов скоморошествует в своих стихах.

*Девка выскочила, глаза вытарасила;
Девка-дура, девка-дура пошла к старосте на думу:
«Уж ты, дядя староста, рассуди пожалуйста!»
Староста умён, праву рученьку отвёл,
Девку по уху оплёл.*

Это из скоморошины «Хмель».

Резонанс впечатляет.

Один камертон!

Античные аллюзии – Пегас, Орфей: откуда это?

Северная Русь стала восприемницей многих архетипов эллинской культуры.

Но и Восток она любит.

Не случайно Николай Клюев назвал её «Белой Индией».

Для стихов любимого поэта я подобрал иллюстративный ряд из своих коллекций.



*Ю.С. Ушаков.
Ярило. 1965.
(Из коллекции
Музея Русского Севера)*



*Ю.С. Ушаков.
Ярило-конь. 1969.
(Из коллекции
Музея Русского Севера)*

3. ПОДПИСЬ К ПОРТРЕТУ

Один раз я видел Олжаса Сулейменова живьём. Примерно вот таким, как на этой фотографии. Это весьма значимое для меня событие имело место в общежитии Литинститута на Добролюбова, 11. Шёл 1962 г.

Тогда поэт милое его сердцу место посетил транзитом.

Коллизия тут такая: Олжас Сулейменов проучился на переводческом отделении три года – но гагаринской весной 1961 г. его отчислили за драку.

Он вернулся в Алма-Ату.

И вскоре прогремел поэмой «Земля, поклонись человеку!».

*Ты, Земля,
Меня женщиной встретила
Молодой,
Смуглолицей, как Валя,
Скорее увидеться с ней бы!
Луга, покачавшись,
Легли под ногами
Тропой,
Продолжением той,
Что ещё не остыла в небе...*

Я поступил на то же отделение того же института в сентябре того же 1961 г.

Так что мы разминулись.



Олжас Сулейменов. 1960-е годы

У нас был общий руководитель – Лев Адольфович Озеров.

Стихи Олжаса я узнал ещё в 1959 г. по подборке, которая была напечатана в «Литгазете» с напутствием Леонида Мартынова.

Навсегда врезались в память эти строки:

*Приехал я в край, где лишь пихты и ели,
Где ели от тяжести неба присели,
В землянку вошёл с рюкзаком за спиною,
Вошёл, полметели втащив за собою...*

У кого-то я взял почитать – и благополучно замотал – книгу Олжаса «Солнечные ночи» (1962).

Она и сегодня – среди любимейших.

*Край росистых лесов
и глазастых коней,
россыпь рубленых сёл,
городов изваянья,
и брусничные ночи,
и россыпь огней.
Росомашьи размашистые расстоянья.*

Поражало всё: мощь экспрессии – яркость майоликовых красок – сама текстура, кладка стиха.

Я процитировал стихотворение «Русь Врубеля».

А вот «Пейзаж»:

*Развешаны картины Левитана
в лесах;
река холодная горит...*

Приверженность поэта русской культуре очевидна.

Но в стихах горячо и порывисто дышит Азия!

Будто две реки сливаются вместе – и поэт является их стрелкой.

Это соединение и нынче мне кажется какой-то мистерией, таинством.

Олжас был в белой рубашке.

Лёгкий, быстрый!

Будто стрелу из лука выпустили.

Может, что-то исказилось в памяти, но вижу такое: Олжас держит в руках винный набор.

Три бутылки коньяка?

Целлофановое покрытие сверху?

Очень хотелось выпить с ним.

Но не довелось.

Давно завязал.

Однако от стихов поэта и сейчас хмелею.

Крепкие, забористые!

Обжигают гортань.

Юрий Владимирович ЛИННИК

родился в 1944 году в Беломорске.

Ученый, доктор философских наук,

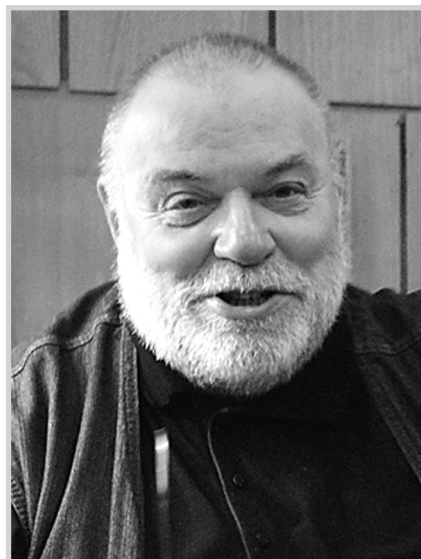
профессор КГПА,

автор многих книг стихов и прозы, искусствоведческих книг,

книг для детей о природе.

Член Союза писателей с 1970 года.

Живет в Петрозаводске.



**Наталья
ЛАВРЕЦОВА**

г. Псков
(д. Савкино)

Ю. К.

Часть 1
ПРОЩАЙ!

«Я потерял мечту, двигаясь в темноте, женщину жду не ту, слышу слова не те...»

— Смотри, будешь стрелять — не промахнись!

Каурин коснулся губами ее щеки, и уже через секунду лента эскалатора отнесла их друг от друга.

— Да смотри не наруби там дров сгоряча! — уже на расстоянии крикнул он вслед. Но Лерика услышала. Кивнула, улыбнувшись, и на бегу помахала ему рукой. Словно пообещав — и не промахнуться, и не нарубить...

И принялась отсчитывать ногами торопливые метры дальше.

«Обними меня покрепче, мой товарищ Асмодей, — много есть мужчин и женщин, — мало преданных людей...» — еще пронося в себе тепло кауринской улыбки, спешила она. Пока шли с ним, болтая, до метро, пока она собиралась с духом, чтобы рассказать, пока от новости он приходил в себя...

Опомнилась только теперь — до поезда оставались считанные минуты.

«Судьба-не судьба, успею-не успею, судьба-не...»

Но вот и Казанский вокзал, суета, неразбериха платформ.

Да где же он, где же... И где же та платформа, уехала, что ли, тоже? Бывает такое с платформами?

Уф, вот он наконец — ее поезд! На платформе стоит, как и полагается. И не едет даже.

Ну теперь остается суший пустяк... Раз, два, три... Ну до тринадцати-то считать она умеет. Все, вот он! Её — тринадцатый! «Катится, катится голубой вагон...» И не катится даже — стоит.

«Судьба, значит!»

Продираясь через узкий проход, оккупированный корабейниками, Лерика разыскивала своё — боковое верхнее. Место, конечно, не фонтан, но выбирать не приходилось — взяла то, что дали.

Место обнаружилось ближе к дальнему тамбуру. Оно почему-то уже оказалось занятым. На нем устроился большой лохматый дядька.

*Прощай —
здравствуй...*

рассказ

Не особенно переживая, ибо поводом для переживаний сейчас просто ничего не могло быть, Лерика еще раз, на всякий случай, проверила билет и протянула его мужчине:

— Извините, но это моё...

Тот вскинул на нее полусонные глаза, но молча встал и переместился на нижнюю небоковую, где уже сидела одна пожилая дама. Сказать проще — бабуля. Она окинула взглядом купе, в котором предстояло коротать эти сутки. Кроме лохматого мужика, напротив друг друга сидели две дамы почтенного возраста, сказать проще — бабули. Против нее же, на нижней боковушке — крупный габаритный дед.

«Да, купе просто молодежное...»

Лерика вздохнула и вытащила из сумки скромный набор дорожных припасов. Боль, отступившая было при встрече со старым другом, снова начала забираться. Прикрыв глаза — уперлась затылком в стенку:

*К чему рассуждать об идее,
что горы сдвигает вдали,
Мы просто друг друга хотели
на всех расстояниях земли...*

Проводница идет собирать билеты. Оказывается, одна из верхних небоковых полок пока свободна. Лерика делает на нее робкую заявку.

Та неопределенно пожимает плечами:

— Видно будет после Горького.

После Горького так после Горького... Как там у Цветаевой: «Мне совершенно все равно, мне совершенно все едино».

*Сходились, потом расходились,
друг друга не в силах понять,
А губы по-прежнему снились,
глаза продолжали взывать...*

Дед пристаёт с разговорами. Он ездил к брату, на Украину. Теперь возвращается домой в Киров. Оказывается, в мире есть много разных городов. Про Кировск она знает, это на севере, недалеко от Мурманска. И под Питером, кажется, тоже есть Кировск.

А вот в Кирове она еще никогда не была. Ах да, оказывается, это бывшая Вятка. Вятка, Вятка, сердцу сладко...

*Придурки, смешные поэты,
несчастные дети земли,
Мы мир свой соткали из света,
из музыки счастье сплели...*

Дед предлагает украинского сала. Ей не хочется украинского сала. Ей вообще сейчас ничего не хочется. Аппетит куда-то пропал. Оказывается, аппетит пропадает тоже. Правда, есть в дорогу вместо сока — бутылочка безалкогольного, чипсы, орешки. Орешки, чипсы... Вот этим и займемся.

*Но счастье трещало, скрипело,
ишатаюсь на всех сквозняках,
И все же по-прежнему пело
в летящих навстречу глазах...*

Только сейчас Лерика наконец заметила, какой холод в вагоне. Просто дубак натуральный. И ощущение, что с каждой секундой становится все холоднее. Ага, оказывается, вагон не совсем исправен. Общая система отопления не работает, проводницы будут топить его вручную.

— А что вы хотите — тринадцатый... — пожимают они плечами.

*И треснуло, чтоб в одиночасье
взойти семенящей травой,
Но звезды, распавшись на части,
становятся просто трухой...*

Так, не забывая пиво закусывать орешками, чипсами... Чипсами, орешками...

Лохматый мужик уже залез на свою верхнюю небоковую и прикрывшись простыней. Такой дубак, а он — простыней... Бабули что-то не очень ладили между собой. Ругают холод, вагон, проводниц, заодно все на свете. Берут по два одеяла. Советует это сделать и Лерике. Она тоже берет два одеяла. Дед напротив спать пока не собирается. Ладно, сидим дальше...

*А два «укротителя слова»
свой мир заземлить не смогли —
Буравицков и Орлецова
исчезли с пространства земли.*

Мужу с верхней полки, видать, стало холодно под одной простыней. Он вскочил... И вдруг, вытащив откуда-то плоскую резиновую грелку, помчался с ней по коридору. Лерика заметила, что он хромает... Кого же он напомнил своей хромотой? Ах да, их соседа по бывшему студенческому коридору Муранкина. Что-то толкнуло в сердце. «Ау, Муранкин, где ты? Нету тебя...» Они узнали новость этим летом. Поставили между собой бутылочку красного, любимого Муранкиным «Киндзмараули», зажгли свечу — и всю ночь выли под гитару. У Буравщикова ползли слезы и капали прямо в бокал.

Стоп... Она не о том... Об этом не надо.

Мужик явно какой-то прибабахнутый. Вместо того чтобы взять у проводницы одеяло, притащился со своей грелкой и опять забрался под простыню. Может, больной?

Лерика чуть глянула на него сбоку.

Нет, так на Муранкина он походил мало. Глаза узкие, маловыразительные, подбородок оплывший... Хотя подбородок только слегка оплывший, со следами явной очерченности, про такой говорят — волевой.

Небось, такой в жизни все привык решать сам. Такой не будет оправдываться и валить на обстоятельства...

*Ты — умер, и на склоне дня я нашла портрет,
И оказалось, что меня на снимке тоже нет.
Все было: руки и глаза, и поворот в анфас...
Но встала мертвая слеза в живом разрезе глаз.*

Мужик опять пронесся по проходу, обращая внимание своей походкой. И даже в походке этой была какая-то упрямая решительность.

Да уж, такой точно не ляжет «жертвой обстоятельств». Не будет жевать вялую жвачку по телефону, придумывая какую-нибудь оправдывающую чепуху.

Интересно, кем он работает? Есть что-то смешное в грелках этих, походке, во всем его облике...

*Сначала я еще была, и было все кругом...
Исчезла лампа со стола, где мы сидим вдвоем.
Потом гитара со стены вдруг медленно сползла
И наши золотые сны с собою унесла...*

Дед перестал жевать сало — за окнами поплыли огни города.

— Горький! — сказал он. — Стоим почти полчаса, можно пойти размять ноги.

Лерика еще посидела какое-то время и тоже решила пройтись. Накинув шубу, вышла на перрон... И ветер сразу же пробрал до костей.

Возле киоска с продуктами она снова наткнулась на мужика-соседа. Он стоял, сунув голову в окошко, и сзади казался таким неловким в своей скособоченной неуклюжести, а волосы на голове торчали дыбом.

Он обернулся... И Лерика увидела в его руках... бутылку пива, чипсы и орешки.

Она купила в киоске шоколадку, пакетик кофе на утро... А в висках продолжало стучать, словно раненная птица пыталась прорваться сквозь прутья железной клетки:

*И губы, те, что целовал, навек в любви клянясь,
Бледнели, будто бы опал, не веря и смеясь...*

Ветер все-таки загнал в вагон. Дед опять устроился со своим салом. Бабули уже разобрали постели и теперь ворочались на своих полках. Лерика потянулась рукой к безалкогольному...

Нет, не хочется. Ничего не хочется. Пиво надоело. И орехи надоели, и чипсы. И чипсы, и орехи. Все, все надоело.

*Ах да, еще была рука в двойном обхвате рук.
Так, без кольца, так на века —
она исчезла вдруг...*

— А вы теперь можете смело переходить на эту полку, — неожиданно раздался голос.

Лерика подняла голову. Лохматый мужик обращался к ней.

— Горький уже проехали, так что теперь ее вряд ли кто займет.

— Спасибо. — «А ему-то что?»

Но, немного подумав, все же пошла к проводнику.

Разрешение было получено — и она принялась перебираться. Уже устроившись и прикрывшись журналом, заметила вдруг, что мужик-сосед, законопатив уши кнопками плеера, поглядывает на нее. Еще больше спряталась за журнал.

*Но тот цветок, что на лугу ты мне сорвать успел, —
Как капля крови на снегу — горел, горел, горел...*

— Ты куда едешь?

— Что?

Мужчина напротив, вытащив из ушей кнопки наушников, смотрит на нее.

— Я говорю, куда едешь?

Лерика несколько удивилась. «Вы» в его обращении явно не предусматривалось. Разговаривать не хочется.

— В Свердловск, — кашлянула она. Голос вяло дернулся. — То есть теперь уже снова в Екатеринбург.

— А зачем? — убивал он ее бесцеремонностью вторжения. — В гости?

«Как же! Сейчас скажу. Если бы еще и сама знала...»

— В командировку.

Лицо вблизи проявилось с еще большей отчетливостью.

Да, действительно, подбородок хоть и оплывший, но... Говорят, с годами человек сам формирует свое лицо. А еще говорят: «Душа на лицо полезла...»

Он еще что-то спрашивает, и, чтобы отвлечься, Лерика отвечает встречным вопросом:

— А можно я спрошу?

Он смотрит с интересом.

— Вы... всегда путешествуете с грелкой?

— С грелкой?

Мужчина удивлен, он даже смеется. Такого вопроса он явно не ожидал.

— Вообще-то, в последнее время довольно часто.

— Это вы... чтобы в дороге не замерзнуть?

Он смеется снова. Смех у него живой, явно контрастирующий с маловыразительным взглядом узких глаз.

В вагоне уже тепло. Даже жарко. Проводницы расстарались как следует.

— Сейчас объясню, — говорит он. — Только начать надо издавна. Дело в том, что я всю жизнь увлекался рыбками аквариумными, еще с детства. А сейчас это, можно сказать, стало моей профессией. Езжу в Москву, покупаю на Птичьем рынке рыбок, растения, корм и перевожу их в Киров. Там у меня что-то вроде собственной рыбной фирмы.

Лерика слушает, не особенно и вникая.

— И что? — все же старается проявить заинтересованность. — Эти рыбки сейчас с вами?

На самом деле просто так спрашивает, из вежливости. Если бы только он знал, насколько ей сейчас нет дела — нет ни до него самого, ни до его рыбок... Уж прости, мужик!

И все же есть какое-то несоответствие между большим лохматым мужиком и маленькими аквариумными рыбками.

А он вдруг говорит:

— Сейчас покажу, — и лезет рукой на верхнюю багажную полку, начинает шарить там в одной из своих сумок.

А губы те, что целовал, навек в любви клянись...

Нет, не то...

И лишь безумные глаза поверить не смогли...

А он вытаскивает плотно перетянутый резиной раздутый полиэтиленовый пакет. В полумраке купе под потолком висит большая прозрачная капля. В полиэтиленовой капле плавают настоящие маленькие рыбки.

Он объясняет, кто здесь кто. Среди рыбок есть неоновые, меченосцы, есть даже какая-то дорогушая немецкая рыбка...

Лерика удивляется или делает вид, что удивляется... Надо же все-таки удивляться.

— У меня там в сумке несколько пакетов с рыбками. Вот грелка мне затем и нужна... Чтобы, если уж в вагоне холодно, поддержать рыбкам температуру.

— А-а, теперь понятно... — все-таки с уважением смотрит она на мужика-соседа:

— И что, чтобы всем этим заниматься, наверное, нужно специальное образование? Вы где-то учились?

Мужчина-сосед на минуту замолкает.

— А вот с образованием у меня не получилось, — взглядывает он на нее, словно спрашивает: «Продолжить?»

— Дело в том, что еще в детстве... Да и в юности тоже я серьезно занимался спортом — лыжами, — решает он продолжить. — Очень серьезно. Мне даже предлагали пойти в институт, чтобы выступать за сборную. Но я учиться не хотел — хотел только заниматься спортом. И занимался им, ну просто как помешанный. Пока однажды... — Он делает паузу, словно набирает в грудь побольше воздуха. — В общем, в семнадцать лет я

сошел с дистанции. Сломал ногу — вылетела коленная чашечка. Полностью вылетела...

Он снова смотрит на Лерику: понятно ли это ей? Но она молчит.

— Потом долгое время только борьба за жизнь...

Лерика слушает вполуха. Но не посочувствовать она не может. «Коленная чашечка... Какой ужас — коленная чашечка!»

— Чего только со мной не делали... А становилось все хуже и хуже... Я уже чувствовал, что становлюсь домашним обузой. Еще немного — и всё, конец — уже начиналась гангрена. А родители все надеялись спасти ногу... И тогда я дождался, пока все уйдут... Сам вызвал скорую и сказал: «Режьте!» Ну и...

— Что?

— Отрезали... Отрезали ногу выше колена.

— То есть... Вы хотите сказать... У вас нет... Вы без ноги? — как-то вдруг теряется Лерика. Уж как-то сказал он это очень обыкновенно, типа «отрезали кусок хлеба»... — Но... Вы же ходите! И не так сильно хромаете. Забираетесь на верхнюю полку... Как же вы? — удивление ее было искренним.

— А... С протезом.

— Да вы же просто... Маресьев! — не может она так сразу найти подходящие слова.

— Да, когда утром я проснулся после операции, именно эту книгу и нашел у себя на тумбочке: «Повесть о настоящем человеке»! — он чуть усмехается. — Но у Маресьева отрезали только части ступни. А у меня не было ноги выше колена...

Он снова смотрит на нее, словно ждет реакции.

Но она молчит... А что тут скажешь? Да и можно тут что-то говорить?

— Перспектива вырисовывалась не очень веселая. Остаться инвалидом, прикованным к коляске. А мне — семнадцать. И тогда... Я сказал себе, пусть это и банально звучит: я научусь делать все! Ни от кого ничем не буду отличаться! Не буду ни от кого зависеть. Стану, как говорится, полноценным членом общества...

Лерика не заметила и сама, что слушает его уже по-настоящему. Ее захватила история мужика-соседа.

— Ну вот — я все и могу, — не без гордости сказал он. — Хожу, даже танцую. Плаваю,

правда приходится надевать длинные полиэтиленовые трусы, чтобы протез не промокал. На мне, кстати, даже проверяли новый протез для плавания. Плынешь, а он сзади как поплавок, пяткой в воде торчит.

— Фантастика! — удивленно качает она головой. — Да ваша история, пожалуй, покруче, чем у Маресьева.

Ободренный ее словами, мужик-сосед продолжает:

— И, чтобы доказать себе, что все могу, я всерьез занялся слаломом. Байдарочным слаломом. Брал пороги высшей категории сложности. Знаешь, такие, где одни таблички и флажки...

И взглядывает снова: понимает ли она, Лерика, что это такое — одни «таблички и флажки»? Она понимает — таблички и флажки в память о тех, кто порог не взял. Или взял, но там и остался.

— Но... — медлит она, чувствуя, как против ее воли происходит очарование мужеством. — Зачем же так... Зачем же снова-то было так рисковать? — ей почему-то становится жалко мужика-соседа.

— Что?

— Я говорю: зачем же снова-то так рисковать было? Ведь вы же один раз жизнь уже чуть не потеряли?

На самом-то деле ей понятно, очень понятно. Но ей почему-то хочется знать — что на ее вопрос ответит этот человек?

— Конечно, сейчас люди за деньги и в космос летают. Для остроты ощущения. Но ведь вам-то, наверное, их хватило?

Теперь уже он смотрит на нее. Мужик с соседней полки внимательно смотрит на нее, он даже привстал на локте.

— Знаешь, ты задала такой вопрос... Мне казалось это понятным, даже и в голову не приходило... А ты... Ты просто поставила меня в тупик. Не знаю, как объяснить... В твоих глазах я, наверное, дурак какой-то, на рожон лезу. Но, во-первых: доказать хотелось, что все могу! Потом это такое ни с чем не сравнимое чувство, когда берешь порог! Взял! Понимаешь — взял! И сразу дальше жить хочется!

Лерика слушает его... Смотрит...

И вдруг видит перед собой глаза. Они совсем не были тусклые, вялые или сонные. Они бы-

ли живые. А лицо рядом — молодое, красивое и сильное.

«Так вот откуда у него этот волевой подбородок...»

И невольно представила себе, как лезет на порог этот — с полутора ногами, в полиэтиленовых трусах, сжав в жестоком упрямстве зубы.

— Я много ходил на байдарках, в основном по Карелии, там мне все порожистые реки знакомы. Потом у меня был детский туристский клуб, водил в байдарочные походы ребят...

— Ребят? — вот уж с педагогом он у нее никак не ассоциируется.

— Да, лет десять я занимался этим клубом. Учил их, как справляться в экстремальных ситуациях — брать пороги. Мальчишек, девчонок...

«Еще и педагог! — начинает Лерика все больше уважать мужика-соседа. — Это же какая ответственность!»

— Только сейчас вот... Что-то затяжелел, обленился... Занимаюсь вот рыбками. На жизнь хватает — и ладно... — сказал он вдруг без всякого подготовительного перехода.

— Ну уж... — продолжает Лерика нести в себе это невольно возникшее восхищение. — Человека с таким прошлым уже трудно представить себе, как вы говорите, «обленившимся, затяжелевшим».

— Ну что делать... Жизнь есть жизнь, — тянет он каким-то изменившимся, поскучевшим голосом, будто это и не он рассказывал ей сейчас удивительную историю. — Видимо, возраст берет свое... Уже хочется прийти домой, сесть в кресло перед телевизором, заткнуть уши плеером — и все! И больше ничего не надо. Ничего не хочется...

Сказал он это как-то так, что ей вдруг даже захотелось отвернуться от него, заставившего ее поверить в какую-то чудесную сказку, под названием «жизнь». А ведь это была не придуманная сказка какого-нибудь Шарля Перро с приключениями «Кота в сапогах».

— И все-таки странно, — еще не успела вернуться она от него окончательно. — Человек, который всю жизнь рисковал, искал экстремальные ситуации... И вдруг... — она пожала плечами и перевела взгляд на журнальную страницу.

Глаза с полки продолжали ее просверливать.

— А знаешь... Может, ты и права. — Он помолчал. — Просто, наверное, у меня сейчас период такой... — мялся он в нерешительности. — Я и правда весь какой-то... Опущенный... Может, потому и такая ко всему апатия, — и снова замолчал, продолжая поглядывать на склоненное к журналу лицо соседки.

Поезд продолжал постукивать по рельсам. Бабули внизу уже спали, перестав ворочаться. Спал и наевшийся сала дед на нижней боковой.

— В общем... — словно на что-то решился он. — Я... любил одну женщину. Десять лет любил. Конечно, не скажу, что за этот период у меня никого не было, я мужик нормальный, но... Ее я любил. И ждал... — начал он свой новый рассказ. — И дождался. Она пришла ко мне сама. И была со мной четыре месяца. Представляешь: десять лет и четыре месяца. А потом вдруг... Раз, и ушла! Но ведь, главное, ушла-то как! Еще в обед звоню домой — все нормально, ждет. Обед приготовила. А вечером приезжаю — ее нет. И никто не знает, где она. Я давай обзванивать друзей, родственников. Нигде нет. А уже ночь. Я — чуть ли не по больницам, не по моргам... И только уже поздно вечером на следующий день, когда я чуть не поседел весь, ее мать позвонила и сказала, что она ушла... Ушла к своему бывшему. Жалко ей его стало. Но ведь могла бы сказать! Сказать мне сама! Может, я бы и понял... Я все могу понять, все пережить, а вот предательство... Предательство — нет! Это выше моих сил.

Лерика смотрит на него, слушает... Она даже отложила свой журнал.

«Что такое говорит он о предательстве? Мужик говорит о предательстве»? Что-то очень знакомое, очень...

Не этими ли словами взрывалась несколько дней назад ее телефонная трубка: «Я не могу пережить предательство!»

Да что же это со всем миром происходит? Что, все предают друг друга? Или он все это подслушал?

Лерика смотрит на него... На этого странного человека. Она смотрит сквозь него...

И что-то перестает понимать. Она даже не понимает, откуда доносится голос.

Свет в вагоне уже давно погасили. Снова какая-то станция.

Народ входит-выходит...

Кажется, они разговаривают вечность. Вечность целую...

Он снова что-то начинает говорить... О чем он говорит?

Ах да, о предательстве. О том, когда человек предаст человека. Мужчина — женщину. Женщина — мужчину. И как жить? Как потом с этим жить? А если это не четыре месяца, а годы? А если это союз больше, чем мужчина-женщина? Больше, чем брат-сестра, больше, чем...

*И лишь безумные глаза поверить не могли,
Что их заставили взглянуть за краешек земли...
Унес глубокий водоем двух лиц автопортрет.
И там, где были мы вдвоем, струился черный свет.*

Черный свет, черный, черный... Чернота за окнами, чернота кругом... Лерика лежит, отгородившись от мужика чернотой. Своей чернотой...

— Что с тобой? Почему у тебя такие глаза?

— Какие?

Его рука протягивается к ней... Она чувствует его пальцы на своей щеке...

— Грустные. У тебя очень грустные глаза... Кажется, даже слезы. Дай-ка вытру...

Он гладит ее лицо, гладит так бережно и нежно...

Какие мягкие у него пальцы, какие нежные...

Кажется, это продолжается вечность... Или ей хочется, чтобы это продолжалось вечность? Но почему она не отталкивает его руку?

А почему она должна ее отталкивать? Разве она кому-то чего-то должна? Теперь она разве кому-то чего-то должна?

Но какие же теплые у него пальцы, какие же нежные...

— Ты будешь моей золотой рыбкой. Я сделаю тебе большой-большой аквариум.

— Но я не люблю, когда со всех сторон подпирают стенки.

— Хорошо. Тогда ты будешь жить на воле, а я буду тебя прикармливать. Слушай, зачем тебе ехать в этот Свердловск? Давай выйдем в Кирове. Я покажу тебе город...

— Надо... Мне обязательно туда надо.

— Но зачем? Скажи мне. Расскажи мне хоть

что-нибудь о себе. Мы с тобой говорим уже почти всю ночь, а я про тебя ничего не знаю.

— Я тоже не знаю даже, как тебя зовут.

— Значит, пора познакомиться. Только ты не смейся над моим именем.

— Оно что — такое смешное?

— Особенно в сочетании с отчеством. В общем, зовут меня Эверест, и отчество подходящее — Эрастович.

— Эверест... Эрастович? — все-таки не смогла сдержать она удивления. Среди ее знакомых подобного имени-отчества не было точно. — Хорошо еще, что не Эльбрусович.

— Я предупреждал.

— Да я не смеюсь... — подавила она в себе невольную улыбку: «Для человека, берущего пороги, пусть даже в полиэтиленовых трусах, и тем более в них — имя-отчество самое подходящее!»

— Да, — кивнул он, словно подслушал. — Наверное, назвали так специально, чтобы я всю жизнь пороги брал. Или вершины.

— Зато теперь кто-то из женщин, может, скажет с гордостью: «Я покорила Эверест», — все-таки не удержалась от улыбки Лерика.

— Может, кто-то и скажет... — покивал он. — Кстати, вторая составляющая моего имени — отчество отца — обозначает «любящий». Имей это в виду.

— Любящий... Эверест? — Лерика качает головой все изумленнее. — Нет, такого в моей жизни не было точно.

— Вот видишь... — Лерика даже в темноте почувствовала и его улыбку. — Хотя бы для этого мы должны были встретиться... Чтобы в твоей жизни тоже был свой Эверест! Ну а тебя-то как зовут, покорительница?

— А меня просто — Лерика. Можно еще проще — Лера.

— Ле-ри-ка, — произнес он так, словно пробовал имя на вкус. — Красиво, почти как музыка... Эверест и Лерика. Это как сила и нежность. Лерика-лирика... Да, это твое имя, — напробовав на все лады, покивал он. — Слушай, Лерка, — а можно я буду тебя так называть? Скажи, а с тобой было когда-нибудь? Чтобы вот так, с попутчиком... На верхней полке?

— Мне и в голову бы такое не могло прийти. А у тебя?

— Первый раз в жизни! Да я вообще человек

малоразговорчивый. Сам не понимаю, как ты могла меня разговорить?

— Да я особенно и не старалась.

— Пришла, согнала сонного мужика с места. Я сидел, дремал... А потом ловил на себе твои взгляды.

— Разве? Просто ты меня заинтересовал своей грелкой. Что, думаю, за чудик такой с грелками носится?

— Значит, все дело в грелке? — он улыбнулся снова. — А ты мне сразу понравилась. Еще когда сидела внизу, листала свой журнал. Я только не знал, как с тобой разговаривать. Взгляд у тебя такой... Строгий и грустный одновременно. Почему у тебя такой грустный взгляд?

— А он уже и не грустный. Ты просто не видишь в темноте.

— А ну дай посмотрю...

Он перекидывается локтями на ее полку, и Лерика ощущает вблизи тепло его щеки, его плеча. Оно кажется ей таким надежным. И ей совсем не хочется его отпускать. Вот так бы сейчас — мимо Кирова, Свердловска — над всеми бабками, дедками, изменами, предательствами, над всем на свете...

— Ты заедешь ко мне на обратном пути? Я видел у тебя ручку. Дай-ка я запишу тебе свои координаты.

И он записывает в темноте на ощупь свой телефон, свой адрес, мамин телефон, мамин адрес и даже место, где плавают его рыбки.

Внизу ворочается дед. Приоткрыв глаза, смотрит на часы. И, делая вид, что ничего не замечает, спит дальше.

— Этот дед-то выйдет со мной в Кирове. А что ты скажешь утром этим бабкам, как будешь себя чувствовать, ведь я-то выйду?

— А я скажу... Я скажу им... что это был мой муж.

Даже не видя, Лерика чувствует, как напряглась его спина.

— Не бойся, я пошутила.

— Ты обязательно заедь, Лерка! Я буду ждать!

Потом он все-таки перебирается на свою полку, и пространство вокруг как-то сразу оголяется. В чуть мерцающем свете коридорной лампы они, каждый со своей полки, смотрят друг на друга, словно пытаются что-то понять...

— А вот скажи, Лер, — не выдержав через мину-

ту, он снова перекидывается к ней... И они опять начинают болтать.

Под ним снует одна из проснувшихся бабок. Она ползает под ним как под железнодорожным мостом, делая вид, что ничего особенного не происходит.

Наконец делают попытку уснуть. Через час ему выходит.

Глаза смыкаются, но заснуть невозможно.

Скоро Лерика видит, как подходит проводница, начинает его будить. Он только что задремал. Проводнице удастся это с трудом.

Но вот он открывает глаза, соскакивает...

Его лицо снова оказывается рядом. Лерика смотрит на него — вблизи, впервые вот так, по вертикали. Зарывает свои пальцы в его волосы — сейчас она уже не видит их лохматости, наоборот, они кажутся ей такими мягкими, шелковистыми.

— Проводница тебя будила, а у нее ничего не получалось.

— Так надо было спросить у тебя. Ты бы показала, как надо.

— А откуда она может знать, что я знаю... А я знаю?

— Ничего, я тебя научу. Когда приедешь. Ты приедешь?

— Не знаю. Я сейчас ничего не знаю. Мне кажется, что все это сон. Ведь не может же такое быть на самом деле. Надо уснуть, потом проснуться — тогда, может, я и пойму.

— Тогда — засыпай скорее!

Оба одновременно смотрят за окно.

Поезд уже давно стоит в Кирове. Дед, прихватив авоськи с украинским салом, уже исчез в проходе.

И он, тот, который только что стоял рядом, тоже начинает потихоньку исчезать. Стаскивает с верхней полки сумки и первой походкой уже выскакивает на перрон. Потом его фигура появляется в полумраке снова... Лицо выныривает, на секунду прикасаясь к ней губами.

— Так помни, Лер... Я буду ждать! Не проедь мимо!

И исчезает окончательно.

Поезд трогается. Лерика смотрит на проползающую мимо платформу, огни города...

И продолжает чего-то не понимать. Вернее, не понимает ничего. Только почему-то становится

жалко, что его фигура не мелькнет больше в проходе вагона.

«Зато теперь мне есть о чем думать...» — и, откинувшись на спину, она закрывает глаза.

Когда днем она проснулась... в купе было солнце. Ослепительное солнце. Ослепительнейшее.

В этом солнечном колоссе тонули деревья. Поля и пригорки, переливаясь звенящей синевой, создавали ощущение праздника.

Такое же солнце было и у нее внутри. «Ну просто Эверест сплошной!» — невольно улыбнулась она.

Одна из бабуль все-таки не удержалась:

— Уж не попутчик ли ваш это оставил? — указала она на пакет, лежащий на верхней полке, делая акцент на слове «ваш».

Лерика как раз пила кофе, сидя с краешка маленького общего столика. Она спиной ощущала, что бабули обязательно ее о чем-нибудь спросят. Пакет был только поводом.

— Нет, — улыбнулась она. — Это мой пакет. А он уже вышел давно, в Кирове.

— Мы знаем, — значительно посмотрела на нее сидящая рядом.

— Мы все слышали! — не преминула сообщить и вторая, усиливая голосом значительность темы.

— Извините, если помешали вам спать. — Лерика глотнула кофе.

Она продолжала удивляться. Никакого смущения и неловкости не было и в помине. Наоборот, было хорошо, спокойно и радостно.

— Ничего, — прошелестела первая. — Лишь бы у вас сладилось.

— Да человек он вроде порядочный. В гости приглашал. Кучу телефонов вот оставил... — постаралась Лерика вписаться в контекст бабулиных ценностей.

— Ну-ну... — снова качнула головой сидящая напротив. — Все они сначала порядочные.

— Жизнь покажет, — добавила первая.

И обе поджали губы, словно уже все зная наперед, пребывая в своей нажитой бабулинской мудрости.

А Лерика... Пила кофе, слушала и улыбалась! Вопреки всем бабулиным выводам и всему прочему — вопреки!

Она вышла из вагона и по городу давно знакомым маршрутом поспешила в сторону автовокзала. Она была рада этому городу — ведь, в конце концов, он ее ничем не обидел. Ну что ж, раз ее сегодня никто не встречает... Столько раз встречали, что один-то уж раз...

Она пришла вовремя. Автобус на Брянкино отходил через десять минут.

Устроившись на заднем сиденье у окна, она готовилась отправиться знакомым маршрутом. Ей хотелось как следует пережить, просмаковать эту дорогу — в последний уж раз. Теперь-то уж наверняка — в последний. Так пусть же она запомнится ей, эта дорога, по которой....

Стоп! Сейчас главное — не тратить на воспоминания.

Через два часа она прибыла в Брянкино.

В здании Брянкинского автовокзала ей тоже все было знакомо. Все так же продавали пирожки с капустой — едва она вошла, поплыли навстречу знакомые дразнящие запахи. Не удержавшись, купила теплодышащую парочку.

Главное — теперь она знает, что делать.

«Смотри, будешь стрелять — не промахнись!» — проговорил кто-то ей в ухо кауринским голосом. Словно напомнив о цели приезда.

«Да не промахнусь!» — мысленно отозвалась она, перекинув за плечами винтовку — тяжесть была ощутимой.

Направилась в сторону кассы, берёт билет. В город, из которого только что приехала. Так надо. Сейчас Лерика уже знает — именно так и надо. Чтобы не было пути для отступления. Да, обратный билет на самый последний рейс. Пожалуй, это лучшее, что она может сейчас сделать.

Она могла бы недоехать, но она доехала.

Могла бы скончаться еще в пути. Но, слава богу, жива и здорова.

Остается сущий пустяк: дойти до квартиры, зайти и... И вернуться. И желательно живой и здоровой. И хотелось бы, чтобы и другие тоже... Но это уж как получится.

«Смотри, не промах...» — снова услышала она.

«Да ладно тебе!» — ответила торопливо, набравшая шаговые обороты.

Что может ждать ее там? Кто-то? Или никто? Та женщина, которая поселилась там буквально две недели тому назад...

Лерика не спрашивает себя, как она могла там поселиться? Там лежат ее вещи, фотографии, ее письма, бумаги... Там она жила, пусть даже и не в частом своем материальном воплощении. Но это дело двоих — как им жить. Жили на расстоянии Марина Влади с Высоцким, живут геологи, путешественники, моряки... Раньше они тоже жили вместе. Сейчас просто — временное явление, сила обстоятельств. Да и то... Стоп!

Что знает о ней та женщина?

Скорее всего — ничего. Не может она, Лерика, представить, чтобы женщина могла поселиться в доме, зная о присутствии другой женщины.

«И смотри не наломай там дров сгоряча!» — снова услышала она в себе приставучий голос Каурина.

Он вообще не поверил. Никто не поверил.

«Ты проверь там все, — сказал он. — Может, авантюристка какая-нибудь, на него это не похоже. Ведь столько лет...» Стоп!

Лерика проверит. Еще как проверит! И ничего не наломает.

«И все-таки, Каурин, ты непоследователен, — чтобы отвлечься, повела она с ним мысленный диалог. — С одной стороны: «Не промахнись!» А с другой: «Не наломай!» И как это возможно?»

Но у нее получится. И не промахнуться, и не наломать. Все получится! И все будет по справедливости!

Незаметно стемнело, пространство оживлялось огнями.

Лерика спешит по узким тротуарам над уснувшим Брянкино. По знакомым улицам она спешит по Брянкино. Не замечая ветра, зашкаливающего мороза, обжигающего дыхание.

В небе звенит золотом серп луны, впаянными свечками поднимаются в гору окна домиков. Пышет трубами старое Брянкино.

Но и по сторонам ей глядеть нельзя.

Там, в направлении вползающих в гору домиков, есть один, где живет его мама. Ей тепло было в этом доме.

А вон там, вправо — в районе многоэтажек, обитает семейка его друга. Они уже успели стать и ее друзьями. Но и к ним ей нельзя. Почему —

это другой вопрос. Но и думать об этом нельзя тоже. Можно только бежать, отсчитывая на морозе звенящие метры.

«Но, однако, какой же холод, — повела она плечами, только сейчас как следует его почувствовав. — Где-то, оказывается, еще существуют настоящие зимы».

Интересно, а как поведет себя он? Сделает вид, что не узнает? Что первый раз видит?

Лерика снова передернула плечами. Но уже от холода.

«И что это за Брянкино такое... Все замерзает в этом насмерть замороженном Брянкино».

Пальцы в перчатках просто окоченевают, что делается с ногами — и сказать невозможно.

На подходе к дому, унимая в онемевших пальцах дрожь, она видит... бросившиеся на нее вырезанными глазницами прямоугольники темных окон.

«Никого? Неужели и вправду — никого? Испугался? Сбежал?»

Она сказала ему по телефону, что приедет. А он не поверил. Или сделал вид, что не поверил?

Ну и... И бог с ним! Честно говоря, она уже даже не знает, хочет ли, чтобы там кто-нибудь был, не хочет... Ей настолько холодно, что уже все равно. Хочется только тепла, спасительного тепла.

Она звонит, но квартира отвечает безмолвием.

Корявыми от бесчувствия пальцами Лерика достает ключи. У нее же есть ключи от этой почти собственной, бывшей-будущей... Потому что, если сейчас она не попадет в тепло...

Но, оказывается, выжигать может не только жара. Холод, мороз выжигает тоже — так, что и ключи-то в руках не держатся. Да, спасти ее может только тепло, только спасительное тепло.

Ей нужно открыть дверь. Вернее — две двери. Ведь там, за ними... Ведь там еще и ванна есть! А в ней горячая вода.

«У нас вода горячая постоянно, — гордился, вдохновляя ее на переезд, Буравщиков. — Потому что своя котельная рядом. Вода горячая, напор отличный! Вот приедешь — можешь принимать ванну хоть целый день».

Лерика все еще возится с ключами. Дверь не поддается. Деревянные пальцы не слушаются ее. Но она все возится, продолжает возиться, а

надежда постепенно гаснет. Еще немного — и наступит пора бессилия.

«Неужели, неужели так и не удастся открыть эту чертову дверь? Эту чер... Поменял замок? Да что же он так боится-то ее, Господи?»

Одну дверь ей открыть все-таки удалось, а вот другую... Лерика нажимает на нее плечом — и вдруг... Когда надежда уже совсем угасла — просто падает, проваливается в пространство квартиры!

Оказывается, дверь уже давно открыта, ее надо было просто как следует надавить плечом.

Но еще раньше, еще до осознания открытой квартиры она ощущает — какое же это счастье — вдруг хлынувшее тепло!

Еще даже и не глядя по сторонам, видит: в комнате, да и во всей квартире, перемен нет. Нет и чужих вещей, по крайней мере на первый взгляд. Ей знакомо здесь все до мелочей. И потому она видит, даже и не глядя.

Но первым делом — руки под воду. «Вода горячая, напор отличный!» Скинуть промерзшие сапоги... Что-нибудь горячее внутрь — заварить кофе.

Ах, какое же это блаженство — настоящее тепло. Ничего-то, кажется, больше уже и не нужно...

Она чувствует, как, покалывая, постепенно начинают отходить ее замерзшие пальцы. Заваривает себе кофе и оглядывается уже внимательней.

Да, ни перемен, ни чужих вещей...

Делает первый счастливый горячий глоток.

И — только здесь, сейчас, именно сейчас, в этой окончательной точке пути — в голове, как пазлы, начало что-то складываться. Словно отдельно существующие разорванные картинки-звенья, цепляясь друг за друга, сами требовали сложиться в цепочку.

Сначала — ее звонок по телефону.

Она собралась ехать и еще решала, звонить или не звонить...

Позвонить, чтобы встретил, или уж приехать так, неожиданно, сюрпризом?

И все же решила позвонить, чтобы не оттягивалась их уже и так изрядно затянувшаяся встреча.

И ее еще ничего не подозревающий голос по телефону:

— Ты хочешь мне что-то сказать? — обычный, риторический вопрос, почти всегда начинающий их разговор.

— Хочу...

Долгое, колеблющее мембрану откашливание.

Ну и?

И что же такое, интересно, хочет он ей сказать? Извиниться, что не поздравил с днем рождения? А может, тоже приготовил какой-нибудь сюрприз? Сделал, например, из ванны бассейн? Он же обещал. Или переделал лодку в яхту? Тоже обещал. Или сделал в квартире камин? Или, в конце концов, вывел своих тараканов?

— Так что? Я жду... — затаившееся в голосе почти праздничное ожидание.

— В общем... Как бы это сказать...

Да что же это ему никак не проговаривается-то!

— Ну в общем... Я это...

— Ты долго будешь мямлить? Телефонное время дорого.

— В общем... Я — женился...

Интересно — пуля Дантеса... Она всегда уничтожает наповал? Полостное ранение в живот — это для врачей. Для истории остается предательская пуля, опрокидывающая навзничь.

Впрочем, зачем пуля... Существует более лояльный метод, например поцелуй. Поцелуй Иуды. Или разговор по телефону...

Лерика все равно ничего не поняла. И долго еще не понимала.

Женился — это как? Раз женился — значит, должна быть жена? А кто же тогда она, Лерика? Пусть не жена, но кто?

Она существует уже долгие годы... А эта женщина появилась только что. И ей говорят, что она жена?

Как ни пыталась, она все равно ничего не могла понять.

...Всего лишь два месяца назад, да чуть больше, они объехали друзей и родственников, чтобы сообщить им... Ну да, эту сногшибательную новость. Что наконец-то после почти десяти лет отношений... Нет, не совсем так: после почти десяти лет буравшиковского домогательства они решили жить вместе. Опять не совсем так: после почти десяти лет буравшиковского уходаживания, ухлестывания, уговаривания, доказательства его любви, верности Лерика оказала ему честь, согласившись

стать его женой. И даже окончательно переехать к нему.

Вот так, пожалуй, будет верней.

А Каурин, знавший их еще с общего студенчества, сказал, благословляя: «Ну, слава богу, наконец-то! А то вам скоро собственных внуков крестить пора, а вы в одну кучу собратиться не можете!» — и Лерика стала ощущать себя девушкой на выданье.

И вот тут-то и...

«Или после стольких лет — никто?»

Сколько ни пыталась — она все равно так ничего и не смогла понять.

— Но... Объясни... Зачем? Ведь у тебя же есть я? Чем она лучше? — прорвалось через несколько дней, когда она заново научилась выговаривать слова.

— Ничем... — долгое тоскливое молчание. — Просто... Так получилось... Тебя не было рядом.

— Получилось? Это что? Может просто получиться?

Лерика прошла по комнате. Мысли плелись, путались, не умея остановиться, цеплялись друг за друга...

Но у нее же не так много времени. Ведь надо еще собрать вещи, свои фотографии, письма, бумаги.

К слову, о фотографиях... Интересно, куда он дел то их общее фото — смешной коллаж, где в окружении трех Лерик — двух веселых и одной грустной — сидит Буравщиков, как султан в гареме? Фотографию можно было даже назвать произведением искусства.

— Счастливый, — говорил ему Каурин. — У тебя тут целых три Лерки — выбирай какую хочешь!

Раньше она всегда лежала у него в комнате на рабочем столе, под стеклом.

«Чтобы всегда была перед глазами!» — шутил Буравщиков.

Лерика осмотрелась.

Стол на месте. Стекло на месте. Нет только фотографии.

Ну и ладно. И бог с ней, с фотографией. Не такое теряли...

Она никак не могла сосредоточиться, остановить себя в одной точке, бродя по двухкомнатной квартире как по лабиринту Минотав-

ра. А та ловила ее, арканила, душа запахами еще недавно родного мужика, который в одночасье умудрился стать чужим.

Вот этого-то она как раз не понимает и понять не может.

Как? В один час, миг, в одну минуту...

— Ты меня не замечаешь, потому что я уже давно часть тебя. Как собственная рука или нога, — говорил он ей. — Их не замечают, потому что без них просто не могут обходиться.

Говорил. А потом вдруг раз и...

В один миг эту часть ликвидировал. Ампутировал без наркоза.

И как теперь жить? С этой кровоточащей оставшейся?

И как это вообще понять, что человек, живой человек, должен перестать для тебя существовать? При этом он не умирает, он остается жить. Он — тот, который...

Перед поездкой они целую неделю вели бесконечные разговоры по телефону. И один раз трубку взял его друг.

— Ты должна им гордиться, — сказал, пытаясь ободрить ее, друг. — Он сессию сдает только на отлично!

— Гордиться? — переспросила Лерика. — А кто... он? Кто он мне теперь, чтобы им гордиться? Скажи! Я буду им гордиться, если ты объяснишь, кто он мне теперь?

Она честно пыталась это понять. Да, он остается... Тот, с кем стояли, обнявшись, на берегу реки под луной, давая друг другу слово... Который бегал за ней еще со студенческой... Впрочем, стоп. Снова — стоп!

Но верить, оказывается, нельзя никому! Даже самым близким и верным! Даже если эта связь проверена годами, даже если...

— Да кто он мне теперь?

И друг, всегда скорый на язык, не нашелся, что ответить.

Она не может им гордиться или не гордиться, потому что не знает, кто он? Кто он ей теперь? Он вырезал себя из ее жизни, из сердца, как вырезали когда-то с земли семьи евреев, переселяя на другие места... Ее сердце — земля?

Вот вроде и неглупая она, Лерика, а понять здесь чего-то не может.

Да, он остается... Но кем, в качестве кого? Или уже в качестве никого?

— Тебе сейчас лучше не приезжать. Я понимаю: тебя я все равно потерял. Так не разрушай хотя бы того, что у меня осталось, — про-рыдалось с той стороны через несколько дней.

— А почему я должна думать о тебе? Почему я теперь должна думать о тебе? Ты обо мне подумал? Вот возьму дедово ружье вместе с контейнером... Приеду и пристрелю!

— А, мне теперь все равно! Не жалко, раз уж так! Только ты, Лерка, хоть не позорься, контейнер с собой через полстраны не тащи!

— Ничего, уж как-нибудь! Сама разберусь! — и не выдержала, слово прорвалось: — Предатель!

*Сколько зеркал нас с тобой отражали,
Как в зеркалах отраженья дрожали...
Сколько теперь ни гляжу в отраженья —
Вижу в упрямом стекле раздраженья.*

Два придурка, как любили они замирать перед зеркалами.

— Еще один наш семейный портрет, — говорил Буравщиков, склоняя голову к ее плечу.

*Не то оно хочет, не то ему надо —
Глядящего в вечность упрямого взгляда,
Той нежности, что может править веками,
Рук, что, как птицы, парят над руками,
Губ, как приятно вернуться обратно,
Влажных, надкусанных, сладких и мятных.*

Ее взгляд и сейчас невольно сполз в сторону...
«Занавесил бы зеркало черной материей, что ли!»

А Каурин сказал, провожая:

— Будешь стрелять — не промахнись!

И не промахнулась бы! Да только...

Зачем он ей теперь? Пусть живут. Если только сумеют...

Нет, вот ведь интересно: как чувствуют себя эти, пстившие в тебя пулю, другие? Они что, могут быть счастливы?

Ладно, уж она как-нибудь... И с пулей Дантеса.

Конечно, не поволокла она ни ружье, ни контейнер. А вот в глаза... В глаза посмотреть бы хотелось! Да только удрал он вместе со своими глазами!

Или испугался, что вправду пристрелит? Вместе с «женой»?

«Нет, как, с такой скоростью и...»

Под руки попалась гитара.

*Закончилась романтика несвитого гнезда.
Моим постельным мальчиком не будешь никогда,
Не будешь мои волосы ночами ворошить,
И вздрагивать от голоса, и время тормошить...*

Но какая же знакомая дека у этой гитары. И звук какой знакомый. Где она только с ними не была! А где не была?

*Ты помнишь, как когда-то, дорогою кривой
Я ехала в Пенаты, к тебе — к себе домой!
Мне руку подавали, смеясь, проводники,
И всюду мне мигали зеленые зрачки.
И как на фотоснимке, проявленном едва, —
Шли губы и ботинки, и взгляды и слова...*

Нет, все же интересно, куда он дел их фотографию? Спрятал от своей дамы, или рука поднялась...

Отложив гитару, Лерика снова подошла ближе к столу. На том месте, где она лежала раньше, — открытка-календарь с пушкинским Болдино.

И там тоже они были вместе. Да где они только вместе не были! Календарик этот, кстати, тоже подарила ему Лерика.

Что ж, благодаря ей ему пришлось немало попутешествовать, таская сзади безразмерный рюкзак. А благодаря ему у нее появилось то, что появилось. Например, этот вечер в Брянкино.

Лерика снова глотнула остывающий кофе, втягивая в себя заодно и запахи почти родной квартиры, отзывавшейся раньше их общим веселым бардаком...

*Да, железная леди, железо куется, как песня,
Даже если ту песню те двое уже не спюют.
Он тебя променял с протяженностью лет
и созвездий
На линованный Рай, на дешевый карманный уют...*

Так, все, действительно пора уходить, иначе...

А что — иначе?

А иначе: «Вода горячая — напор отличный...»

Ничего, она уйдет, она и так почти уходит... Уже даже надевает пальто.

А он? А он пусть читает «Науку о любви».

Лерика спросила его по телефону, спросила с горькой усмешкой, как он собирается завоевывать даму — «налогового инспектора»... А он сказал, что читает «Науку о любви». Чтобы, значит, подковать себя теоретически.

Лерика подумала: шутит. Но в кухне на столе и в самом деле увидела книгу: «Наука о любви». Назон Публий Овидий.

Им-то не надо было изучать эту «Науку»... Может, потому что у них и была...

Он сказал ей по телефону:

— Может, она родит мне ребенка.

Что ж... Как говорится, плодитесь и размножайтесь! Хотя от тебя, бедолага Буравщиков, плодятся только тараканы. Ты и здесь развел их в таком количестве, что ночью в коридоре сначала надо включить свет, а потом уже ставить ногу, и желательно — в пластиковых тапочках.

Она уходит, потому что ей здесь больше нечего делать. Уж не пройтись больше «по тротуару, по сладкому логу или по пляжу на Тюсь». Она ходила здесь только в обнимку — так зачем усугублять горький воздух сиротства.

Он сказал ей по телефону: «Надо как-то устраивать свою жизнь».

Устраивай ее как-то, устраивай как следует. Ее в этой жизни не будет уж точно. На этом она ставит здесь жирную точку. Не переломает мебель (о, как хочется все переломать!), не пристрелит, не проклянет. Уйдет тихо, как полагается воспитанному человеку, по-английски. И даже не совершит «чисто английское» убийство...

Уже одевшись, Лерика почему-то снова решается подойти к столу. Словно тянет ее к нему какая-то необъяснимая сила...

Она подошла... Подцепила пальцами холодное органическое стекло — отложила его в сторону. Взяла в руку календарик с пушкинским Болдино — тоже отложила...

Под ним оказался еще один листок белой бумаги, побольше. Она подняла и его.

И — она увидела!

Спрятанный под календариком, под пушкинским Болдино, и еще прикрытый сверху листом бумаги, лежал...

Он, тот самый фотоколлаж: Буравщиков в окружении трех Лерок. Одна — грустная, с какой-то вымученной улыбкой на лице... Зато две другие — веселые, озорные, глядящие на него с манящей, многообещающей улыбкой.

Она берет в руки старую фотографию, вдруг вынырнувшую из их прошлого, из их такого далекого близкого прошлого. Минуту всматривается в лица...

И вдруг ее собственное лицо искажается. Не в силах больше терпеть, она готова если не взорвать мир, то порвать в клочья эту дурацкую фотографию, в ее руках кричащую от боли! Чтобы вместе с ней, с этой до глупости родное фото разлетелось в клочья, и все их прошлое, все их такое общее прошлое, со всеми такими ненужными сейчас воспоминаниями! Чтобы не было их вовсе!

И неподвластной себе рукой она уже почти скомкала, держа ее в руке как горячий, обжигающий пепел, осталось только рвануть пополам. И она уже почти сделала это, как вдруг...

Лицо Буравщикова в ее ладони ожило... Искazилось в какой-то жалкой, беспомощной, просительной гримасе. Он взглянул на нее, взглянул так, словно прося, умоляя, заклиная просто: «Лерка, не делай этого! Удержись! Прошу тебя! Ведь у меня и роднее-то тебя на белом свете никого нет! Может, и я тебе еще когда и пригожусь... Не делай этого, Лерка!»

И рука ее дрогнула... Даже сейчас, после всего произошедшего, она не могла сделать плохо этому придурку Буравщикову, так глупо разобравшемуся с их жизнью, с их единой общей жизнью. Запросто пустившему ее под откос, всю их такую смешную, светлую, детскую...

И она торопливо положила фотографию на место, прикрыла сверху листком бумаги, потом календариком с пушкинским Болдино, потом прозрачным оргстеклом... И бегом, словно чего-то боясь, рванула отсюда, скорей и навсегда, забыв и про свои вещи, и фотографии, и бумаги, и про все на свете. Лишь бы только и в самом деле здесь ничего не сокрушить, не сломать, не проклясть, не скомкать...

Бегом отсюда, бегом!

*Да, потерянный Рай на земле он еще существует,
Только возвращать сад*

нужно бережно множество лет.

*И когда на земле кто-то грешные губы целует —
Это вовсе не значит, что в Рай уже выдан билет.*

Только жаль облаков,

что посмели на землю спуститься,

И расплавить металл,

что не плавится даже в огне...

И наступит весна... И увидит он белую птицу

Сквозь железные прутья решетки

на пыльном окне.

«Эх, Каурин... — обламывая капельные со-
сульки, растущие на щеках, мысленно посок-
рушалась она, уже видя перед собой спаси-
тельные огни автобуса. — Видишь, ничего-то у
меня и не получилось... И пристрелить не
пристрелила, и... Зря только винтовку за собой
таскала!»

И ощутила вдруг, как, выпрямляя ее плечи,
легчает за спиной тяжесть, обретая какую-то
другую, новую материальную сущность.

Часть 2 ЗДРАВСТВУЙ

Проезжая на следующий день мимо ста-
ринного города Вятка, Лерика почув-
ствовала, как из нее лезут, прут просто, проби-
вая себе путь, какие-то совсем новые строчки.
Ручки под рукой не оказалась, и она приня-
лась выцарапывать новорожденных прямо
ногтем на заиндевавшем от мороза вагонном
стекле:

Извините, сердце занято, не скрою,

Но и к телу я претензий не приму...

Я верна литературному герою

И сама не понимаю почему.

Он придуман мной. Такого нет на свете.

Он лишь вымысел, лирические сны.

Но в него играют юноши и дети

И влюбляются все девушки страны.

Он разводит рыб и ходит на байдарках,

Он, других спасая, видел смерть в лицо...

А совсем недавно он прислал в подарок

Мне на праву руку тонкое кольцо.

Я, конечно, не женю его, ну что вы!

Я не стану ему даже отвечать...

Ведь в кого-то же должны влюбляться вдовы,

И девчонки свои письма сочинять!

А мимо, улыбаясь ей вершинами колоколен и
солнцами куполов, проплывала в своей нена-
вязчивой мудрости красивая, ладная Вятка.

О. Ш.

Человек в белой кроличьей шапке, ... Оглядываясь, ходит по вокзалу.

Увидев его, Валерия старательно растягивает губы:

— Здравствуйте, Аврор... Боримирович!

Человек оборачивается, улыбается в ответ, торпливо чмокает в щеку и, подхватив ее под руку, выводит на улицу.

— А я уже тебя обыскался, весь вокзал обежал.

— Но прошло еще только десять минут. Вы сказали: через полчаса.

— А я решил побыстрей, — взглядывает он на нее сбоку. — А почему вдруг «вы»?

Валерия пожимает плечами.

Она совсем не знает этого человека. Она не знает, как с ним себя вести. Она вообще сейчас ничего не знает. И поэтому решает...

«Буду вести себя как хочу. Не как полагается, не как принято, не как того захочет он, а так, как захочу сама». Здесь ей терять нечего.

И потому она говорит ему «вы».

— У меня тут на площади машинка, — суетится он. — Сейчас быстренько домчимся.

Что-то неприятное чудится ей в этом: «машинка». «Что за машинка? Печатная, швейная, стиральная?»

— Собственный «Мерседес»?

— Да нет, такси поймал.

— А пешком далеко? Хотелось бы после дороги прогуляться...

На самом же деле ей хочется... Ну да, хочется как можно дальше оттянуть эту минуту... Которая должна оставить их наедине... С этим человеком в заячьей шапке, с этим Аврор Бори... как его... Да и шапок-то таких сейчас никто не носит! Тем более — таких имен.

Все в нем кажется ей сейчас неприятным, чужим, незнакомым. Да, впрочем, ведь так оно и есть.

— Ну что ты, пешком далеко. Завтра нагуляешься. Поведу тебя по экскурсиям. Покажу город. Да и холодно сейчас. Как там, кстати, в Екатеринбурге?

— Встретил холодновато. Проморозил насквозь.

— А у нас по случаю твоего приезда завтра обещано потепление, — шутит Аврор Боримиро-



вич. — Так что завтра и пойдем гулять. А сейчас давай забирайся на переднее сиденье.

Валерию немного удивляет, что он отправляет ее на переднее сиденье. Сколько она ездила с мужчинами — на первое место обычно усаживаются они сами. Наверное, чтобы встретить лицом опасность.

А он усаживается сзади и говорит водителю:

— Сделаем крюк. Человек у нас первый раз. Покажем город.

Город на Валерию впечатления не производит. Какие-то улицы, перетянутые изоляционными трубами, современные дома-новостройки...

Едут минут пятнадцать-двадцать.

Но вот Аврор Боримирович отпускает машину, и они остаются вдвоем. Одни вдвоем на снежной улице, едва освещаемой фонарями.

Валерия оглядывается. Впереди — длинное здание гастронома. Они сворачивают с шоссе, проходят в глубь квартала...

— Здесь можно пройти по освещенной улице, а можно срезать по тропочке.

И они идут по тропочке. Валерия — впереди, он в метре сзади.

Мужчина останавливается у последнего подъезда пятиэтажки. Поднимается вверх по ступеням. Пропускает Валерию вперед.

Она видит перед собой синюю дверь подъезда. Открывает ее и начинает подниматься на первый этаж.

— Погоди! — окликает он и указывает на лестницу вниз.

— Но там же подвал... — с недоумением смотрит Валерия. — Ты что, живешь в подвале?

Он кивает.

Валерию начинает потихоньку доставать... Вся эта неправдоподобная ситуация: ночь, незнакомый город, чужой человек... Вдобавок он почему-то живет в подвале. Может, он вообще бомж? Насочинял ей с три короба...

— Не пугайся, — говорит Аврор Боримирович, заметив ее настороженный взгляд, — здесь нормальные квартиры. Это как раз и есть первый этаж. Просто дом с высоким цоколем.

«Первый так первый, — кивает она головой. — С высоким так с высоким. Ей все равно. Ей совершенно все едино».

«А может, сбежать? — мелькает вдруг провоцирующая мысль — даже показалось, что она и

не покидала ее вовсе с момента вступления на эту землю. — Пока еще не поздно? Пока не спустились в этот подвал, к этому непонятному Аврору Боримировичу...»

Но куда сбежать? Туда, откуда только что вернулась, давась невозможностью остаться там навсегда? Или...

— Ну, проходи!

Валерия заходит в квартиру. Перед ней — длинный узкий коридор.

Она оглядывается: где снять пальто?

— Подожди, — останавливает ее мужчина. — Разденешься в моей комнате.

Валерия смотрит не понимая... А он уже идет вперед, дальше по узкому коридору.

— Это комната соседки, — кивает на дверь с левой стороны. — Ну, проходи! — и наконец распахивает перед ней дверь по центру коридора.

«Слава богу, не бомж», — отмечает про себя Валерия. Еще не войдя, обращает внимание, что и эта дверь почему-то тоже выкрашена синей краской. А сразу за дверью — такой же раздражающий едкой синевой странный пол. От избытка резкой синевы рябит в глазах. Кажется, еще немного — и у нее начнется морская болезнь.

— Это мой друг художник так покрасил, — объясняет Аврор Боримирович. — Осталась у него синяя краска — вот он ее сюда и пристроил.

Первое, во что упирается ее взгляд: стоящая на синем полу огромных размеров кровать, занимающая чуть ли не треть комнаты.

«Да это же... Теплоход просто, однопалубный, — отмечает она невольно. — Плывущий на синем...»

— Я эту кровать сам сделал, — гордо говорит Аврор Боримирович. — Правда, сначала купил матрац, а потом уже под него подгонял и все остальное.

«Вот тебе и кровать», — усмехается она про себя, а сердце отзывается ядовитой горечью. Сколько раз она ему говорила: «Сделай нормальную кровать». И он кивал и не делал, сохраняя целостность узкого, готового к абсолютному диалогу топчана. Зато теперь вот — кровать.

*И выдержала ножка у стола,
Когда ты за него сажал другую?
А старая кровать твоя цела?
Не провалилась в бездну мировую?*

— Ну как тебе?

— Что?

— Как тебе у меня?

— Нормально, — пожимает она плечами.

Ей неловко — внутри живет какая-то заторможенность, пустота. Бесчувственность. Наверное, она должна восхититься кроватью, которую сделал Аврор Боримирович. Но она не может восхититься и только почему-то с неприятным смотрит на нее.

А человек по имени Аврор Боримирович уже освободился от своей куртки. Ухаживая, снял с нее шубу. И даже успел запечатлеть на ее губах первый домашний поцелуй. Она передернулась непроизвольно.

Теперь он хлопотал, устраивая вечер с чаепитием. Суетился, словно не зная, куда ее посадить, как развлечь и вообще — что теперь с ней делать?

А Валерия смотрела на него со стороны и пыталась понять, что же привлекло ее в нем тогда?

Она видела перед собой уже немолодого человека с начинающей оплывать фигурой, маловыразительно узким разрезом глаз, лицом с провисающими подглазьями. Он резал специальной сырорезкой сыр, шоколадный торт, включал видик, предлагая ей выбрать какую-нибудь кассету. Этого добра у него оказалось предостаточно, а вот...

*А полка книг, куда моя рука,
Чтоб уличить тебя, тянулась смело,
Не рухнула, взывая, с потолка,
Чтоб объяснить тебе, что ты наделал?*

— Знаешь, для меня удивительно... — взгляд ее невольно скользнул по пустым стенам. — Я первый раз нахожусь в комнате, где совсем нет книг.

— Да? — словно прочитал он в ее глазах осуждение, царапнув взглядом по стенам.

— Ты не думай, что я такой уж неграмотный, совсем не читаю. Просто у меня на работе лежат неразобранные коробки, в том числе и с книгами. Я ведь в этой комнате всего месяц.

— А ты зря воспринял мои слова как осуждение, — чуть качнула головой Валерия. — Я просто констатирую факт. Для меня это удивительно. Но если ты думаешь, что к хороше-

му сантехнику я отношусь хуже, чем к начитанному экскурсоводу, — ошибаешься.

— Но ты, наверное, считаешь, что тебе с человеком без образования не о чем и поговорить? — продолжая резать сыр, поглядывает он на нее.

— Почему ты так думаешь?

*А что сказала старенькая мать,
На том же месте потчуй другую?
И сладко ли женою называть,
Вдруг превратив «любимую» в чужую?*

— Честно говоря, я вообще не знаю, что в жизни главное. Общаешься с человеком, а у него и одно, и два образования, и с ним действительно интересно. А потом доходит до какого-нибудь дела, и, оказывается, он ничего не может — только говорить... А поступки совершать не умеет.

Человек, отложив сырорезку, смотрит на нее.

— А бывает наоборот. Характер — кремь, слово с делом не расходится, а говорить... Говорить с ним не о чем. Поэтому... — Валерия пожимает плечами. — Где золотая середина?

— Да... — Аврор Боримирович продолжает посверливать ее взглядом. — А ты, похоже, поступки совершать умеешь.

Он пододвигает к ней стул:

— Ну давай садись. Расскажи хоть что-нибудь о себе. Ведь я ничего о тебе не знаю. Кроме имени. Да и оно, может, ненастоящее.

Валерия улавливает интонацию...

— Может, тебе паспорт показать? — наверное, это звучит как вызов, но каков вопрос...

— А в руках подержать дашь? — ее вызов оказался принят.

— Пока — нет. Только издали. Вдруг увидишь что-нибудь не то.

Станный, однако, пошел у них разговор. Но ведь она решила, что будет вести себя с ним как захочет. Вот, значит, так и хочет.

— А ты вообще не боишься, что я рецидивистка какая-нибудь? Вдруг захочу обокрасть твою квартиру?

— Этот вариант я отметаю, — покачивает головой Аврор Боримирович. — Во-первых, красть особенно нечего. Телевизор ты не унесешь, ну разве что кассетник. И потом — вычислить не проблема. Я знаю твое место, вагон, число... Так что, дорогая попутчица из

тринадцатого вагона, тебя занесло сюда не за этим...

А потом был долгий вечер и такая же долгая ночь. Ночь, в которой они оба честно хотели поддержать сказку, родившуюся на верхних полках тринадцатого вагона.

Сказка, казалось, была где-то рядом, совсем близко... Но она никак не могла прозвучать. Может, мешала ее поездка в Екатеринбург, может, затянувшийся период многолетней верности. Только почему-то вспоминался герой любимой киноклассики, лезущий под душ в пальто и шапке: «За пять минут старое разрушить можно. А вот новое... Новое — не создашь...»

Новое не создавалось.

Она и сама не понимала, что с ней происходит, только все свои усилия тратила на одно: не дать пролиться слезам. Больше всего на свете ей хотелось сейчас схватить телефонную трубку, пока еще ничего не случилось, не произошло, найти, где бы ни был, в какой бы точке земного шара ни находился, крикнуть на весь мир:

— Ты этого хочешь? Может, пройдет время, и ты захочешь вернуть меня ту, прежнюю! Но прежней уже нет. Ведь я-то себя вернуть уже не смогу!

*Жены покорной верный силуэт
Останется серьезно и надолго,
Сгорел костер, любимой больше нет.
Есть книжный шкаф и стол, и стул, и полка...*

— Что с тобой? Ты плачешь? Тебе что — плохо со мной?

— Нет, все нормально. Сейчас все будет нормально.

На самом деле ей совсем не хочется обижать этого человека, этого Аврора Боримировича с верхней полки тринадцатого вагона. Он действительно покорила ее тогда своим рассказом о мужественном человеке, еще в молодости потерявшем ногу, но не сдавшемся, берущем пороги... И не только крутых рек — пороги жизни.

Она сама откликнулась тогда на его протянутую руку, сама приехала к нему, пусть и по его просьбе. И вот теперь... Теперь она не в силах ответить ему ничем.

— Подожди, сейчас все пройдет, все будет нормально.

Слезы ползли из глаз, срывались и падали на подушку.

*Но что на них обиду мне держать?
Они, кружась, прожили вместе с нами...
Но как глазам другие отражать,
Когда горит в них несгоревший пламень?*

— Что случилось? Что не так? Ты что — такая чувствительная?

Ну вот, сейчас он еще решит, что она теряет сознание от счастья его близости.

— Я не чувствительная... Вернее — я чувствительная, но в меру. Ты не пугайся. Сейчас все пройдет. Просто так получилось...

«В конце концов, возьми себя в руки!» — уже почти приказывает она себе.

— Понимаешь... Много лет я была с одним человеком. И уже думала, что это навсегда. И вот сейчас... Впервые... Ты извини.

Человек рядом подпирал рукой голову и внимательно смотрит на нее.

— Ну... Тогда давай рассказывай.

И неожиданно Валерия рассказывает ему все. Все, что можно рассказать за остаток уже почти промелькнувшей ночи.

Утро застает их рядом. Ее голова на его плече. Он тихонько гладит ее волосы:

— Я знаю, предательство пережить трудно. Очень трудно. Особенно страшно, когда это происходит с человеком, в котором ты уверен, в котором уже и не сомневался... Когда со мной случилось, я ходил как зомби. Ничего не мог делать. Сидел у себя на работе в кресле и смотрел в одну точку. И три дня пил. И такой же, а вернее никакой — уехал в Москву. А когда оттуда уезжал — был злой как черт! Смотрю на людей: всех кто-то провожает, все кому-то нужны. Даже бабок этих старых, попутчиц наших — и то провожают! А тут еще ты пришла, с места меня шуганула...

— Но это было мое место, — успевает вставить Валерия.

— Это не важно, важно то, что произошло потом. Это было чудо! Когда я вернулся обратно — я совсем другой! Живой! Хожу, пою! Летаю! Все спрашивают: «Что с тобой? Откуда такие перемены?» — «Да так, — говорю. — Хорошо съездил. Вагон был хороший, тринадцатый!»

— И у тебя будет все хорошо! Поняла? — и он снова гладит ее волосы. — Обязательно будет! Верь мне, Валеринка!

Утром он поднимает ее в десять часов утра.

— Значит, так. Что больше интересует? Старина? Современные постройки? Театры? Выставки? Музеи? Природные объекты?

Несколько опешив, Валерия робко спрашивает:

— А... позвонить можно? По твоему сотовому?

— Надо позвонить? По междугородке? — пристально смотрит он. — Ясно, значит, сначала — на телеграф.

На телеграфе он покупает и протягивает ей таксофонную карту. И тактично отходит в сторону.

Валерия упорно набирает все тот же номер... Ей кажется, что еще можно что-то удержать, спасти, после этой почти целомудренной ночи. И, если бы оттуда ей сказали всего одну фразу: «Брось все, приезжай!» — наверное, это было единственное, что она и хотела сейчас услышать.

Но из трубки доносятся все те же упорно безразличные гудки.

— Ну что, нет твоего Рябушкина? — чуть взглядывает на нее Аврор Боримирович. И в глазах его Валерия видит промельк проскочившей тревоги.

Она недоуменно пожимает плечами: «Почему, мол, ты думаешь, что я звонила именно туда?»

Но вот они садятся на автобус, а когда выйдут, Аврор ведет ее... Ну куда должен вести Аврор?

Конечно же, на набережную. Туда, где над горизонтом еще стоит солнце. Вместе они карабкаются к памятнику Грину. Валерия не хочет подыматься к самому постаменту, думая, что ему, наверное, тяжело. Но он удивляет ее: при своей небольшой хромоте так ловко лазает и держится на ногах там, где она скользит и падает.

Он показывает ей берег Вятки — и она с удивлением узнает, что, оказывается, здесь совсем рядом знаменитая Дымковская слобода.

— Я подарю тебе дымковскую игрушку, — говорит он. — Увезешь с собой как сувенир.

Потом они проходят через романтический «Мост смертников», где он повествует ей историю борьбы вятичей с коми-пермяками.

— И кто победил?

— Пермяки, — говорит он и добавляет торопливо: — Но это было тогда!

А потом он приводит ее в свою «фирму».

Они спускаются в полуподвал — вот теперь уж точно в полуподвал, открывают тяжелую дверь...

Так вот она какая — его аквариумная фирма!

В больших стеклянных аквариумах здесь плавают живые рыбки. Настоящие живые рыбки. Здесь влажно и жарко, как в тропиках. Рабочий Олег ходит полураздетый, демонстрируя торс Геркулеса. А хозяин фирмы, скинув с головы белую пушистость, проводит ей экскурсию. По рыбкам, конечно. Здесь всякие: меченосцы, гуппи, скалярии, даже золотые рыбки, приносящие на хвосте счастье...

Валерии здесь нравится. Даже очень нравится — кругом дышит живая природа. Вместе с рабочим Олегом они пьют чай в этом экзотическом мини-Крыму. Звучит радио «Шансон». Прислушиваются и рыбки, замирая среди водорослей в подсвеченных аквариумах.

А потом, отдав ценные распоряжения Олегу, начальник фирмы покидает ее, чтобы вести экскурсию дальше. И они направляют стопы в Варваринский монастырь...

Но вот уже и вечер, и, чтобы уравновесить впечатления, Аврор ведет ее в мастерскую к своему другу — художнику Валентину, тому самому, который и покрасил все, что мог, синей краской.

На диване в мастерской лежит папа, тоже художник. Валерии показывают работы: папины и Валентина. Папа занимается акварелью: пишет природу, портреты. А Валентин — единственный в городе художник, работающий в технике напыления по стеклу.

Поддатый папа пристает к Валерии с комплиментами, называет ее «супругой», пытается поцеловать ручку. Ей неловко и смешно от этого «супруга», но почему-то приятно.

Потихоньку они все больше сдвигаются к выходу и наконец со смехом ретируются, едва успев прокричать Валентину: «Спасибо!»

Но надо ехать на вокзал, определяться с билетами на обратную дорогу.

По дороге Аврор спрашивает:

— Может, ты все-таки расскажешь мне хоть

что-то про себя? По крайней мере, куда брать билеты?

— Ну, значит — пора...

И слово за слово Валерия рассказывает ему... Не все, конечно, интрига должна сохраняться... Но хотя бы — куда брать билеты.

На вокзале Аврор долго и вызывающе торчит спиной, спрятавшись головой в окошке справки, пока длинная, закрутившаяся в хвост очередь не начинает возмущаться.

Валерии тоже надоедает его ждать, она даже успевает купить себе чашку кофе. Вернее, пластиковый стаканчик кофе.

— И что ты так долго там узнавал? Что можно столько времени делать в этом окошке? — позволяет она себе нетактичность выразить недоумение, когда его фигура наконец выныривает из окошка справки. — Еще бы немного — и очередь тебя просто растерзала.

— Между прочим, я свое пребывание там честно оплатил. А их справки я знаю — на рубль не потянут. Зато узнал, как тебе добратся, не заезжая в столицы — в Москву и Питер.

— Ну и как?

— Просто... — значительно кивает Аврор. — Придется только немного посидеть в Волховстрое — ночь. Правда, целую.

— Ночь в Волховстрое? — смотрит на него Валерия. — Знаешь, я уж лучше день в Москве или в Питере. Чем ночь в Волховстрое. Скажи лучше, что ты честно оплатил свое общение с девушкой в окошечке. В это я больше поверю.

А потом там же, на вокзале, Валерия звонит домой. Разговаривает со своими, а он стоит, пьет кофе и смотрит на нее.

Валерия показывает взглядом: ничего, мол, секретного нет, если хочешь — можешь послушать.

Но он качает головой, пьет кофе и смотрит с какой-то грустью, как весело она болтает со своими...

А Валерия разговаривает и смеется — она понимает, что эти голоса нужны ей, очень нужны, как, наверное, и ее — им. Но, продолжая разговаривать, она все равно смотрит на него.

А за ужином, в разговоре, он вдруг спрашивает ее...

Об их отношениях с Рябушкиным, о так называемом их «интиме».

Она несколько удивлена — все же это не тема для обсуждения. Но, разговаривая откровенно, они же пытаются помочь друг другу. Разобраться в своих ситуациях.

И, еще пытаясь осознать — ведь не задавалась же подобным, она начинает рассуждать вслух:

— Понимаешь, когда между двумя что-то большее, чем просто физическая близость... То и это тоже становится величиной разрастающейся. Действие может начаться... Даже раньше самого процесса.

Аврор смотрит не понимая.

— Ну, к примеру: мы вдвоем. Между нами — гитара, два бокала. Горит свеча. Мы поем и смотрим друг на друга. Слушаем друг друга... И действовать начинает все: взгляд, голос, обстановка, даже слова песни. Я не знаю, как это объяснить, но все, что происходит потом, — лишь следствие. Начинает действовать магия, атмосфера...

— Не понимаю, — качает он головой. — Хотя убей, не понимаю! Я человек простой, земной и, видимо, понять этого не смогу никогда. А все эти тонкости — для вас, натур поэтических.

— А ты что — совсем уж натура не поэтическая? Плаваешь на байдарках, любишь природу — и не поэтическая? Не поверю!

И они сидят дальше, пьют вятское пиво и снова говорят. Про поэтов и непоэтов. Про тех, кто пишет стихи и плавает на байдарках. Про людей, запутавшихся в этой жизни. А Аврор говорит вдруг:

— А знаешь, Валеринка, благодаря тебе я тоже сочинил строчку. Правда, всего одну. Она, конечно, корявая, ты не смейся, зато сочинил я ее честно, сам. Хочешь прочту?

— Ну, давай... — несколько удивляется Валерия — ведь он только что убеждал ее в непоэтичности своей натуры.

— Только предупреждаю — не смейся!

— Да давай уж...

— Эта строчка посвящена тебе. Слушай! — он откашлялся и выдал: — «Я тебя никогда не забуду, если ты будешь помнить меня!»

Над столом зависла пауза. Громкое, но непродолжительное молчание.

— Ну как тебе?

— Ну...

— Что, совсем плохо? — смотрит он с расстройством.

— Да нет, осмысливаю просто. Значит, если я буду помнить — и ты не забудешь? А если не буду... — Валерия пару секунд думает. — Ну ладно, так и быть... Буду помнить!

— Значит, ничего?

— Потенциал есть... Может, еще такое выдашь... Пушкин позавидует.

Уже утром, стоя в комнате перед зеркалом, Валерия причесывает волосы и видит, как он влетает в дверь с чашками. Останавливается, глядя на нее, и вдруг спрашивает:

— Валери, ты, когда уезжать будешь, адрес-то хоть свой мне оставишь?

— Адрес? — продолжает она смотреть в зеркало, целиком уйдя в это магическое занятие: — Зачем?

Она отвечает так по инерции, чтобы не отвлекаться, хотя на эту тему у нее ответ есть. Зачем оставлять адреса, по которым не пишут, телефоны, по которым не звонят... Их честно просят. Вписывают в свои записные книжки. Но проходит время — жизнь вносит свои коррективы, все забывается. А в сердце остается горечь от так и не пришедшего письма. Так уж лучше думать, что не пишут и не звонят потому, что ты не оставил адрес. Она знает, как действуют вблизи глаза, — им хочется пообещать весь мир. Но глаза исчезают за видимостью горизонта, а ненаписанные письма все продолжают идти...

И потому, еще не отойдя от зазеркальной темы, она говорит «Зачем?», словно заранее снимая с него ответственность за эти не пришедшие в будущем письма, за несостоявшиеся звонки.

А он вдруг ставит чашки на стол и поспешно выходит из комнаты. Почувствовав что-то неладное, Валерия идет следом. Она видит, как, заскочив в ванную комнату и пустив струю, он торопливо промывает глаза водой.

— Что с тобой, Аврор? Что-то случилось? — заглядывает она.

Но он, тряхнув головой, уже улыбается ей:

— Ничего, пустяки. Все нормально. Уже нормально. Идем завтракать. У нас на сегодня большая культурная программа.

А потом они начинают ее осуществлять.

Они ее осуществляют, осуществляют...

В русле намеченной программы оказываются на театральной площади. И вдруг обнаруживают, что вечером идет спектакль, о котором он уже что-то слышал: «Выходили бабки замуж».

И тут же, не отходя от кассы, решают на него отправиться. На спектакль про бабок, со столь интригующим названием.

Аврор уже разворачивается в сторону кассы, как Валерия останавливает его:

— Подожди! Есть способ деньги не тратить.

Она подходит к окошку администратора и что-то говорит, показывая свое удостоверение. «Зря, что ли, в театре работала?»

И получает два пригласительных на вечерний спектакль.

— Держи! — с гордостью вручает она ему. — О билетах можешь не беспокоиться!

— Однако... — смотрит он с приятным удивлением. — Женщины еще никогда не водили меня в театр!

Но до театра у него еще куча дел, и везде надо успеть. Схватив такси, они мчатся в мастерскую, где ему вырезают стекло для аквариума. Стекло вырезают, вырезают...

Валерии надоедает толкаться в помещении, ей хочется на воздух — должна же она изучить как следует этот город Вятку...

— Только под моим присмотром, — говорит Аврор и берет ее под руку. — Шаг вправо, шаг влево приравнен к побегу.

Они выходят вместе, и он ведет ее в ближайшую кофейню. Стоя, они пьют кофе за узеньким столиком, с видом на старинные особнячки, и Валерия с удивлением отмечает, что ей уже гораздо больше нравится город Вятка.

Потом уже с вырезанным стеклом они снова мчатся: нужно обеспечить работой Олега — поступил срочный заказ на большой аквариум. Сегодня им уже некогда распивать здесь чай: надо успеть заскочить домой: Аврор еще хочет переодеться перед театром.

До театра около двух часов, а на улице такое мягкое снежное круженье... И Валерия вносит предложение не ездить домой. Ей кажется, что он выглядит для театра вполне ничего — лучше просто побродить по городу.

Но он так не думает. Ему кажется, что он потный, что плохо одет.

— Лично я с тобой рядом комплексовать не буду. Смотри, какая отличная погода. А мы целый день мотаемся. Давай погуляем!

— Но у меня грязная голова, — упорствует он. — Я буду себя чувствовать дискомфортно. Меня в городе многие знают. И я первый раз иду с тобой в театр.

— Ну, хорошо! Раз ты здесь такая знаменитость... — смиряется Валерия, уже попавшая под очарование города. Конечно, только города...

И они снова мчатся.

Пока, закрывшись в ванной, Аврор приводит себя в порядок, Валерия успевает сообразить легкий перекус. Она сидит, уже расправляясь с копченым крылышком, а он, выйдя из ванной, все возится возле шкафа.

— Ты скоро? — спрашивает она, упираясь взглядом в его спину.

— Уже... Почти готов.

И — оборачивается.

И — куриное крылышко висит в ее руке.

Она вдруг видит перед собой... какого-то совсем другого человека.

Элегантного, стройного, подтянутого... И откуда только он взялся? На нем темная велюровая рубашка, светлый пиджак и в тон ему — брюки.

«Неужели одежда так способна изменить человека?»

Аккуратные волосы уложены на пробор. Лицо без морщин, красивое, молодое лицо — обращено к ней.

— Ну как, сойдет?

— Однако...

Ей отчего-то становится страшно. Даже смотреть на него страшно.

— Пожалуй, я с тобой рядом... — с трудом выговаривает она, — буду ощущать себя Золушкой. Причем до посещения ее феей.

Странно. Неужели дело только в этом изменившем его облике?

Но времени на раздумье не остается.

Выскочив из дома, они снова хватают такси, где Валерия по праву гостя опять садится на переднее сиденье. Летят навстречу огни машин, летят огни города, и она неожиданно ловит

себя на мысли, что ей еще больше нравится город Вятка!

А в салоне включено радио, и мужской голос, заполняя своим красивым баритоном пространство, шептывает ей в самое в ухо:

*...Я возьму тебя с собой, покружу,
Я одной тебе весь мир покажу!
Провезу тебя везде, прокачу!
А потом назад домой отпущу.*

Валерия вдруг чувствует — из-за спины к ней протягивается рука. Пальцы касаются ее щеки, касаются так бережно и нежно...

— Валеринка... Это ведь про тебя и про меня. Ведь это я тебе все покажу, везде прокачу... А потом назад домой отпущу.

И, помолчав, вдруг добавляет:

— А хочешь — не отпущу?

Валерия не отвечает. Но почему-то ей становится так хорошо, спокойно и уютно. Она не спрашивает себя, та ли это рука, не та ли... Только почему-то хочется, чтобы эта дорога как можно дольше не кончалась.

Но вот и театр, и женщина-администратор, приветливо улыбаясь, дарит им программки и передает их на попечение дежурной. Та проводит в зал и сажает на лучшие места в центре партера.

Валерии приятно — их принимают как почетных гостей. И еще ей приятно, что и ему тоже приятно, что им оказывают здесь такое уважение.

Спектакль начинается. Сидя в кресле, она ощущает рядом руку. Они сидят, соприкасаясь локтями.

«Выходили бабки замуж». Действие, сначала вяловатое, начинает постепенно раскручиваться.

Пять бабок живут в доме престарелых и тоскуют по своим домам. К ним на одну ночь подселяют деда Абдулу. И каждая из них умудряется уговорить его взять ее замуж. В конце концов он машет рукой — его мусульманские законы позволяют, и он соглашается взять их всех.

В пьесе много юмора, философии, характеры бабок такие разные...

И Валерия с удовольствием отмечает, что пьеса ей нравится. И ей это радостно. С каждым часом ей все больше нравится город Вятка. Ей нравится, что в этом городе такой хороший театр. Ей нравится и сама пьеса, и игра актеров, и режиссура. И сам театр. И еще ей нравится... Сидеть рядом вот с этим красивым, надежным мужиком. Сидеть вот так: сначала рука к руке, потом — плечо к плечу, потом голова на плече...

— Ты прикладывайся, если тебе так удобно, — говорит он. И она чувствует, что ему и самому этого хочется.

— Неловко, — говорит она. — Мы же в театре.

Но голова ее незаметно склоняется к его плечу все больше и больше.

И они смотрят пьесу дальше, одинаково реагируя и смеясь.

А потом в перерыве идут в буфет, пьют кофе и едят бутерброды с красной икрой — имеют право: сэкономили на билетах. И Валерия действительно видит, что у него тут много знакомых — не зря он надевал свой элегантный костюм.

В конце второго действия выясняется, что председатель обдурил Абдулу. Он продал его дом, и теперь ему некуда вести свой гарем.

А Валерии хочется, чтобы Абдула как можно дольше выяснял отношения со своими женщинами, потому что...

Потому что... Так уютно лежать головой на этом широком плече, ощущать рядом эту надежную руку, и у нее возникает ощущение... будто все это происходит с ней первый раз в жизни.

После спектакля один из его знакомых фотографирует их на фоне еще не убранных декораций. А в них самих что-то происходит, продолжает происходить: какое-то рвущееся изнутри звучание. И, не зная, куда его пристроить, они просят у администратора книгу отзывов и предложений и...

И записывают туда свои самые сногшибательные отзывы!

А на улице все еще продолжается снежное кружение. Они идут по укатанному белым вечернему городу смеясь и, словно в детстве, ловя ладонями снежинки. Впервые держась за руки,

будто им если уж не по семнадцать — то по во семнадцать с половиной точно!

Теперь уже он рассказывает о себе. Про своих родителей: отца, которого уже нет, маму...

— А хочешь, зайдем к ней? — предлагает он неожиданно. — Я вас познакомлю. Она живет в этом районе.

Но Валерия качает головой. Нет, она не хочет. Мамы — это серьезно. Одна мама уже осталась позади.

И они продолжают кружить в белом, бредя за руки сквозь падающий снег.

Но в конце концов не выдерживают и, сдавшись, садятся на подвернувшийся им автобус.

Здесь толкотня и давка, народу полно, но они находят одно на двоих свободное место.

Валерии хочется, чтобы сел Аврор, ведь она, хоть иногда, еще вспоминает про его ногу. Он же хочет, чтобы села она. В конце концов, приходят к разумному компромиссу: садится он, а Валерия, в соответствии с компромиссом, — устраивается у него на коленях. Чтобы не упасть, придерживает его за шею.

— Смотри, — говорит она, указывая на стоящего впереди человека. — У него такая же пилотская шапка, как у меня.

Аврор согласно кивает:

— Да, у нас такие шапки называют «верблюжья задница».

— Что? — смотрит она с возмущением. — Ты оскорбляешь мою шапочку? Разве можно такое говорить дамам?

— А как надо сказать?

— Надо сказать: «Какая, мол, у вас приятенькая шапочка!»

— Но я же не виноват, что такие шапки у нас называют «верблюжья задница», — упорствует он.

— А у нас говорят... У нас говорят: если у человека на лице много морщин, то у него лицо как «куриная задница».

— Это ты про мое лицо? У меня много морщин? — в голосе проскакивают обиженные нотки.

— Нет, это просто у нас так говорят.

Так, оживленно беседуя, они продолжают путь.

Потом Аврор говорит:

— Надо проехать на одну остановку дальше. Там в магазине всегда есть свежий хлеб.

— А это обязательно? — смотрит на него Валерия. Ноги уже так устали, за день они набродились изрядно, тем более она еще помнит не только про свои ноги. И знает, что он постоянно старается для нее что-то сделать.

— Мы же вчера покупали. Там больше полбуханки. Может, не пойдем?

— Хорошо, — тут же соглашается он. — Не пойдем.

И они выходят на своей остановке и по тропке идут домой.

Странно, но эту комнату с синим полом Валерия уже начинает считать домом. «Цвет небесный, синий цвет...»

— Кажется, я начинаю догадываться, почему тебе нравится жить в этой синей комнате, — говорит она, когда Аврор снимает с нее шубу. — Наверное, синий цвет напоминает тебе воду рек, по которым ты ходил на байдарках.

— Может быть, — кивает он. — Только я никогда об этом не думал.

Переодевшись, она, как обычно, идет в ванную. А он на правах хозяина — на кухню. На ее попытки оказать ему кухонную помощь он отвечает отказом. Так что в ванной ей самое место.

Сквозь журчание воды она слышит на кухне его шаги, а в себе — какое-то новое необычное звучание. Строчки еще только-только начинают проклёвываться, но главное в них уже есть: двое идут по вечернему городу. Они уже не так молоды... Но то, что происходит с ними сейчас, происходит словно впервые. И все нереальнее становится мир вокруг, реально только то, что им снова по семнадцать лет.

С этими начинающими звучать строчками Валерия выходит из ванной. Чтобы их не растерять, осторожно присаживается к столу.

Аврор просит подать хлеб. Валерия протягивает руку к полиэтиленовому пакету, вытаскивает, подает. А в ней самой все еще продолжает звучать...

Он берет хлеб в руки и вдруг морщится:

— Правду говорят, послушай женщину и сделай наоборот!

— Что? — смотрит она, не понимая.

— Ведь говорил! Надо сходить за хлебом! Так ведь нет — все надо сделать по-своему! — проносит он вдруг откуда-то взявшимся нежи-

данно дребезжащим голосом. Валерия даже и не знала, что у него есть такой голос.

— Лично я такой отсыревший хлеб есть не буду! — и, поджав губы, он брезгливо отодвигает его от себя.

Валерия продолжает не понимать. Только строчки уже готовые вот-вот... вдруг начинают куда-то потихоньку исчезать.

Только что рядом в театре был человек... Совсем другой человек! Вернее — там-то как раз и был тот!

— Аврор Боримирович... — сказала и не узнала собственного голоса. — Я, наверное, чего-то не поняла. Вы сейчас разговаривали со мной... Будто я ваша жена, причем столетней давности. Может, вы забыли — я ведь всего-навсего ваш гость. Я у вас в гостях.

— Да, в гостях! — в той же ядовитой тональности продолжил он. — И я стараюсь как могу! Из всех сил пытаюсь тебя развлечь! Не жалею ни времени, ни сил, ни денег! Не хожу даже на работу, чтобы уделить тебе внимание! Так неужели трудно сделать то, что просит мужчина, — купить свежего хлеба?

— Так, подожди! Давай разберемся...

— А нечего разбираться!

Валерия ощущала — что-то рушится. Что-то, еще только-только начавшее создаваться... И как это удержать — она не знала.

— Во-первых, ты не особенно и настаивал... Даже практически совсем не...

— А я и не должен настаивать. Если мужчина сказал — это должно быть для женщины законом.

— Но ты для меня еще не мужчина. Мы же только что установили, что я всего лишь твой гость. Тобой приглашенный гость...

— Ах, не мужчина? — услышал он только это. — Ну спасибо! Была бы хоть последовательна! Только что в театре сама говорила: «Смотри, как надо вести себя с женщинами! Женщины уважают в мужике крепкое слово, силу. Иногда надо и кулаком пристукнуть!» Не говорила?

— Говорила. Но я говорила не о нашей ситуации, которой еще практически нет. Скорее — о твоей, с желанием помочь, разобраться. Да и о своей тоже: может, мне-то в той ситуации как раз и не хватило мужика, который в нужный момент смог бы проявить характер. Не

допустил слабину... Мы же просто хотели разобратся, помочь друг другу.

— Хотели, — кивнул он. — И что, тебе было плохо со мной?

— Мне? С тобой? — что-то вспыхнуло и погасло внутри. — Мне с тобой не было плохо! Мне с тобой... Можно даже сказать, было хорошо! До этой минуты. До этой самой минуты.

Тон отдавал ядреной горечью.

— Ах, значит, это я во всем виноват? Это я все испортил?

Валерия чувствовала, что летит в пропасть. Что они оба летят в пропасть. Уж слишком все было... Хорошо слишком было, чтобы теперь что-то исправить.

— Послушай... Ведь ты же, ведь вы... Бывал в экстремальных ситуациях. Видел смерть в лицо. Значит, должен знать меру истинных ценностей. Так неужели этот хлеб, ладно бы его не было — неужели это повод, чтобы... Вот так все взять и... Ну ладно, раз уж ты считаешь, что я такая эгоистка — не пошла с тобой за хлебом... Сделал бы свои выводы — и все. Я бы уехала! Но зачем же вот так? Зачем?

— А вот как раз и затем! Ты об этом сейчас сама и сказала. Да, я знаю меру истинных ценностей. Знаю, как правильно все рассчитать. Именно поэтому никогда не попаду впросак, ни в какую в глупую ситуацию. И я должен точно знать, что у меня есть в доме. Чтобы проснуться утром и знать, что на подоконнике лежит свежий хлеб. Что с утра я могу нормально позавтракать, пойду на работу и не останусь голодным. А тот, кто все пускает на авось, на самотек, кто не умеет все правильно рассчитать...

Валерия слушала, слушала, и какая-то недопроявленная мысль муссировала сознание.

— Так... Кажется, я поняла...

— Что? — почувствовал он интонацию.

— Кажется, я поняла... — еще пыталась она себя сдерживать. — Почему от тебя уходят женщины.

— Ну? И? Почему?

— Потому что... Потому что... — последняя попытка удержаться. — Да потому что ты же зануда!

Слово вырвалось, став для нее и самой открытием.

— Я? Зануда? — подскочил он на месте. — Это я-то зануда? Ну, спасибо, отблагодарила! За все отблагодарила!

Аврор Боримирович вскочил и начал выписывать круги по комнате.

— А что, разве тебе это никто не говорил? — удивление ее было искренним.

— Еще чего! Попробовал бы мне кто-нибудь сказать! Я, значит, для нее все делаю, бегаю, стараюсь, все дни наизнанку выворачиваюсь, только чтобы ей было хорошо, не жалею ни времени, ни сил, ни денег...

— Вот-вот! Я бы все твои старания и так оценила. Да я и оценила их! Но тот, кто постоянно все про себя рассказывает, объясняя все свои действия, тот и есть зануда!

— Да? А ты... Ты знаешь кто? Да ты просто привыкла вертеть своими мужиками! Тебе настоящий-то нормальный мужик еще и не попадался! Такой, чтобы сказал: «Цыц!» И повертела бы ты хвостом тогда, поездила...

— И слава богу, что не попадался, — вздохнула, отвернувшись, Валерия.

— Нет, ты вообще знаешь, что ты сделала? Ты хоть понимаешь — что ты сделала? — обойдя вокруг, остановился он против нее.

— И что я сделала?

— А вот то! Я думал, ты тонкий человек из особой материи. Я таких, может, никогда и не встречал! Да я счастлив был, что встретил такую женщину! Я боготворил тебя все эти дни! Ты была моей богиней! И сейчас ты, уже почти ставшая моей богиней, королевой... Устроила мне скандал, как, как... Как самая обыкновенная земная баба!

— Я? Устроила скандал? — застыла в немом удивлении Валерия. — Ты ничего не перепутал?

Она понимала лишь одно: лавина несется и ее уже ничем не остановить.

— Вчера я спросил у тебя: оставишь ли ты мне свой адрес? А ты только ручками развела! — продолжал Аврор Боримирович свою укорительную речь. — Походила, значит, по экскурсиям, поездила. Попользовалась и все? Эгоистка!

Продолжать диалог смысла уже не было, но и остановить с ходу было невозможно.

— А ты не эгоист? Даже строчку сочинил: «Я тебя никогда не забуду, если ты будешь помнить меня!» Заранее, значит, условия ставишь: если я тебя буду помнить — значит, может, и ты не забудешь. А если не буду? Наплюешь и забудешь?

И спросила почти без перехода:

— У нас водка есть?

— Водка? Зачем тебе?

— Да... так... Если уж я обыкновенная земная баба, так и напьюсь сейчас как обыкновенная земная баба! — слова про богиню и королеву все-таки задели... Не задели даже — ранили. «Вот так, раз в жизни окажешься богиней и королевой, и нате...»

— Чтобы уж ты поверил в это окончательно! — и плеснула в подставленный бокал ядовитой жидкости.

— Только знаешь, что я тебе скажу... Я тоже тебе скажу.... К богиням — к ним не пристают со скандалами о хлебе. Богини живут на небесах. Им вообще нет дела ни до чего земного!

— А я все равно найду свою богиню! И она будет мне мыть полы, готовить обеды и пойдет за мной в огонь и воду. И все равно будет самой лучшей женщиной на свете. Которую я буду боготворить и носить на руках!

— Такие богини у тебя уже были... Впрочем, все это одни слова. Все это умеет делать каждая женщина и не считает за подвиг. Но дело не в том...

Валерия выпрямилась, встав со стула.

— Но я хочу сказать другое... Чтобы ты тоже знал. Ты сегодня был... Да, ты сегодня был таким... — слова вязли, застревая, словно боялись обжечь горло. — Ты тоже был моим Героем! Да, с большой буквы! Ты был таким... Красивым, элегантным, нежным. Даже умным!

— Ну, спасибо! Пусть хоть так.

— Да я просто гордилась тобой! Гордилась, что я рядом с таким мужчиной! Со мной, может, такого и не было-то никогда! Я будто заново родилась. А ты все взял и...

— Значит, это я во всем виноват?

— Какая теперь разница! — горячая жидкость, еще не тронутая в бокале, уже вот-вот готова была выплеснуться брызгами из глаз. А это было бы уж совсем ни к чему...

— Ладно, давай лучше поднимем тост, — взметнула она ладонь в воздухе: — За несостоявшуюся богиню и... за несостоявшегося Героя!

Бокалы соприкоснулись, легким звоном озвучив воздух.

Валерия обошла кровать и рухнула, тут же потерявшись в ворохе белого. Белого на синем. Хорошо все же, что кровать такая большая.

— Спокойной вам ночи, Мирович — Борими-рович.

«Хоть ты и БориМирович, никакого мира не получилось».

И вот снова вокзал. Очередь за билетами...

И долгое кружение по городу, с попыткой проветрить, понять.

«Спасибо, помог... Уж так помог — больше некуда! Спасибо этому гостеприимному городу, спасибо тринадцатому вагону!»

Она уже и не знала, когда было хуже: той ночью в Радынкино или сейчас, в чужом городе, так гостеприимно распахнувшимся сначала. «Двойная порция виски в кофе хороша, наверное...»

Но что же произошло?

Был человек, случайный человек с поезда. Хотя, если верить утверждению великого Разума, ничего не бывает случайным. Попутчик. Человек, с которым на определенном отрезке жизни и времени им оказалось по пути.

И была женщина. Человек-женщина, превратившаяся в зомби. Человек-женщина-зомби. Которая сама не знает, куда и зачем едет, которую трясет от случившегося в ее жизни. И она садится в поезд и едет... Потому что не ехать она не может, не может остановить себя в одной точке. Она знает: ехать надо — и это единственное, что она знает вообще.

И вот она садится в вагон, и какой-то смешной мужик с грелкой обращает на себя внимание. Он обращает внимание не чем-то там особенным, а просто потому, что, глядя на него, она пытается понять что-то для себя.

Потом...

Ее поражает его история. Человек без ноги, беруший пороги.

Она глядит на него и думает: «Хорошо, что есть такие. Такого так просто не собьешь. Такой привык все решать сам. Такой устоит, сумеет...»

И в то же время... В ней живет комплекс. Комплекс женщины, привыкшей быть непобедимой и вдруг получившей удар со стороны, с которой меньше всего ожидала. И — подсознательная попытка утвердиться хотя бы в глазах этого мужчины.

Да, все примерно так и было. Она одновре-

менно не хотела и хотела этого! Потом его рука, протянутая к ней... Тепло этой руки.

И все же — нет! Там еще ничего не произошло, ничего не случилось. Такое не случается в один миг. Скорее даже разочарование: «Не устоял...»

Все началось потом, позже.

Когда?

Когда рассказывала ему о своем? Нет... Носилась вместе по городу? Были в гостях у Валентина? Пили кофе на вокзале? Нет, нет...

Когда, повернувшись возле шкафа, он спросил: «Ну как?» Взглянул на нее как-то по-новому и сам был весь какой-то другой, новый.

Их поездка, вернее — полет на такси. Театр, вечерний город. Снег падающий. Мелодия, вдруг начавшая звучать...

Валерия усмехнулась.

Но что об этом... Об этом не стоит. Теперь ей просто нужно дожить до спасительного вечернего поезда. Она должна была уехать завтра, но билеты, слава богу, удалось поменять.

И надо попытаться уничтожить воспоминания. Такие острые, такие ненужные сейчас...

Она вспоминает, что у нее в фотоаппарате есть один кадр. Находит мастерскую и заказывает фотографию. Всего одну. Потом щелкает на кнопку и удаляет вместе с кадром еще одно досадное недоразумение из своей жизни.

А фотографию эту она отправит ему — пусть уж сам решит, что с ней делать. На флешкарте, кстати, еще полно места: они собирались сходить к памятнику Васнецову, в Дымковскую слободу. Он хотел подарить ей дымковскую игрушку...

Она получает фотографию. На ней они стоят рядом, плечом к плечу. Он почти на голову выше высокой Валерии. Стоят на фоне еще не убранных театральных декораций. Милый семейный интерьер: стол, стулья, шкаф, кровать. Если не знать, что это декорации, можно подумать, что они стоят на фоне интерьера из их собственной семейной жизни.

Она покупает конверт, кладет в него фотографию, запечатывает... И отправляет по адресу дома с синим полом.

Ну, вот и все!

А до поезда еще полно времени. Она кружит по городу, узнавая знакомые места. Вот цирк, где вчера шли, взявшись за руки. Телеграф,

откуда звонили. А вот Киров в плаще, про которого он сказал, что в этом районе холоднее, потому что здесь Киров в плаще. А вот Киров без плаща. В этом районе должно быть теплее. Теплее...

До поезда остается уже два часа. Еще два часа! Целых два часа...

Она торопит время, чтобы поскорей уехать из этого города. У нее остались маленькие подарки, памятные знаки: карта города, которую он ей купил, программка спектакля... Валерия знает: сюда она больше не вернется. Даже если он позвонит. Даже если напишет. Даже если...

Опустив руку в карман, вытягивает какую-то бумажку. Ах да, та самая, с адресами: он вручил ей еще тогда, в поезде. Она вытаскивает ее из кармана, минуту смотрит и... скомкав, кидает в урну.

Рука нащупывает и еще что-то... Таксофонная карта, которую он ей покупал. Ее тоже придется выкинуть. Хотя почему выкинуть? Она же может по ней еще позвонить. Причем по всей России!

И она тут же делает это. Звонит своей тете в Питер, ведь она же все равно едет через Питер. Значит, завтра сможет к ней зайти. Конечно, она не станет рассказывать ей эту душещипательную историю, скажет просто, что ездила в Вятку по делам.

Валерия набирает питерский номер.

Все в порядке. Тетя ждет. «Если у вас нету тети...» Хорошо все же, что она есть!

Вешает трубку. На табло высвечивается: «Осталось 15 бит».

Валерия смотрит на эти словно заколдованные ее цифры: «Осталось 15 бит». Куда бы пристроить эти 15 бит?

И вдруг... развернувшись, бежит в зал, куда десять минут назад выбросила бумажку с телефоном. Роется в урне, словно последний бомж. Снова подлетает к телефону. Начинает накручивать длинный номер сотового...

Она и сама не понимает, зачем делает это? И куда девалась ее девичья гордость? Да есть ли у нее вообще эта самая «девичья гордость»? Но все же какое хорошее устройство — мобильные телефоны, они помогают найти человека в любой точке земного шара.

— Аврор Боримирович?

— Валеринка, ты? — голос отозвался сразу.

— Я хочу сказать... — и откуда только взялся у нее этот странно чужой даже ей самой голос. — До свиданья, Аврор Боримирович!

— Подожди, не вешай трубку! Ты откуда звонишь?

— С вокзала, — почему-то отвечает она, хотя совсем не собиралась этого делать.

— Ты каким поездом едешь? Во сколько?

— Питерским. В шесть часов, — почему-то отвечает, хоть совсем не собиралась этого говорить.

Больше ничего сказать она не успевает. Трубка отзывается гудками.

Выйдя с телеграфа, она принимается нервно ходить, выписывая круги. Она и сама не знает: хочет ли, чтобы он пришел, не хочет ли. А если придет — то какой придет? Тот, которого встретила здесь несколько дней назад? Чужой, усталый, пожилой человек? Или тот — молодой, красивый, нежный, который был с ней вчера в театре? Самоуверенный курдюк, назидательным голосом вещающий прописные истины?

Она запуталась в этих людях, она не знает, который он — настоящий?

«Возьми себя в руки! — уже почти приказывает она себе. — И прекрати сейчас же нарезать круги по вокзалу!»

Говорят, когда нервничаешь, лучше всего чего-нибудь перекусить, и она заходит в маленькое привокзальное кафе. Берет сосиску, кетчуп, кофе... Пилит тупым ножом сосиску, размазывает по скользкой тарелке кетчуп. Холодный жидкий кетчуп, холодный жидкий кофе, холодный жидкий...

Она сразу узнает фигуру, пронесшуюся за стеклянной стенкой бара. И сразу, даже на первый взгляд, отмечает: что-то не то. Что именно — понять не успевает, но только видит, что это не набитый курдюк, не тот, пожилой чужой, не сегодняшний...

— Это вам, мэм!

Он заходит в бар и кладет перед ней на стол длинный, укутанный бумагой сверток. Валерия заглядывает внутрь. Там, упакованная в прозрачный целлофан, прячется элегантная роза. Наружу выглядывают лишь нежные кончики лепестков.

— Спасибо! — Валерия старается, чтобы голос

звучал ровно. — Но цветы обычно дарят при встрече, а не при прощании.

— А это еще и не прощанье.

Наконец она взглядывает на него вблизи.

Он стоял перед ней в распахнутой куртке и чуть скошенной набок шапке. Вроде все как обычно, правда, шапка одета уж с какой-то непривычной лихостью.

— Я сейчас, — вдруг значительно говорит он. — Только телохранителей отпущу.

— Телохранителей? — смотрит, не понимая. — Ты что — за это время успел стать такой важной птицей, что нуждаешься в охране?

Не отвечая, он шагает к дверям... И за стеклянной стенкой бара Валерия действительно видит двоих — мрачноватого вида, как и полагается телохранителям. Правда, выглядят они с ним рядом как пигмеи из страны лилипутов рядом с Гулливером.

Он им что-то говорит, и те исчезают, словно растворяются в воздухе.

А он, возвратившись, берет стул и усаживается напротив, упираясь локтями в стол.

— Так что насчет телохранителей? Я так и не поняла. Ваше тело что, нуждается в охране? Для чего?

— Не для чего, а для кого! Для вас, мэм!

— Да? Я даже и не знала, что оно имеет такую ценность.

— Так... Ты что-то имеешь против моего тела? Валерия чуть усмехается.

— Я не могу против него чего-то иметь или не иметь. Я его практически не видела. Днем вы водили меня по экскурсиям, а ночью мы вели содержательные беседы на самые душещипательные темы.

— Угу, — кивает он. — Скажи лучше, Валеринка, ты уже билеты купила?

— Купила.

— Покажи!

— Зачем? — пожимает она плечами. — Они лежат у меня в сумочке.

— Я сказал: покажи мне билеты на поезд. И документы к ним тоже покажи.

— Ну хорошо, — решает она реагировать как можно спокойней. — Раз для тебя это так важно.

Она достает из сумочки и протягивает ему билеты. Он смотрит. Долго смотрит...

И вдруг начинает возмущаться:

— Это что за билеты? Что за вагон? Тридцать первый? Да таких вагонов просто не бывает! В природе не существует! Люди вообще не должны ездить в таких вагонах! Черт знает что!

Валерия смотрит с недоумением — на них уже начинают оглядываться.

— Аврор, ты почему ведешь себя так? Почему скандалишь?

И тут до нее начинает доходить.

— Да ты же... пьян!

— Да! — говорит он с неожиданным вызовом.

— Я пьян! Ты сказала, какой я! Зануда, эгоист, какой я еще? А я еще бываю и такой!

— А может, ты вообще запойный алкоголик? Лучше предупреди сразу!

— А всякий, Валеринка! Всякий! Ты вот мне лучше ответь: где ты была сегодня около часа дня? Почему тебя не было на вокзале? Я носился всюду, искал! Где ты была?

— Ну уж, знаешь... Прости, пожалуйста! Я же не знала, что тебе придет в голову — сначала рассориться со мной, а потом меня повсюду искать!

— Стоп! — делает он жест рукой. — Помолчи пока. Я возьму себе кофе.

Он отходит к стойке — и ей становится страшно: она видит, как он пьян! Уж лучше бы и не приезжал такой!

Но он уже возвращается. Ставит на стол пластиковый стаканчик и делает глоток горячего.

— А я искал тебя... Кружил на такси по всему городу, больше двух часов караулил на вокзале. А потом пошел по ресторанам! По кабакам! Пошел пить!

— Да уж... — кивает она. — Лучше бы ты пошел по ресторанам вместе со мной.

— Валеринка, подожди... Дай мне сказать. Отвечь мне, что я должен сделать?

— Что? Мне ты ничего не должен.

— Я спрашиваю: что я должен сделать, чтобы ты осталась?

— Осталась?

— Да. Что я должен сделать, чтобы ты осталась здесь, со мной?

— Ну... — к ответу Валерия явно не готова. — Для начала — протрезветь.

— Ты говоришь не то.

— А как я могу сказать тебе то? Я скажу «то» и... Пей лучше кофе, Аврор, пей!

Под ее давлением он делает несколько глотков.

— Ты должна мне ответить, иначе...

— Что — иначе?

— Так... ничего, — шмыгнул он носом. — Слушай, Валерин, у тебя носовой платок есть?

— Носовой платок? — смотрит она с недоумением: смена темы уж слишком... — Зачем тебе мой носовой платок?

— Я буду плакать, а ты вытирай мои слезы.

— Еще не хватало! Он будет плакать, а я — вытирай слезы! Делать мне больше нечего. И не подумаю. Плачь так!

— Тогда они будут капать прямо в кофе... У меня будет кофе со слезами. Посмотри в свою сумочку — там должен быть носовой платок!

Валерия хотела было ответить, но воздержалась.

— У каждой женщины в сумочке должен быть носовой платок.

— А ты что — заглядываешь в сумочки всем женщинам? — она заметила: к их разговору явно прислушивается буфетчица. Барменша то есть.

— Говорю тебе: открой свою сумочку.

Деваться было некуда — она открыла. Странно, там действительно лежал носовой платок.

— Достань его и вытирай мои слезы.

— Ну, хорошо, — сдалась Валерия, прижимая платок к его щеке. — По крайней мере, я хоть буду знать, зачем брала с собой носовой платок.

— Валерин, ты ушла... Я стал убираться в комнате и вдруг увидел: под моей рубашкой, которую ты носила, — книжка. А в ней — твой адрес и телефон. Они настоящие, не вымышленные?

— Да вроде нет.

— Послушай меня, внимательно послушай, Валеринка... Вчера мы были с тобой в театре... Ты сказала... Ну, каким должен быть мужчина. Настоящий. А я принял твои слова всерьез. Слишком всерьез... Поэтому все так глупо и получилось.

— Да зачем тебе мои слова... — продолжала она промокать его слезы (как ни странно, они действительно были). — Ты и так настоящий и без всяких моих слов. Тебе они не нужны. Разве ты не понимаешь...

Она говорила и промокала его слезы своим непонятно откуда взявшимся платком, между ними на столе лежала роза... А от стойки бара на них поглядывала барменша... Поглядывала — и улыбалась.

За прозрачной стенкой вырисовались два охранника. Они показывали на часы.

— Пора.

Аврор прихватывает одной рукой ее дорожный рюкзачок, Валерия берет розу, и они все вместе поднимаются наверх, к выходу на платформы.

Охранники тактично отстают, вышагивая немного сзади.

Наверху скользя, пол заледенел. Зима все же, вятская зима...

Валерина забывает, что он не совсем трезв и что вторая нога у него не совсем нога. Как-то за эти дни стало и забываться. Только вдруг...

Он поскользывается на обледенелом полу и...

— Аврор! — бросается она к нему, следом подбегая два охранника.

— Все нормально! — отвергает он их помощь. Быстро поднимается, и Валерина вспоминает, что ногу ему надо ставить только на ровное. Он смешил ее, рассказывая, как иногда в автобусе ему говорили: «Гражданин, вы стоите на моей ноге». А он невозмутимо отвечал: «Извините, сейчас уберу».

А впереди — длинный крутой спуск на платформу. Ступени обледенели, и ей становится страшно. За него страшно.

А он говорит:

— Держись за меня! Держись за меня, Валеринка, и ничего не бойся! — и начинает стремительно спускаться, просто лететь вниз!

Валерия, рука которой лежит на его согнутом локте, уже не понимает, кто здесь кого держит? Понимает она только одно: если они упадут, то упадут вместе, своей инерцией он утащит и ее — укатятся по длинной обледеневшей спусковой лестнице. И, уговаривая, она придерживает его:

— Не спеши, Аврор, пожалуйста, не спеши!

— А ты не бойся! Ты главное — держись за меня! В жизни держись, Валеринка! И тогда тебе ничего не будет страшно!

И они несутся вдвоем вперед по скользким обледенелым ступеням. А два здоровых охранника едва за ними поспевают.

На платформе они все-таки находят тридцать первый вагон. Оказывается, такой действительно существует.

— Иди займи место, — говорит Аврор. — Потом спустишься.

И когда с рюкзачком она уже поднимается по ступеням, кричит вслед:

— Да, надо же купить тебе продуктов в дорогу!

Положив вещи, Валерия спускается снова и видит, что он закупил у продавщицы почти весь ее лоток.

— У тебя нормальное место? — вручает он ей упакованный мини-маркет.

— Нормальное, — кивает она. — Боковое, — и, чуть помолчав, добавляет: — Боковое верхнее.

— Что? Опять? — ползут вверх его брови. — Валерин, ты смотри там только ни с кем не меняйся! И на попутчиков не гляди!

Валерия смеется.

— Ну, не каждый раз такие попутчики попадают!

А потом «телохранители» тактично отходят в сторону. И они остаются вдвоем. Одни вдвоем...

— Да, Валерин, я хотел тебе сказать... Та строчка, которую я сочинил... Она, конечно, глупая совсем, я понимаю. И пусть в ней ничего не состыковывается, а только... Я ее переделал! Она теперь звучит так: «Я тебя никогда не забуду — даже если забудешь меня!» Поняла? Даже если ты забудешь, я тебя все равно буду помнить! Ты поняла?

— Поняла, — кивнула Валерия.

— Ну тогда — иди.

И, кивнув, она послушно пошла вверх по ступеням.

Она поднимается вверх по ступеням и уже оттуда, из освещенного тамбура, смотрит на него. Валерия не знает, увидит ли его еще когда-нибудь, и поэтому ей хочется запомнить его как следует.

Он стоял перед ней на стылой платформе Вятско-Кировского вокзала. За его спиной торчали два охранника. Немелкие ребята, рядом с ним они казались просто малышами. Его белая заячья шапка куда-то делась. Волосы на голове растрепались, открыв высокий лоб. Куртка была распахнута, из-под нее выглядывал воротничок рубашки, той самой, в которой он ходил в театр.

У него были широкие плечи и осанка уверенного в себе человека. Это был тот мужик, который брал пороги, видел смерть в лицо и ничего не боялся! Самый красивый, самый мужественный, самый обаятельный мужик на свете. И он улыбался ей.

Он махнул рукой, чтобы Валерия шла в вагон. И она пошла.

Но, когда выглянула из окна, чтобы помахать напоследок, увидела, что он вместе с охранниками суетится возле лотка с мягкими игрушками. И вдруг какой-то большой продолговатый пакет поплыл над головами прямо в руки изумленной проводницы.

Валерия поспешила к выходу. В руках строгой проводницы оказался огромный бежевый пес в полиэтиленовом пакете.

— Это еще зачем? Как я потащу? — дернулась Валерия, но проводница сказала ей строго:

— Ну что уж вы так? Для вас же старается!

И тогда, посмотрев на удаляющиеся фигуры, она крикнула:

— Аврор!

Три фигуры обернулись одновременно.

— Спасибо! Спасибо тебе! — и помахала в воздухе полиэтиленовым пакетом. — За все спасибо!

Поезд тронулся.

Лицо еще мелькнуло... «Телохранитель», указывая на нее, махнул рукой... И всё.

Она прошла и села на свое место, прижимая к себе свалившегося к ней почти с неба плотного вислоухого пса. И сидела так долго, долго, очень долго...

А мимо пронеслись полустанки, гукали встречные поезда, о чем-то тихо переговаривались пассажиры. Ее же душа находилась где-то далеко, совсем в другом месте...

*А где-то там снега или дожди косые,
Пронесутся такси, над городом звеня,
А милый мой живет на станции «Россия»,
А я живу при нем, на станции «Земля».
Меж нами — города, огни и расстоянья,
И уханье в ночи гудящих поездов...
Но я к нему примчусь по линии «свиданье»
В вагоне голубом из лучезарных снов.
Я глупые слова промолвлю втихомолку,
О, если это сон, то самый лучший сон!
Качает над землей меня вторая полка,
И мчит меня вперед тринадцатый вагон!*

Когда на следующий день в Питере, усаживаясь на свой местный поезд, Валерия пробиравалась по проходу, то услышала за спиной:

— Вот как домой возвращаться надо! С игрушками, с цветами!

— И только так! — улыбнулась она, прижимая к себе розу и улыбающегося вислоухого пса.

□

Наталья ЛАВРЕЦОВА —

прозаик, поэт.

*Родилась и выросла в Карелии, в городе Петрозаводске.
Окончила Ленинградскую лесотехническую академию им. Кирова,
работала «ученым лесоводом»*

в Пушкинском государственном заповеднике «Михайловское».

В 1997 году окончила Высшие Литературные курсы.

*Печаталась в журналах «Север», «Carelia», «Двина»,
«Наш современник», «Слово», «Согласие», «Мир женщины»,
«Доля», «Бийский вестник» и др.*

Автор более десятка книг.

*Лауреат премии карельского писателя Бориса Кравченко,
Международной Пушкинской премии (Нью-Йорк),
премии администрации Псковской области (2010 г.),
премии «Журнальный вариант» (Симферополь, 2015 г.) и др.*

Член Союза писателей России.

В настоящее время живет в Пскове (д. Савкино).



Леонид
ПАЩЕНКО



«Куда нам идти за печалью?..»

БАЛЛАДА О БАЛЛАДЕ

Немолод очень лад баллад...
В. Маяковский

Давай обойдемся без предисловий —
разве в условном названии точность?
Взахлебная исповедь в духе Вийона,
готический страх с привиденьем и прочими?
Еще башмаками гремящее слово,
еще телеграмму сорвавшая почта...
А главное — чтобы еще раз и снова
проверить наш мир
на надежность и прочность.

Я знаю баллады, когда молодеют
и ночь над Невой, и рассвет над Севильей;
я знаю баллады, когда безраздельно
владеют тобой соколиные крылья;
метелью шумят голубиные крылья
и воздух истерзан, измучен, источен...
И кажется, вроде мы снова забыли
проверить наш мир
на надежность и прочность?

Леонид Никитич ПАЩЕНКО (1936–1996).

Окончил Ташкентский педагогический институт (1959).

Работал в периодической печати Узбекистана.

*В начале 60-х переехал в Душанбе,
где заведовал поэзией в журнале «Звезда Востока»*

*и в течение 30 лет работал
в литературно-художественном журнале «Памир»:
ответственным секретарем,
заместителем главного редактора,
главным редактором.*

*После гражданской войны в Таджикистане
переехал во Владимир.*

Первая книга стихов вышла во Франции.

Автор поэтических сборников:

«Страна синей птицы» (1971),

«Площадь Путевского» (1978),

«Простые слова» (1983),

«Стихотворения. Поэмы» (1988).

*Член Союза писателей СССР с 1973 года
(впоследствии — член Союза писателей России).*

Проверить — а может быть, просто поверить —
ведь мир не кончается с нашей тоскою.
Такое простое: раскрытые двери,
заветные дебри, сокрытые корни.
Не нужно считаться: который здесь первый —
уже алгоритм оценен и отсрочен.
Быть может, рискнем, невзирая на скверну,
проверить наш мир
на надежность и прочность?

Родная! Когда бы не час полуночный,
не сон твой, такой беспокойный и тихий —
ввязался бы разве в балладную лихость —
наш мир проверять
на надежность и прочность...

ЧАЙКИ В СТЕПИ

Не приснится такое, хоть сутки проспй —
Мы увидели чаек сегодня в степи.

Шумом машин не смущаясь нимало,
Три чайки кричали над Южным каналом,

Кого-то звали, друг другу вторя,
Быть может, с Аральского синего моря,

Может, только с Фархада, может, только с реки,
Посмотри, полюбуйся, подумай, прикинь,

Сколько рек позади и морей позади!
Чайки, как люди, ходят дорогой воды
И дорогою неба.

* * *

*Сотни лет мы шли навстречу вьюгам
С юга в даль — на северо-восток.*

М. Волошин

А ныне уходим на юго-восток
в иные наречья,
в иные обычаи,
быть может, что даже в иные обличья —
несмешанных красок прозреть холодок.
Быть может, сквозь сердце пробьется росток,
как пробивает саманную крышу;
и бьется в висок облетевшею вишнею
речки подледный исток.

Уходим, уходим. Куда уходить?
Под зной или ветер? Не спрядена нить
и даже кольца не сковали...
Златая печаль и златая печать,
холмы золотые, как стражи, стоят.
Куда нам идти за печалью?

ПЛАЧ ПО РЕКЕ КОРНИ

Храмы рубленные топором
стены ставленные без раствора
коромысло
кривизной простое
и свод увенчанный
божественным соском

нас бесят
допотопным мастерством
и потому обидно недоступным
ведь скобы запятых
известки струпя

не монолит
скорей
набор опор

с того я и стремлюсь
к свободному стиху
чтобы понять
что на сердце у слова
где любопытству исполать
греху
в дни потрясений
обнуляться снова
опять искать былую простоту
и вновь изобретать уток основу

ЧТОБЫ

я побываю везде
где только люди живут
чтоб тебе о них рассказать

я город построю
какой никогда не придумать
чтоб ты в нем жила

и сад посажу
самый тенистый

сто миров подарю
чтоб позволила
в свой заглянуть
только краешком глаза

Карл СУММАНЕН,
Наталья ЛАЙДИНЕН

г. Москва



Имя замечательного поэта, автора более двадцати поэтических сборников (на русском и финском языках), переводчика, литературного критика, заслуженного работника культуры КАССР и РСФСР, лауреата государственной премии Комсомола Карелии и премии имени Архиппы Перттунена, члена Союза писателей СССР Тайсто Карловича Сумманена серебряной вязью вписано в сокровищницу финской и русской классики.

Благодаря вдохновенным усилиям поэта карельская природа, человеческие чувства и переживания, ускользающие мгновения эпохи оказались навсегда запечатленными на полотнах его лирики. Финские читатели открыли для себя в переводах Сумманена лучшие произведения великой русской поэзии – от Александра Блока до Владимира Высоцкого, а россияне смогли больше узнать о финской литературе. Кроме того, огромная заслуга Т.К. Сумманена заключается в том, что он перевел на русский язык и сделал доступными для русскоязычных читателей произведения писателей, живущих в Карелии и пишущих на финском языке, в том числе романы и повести Николая Яккола, Антти Тимонена, Пекки Пертту, Ульяса Викстрема...

Исследователи и почитатели восхищаются мелодичными, многозвучными стихотворения-

ми, самобытным образным миром, удивительной простотой и философичностью его творчества. Однако о личности и непростой судьбе поэта, сложного и необычного человека, современникам известно не слишком много. Постепенно уходят те, кто был близок с художником слова, дружил и встречался с ним, а для новых поколений писателей и читателей Тайсто Сумманен – лишь абстрактный голос из другого далекого времени, непонятного исчезнувшего мира, знакомое имя на потертом корешке книги.

Кто может правдивее и душевнее рассказать о человеческих качествах поэта, как не единственный любимый сын, продолжатель рода! Карл Тайстович Сумманен избрал для себя в жизни совсем иную стезю: выпускник Московского физико-технического института, ученый, работавший в разных странах мира, сегодня является вице-президентом одного из российских банков, живет в столице России. Его судьба как будто движется по другой орбите, на высоких скоростях, но об истоках, родных корнях, отцовском вдохновении забыть невозможно. Карл Тайстович согласился поделиться воспоминаниями об отце как о человеке (анализ творчества, на его взгляд, – удел критиков, филологов и читателей), у нас состоялась проникновенная и очень эмоциональная беседа.

– Карл Тайстович, что вы знаете о семейной истории вашего отца?

– К сожалению, в этой части известно немного. Однажды папа нарисовал подробное генеалогическое древо, но эта фамильная реликвия, к сожалению, оказалась утраченной при переездах.

После того как в Россию из Финляндии эмигрировал мой дед, тезка – Карл Тайстович Сумманен, семейная история в некотором роде прервалась. Знаю, что в Финляндии оставались родственники, папа с ними время от времени поддерживал связь, однажды они даже приезжали в Петрозаводск, но так получилось, что я с ними ни разу не встречался. Дед был революционером, активистом финской коммунистической партии, участвовал в политической жизни страны. В период, когда в Финляндии начались репрессии, последовавшие после поражения финской революции 1918 года, его арестовали, он шесть лет отсидел в тюрьме. В результате обмена заключенными Карла Тайстовича в числе других финских революционеров привезли в Россию, он учился в Петербурге в Коммунистическом университете нацменьшинств Северо-Запада, затем переехал в Карелию, преподавал историю в Петрозаводске.

Моя бабушка – Екатерина (по-фински – Катри) Ивановна Ихалайнен – родом из Ингерманландии, она работала уборщицей там, где учился дед, так они и познакомились. В семье существует предание, что до революции Екатерина Ивановна была прислугой при дворе российской императорской семьи, общалась с последней российской царицей Александрой Федоровной. Она вспоминала, что царственная особа немало внимания уделяла беседам с простой челядью, прислугой, рабочими, находилась в курсе всех проблем, помогала добрым словом, деньгами, участвовала в их жизни.

Бабушка (я называл ее «муммо») оказала большое влияние на процесс формирования моей личности, фактически вырастила меня, поскольку в детстве я с ней проводил много времени – мама и папа работали. В Петрозаводске Екатерина Ивановна жила на улице Анохина в двухэтажном домике, в коммунальной квартире комнат на десять-пятнадцать. Как сейчас помню длинный темный коридор, кухню, один большой открытый туалет – на всех, печки в комнатах... У бабушки проживало огромное количество кошек, то ли 17, то ли 47, почему-то запомнились эти два числа, на диван сесть было невозможно, они лежали повсюду! Комнату отапливали дровами, я очень любил огонь и запах дыма, это одно из самых теплых воспоминаний детства.

Бабушка разговаривала со мной только по-финс-

ки, именно этот язык стал моим первым, лет до четырех-пяти я по-русски почти не говорил, даже мама меня частенько не понимала. Так что мой финский язык – от бабушки и, конечно, от папы, которого я всю жизнь называл по-фински «ися».

– Отец вам что-то рассказывал о своих детских годах?

– Папа никогда не был домашним ребенком, вырос фактически на улице, на петрозаводской речке Неглинке, много времени проводил в лесу и на природе. Однажды чуть не утонул – чудом в последнюю минуту бабушка его вытащила. Войну встретил десятилетним мальчишкой. Однажды снаряд упал рядом с домом, где они жили, ударной волной Тайсто сбросило с кровати, – он часто рассказывал об этом. В память отца на всю жизнь врезалось воспоминание об эвакуации на баржах из Петрозаводска, под сильной бомбежкой. Война не случайно стала одной из важных тем в его творчестве.

– В Карелии у Тайсто Сумманена были любимые места?

– Отец любил Карелию, глубоко чувствовал ее природу. Очень часто с теплотой вспоминал Олонец, «не город, а солнечный края венец» – он некоторое время там жил, наверно, это были счастливые годы. Каждый раз по пути в санаторий «Таруниemi» (в переводе с финского – «Сказочный мыс»), расположенный на побережье Ладожского озера к югу от города Сортавала, несмотря на тяжелую дорогу, он просил водителя «Волги», которую нам выделял Союз писателей, заехать туда – очень любил олонечье края. Говорил почему-то, что в Олонце необыкновенно красивые девушки. Как любой талантливый творческий человек, отец был очень влюбчивым.

– Как отец познакомился с мамой?

– Судя по фотографиям, их роман развивался в студенческой компании. Отец учился в университете, мама, Валерия Степановна Мезенцева, после окончания вуза в Ленинграде только начинала работать в пединституте... Где-то на молодежной вечеринке и познакомились, потом поженились, поселились на Перевалке. Несмотря на то что я прожил там чуть больше года – с 1959 по 1961г., прекрасно помню тот дом, даже хочу его отыскать, хотя, скорее всего, его уже снесли. Среди воспоминаний – деревянная лестница со второго этажа, я спускаюсь, а в солнечном квадрате под окном на полу сидит большой черный кот, я тогда очень его испугался.

– *А какие воспоминания из детства об отце сохранились?*

– Они всплывают в памяти как яркие картинки, часто бессвязные, – таково детское восприятие. Помню высокую черную шапку папы, похожую на папаху, которую он носил зимой, и его черное пальто. Когда он возвращался с работы, на нем таяли снежинки, пахло свежестью и морозцем...

Мы с папой часто ходили вместе гулять, всегда вечером, в темноте. Меня тепло одевали, все-таки в Карелии зимой бывает очень морозно. Вдоль улицы раскачивались на ветру желтые фонари. Мы много ходили пешком, а еще папа возил меня на санках. В молодости он, кстати, был очень спортивным человеком, бегал на лыжах. Помню, кругом были огромные сугробы, я лежал на спине, мечтательно глядел в небо, а папа тащил санки. О чем-то все время беседовали: о детском, о серьезном.

Ребенком я вообще-то был непростым, всегда стремился делать то, что хотел, а не то, что от меня ожидали. Любил огонь, разводил костры, порой даже дома на кухне или в ванной. Экспериментировал со всем, что горит и взрывается. Любил воду, это служило постоянным источником проблем. Как только попадалась лужа, я обязательно влезал на ее середину и радостно топал ногами – пришлось мне купить непромокаемый комбинезон, похожий на костюм водолаза. Постоянно приходил домой грязный и промокший. Мама переживала, сердилась, она была сторонницей чистоты и классических подходов к воспитанию детей, а папа никогда не делал замечаний, относился к моим страстям философски, старался договариваться и не гневаться по мелочам. Он считал, что ребенку нужно позволять все, что не несет прямой угрозы его жизни и здоровью. Думаю, по своему складу я больше пошел в папу.

– *Отец прививал вам любовь к чтению, книгам? Занимался с вами?*

– Я довольно рано научился читать – годика в четыре, стал сразу «глотать» книги в огромных количествах. Причем какое-то время одновременно на русском и на финском. Просто брал пример с папы, который много читал – на разные темы. Он был человеком очень широких интересов, сочетая в себе качества интеллектуала и эрудита, обладал превосходной памятью, глубокими знаниями в разных сферах. Из поэтов особенно ценил Владимира Морозова и Владимира

Маяковского. Всегда интересовался древней и современной историей, достаточно скептически относился к советской реальности, никогда не брал на веру поступающую из СМИ информацию, стремился к объективности оценок. Вообще, у него сформировался очень взвешенный подход к жизни, не было только «черной» и «белой» сторон. Это отношение к окружающему миру он передал и мне.

Папа всегда интересовался математикой. Когда я учился в заочной физико-технической школе при Московском физтехе, он вместе со мной, а иногда и вместо меня, решал зубодробительные задачи, например по стереометрии. Это была активная помощь с элементами принуждения – иногда мне больше хотелось погулять, чем заниматься. В отце удивительным образом сочетались большая интеллектуальная мощь и отличное пространственное мышление. Тайсто говорил, что если бы он не был поэтом, стал бы математиком!

Отец никогда не давил на мой выбор жизненного пути, а когда я определился, всегда меня поддерживал, помогал. Кстати, поступать именно в Московский физико-технический институт – это совет родителей после того, как я где-то в шестом классе окончательно решил, что хочу заниматься физикой и математикой. Они провели исследование вузов и посоветовали именно этот, помогли поступить в заочную школу для подготовки к экзаменам в институт, за что я им до сих пор благодарен, это был правильный выбор.

Папа также учил делать мелкие бытовые дела по дому, так что и все мои сегодняшние мастерские навыки – от него.

– *Какие главные человеческие качества вы выделили в отце?*

– Мудрость, доброта, прямота. И очень специфический юмор, с иронией, с «перчинкой», иногда близкий к «черному», иногда – к «оскар-уайльдскому». Он был оптимистом, но хорошо информированным, любил посмеяться над собой и окружающей действительностью. Порой шутки получались достаточно язвительными. С удовольствием смотрел по телевизору юмористические передачи с участием Александра Иванова, Михаила Жванецкого.

При всем этом папа был деликатный, отзывчивый и внимательный человек, я с ним делился своими проблемами, он мне мягко подсказывал, как себя вести, но никогда не давил.

– У Тайсто Сумманена был открытый дом?

– Гости навещались постоянно, каждый вечер, иногда по несколько человек. Приезжали к нам и из Финляндии. Среди близких друзей папы – Николай Яккола, который заглядывал почти ежедневно, они с отцом сидели на кухне, пили чай, и не только, говорили обо всем – о политике, о жизни. Папа очень переживал потом по поводу его смерти. Часто заходили Олег Мишин, Иван Костин, Антти Тимонен, практически все тогдашние карельские писатели – и маститые, и молодые. При всей внутренней сложности папа был очень открыт и доступен, много времени посвящал работе с начинающими поэтами, тщательно разбирал их стихи, порой помогал найти нужные слова, подсказывал целые строфы... Всегда был готов делиться опытом, делал это деликатно, по-доброму.

Я в возрасте пяти-шести лет тоже начал писать стихи. Папа подбадривал, давал возможность раскрыться. Считал, что ребенку важно попробовать свободно творить, не загонять его сразу в какой-то писательский канон. Но однажды один из наших гостей, литературный критик, провел жесткий анализ моего творчества «по-взрослому», помню, что я очень расстроился и даже обиделся. Может быть, из-за этого у меня потом пропало желание быть поэтом. Очень легко излишней требовательностью задавить, убить в ребенке искорку творчества. Папа никогда не позволял себе резкости в оценках произведений молодых авторов. Когда я перестал писать, он не пытался вернуть меня обратно к творчеству: раз душа не просит – так тому и быть, принуждать бесполезно.

– Когда вы осознали, что ваш отец – большой поэт?

– Думаю, до конца еще так и не осознал. Много нужно понять, переосмыслить. Мечтаю перечитать на финском все произведения Тайсто Сумманена, теперь уже, видимо, на пенсии.

Помню, что время от времени его посещало вдохновение – это был спонтанный процесс, который мог произойти в любом месте, в любое время – за столом, на прогулке. Иногда я замечал, что он начинал тихо проговаривать на финском какие-то строки, видимо создавал в голове стихотворение, проверял, как оно звучит. Отец переживал внутреннее озарение, а потом тщательно работал, выверяя строфы, шлифуя, доводя до совершенства. Его вдохновляли и внутрен-

ние переживания, и внешние события. Иногда он экспериментировал с формой, как при написании «Скалы двух лебедей»: это произведение эпическое, во многом навеянное «Калевалой».

Надо отметить, что поэтом папа себя почувствовал не сразу: по первому образованию в Петрозаводском кооперативном техникуме он бухгалтер. Даже отработал год по этой специальности. Потом понял, что бухгалтерские проводки – это не его дело жизни, ушел в литературу, поступил на финно-угорское отделение филологического факультета Петрозаводского государственного университета. Так что писать стихи, переводить, заниматься литературным консультированием и критикой стал уже сложившимся человеком.

Всегда осознавал свою миссию: работать для людей. Папа не из тех, кто всю жизнь абстрактно творил бы в стол, исключительно для литературного самоутверждения. Ему важно было создавать стихи и знать, что люди их читают и понимают. К счастью, при жизни произведения Тайсто Сумманена достаточно широко публиковались.

– Тайсто Сумманен – прежде всего лирик, очень тонкий поэт. У него не было конфликта с окружающей реальностью?

– Папа всегда жил в двух мирах, причем в нашем «бытовом» – меньше, чем в мире поэзии. От многих материальных тем он был совершенно отстранен. Наступавшая болезнь только усилила этот отрыв. Душа отца находилась в пространстве природы, человеческих взаимоотношений, чувств – того, о чем люди обычно глубоко не задумываются. В наше время «эффективных менеджеров» такой взгляд на жизнь некоторые даже считают слабостью.

При этом мечтателем в духе Манилова Тайсто Сумманен никогда не был, проявлялся как вполне практичный человек, решения принимал спокойно и взвешенно. Идею Бога подвергал такому же скептическому анализу, как и советскую пропаганду. Не считал себя ни атеистом, ни верующим: полагал, скорее, что есть некая граница познания, за которую перейти невозможно. При этом, после того как я в седьмом или восьмом классе прочел «Забавную Библию» Лео Таксила, мы поговорили об этой книге и подходе автора. Папа тогда сказал, что так нельзя ни в коем случае поступать, даже будучи атеистом, – внедряться, входить в доверие, а потом бить в спину. Для него очень важна была порядочность в любых отношениях.

Большую часть времени Сумманен находился в процессе литературной работы – днем и ночью. Конечно, случались перерывы, порой мы вместе смотрели фильмы по телевизору, но это не мешало ему параллельно размышлять на другие темы. Было видно, что он смотрит на экран, но думает о чем-то другом. Конфликта с реальностью у него не было, его миры вполне гармонично сочетались. В человеческом плане отец жил по библейскому принципу «не суди и не судим будешь». Но вот такое его качество как бескомпромиссность, прямота в ситуациях совершения несправедливых действий порой создавало проблемы. Папа не боялся высказывать правду в глаза, называть вещи своими именами, не молчал, если видел несправедливость или непорядочность.

Когда в Афганистан ввели советские войска, отец сразу сказал, что это ошибка. После выхода нового перевода «Калевалы» на русский язык у нас дома происходили ежедневные многочасовые обсуждения между папой и его коллегами. Тайсто Сумманен достаточно резко выражал свое отношение к некоторым «находкам» и подходам переводчиков. Иногда из-за его принципиальной позиции по литературным вопросам возникали дискуссии и в Союзе писателей Карелии. Свою точку зрения на перевод эпоса «Калевала» папа изложил в статье «Что такое «максимально живой?», вошедшей в сборник «Художественный перевод: проблемы и суждения», изданный в 1986 году московским издательством «Известия».

С КГБ у папы сложились весьма натянутые отношения. Домашний телефон прослушивался. Поскольку аппаратура тогда не отличалась высоким качеством, иногда можно было различить странные звуки типа перемотки пленки. Папа особенно по этому поводу не переживал, относился к наблюдателям с иронией, иногда повторял некоторые фразы и комментарии специально «для товарища майора». Разрешения на выезд в Финляндию ему много лет не давали, хотя папа очень хотел там побывать. Он чувствовал себя одновременно и советским гражданином, и финном. Как циничное издевательство, разрешение пришло, когда отец уже пересел в инвалидное кресло и поехать куда не мог. Кстати, я думаю, что такие отказы – полная глупость. Тайсто Сумманен никогда бы не остался на Западе, родиной он считал Советский Союз, каким бы несовершенно он ни был.

Кстати, после распада СССР (папа к этому моменту уже умер) к маме приходил в гости бывший сотрудник КГБ, который нас «курировал» в советское время, сменивший к тому времени работу, – познакомиться лично, попить чаю.

– Как отец переживал болезнь?

– Если не ошибаюсь, ее начало связано с одной из командировок, возможно на Беломорканал, когда папа сильно переохладился и заболел гриппом. Болезнь папа перенес на ногах, не лечился, что привело к осложнениям в виде полиартрита. Это произошло, когда я был совсем маленьким, поэтому, сколько себя помню, папа все время болел. Год от года происходило постепенное ухудшение: сначала он передвигался самостоятельно, но прихрамывал, потом ходил с палочкой, на костылях, наконец уже не мог выходить на улицу... Нам пришлось переехать с пятого этажа на первый, чтобы отцу было проще спускаться. Где-то году в 1974-м папа пересел в инвалидное кресло. Было очень тяжело и ему, и маме, которая продолжала работать и ухаживала за Тайсто.

Я тоже старался помогать, мы часто семьей ездили в санаторий «Таруниemi» под Сортавалой. Иногда мы с папой оставались там вдвоем, давали маме отдохнуть. Отец делал все, что в его силах, чтобы быть максимально независимым, не перекладывать свою боль на других, держался всегда очень достойно и мужественно. Какой ценой это давалось – другой вопрос. Далеко не всегда люди выдерживают такое тяжелое испытание. Мои родители – выдержали, до конца сохранив взаимную поддержку, понимание и любовь.

После того как папа ушел, мама так и не смогла это принять. Она постоянно перечитывала стихи Тайсто Сумманена, занималась разбором архивов, готовила к печати сборники, это на протяжении многих лет давало ей силы. Но смириться со смертью мужа, начать новую страницу жизни она так и не сумела... Была предана отцу до конца.

Беседовала Наталья ЛАЙДИНЕН

При оформлении использована картина Валентина Чекмасова

Фото из семейного архива Карла Сумманена



Отец. 1959 г.



Мама. 1959 г.



*Карл.
Детство*



Карл. Наши дни

Тайсто СУММАНЕН

«МОЖНО СЛУШАТЬ ОЗЕРНУЮ ПЕСНЮ ЧАСАМИ...»

О ЧЕМ ПОЮТ ОНЕЖСКИЕ ВОЛНЫ

Не случалось тебе летним вечером росным
Слушать тихую песню онежской волны?
Песне шепотом вторят и ели, и сосны,
Что стоят у воды, молчаливы, темны.
Сколько разных оттенков, обрывков мелодий
Эта песня сумела и слить и сберечь!
Научился ли ты, растворяясь в природе,
Чутким сердцем такую улавливать речь?
Приходилось тебе посредине залива,
Переставши грести, услышать за бортом,
Как с весла обрывается капля пугливо
И, о воду ударясь, звенит серебром?
Как бормочет волна, наплывая из мрака,
Как она, белоснежную пену клубя,
Вносит в чуткую душу покой
И, однако,
Растревожит и чем-то взволнует тебя.
Можно слушать озерную песню часами,
И в душе начинается все лучшее жить.
И о чем-то большом мы хотели б и сами
Величавую, чистую песню сложить.
И виденья,
Закутавшись в пенные клочья,
Перед вами встанут из прозрачной струи.
В такт живому дыханию дремлющей ночи
Ткет бессонная память картины свои.
Вы прислушайтесь к пению волн-северянок –
Эта песня захватит стремительно вас,
Словно старец-певец о неведомых странах
Поведеет необычный и чудный рассказ.
Он расскажет о том,
Чем и сами вы полны,
Струны кантеле тронет, задумчив и тих...
Так поют голубые онежские волны.
Вы придите сюда и послушайте их.

Перевод с финского Марата Тарасова

ОСЕНЬ

Осень бывает неукротимой, неистовой,
ветром освистанной...
И, ничего не щадя,
она срывает с деревьев красные листья
и разбрасывает,
швыряя под ноги дождя,
такого тысяченогого,
такого осеннего,
что нет от него ни укрытия,
ни спасения.

Осень бывает и грустная,
и тихая-тихая,
бывает прозрачна, призрачна и легка...
И лист отрывается,
желтым фонариком вспыхивает
и успокаивается
на зеркале озера.

Стаи ночей морозных скликает осень,
зябкие туманы
сгоняет к реке.
Холодно,
но в полях зеленеет озимь –
тоненькая
на трогательном стебельке.
Хрупкая,
она не боится ветра.
Как бы вьюги снежные ни мели,
она поднимается, ласковая и щедрая,
будущая весна,
из глубин земли.

Перевод с финского Булата Окуджавы

ДОЛГ

По вечерам, не засыпая долго,
Открыв глаза, я вновь гляжу во тьму.
Мне кажется, что я не отдал долга.
Но что же я не отдал?
И кому?
А годы подымались, как ступени,
И я, казалось, сделал все, что смог.
Но все равно невидимую тенью
За мной идет мой неоплатный долг.
Наверно, и в последний вечер даже,
Сквозь грозный удаляющийся гул
Последней мысль ко мне придет все та же:
«А долг-то свой я так и не вернул».

Перевод с финского Льва Левинсона

* * *

*То ли грубой силой, то ль обманом
два влюбленных сердца разлучили,
разделили морем-океаном
и на разных землях схоронили.*

*И свершилось чудо на планете:
движимые притяженьем странным,
с мест своих сошли две части света
и поплыли вдруг по океанам.*

*Думали ученые, мудрили,
но живет издревле песнь-легенда,
лишь ее певцу известно было,
почему сошлись два континента.*

Авторский перевод с финского

ДЕРЕВО ПЕСЕН

*Растет на суровой карельской земле
дерево песен.
Корнями упругими – в звонкой скале,
главой – в поднебесье.
Пытались и стужей, и зноем сломить, –
не покорилося.
Хотели его топором погубить,
да сталь затупилась.*

*Ни натиску бурь, ни ветрам грозовым
не уступает,
и долгие зимы безмолвьем своим
его не пугают.*

*Но только весенним теплом дохнет –
вновь вострепнется
и пламенем песен до синих высот,
ликуя, взметнется.*

*Из этой карельской земли вековой
все его соки.
В них сила его, и упорство его,
и песен истоки.*

*За тучи пробьется вершиной своей
и там, в поднебесье,
дотянется к солнцу руками ветвей
дерево песен.*

Перевод с финского Олега Мишина

АВГУСТ

*В августе, когда порой ночью
небеса становятся темней,
все мои заботы, все земное
и понятней, и дороже мне.*

*Медленней и плавней чувств течение,
явственнее запахи цветов.
И уже отчетливей свечение
ранних зорь под кромкою лесов.*

*Женский смех доносится до слуха,
гаснет искрой в тлеющем костре,
и листва, пришептывая глухо,
об осенней говорит поре.*

*Песня птиц задумчивей и строже,
грусть и радость породнились в ней.
Все земное в августе дороже,
многое яснее и видней.*

Перевод с финского Марата Тарасова

* * *

*Как догорающий костер,
в снегах закат багряный пышет,
зеленый лапчатый узор
в еловой чаще наспех вышит.*

*Но руки слабые берез
сквозь ледяной
бесстрастный ветер,
сквозь синий крепнувший мороз
к светилу тянутся навстречу.*

*Но слишком рано, потерпи
и сил до времени не пробуй.
Еще метель метет в степи,
черны и пламенны сугробы.*

*И все же там, в далекой мгле,
на той, еще невидной грани
возникло что-то на земле,
хоть нет пока ему названья.*

Перевод с финского Татьяны Стрешневой



**Александр
ЮДИН**

г. Москва

рассказ

Начальник отдела дознания окинул подчиненных тяжёлым взглядом.

— Где конкретные результаты, спрашиваю?

Манеев растерянно посмотрел на товарища — старшего оперуполномоченного Гринько. Тот пожал плечами и придвинул шефу стопку листов.

— Так вот же, вот же, Демьян Василич...

— Что «вот же-вот же»? — передразнил его шеф, прихлопнув листы начальственной дланью.

— Список подозреваемых, — уточнил старший опер Гринько.

— Из сорока семи фамилий?! — рявкнул начальник. — Из них пять депутатов, два членкора РАН, семеро — руководящие сотрудники министерств и ведомств, один член Общественной палаты и ещё чёртова дюжина других... уважаемых людей! Что прикажешь делать с этим твоим списком?

— Ну, мы сейчас пытаемся его как-то сузить, — вновь пожал плечами старший опер.

— Они пытаются! — возмутился начальник. — И сколько вы еще намерены пытаться? Ты понимаешь, что дело на контроле в Генеральной? Ведь похищена не какая-то ювелирная финтифлюшка, пускай бы и дорогая. Украл колье, которое император Александр II подарил своей фаворитке, этой... как её?

— Ванде Карощи, — подсказал Гринько.

— Вот именно, — кивнул шеф. — А какой нынче год, тебе известно? Год четырехсотлетия династии Романовых! Считаю, государ-

ственную реликвию, почти святыню «свистнули». Пускай и из частной коллекции, но всё одно. А ну как колье за рубежом всплывёт? Это ж национальный позор! И соответствующие кадровые решения. И вообще, это уже пятый случай кражи антикварных драгоценностей за последние полгода. И все — на нашей территории!

— Четыре из них нами раскрыты, — встрял Манеев.

Гринько ткнул его в бок локтем, но Демьян Васильевич уже перевел на Манеева налитые кровью глаза.

— Вами?! Молчал бы лучше... А где, между прочим, похищенное по тем делам имущество?

— Брюлики, думаю, тютю, — вступился за младшего товарища Гринько. — Вы ж знаете, Демьян Василич, несмотря на неопровержимость улик, все «злодеи» в полном «отказе». Один, правда, на следствии вину признавал, но в суде, как водится, заявил, что первоначальные показания даны под давлением...

— Ладно, — перебил его начальник, — делать нечего. Ступайте опять на поклон к своей ясновидящей. Только вот что. — Демьян Васильевич помолчал и добавил, значительно чеканя слова: — Об экстрасенсе этом — молчок. Чтоб никому! Даже следователю. Методы нашей работы должны сохраняться в строжайшей тайне. Согласно закону «Об оперативно-розыскной деятельности». Всё понятно?

— Так точно! — хором ответили оба опера.

* * *

— Вот это-то знаменитое «колье Кароцци» и было месяц назад похищено из квартиры известного коллекционера Ивана Карловича Зябликова-Крузенберга. Главное, обидно: ведь только-только мы с вашей помощью повязали того злодея, что медальон Людовика XVIII «тяпнул» — и снова-здорово. Просто напасть какая-то на наши головы, — рассказывал Гринько, попивая вместе с Манеевым травяной чай в офисе Наины Гималайской — парapsихолога и экстрасенса.

Стены офиса густо покрывали дипломы и сертификаты; в центре, на почетном месте, висел кубок победителя «Битвы экстрасенсов».

— То есть без вас, Наина, никак и никуда! — подхватил Манеев. — Пропадаем буквальным образом. Спасайте!

Наина, миниатюрная, весьма привлекательная брюнетка лет тридцати, сочувственно кивнула и спросила:

— А что же сам Иван Карлович? Наверняка он кого-нибудь подозревает.

— В том и штука! — воскликнул Манеев почти радостно. — Грохнули нашего «терпилу»!

Женщина вздёрнула брови.

— Подожди ты, — недовольно оборвал Манеева старший опер и, обращаясь к Наине, пояснил: — Николай хотел сказать, что прежде чем завладеть ожерельем, похититель расправился с потерпевшим. Летальным, так сказать, образом.

— Как... он это сделал? — тихо уточнила Наина.

— Отравил. Капнул ему в чай батрахотоксина. Между прочим, редкий, экзотический даже яд. Добывается из кожных желез малюсенькой древесной лягушки, обитающей в Колумбии. При попадании в организм — гарантированная смерть в результате остановки дыхания. Вот так вот. Но отсюда вывод: преступление, скорее всего, совершено знакомым потерпевшего. Вряд ли Иван Карлович стал бы пить чай на кухне с незнакомцем. Однако вся проблема в том, что покойный имел о-очень широкий круг общения. Мы, понятное дело, сразу исклyчили тех лиц, у которых на день убийства алиби. Но всё равно набралось сорок семь человек. И люди-то все, как назло, на-

чальственные да авторитетные — просто так, без достаточных на то оснований, не тронешь! Так вот, я к тому веду, что... может, посмотрите, Наина, а? В смысле, на фотографии потенциальных подозреваемых. Очень хотелось бы заранее знать, который из них злодей. Я понимаю, мы вам порядком поднадоели со своими просьбами. Время опять же отнимаем. А оно у вас — деньги. Но...

— Не стоит оправдываться, — грустно улыбнулась женщина. — Разумеется, посмотрю. Это мой гражданский долг. И запомните: не всё в этом мире измеряется деньгами. Поверьте экстрасенсу.

— Вот бы и остальные граждане этак рассуждали! — восхищенно заметил Манеев.

— Фотографии у вас с собой? — спросила Наина.

— А как же, — подтвердил Гринько, веером раскладывая на столе перед Наиной сорок семь карточек.

Экстрасенс медленно провела над ними ладонью, потом закрыла глаза и, болезненно морщась, стала тереть центр лба указательным пальцем.

— Чего это она? — шёпотом спросил Манеев.

— Тихо ты, — также шёпотом ответил ему Гринько. — Третий глаз настраивает, не видишь, что ли?

По телу женщины прошла судорога. Она застонала:

— Я чувствую... враждебные эманации... Кто-то мешает мне... Некто могущественный...

Оперативники с беспокойством переглянулись.

Наина вздрогнула и резко ткнула в одну из фотографий.

— Этот, — выдохнула она с отвращением.

— Ага! Профессор Пухляков! — воскликнул Гринько и покачал головой. — Восьмой десяток, а туда же.

— Гнида старая, — согласился Манеев.

— Постойте, — подняла руку женщина. — Для полной уверенности мне надо видеть этого человека лично.

— Поехали! — решительно поднялся старший опер.

* * *

Пока Гринько с Манеевым отвлекали профессора Пухлякова разговорами, Наина с отсутствующим видом и вроде бы бесцельно бродила по его квартире; веки её были полужакрыты, казалось, она вот-вот уснёт. Но следящие за ней краем глаза оперативники знали — это состояние называется трансом. Вот она, чуть покачиваясь, остановилась у платяного шкафа, пошла дальше, вернулась и вдруг прижалась к шкафу всем телом.

— Что вы тут всё шарите? — заволновался Пухляков. — Зачем трогаеете мою мебель? На каком основании?

— Не обращайтесь внимания, — успокоил его Гринько, — это наш эксперт. Так надо. Значит, вы говорите, что в день убийства Зябликова-Крузенберга находились дома? А кто это может подтвердить?

— Подтвердить? — переспросил Пухляков, нервно потирая руки. — Я одинокий человек, живу здесь совсем один, у меня даже кота нет... Никто не может!

— Выходит, свидетелей того, что вы в тот день никуда из квартиры не отлучались, не имеется, — удовлетворенно кивнул старший опер, переглядываясь с Манеевым.

— А в чём, собственно, дело? — спросил Пухляков и вытер платком покрывшееся испариной лицо. — Уж не думаете ли вы, молодой человек, что это я... Меня вообще не интересуют ювелирные изделия этого периода! Я собираю исключительно «антику»...

— Там зло! — прервала их разговор Наина и с содроганием указала на шкаф.

— Зло? Где? Какое еще зло?! — вскочил профессор точно ужаленный. — Что за цирк?!

— Сидеть! — скомандовал старший опер. — Так, Манеев, дуй за понятиями, а я свяжусь со следователем, чтобы взял санкцию на обыск. Без санкции и понятых ничего трогать не будем.

* * *

В ходе обыска в шкафу, среди кип постельного белья, был найден пузырёк с неизвестной жидкостью. Впрочем, ни Манеев, ни Гринько не сомневались — экспертиза покажет, что в пу-

зырьке батрахотоксин. Флаконы с полезным содержимым в белье не прячут! Да и Наина Гималайская ещё никогда не ошибалась.

— Давайте я подвезу вас в офис, — предложил старший опер, когда всё закончилось.

— Спасибо, — согласилась Наина.

— Что вы, Наиночка, это мы вас должны благодарить! От лица российской полиции!

— Только отвезите меня сразу домой, — измученно улыбнулась женщина. — Сегодня я не работник.

В машине, уже на подъезде к дому, Наина вдруг ахнула и схватила Гринько за локоть.

— Что с вами? — забеспокоился тот, вглядываясь в её побледневшее лицо.

— Едва не забыла... Там, в квартире профессора, мне было видение.

— Видение? — насторожился опер. — Что за видение? О чём?

— Следующая серия грабежей будет связана с античным антиквариатом. И снова — трупы, трупы... — Наина со стоном закрыла лицо руками. — Ох, знали бы вы, какое это проклятие — прозревать будущее... Но эта информация важна для вас?

— Ещё бы! Чрезвычайно важна.

— Тогда я постараюсь помочь, — кивнула ясновидящая и обречённо вздохнула: — Я должна. Обязана! Это мой кармический долг перед Космосом.

— Наина, вы просто ангел! Святая! Что требуется от меня?

— Как и в прошлый раз, мне понадобится список всех крупных коллекционеров — для ментального сканирования. Только теперь тех, которые владеют собраниями античных ювелирных украшений.

— Будет сделано! — весело откликнулся Гринько.

Дома, выпроводив, наконец, старшего оперуполномоченного за дверь, Наина подошла к зеркалу. Неожиданно её миловидное лицо исказила язвительная усмешка.

— Идиоты, — пробормотала она, примеряя на шею бриллиантовое кольцо старинной работы, украшенное вензелем «В.К.». — Эзотерические идиоты!



рассказ

Борис Глебович Василисков по праву мог считать себя состоявшимся человеком. Нет, в самом деле, бизнес его колосился и поросился, дети обучались за рубежами Отечества в престижных заведениях и возвращаться не собирались, супруга и обе любовницы катались как сырные головки в сливочном масле его щедрот. Что ещё нужно мужчине, чтобы встретить старость?.. А последняя, увы, была не за горами. Шестьдесят лет — это не кот начихал. Рубежный возраст. По жизни Борис Глебович всегда был лидером. За эти годы он успел с выгодой поруководить плодотворной областью, а потом, обзаведясь первоначальным капиталом, создал собственный бизнес. Создал, возглавил и расширил.

Но шло время, и нужда лично держать руку на пульсе обширного бизнес-хозяйства отпала. Выпестованные им управленцы вполне справлялись с возложенными обязанностями, Василискову же оставалось распределять дивиденды по офшорам. Дело, в общем-то, приятное. То есть, казалось бы, живи и радуйся. Но Борис Глебович был натурой неугомонной, деятельной и к праздности не привык. А какими-либо побочными интересами он так и не обзавелся. Книжек Василисков отродясь не

читал, искусством, даже яйцами Фаберже, не интересовался, спорт ему стал уже не по возрасту. Короче говоря, он немного заскучал.

Видимо, поэтому Борис Глебович все чаще и чаще стал подумывать... о вечном. Не о душе, нет — о ней Василисков со свойственной ему предусмотрительностью загодя позаботился: на кровные средства отгрохал белобетонный храм свв. Бориса и Глеба в нефтеносном Ухрюпине, на малой родине; да и со здешним епископом, владыкой Нектарием, он был на короткой ноге. То есть достойное место в загробном мире Василисков себе обеспечил, это ясно.

А думы же Бориса Глебовича были о том, как бы ему увековечить факт своего существования тут, по месту пребывания, на грешной земле. Чтобы, значит, потомки, в том числе и самые отдаленные, помнили его славное имя. Помнили и чтили. Во веки веков. Из рода в род. Аминь.

На потомков от собственных, так сказать, чресл он не полагался. Внуки не то что деда, а и язык русский наверняка знать перестанут. Совершенно понятно. Надежды на многочисленных гастарбайтеров, что пыхтели на его предприятиях, также были слабы. Может, и

станут поминать, но недолго. И еще не факт, что добрым словом. Разве дождешься благодарности от людей, у которых за душой никакой стоящей недвижимости, ничего святого!..

«Вот умру, — грустно размышлял Василисков, — и тут же все позабудут, даже памяти никакой в веках не останется». «Я тебя, Боря, всегда помнить буду», — заверила его младшая наложница, девятнадцатилетняя Милена, примеряя перед зеркалом презентованное кольцо. «Так ведь и ты когда-нибудь помрешь», — резонно возразил Борис Глебович, хмуро следя за её вертлявым задом. Та обиженно надула губки, но с ответом так и не нашлась. Зато старшая пассия — Юлия, подала ему совет неожиданно дельный.

— Сходи-ка ты, Борис, к госпоже Зине, она может, — предложила Юлия, массируя ему как-то спину.

— Что еще за госпожа Зина? — удивился Василисков.

— Вот ты тёмный какой! Госпожа Зина — потомственная ворожея-целительница в триста третьем поколении, у нее прямая связь с космокармическими энергиями тонкого порядка. Она моей маме бородавку по фотографии свела.

— Ишь ты, — впечатлился Борис Глебович. — Ага, ага, вот тут, разомни хорошенечко, а то хрустит прям. — И, болезненно хрюкнув, добавил: — А что? Возьму и схожу.

— Сходи, Борис, сходи! Только на голодный желудок, на сытый она тебя не примет.

— Ишь ты, — еще более впечатлился Василисков. — Меня и не примет?

— Такой у неё порядок, — пожала плечами Юлия. — Госпожа Зина говорит, что сытый человек экранирует излучения Глубокого Космоса, и еще с чакрами у него что-то не то. А! К рукам липнут.

Сказано — сделано. На следующий же день Борис Глебович звонил в дверь, украшенную латунной табличкой: «Госпожа Зина Иванова-Феншуйская. Ворожея на доверии».

Целительница оказалась дамой чрезвычайно дородной, телом она напоминала гигантскую тыкву, а лицом — перезревшую, готовую вот-вот лопнуть грушу. Столь корпулентная фигура уже сама по себе внушала уважение.

Выслушав Василискова, госпожа Зина щелкнула выключателем, и все семь хрустальных ша-

ров на ее столе вспыхнули волшебным голубым светом. Она тихонько пошевелила над шарами пальцами-сардельками, закатила глаза и вдруг принялась протяжно, с подвыванием бормотать: «Для спасенья верных чад я построю Белый град! А в том граде Божий храм, возведу на радость вам! Ты на церкву погляди, вокруг неё походи, Духа свята поищи. Кругом церкви дерева, не руби их на дрова: перво древо — кипарис, друго древо — анис, третье древо — барбарис; ты древам тем поклонись да на церкву помолись. Я в той церкви порадею, трудов своих не жалея; накатила благодать. Ать-ать-ать! Стала духом обладать, мать-мать-мать! Накати-ка, накати, мою душу обнови, дух свят, дух! Кати, кати, ух!»

— Ну вот и всё, — утерев вспотевшее лицо, резюмировала ворожея. — Слушай сюда: сейчас, как домой вернешься, сразу включай телевизор. Понял? Он тебе подскажет.

— А какую программу? — уточнил Борис Глебович.

— Любую, — отмахнулась госпожа Зина, — я их все на прием космокармического сигнала настроила. Специально для тебя. Только шибко не тяни — к вечеру в моем ретрансляторе манна небесная иссякнуть может.

Дома Василисков налил себе на два пальца коньяку, сел в кресло и, зажмурившись, ткнул кнопку на пульте. Потом с опаской открыл глаза: показывали «Семнадцать мгновений весны». «Штирлиц знал, что всегда запоминается только последняя фраза», — объявил голос Ефима Копеляна за кадром. Борис Глебович выключил телевизор и наморщил лоб.

Где-то через четверть часа напряженных размышлений смысл космокармического послания до него наконец дошел. Он хитро усмехнулся: не обманула госпожа Зина, это и впрямь была натуральная подсказка! Конечно же, последняя фраза! Именно по ней его и должны запомнить потомки. Совершенно понятно.

И Борис Глебович стал придумывать для себя итоговые слова, с которыми он покинет сей бренный мир и по которым его будут помнить и чтить. Из рода в род. Во веки веков. Аминь.

Только делом это оказалось не таким и простым: на ум лезли все какие-то приземленные, пустяшные слова типа «не поминайте лихом». Либо, напротив, чересчур поэтические, вроде

«нет, весь я не помру...» Ну и так далее. Которые опять же звучали несолидно. Ну что, в самом деле, сказать такого, чтобы уж наверняка всех поразило и каждому запало бы в душу, за самую подкладку?!

И решил Василисков обратиться за помощью к предкам. Полазил по Интернету и выяснил, что все мало-мальски крупные деятели прошлого непременно уходили с каким-нибудь афоризмом на устах. К примеру, Нерон перед смертью воскликнул: «Какой артист погибает!» Хорошо. Правда, хорошо. Но ему, Василискову, не подходит. Могут неправильно истолковать. Артист, понимай, тот же мошенник. Ладно. А чем там титаны духа, философы-ученые и прочие писатели отличились? Ага, вот — немец Кант: «Достаточно!» Сказал как отрезал. И отчалил в мир иной. Что ж, лучше, чем ничего, хотя... Чего достаточно-то? Кому? Хоть бы уточнил, хороняка. Впрочем, немцы, они всегда так. Айн, цвай и алес капут! Так, ну а если среди англичан пошукать? Байрон, лорд, между прочим, объявил напоследок, что пошел спать. И точно уснул. Вечным сном. Или вот Оскар Уайльд, тоже писатель, глянув на обои в гостиничном номере, в котором случилось ему помирать, вздохнул: «Они меня убивают. Кому-то из нас придется уйти». И ушел. Обои остались. Что ж, смешно. С юмором. Но Борис Глебович слышал, что у этого Оскара с ориентацией какие-то проблемы были. Не-ет, шутить да ерничать перед лицом Вечности — удел писак и прочих несолидных личностей. Ему, Василискову, не к лицу.

Римский император Веспасиан изрек: «Кажется, я становлюсь богом». Вот это круто! Тем более Борису Глебовичу как-то кто-то сказал, что лицом он вылитый Веспасиан; тот же широкий лоб, крупный нос и многозначительные морщины. Все так, но Россия не Древний Рим, могут ведь и за богохульство счесть. Каким таким, в самом деле, богом? Не Христом же. Еще проблемы возникнут. С отпеванием. Понапрасну, что ли, он этакую храмину в Ухрюпине оттрохал?

Нет, надо придумать что-нибудь не менее веское, но без двусмысленностей. Чтобы не допускалось двойного истолкования. И при этом чтобы звучало эдак... умно и строго. К примеру, Людовик XIV перед смертью цыкнул на подчиненных: «Чего ревёте? Думали, я бессмертный?!»

Хлестко. Грубовато, так на то он и король. Не прощенья же ему, в самом деле, было просить?

Но более остальных Василискову легли на душу последние слова Генриха Гиммлера: «Я — Генрих Гиммлер». И всё. Точка. Да, просто. Но солидно, веско. Коротко и ясно. Вроде бы три слова только, а всё ими сказано. Я — Борис Василисков. Звучит! На этом и остановился.

Однако тут Борису Глебовичу пришло на ум неприятное соображение. Смерть-то, не приведи, конечно, Господь, но может и как-нибудь того... Внезапно его настигнуть. То есть без предупреждения. Лопнет какой сосуд в мозгу и — ага! Ну что ты будешь делать? Не одно — так другое. Но сдаваться на милость судьбы Василисков не привык. Стал думать наново. И придумал! Чтобы сократить риски до минимума, решил он всякий разговор начинать и заканчивать заготовленной финальной фразой.

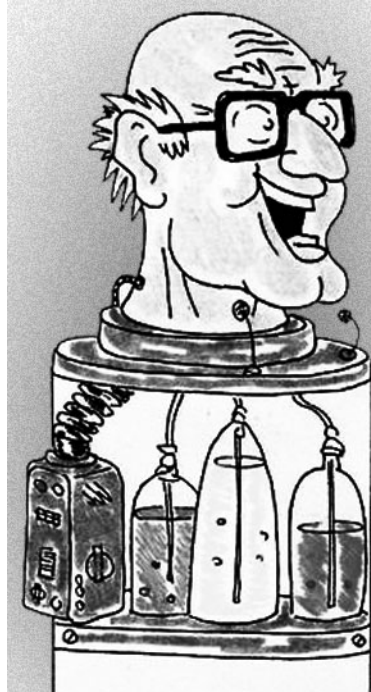
Так с тех пор и повелось. Спрашивает, бывало, его водитель: «Куда теперь, Борис Глебыч?» А он в ответ: «Я — Борис Василисков, считаю, что нам следует отправиться...», ну и так далее. А под конец непременно вернет: «Так полагаю я — Борис Василисков».

Застраховавшись, елико возможно, от зигзагов судьбы, Борис Глебович успокоился и зажил уже в полное свое удовольствие.

Однажды погожим мартовским днем, в самый канун женского праздника, решил Борис Глебович прокатиться до Милены. Или к Юлии заглянуть. А может, и к обеим — как пойдет. Вышел он, значит, из подъезда, а солнышко ему прямо в очи прыскает, брызжет. Усмехнулся Василисков, ладонь ко лбу козырьком приложил. Хорошо! Вдруг местный вахтёр, Ахмет, окликнул его тревожно: «Бориса Глебович! Ай-ай! Смотри, куда нога ступай!»

— Я — Борис Василисков... — по обыкновению начал Борис Глебович, но, опустив глаза на свои туфли, ахнул: — Дер-рьмо! — Ибо, ослепленный солнечным сиянием, вляпался он аккурат в собачью кашку.

И надо ж такому произойти, чтобы в это самое мгновение метровая сосулька, отяжелев от весенних соков, сорвалась с карниза одиннадцатого этажа и шарахнула Бориса Глебовича в темя. И упал Василисков как подкошенный. И более уже не поднялся. Что тут скажешь? Фатум!



рассказ

— Стакан морковного сока, салат и кусочек говядины, — попросил Семёнов.

— Паровой? — зачем-то уточнил официант.

— А что, — хмыкнул Семёнов, — есть жареная? Тогда мне бифштекс с корочкой.

Официант не оценил юмора и холодно заметил:

— У нас легальное заведение.

Потом окинул посетителя взглядом и спросил:

— Можно посмотреть вашу медкарту?

«И кто меня, дурня, за язык тянул?» — мысленно укорил себя Семёнов. А вслух произнёс:

— Тут такое дело... В общем, карту я дома оставил.

— Разумеется, — прищурившись, протянул официант. — Что ж, тогда придётся взвеситься.

Семёнов со вздохом поднялся и встал на электронные весы.

— Увы, — злорадно заявил официант, глянув на табло. — Пять кило лишнего веса. Мясо я вам подать не смогу.

— Ну так подайте что сможете, — раздражённо бросил Семёнов, возвращаясь за столик.

Настроение было испорчено. Даже есть расхотелось. «Ничего, ничего, — попытался утешить он сам себя, — оно и к лучшему. А то ещё килограммов пятнадцать — и как раз «бубновый туз» заработаю. Уж лучше перетерпеть».

Сегодня он, кстати, встретил одного такого бедолагу, понуро бредущего с жёлтым ромбом на спине. «Обжорство — путь к ожирению», — предостерегала жирная чёрная надпись на жёлтом фоне. Прохожие косились на толстяка с неодобрением; молодёжь тыкала пальцами, девушки хихикали.

Семёнов оглядел знакомый полупустой зал. Всё как всегда. Разве что наглядную агитацию обновили. За барной стойкой, над шеренгами разноцветных бутылок с соками, теперь висел плакат с изображением тучного краснолицего мужчины; обливаясь потом, он копал землю ножом и вилкой. Плакат на другой стене предостерегал: «Не берите суши в рот — в них личинки нематод».

Семёнов вздохнул. Ему вспомнились времена, когда в этом самом кафе можно было вы-

* * *

пить кружечку пива и поболеть за любимую футбольную команду. Разумеется, в отдельном зале для выпивающих. И по предъявлении справки из наркологического диспансера. Но шесть лет назад приказом Великого Санитара спиртное окончательно запретили. Впрочем, футбол к тому времени всё равно уже было не посмотреть — профессиональный спорт попал под запрет и того раньше.

Вернулся официант и поставил на стол тарелку с какой-то зелёной тюрей.

— Это что, дерьмо повара? — возмутился Семёнов.

— Нет, это витаминное пюре с нулевой калорийностью и массой полезных минеральных веществ, — бесстрастно пояснил официант. — Приятного аппетита.

Семёнов поковырял вилкой зелёную массу, расплатился и вышел на улицу.

Он не сделал и пяти шагов, как по ушам резанул истощный вой сирены. Мимо промчался растрёпанный мужик, отмахивающийся от роя миниатюрных видеокамер. Беглец хотел было нырнуть в арку, но оказавшаяся рядом женщина ловко поставила ему подножку, и он растянулся на асфальте. А уже в следующий миг над ним, взметая пыль, завис полицейский аэромобиль.

— Кто это? — поинтересовался Семёнов у одного из зевак.

— Курильщик! В скверике, гад, в кустах прятался.

— А если бы его дети увидели? — ахнула тётка с желчным лицом и глазами навывкате. — Совсем стыд потеряли, извращенцы проклятые!

За квартал до дома Семёнов почувствовал, что всё-таки голоден, и заскочил в неприметный продуктовый магазинчик.

— Привет, Егорыч, — обратился он к продавцу, — дай-ка мне батон сервелата.

— Справку об уровне холестерина гони, — мрачно ответил тот. — Колбасные изделия отпускаем только по предъявлении...

— Брось, Егорыч! — перебил его Семёнов. — Ты же знаешь, за мной не заржавеет.

— Ох, лишусь я через тебя лицензии, — пробормотал продавец. — Ладно, спрячь только сразу...

Он воровато оглянулся и быстро сунул Семёнову палку колбасы.

Супруга встретила его, как и обычно, прохладно.

— Опять дрянь в дом принёс, — потянув носом, проворчала она. — Знает ведь, что я веганка. Не-ет, всё одно тащит и тащит всякуюдохлятину. У-у, трупоед! Когда-нибудь лопнет моё терпение, так и знай. Вот сообщу куда следует про все твои грязные делишки. Думаешь, я слепая? Глаза б мои на тебя не глядели...

Семёнов молча прошёл на кухню. Он достал бездрожжевой хлеб с отрубями и уже собрался порезать сервелат, но вовремя заметил две видеокамеры, прицепившиеся одна — к занавеске, другая — к потолку. Вот чёрт! Видно, в форточку залетели. Пришлось ужинать в туалете. «Минздрав предупреждает: чрезмерное употребление высококалорийных продуктов может стать причиной сахарного диабета, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, ведёт к ожирению, преждевременному старению и мучительной смерти», — гласила надпись на колбасной оболочке.

— Ты один, что ли, в квартире живёшь? — не унималась супруга. — Теперь весь туалет провожает! Только о себе и думаешь...

Семёнов сел в кресло и включил телевизор. Показывали какой-то фильм, судя по всему, старый, поскольку лица и руки персонажей то и дело заслоняли жёлтые цензурные ромбы.

— Я пошла спать, — заявила супруга.

Семёнов остался сидеть в каком-то оцепенении. Неожиданно фильм прервался и замигал огонек связи; на экране появился человек в черном с серебром мундире с двумя латинскими «s» на лацканах — инспектор санслужбы.

— Здравствуйте, Семёнов, — произнёс инспектор.

— Здравствуйте.

— Напоминаю, что подошёл срок исполнения вами супружеских обязанностей. Как учит Великий Санитар, умеренность и регулярность — основа семейного здоровья. А здоровая семья — залог здоровья общества. Успехов вам, Семёнов.

— Спасибо, — машинально ответил он.

— Да, и прекратите каждый вечер торчать у телевизора. Это прямой путь к гиподинамии. Займитесь лучше бегом трусцой.

— Хорошо.

— Пока это лишь рекомендация, но... — инспектор значительно шевельнул бровями и отключился.

— Ну, мне долго ждать? — донеслось из спальни. — Или приказы Великого Санитара не про тебя писаны?

Странное чувство охватило Семёнова: словно что-то сломалось у него внутри. Он медленно встал и вышел на балкон. Там в укромном месте отыскал мятую пачку с одной-единственной сигаретой и коробок спичек.

Почти сразу подлетели две видеокамеры — глаза и уши Великого Санитара — и заинтересованно зависли в воздухе. Семёнов показал им средний палец, чиркнул спичкой и закурил.

Сирена звывала секунды через четыре. Значит, скоро появится оперативная сангруппа.

Когда в дверь принялись барабанить, Семёнов в две глубокие затяжки докурив сигарету до самого фильтра, перелез через перила и прыгнул.

* * *

Очнулся он в просторном помещении, залитом слепящим электрическим светом. Белые простыни, белый потолок, белая дверь. Откуда-то сбоку слышались ритмичные звуки, словно кто-то тяжело вздыхал. Или накачивал велосипедную шину. Сильно пахло хлоркой и лекарствами. «Больничная палата», — сообразил Семёнов.

В поле его зрения попало какое-то движущееся желтое пятнышко. Он присмотрелся: по простыне, укрывавшей его до самого подбородка, деловито полз рыжий таракан. Семенов попытался его смахнуть. И тут же понял, что не в состоянии пошевелить ни рукой, ни ногой. Даже шея отказывалась ему повиноваться! Он хотел застонать, крикнуть, но не смог и этого.

Из рта у него торчала прозрачная гофрированная трубка. Он скосил глаза: трубка тянулась к установленному на металлическом кронштейне агрегату, именно он издавал те самые ритмичные вздохи. Аппарат искусственного дыхания. Господи, ужаснулся Семёнов, неужели он и дышать самостоятельно не может?!

Дверь распахнулась, и в палату вошёл человек в застиранном синем халате, по всей видимости, санитар. Подойдя к Семёнову, он склонил к нему круглое лоснящееся лицо, моргнул близко посаженными глазками и ухмыльнулся. Потом проследил за взглядом Семёнова и увидел таракана. С неожиданной ловкостью поймал его двумя толстыми пальцами и принялся с любопытством рассматривать, качая круглой головой и причмокивая. «Самочка, — констатировал санитар и добавил почти с нежностью: — Детки скоро будут». Но тут же намурился, словно обдумывая некую важную мысль. Вдруг он выдернул изо рта Семёнова трубку, сунул в неё таракана и быстро вставил трубку обратно. Эти манипуляции заняли у него не более секунды. Прусак побежал сначала вверх по трубке, но поток воздуха отправил его Семёнову прямо в рот. Семёнов почувствовал щекотку на языке и нёбе. Он попробовал выкашлянуть отвратное насекомое, но лишь выпучил от бесплодного усилия глаза. Санитар всё это время с жадным интересом наблюдал за Семёновым.

Тут дверь снова отворилась, и два дюжих медбрата медленно вкатили в палату что-то громоздкое. Какой-то медицинский прибор. Круглолицый санитар одной рукой приподнял Семёнова за плечи, второй взбил подушку и осторожно уложил его обратно. Затем отступил на шаг, посмотрел скептически, вернулся и подтянул его повыше. Закончив с этим, он хлопнул Семёнова по плечу, заговорщически подмигнул и исчез.

Теперь обзор у Семёнова заметно расширился. Он увидел, что прямо перед его кроватью установлен металлический столик, а на нём, опутанная разноцветными трубками, находится человеческая голова. По обеим сторонам от головы часовыми застыли медбратья. Но его сейчас больше заботило то, что таракан проник в гортань и, кажется, намеревался продолжить путешествие. Семёнова окатила волна брезгливого ужаса.

Голова открыла глаза и уставилась на лежащего. «Да это же Великий Санитар», — догадался Семёнов. Ошибиться было невозможно — эти впалые щеки, этот цепенящий взгляд из-под чёрных бровей он видел на экране ты-

сячи раз. Так вот почему по телевизору всегда показывали только его лицо!

Один из медбратьев подкрутил какой-то вентиль, и изо рта Великого Санитара раздалось шипение. Голова пожевала губами и укоризненно произнесла:

— Эх, Семёнов, Семёнов. Разве можно так наплевательски относиться к собственному здоровью? Ведь тебя пришлось едва ли не по кусочкам собирать. А как иначе? Я ж вас всех как родных люблю. И мне дорог каждый из вас, каждый гражданин. Пускай даже он временно сбился с пути истинного... Но отчего, скажи на милость, вас всех так и тянет ко всякой мерзости? Не пойму. Свиньи вы, а не граждане! Ох, недаром свинья по своей физиологии столь близка человеку — сама природа указывает людям на их место в эволюции.

Вдруг голова засипела и принялась отчаянно вращать глазами. А Семёнов ощутил болезненное покалывание где-то в пищеводе. Кажется, вынужденный подселенец решил попробовать его на вкус. Осваивает территорию? Семёнов с тошнотворной ясностью представил, как внутри него, точно в живом инкубаторе, вылупляются сотни шустрых маленьких таракашек. Беззвучный вопль плескался у него в мозгу, но не мог пробиться за пределы черепной коробки. Тем временем один из

медбратьев поправил ведущие к голове провода и трубки, пощелкал тумблерами, и Великий Санитар продолжил:

— Вот, посмотри на меня. Сколько, думаешь, мне лет? Сто сорок. А все как огурчик. Потому что никогда ничем не злоупотреблял. Не пил, не курил, по утрам бегал трусцой, а кушал только постные продукты отечественного производства... Ну что же ты всё молчишь, Семёнов? Нечем крыть? Ах, ну да, говорить-то теперь ты не можешь. И двигаться, увы, тоже. Ничего не попишешь — спинной мозг повреждён... Ну, не переживай! Поверь: всё к лучшему в этом лучшем из миров. Зато так соблазнов меньше. Сейчас вот подключим тебя к внутривенному питанию, витаминчики прокалем, клистирчик сделаем. И будешь ты у нас жить долго и счастливо... Долго, очень-очень долго!

Послышались какие-то отрывистые, напоминающие лай звуки — Великий Санитар смеялся.

□

Александр Валентинович ЮДИН

родился в 1965 г. в Москве.

Юрист.

Пишет прозу.

Публиковался в журналах «Полдень XXI век», «Юность»,

«Наука и жизнь», «Знание — сила», «Искатель»,

«Мир Искателя», «Наука и религия»,

«Я» (США), «Edita» (ФРГ) и др.,

а также в сборниках «Настоящая фантастика-2010»,

«Настоящая фантастика-2011» («Эксмо»),

«Самая страшная книга-2014» («АСТ»).

Автор романов «Пасынки бога» («Эксмо», 2009 г.),

«Золотой лингам» («Вече», 2012 г., в соавторстве с С.Юдиным).

Живет в Москве.

В журнале «Север» публикуется впервые.



**Елена
НИКОЛАЕВА**



Елена Михайловна НИКОЛАЕВА

(15.05.1936, Великие Луки — 30.06.2011, Петрозаводск) —
русский поэт,

переводчик, литературный редактор.

Публиковалась в журналах «Нева», «Работница», «Север»,
«Мурзилка», «Пуналиппу»,

в коллективных сборниках.

Автор семи поэтических книг, в том числе и для детей.

Заслуженный работник культуры России.

Лауреат года Республики Карелия (2001).

Член Союза писателей России.

* * *

Короткий разговор —
Как луч, ушедший в небо...
Я жду тебя с тех пор,
Но ты исчез, как не был.

И ветер зашумел
Тревожно в кронах сосен.
Прийти ты не сумел,
Зато явилась осень.

Надежды и мечты
Затмило туч круженье...
Быть может, создан ты
Игрой воображенья?

А все, что ты сказал,
Простая тогда со мною,
Я слышала у скал,
Боровшихся с волною?

Мне снится без конца
В таинственном мерцанье
Склоненного лица
Скупое очертанье.

И падают слова,
Сгоревшие бесславно,
Как желтая трава
В еще живые травы;

И этот разговор,
И темный купол неба...
Я жду тебя с тех пор,
Но ты исчез, как не был.

*Елена Михайловна Николаева
прожила долгую и богатую творческую жизнь.
Она писала стихи, редактировала поэтические книжки,
делала блестящие переводы классиков
финноязычной литературы и лучших произведений поэтов
Республики Коми, Белоруссии, Украины,
на ее стихи созданы песни к 11 спектаклям
Национального театра Карелии,
плодотворно сотрудничала с известными композиторами.
Она также одно время была, что для нас особенно значимо,
заведующей отделом поэзии журнала «Север».
Представляя сейчас стихи Елены Николаевой
на наших страницах, мы рады, что ее поэзия остается
в кругу читательского интереса, потому что
она «писала стихи с открытой душой».
Без пафоса и экзальтации она мягко, но со скрытой силой
говорила о любви к малой родине, природе, о любви к мужчине.
И ее светлая лирика с годами свой свет не теряет.*

* * *

Когда в обычном безыскусном слове
Вы для себя найдете смысл большой,
То, значит, мной исполнено условие
Писать стихи с открытой душой.

Но чтобы вам проникнуться любовью
Или от боли застонать чужой,
Необходимо лишь одно условие:
Читать стихи с открытой душой.

* * *

Как часто, поглощенные делами,
Под грузом мелких и больших забот,
Земли не замечаем под ногами,
Не видим, как прекрасен небосвод.

А между тем безжалостное время
Все продолжает убыстрять свой бег,
И заведенно движешься со всеми,
Как будто робот ты, не человек.

И вдруг
В разгар неистового бега
Тебя как будто бы пронзает ток:
Увидишь прелесть утреннего неба
И средь травы поднявшийся цветок.

Замрешь ты,
Потрясенно улыбаясь,
Пойдешь уже спокойно, не спеша...
И, от невзгод своих освобождаясь,
Тихонько распрямляется душа.

ОНЕГО

Бесконечно, как море, Онего
В ожерелье резных островов,
Звонкий купол высокого неба
Накрывает, как чаша, его.

Белой ночью иль утренней ранью
Ты прислушайся чутко к волне:
Много сказок, легенд и преданий
Затаилось в его глубине.

Если волны швыряет с разбега,
Ты его упрекать не спеши, —
Напоит и накормит Онего,
Одарит красотой для души.

Островок на онежском просторе
куполами пронзит облака...
Бесконечно Онего, как море,
И душа у него глубока.

* * *

Отчего-то тянет все туда, где волны,
Где сплошное солнце брызжет из воды,
Где упругий ветер плещется привольно,
Где всегда так долго пропадаешь ты.
Только нет, не слезы ты тогда заметил,
Приходя на берег с девушкой другой.
Это просто солнце.
Это просто ветер.
Это просто брызги, что принес прибой.

Вырастет мальчишка, на тебя похожий,
С доброю улыбкой, сильный и большой,
Ласковые волны он полюбит тоже,
Навсегда полюбит вольною душой.
Может быть, и сын мой что-нибудь заметит,
Если с ним на берег мы придем вдвоем...
Это просто солнце!
Это просто ветер!
Это просто брызги на лице моем...

СЕВЕРНЫЙ ЛЕС

От зеленого южного буйства,
От цветущих-растущих чудес
Возвращаюсь и не налюбуюсь
Я тобою, мой северный лес.

Как отраднo и сердцу и взору
От спокойной твоей красоты!
По полянам твоим, косогорам
Вразнойбoй разбежались цветы.

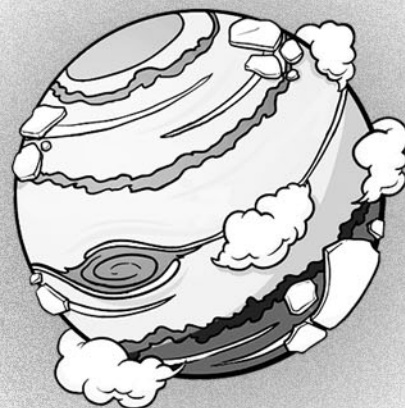
Замелькали ногами березки —
Их колени не тронул загар!
Видно, смуглые сосны-подростки
Поглотили весь солнечный жар.

Молчаливые стройные ели,
Словно дети, мне машут вослед...
Уезжала-то — на две недели,
А как будто на несколько лет!

Вот и вечер, прохладен и светел,
Принял смену от яркого дня.
И зардевшийся лес мне ответил,
Что он тоже грустил без меня.

Владимир РУДАК

г. Петрозаводск



Голубая жемчужина

Едва пробивавшиеся сквозь ветви соснового бора лучи вечернего солнца поплясывали на гладкой поверхности озера, пробегаая дерзкими бликами по сонным темным окнам. Михаил Степанович вышел на веранду двухэтажного загородного дома, и с тяжелым вздохом сел в кресло. На деревянном столе лежала цветастая книжка с изображением крохотной Земли, сиротливо ютящейся рядом с более крупными и величественными планетами, — внучка в детском саду изучает строение Вселенной.

Такая голубая горошина должна быть горькой на вкус, ведь в ней сконцентрировано и спрессовано много боли, отчаяния и совсем чуть-чуть глазури радости. Несясь в стремительной круговерти, люди напоминают себе, что за пределами окружающего мира все выглядит мелким и незначительным. И вот где-то на окраине вселенной сидит заслуженный деятель искусств, смотрит на воду, и мается его душа, и находится в смятении ум, тщетно пытающийся выдать хотя бы пару сильных строчек, потрясающих своим глубокомыслием. А ведь ожидания заинтересованной общественности небесноконечны. Сначала все уверены, что автор погрузился в какую-то масштабную работу, подводящую итог всем предыдущим творениям. Потом начинают поговаривать, что мастер впал в некий ступор, что случается, необходимо дожидаться, когда кризис минует экватор, чтобы идеи вновь забили гейзером. Ну а потом все вообще перестают ждать, переключаясь на тех, кто еще на что-то способен.

Нужны проникновенные и в то же время простые слова, не затасканные шаблоны, а что-то чест-

рассказ



ное и острое. Самые обычные слова, которые легко и непринужденно слетают с уст, а не тягучая заушь, что медленно выползает, преодолевая бесконечные тесные коридоры извилин мозга, продираясь и обрастая смыслами и вторыми планами. Он закрыл глаза, пытаясь вспомнить какое-нибудь печальное событие, которое могло подтолкнуть его к философскому полету над пропастью безысходности, но ничего дельного в голову не шло. Раньше подобные сцены давались проще, даже напрягаться особо не приходилось: он просто присаживался где придется и быстро записывал на обрывках бумаги искренние диалоги людей с тяжелыми и непростыми судьбами. Бывало, самые трогательные места обретались во время перекуса в любимой столовой, вписавшейся со своими алюминиевыми баками, движущимся конвейером с подносами и грязной посудой в старинное здание, некогда принадлежавшее какому-то крупному купцу. Михаил поднимал глаза к потолку с лепниной, на мгновение замирал, как будто пытаясь рассмотреть лицо опухшего амура, прилипшего округлой спинкой к потолку с арбалетом на изготовку, брал рукой из тарелки котлету, состоящую по большей части из хлеба, и с удовольствием заедал проникновенный человеческий диалог.

Клочки бумаги, тетрадки в клетку и полоску, исписанные где-то мелким, а где-то крупным почерком, были разбросаны по всей съемной комнате. Мысли людей совершенно разных сословий и характеров как будто сами изливались на бумагу, только успевай записывать. Так приятно закончить сцену или главу, откинуться на спинку стула, закинув руки за голову, и восхититься собой. Могу же! И откуда это во мне? Батя и мамка — обычные люди, да и я, что там говорить, простой паренек, но вот смотрите же, какие во мне живут истории, какой я глубины человек. И где же я всего этого понабрался. Ведь бегал вместе с вами босоногим во дворе, гонял голубей и пускал бумажные кораблики по несущимся ручьям. И вот несла стремительно вода наши кораблики в одну и ту же сторону, но судьбы разлетелись, как бильярдный треугольник от точного удара в прицельный шар.

Николай поднимался по лестнице башенного крана, быстро переставляя руки и ноги, он спешил к своей возлюбленной, крановщице Кате. Хрупкой и трогательной девушке-ударнице, ловко переносившей по воздуху многотонные плиты, из которых складывается новая жизнь. Новый город! Новые судьбы! Николай остановился, посмотрел на тугие натянутые тросы и прошептал: «Крепка наша любовь, Катя, как эти тросы!»

Его состоявшаяся жизнь вызывает зависть у многих даже близких людей, ведь, сколько бы ты ни трудился, ни бился и ни расшибался, всегда найдутся те, кто легкомысленной фразочкой все это спишет на счастливый случай или судьбоносное везенье, которое предопределило все само собой. А что же это за труд такой адский, о котором так любят говорить люди творческих профессий на всевозможных банкетах и прочих мероприятиях? Ты что-то пишешь, потом переписываешь, пока это кто-то из власть имущих не одобрит. Он добился того, о чем даже боялся мечтать в молодости, когда относился с усмешкой к тому, что может стать влиятельной персоной в мире кинематографа и литературы, к его мнению будут прислушиваться именитые коллеги, на него с восхищением будут смотреть самые красивые женщины. Возможно, это мало что значило для Габена, но только не для мужчины небольшого роста, с ранней лысиной и близко посаженными глазами. Вот он заседает на очередном конкурсе в жюри: отработанные манеры, набор творческих жестов, подчеркивающих состоятельность. На нем ладный костюм, пошитый на заказ, тяжелые наручные часы стоимостью в однокомнатную квартиру в спальном районе и неприлично дорогие ботинки с отражающимися в них лампочками хрустальной люстры зала для торжественных церемоний.

Успех превращает человека в своего раба, который, поднявшись однажды на сверкающую огнями галеру, обречен грести в неизвестность до скончания века, пока прощально не погаснут софиты и рампа, пока не сомкнется тяжелый бархатный занавес и скроется зал в безмолвной тишине. Появляется множество необходимых ритуальных обязанностей, направлен-

ных на сбережение собственной популярности. Необходимо быть **ВОСТРЕБОВАННЫМ**. То есть кто-то должен все время тобой интересоваться, куда-то тебя приглашать, оплачивать перелеты, питание, показывать достопримечательности маленьких и больших городов, а ты обязан ворчливо обещать свериться со своим плотным и непримиримым графиком, прикидывая, какой запросить гонорар. Все это у него было. В избытке. Но вот однажды он проснулся утром и понял, что не поедет на встречу с продюсером, не поедет к оператору-постановщику Лядову, не будет помогать Гене переписывать какой-то сомнительный сценарий. У всех этих людей все уже закончилось, но они продолжают катиться по инерции, пытаясь реализовать какие-то хлипкие и надуманные истории. Потому что по-другому у них жить не получается, их так учили существовать и думать, они, как планеты Солнечной системы, выполняют свои функции, не сбиваясь с натоптанной орбиты, пока не исчезнет Вселенная, пока не грянет Апокалипсис. Хватит с него пустых обсуждений идей, мыслей и проектов. На миг показалось, что старость помахала костылем, там за окном, из-за кустов крыжовника. И если вы думаете, что это древняя старуха в тряпье, то вовсе нет. Ваша старость — это молодая красотка, которая несется мимо, не глядя даже в воздух над вашей головой.

Скоро на веранду выйдет Валентина в своем любимом вязаном платке, накинутом на округлые плечи. Один из бесконечных подарков, который ей торжественно вручили на творческой встрече в городке, где большая часть женщин работала на фабрике, производящей эти самые платки. Супругу, в то время известную актрису, быстренько записали в почетные работники передового предприятия, сфотографировали для доски почета и подарили платок. Она поставит бокал с вином на перила, шумно вдохнет теплый воздух с тонкой нитью прохлады, прочтает одно из любимых четверостиший, помолчит немного и пойдет в дом, как всегда забыв пустой бокал. Она читала стихи с первого дня их знакомства. Ему это нравилось, более того, она его этим зацепила, да так, что сердце затеплилось раздувающейся, как бока бегемота, надеждой.

До встречи с ней он разыгрывал для окружающих некую драму, состоящую из переживаний прошлых неудачных отношений, поэтически прозаических всплесков и щедрых винных возлияний. Слегка помятый черный костюм, взъерошенные волосы, сплетение ароматов сигарет и островатого одеколona делали чудеса в женском обществе. Конечно, если бы не его литературная одаренность, открытая улыбка и смелый юмор, то вряд ли женщины им интересовались. Печальные события, как стремительно вращающийся ледяной пояс Сатурна всегда в поле обозрения, всегда рядом.

Веселый Герман Степанков захакивал часеню под вечер, чтобы похвастаться новой главой в романе, который уже с нетерпением ожидали толстые журналы. После пятилетнего перерыва он вдруг почувствовал, что необходимо высказаться: собрал вещички, прихватил ноутбук и рванул на дачу. В тот вечер Михаил с некой долей зависти посматривал на горящее тусклым светом окно в кабинете Германа. Под утро свет погас, прозаик взял охотничье ружье, поднялся на чердак и поставил точку в последнем предложении своего нового романа. Эта новость облетела поселок, обдавая нещадным марсианским холодом подвижные души творческой интеллигенции.

Но почему, почему он поймал себя на мысли, что хочет взять Валентину за худые ноги и скинуть в озеро вместе с бокалом, платком, туфлями, легким платьем и четверостишиями, над которыми безжалостно сомкнулась бы теплая вода, щедро нагретая летним палевом. Михаил зажмурился, отметив шальную мысль коротким укором, и быстренько все списал на сложное и по-особенному устроенное сознание сценариста, которое по своей природе склонно к таким вот контрастным измышлениям. Когда он писал сценарий к фильму «Потерянные в море», то почему-то представлял Валентину, тщетно пытающуюся ухватиться за кусок пенопластового спасательного круга. Роль должна была играть молодая и красивая актриса, но какая-то неведомая и настойчивая сила вталкивала на виртуальный экран сознания Валентину. Огромный коршун бесшумно спал с небес, загородив крыльями свет, он вцепился в перила когтистыми лапами, повернул голову и

вперился круглым глазом в Михаила, на толстом и кривом когте красовался перстень с яхонтом, обрамленным бриллиантами. В этой тяжкой дремоте чего только не пригрезится...

Он взял лист бумаги и ручку.

Рядом с пугающим своим величием Юпитером разместилась голубая жемчужина Земля, такая маленькая и беззащитная, словно случайно кто-то ее обронил. С каждым годом Юпитер становится меньше на два сантиметра, но и наша планета не растет. Что эти два сантиметра для такого небесного тела, как Юпитер. Надо запретить писателям продавать оружие всех видов. Что это за мода такая. Герман никогда и охотником-то не был. Он был писателем. И, надо признаться, весьма неплохим. Даже хорошим. Но, если честно, глядя в глаза голодной акуле, то все писатели — это неудачники. Независимо от тиражей. Они плетут паутину упругой лжи, чтобы потом замереть в ее центре, раскинув цепкие лапки по сторонам. Они никто. Они все болтуны. Рассказчики. Вы не обращали внимания на то, что излучение Юпитера в гамма-диапазоне, по данным «Чандра», похоже на водомерку?

В декабре прошлого года Михаила пригласили в жюри одного весьма странного и необычного конкурса. Нет, подобных мероприятий проходило великое множество в России, но было отчаянно непонятно, каким образом организаторы соревнований по женскому бодибилдингу решили, что им может пригодиться литератор с далеко не спортивной фигурой. Михаил несколько раз осмотрел себя в зеркало гардероба с выдвигающимися дверями, чем вызвал некое подозрение у супруги, потом скрылся в кабинете, чтобы там, в уединении, принять окончательное решение. С одной стороны, привлекало то, что конкурс женский, да еще и в Сочи, то есть почти неделю он будет находиться среди загорелых красоток в бикини. С другой стороны, это очень не понравится Валентине, которая вообще терпеть не может, когда он продолжительное время пребывает в окружении симпатичных женщин. И еще ему срочно надо было сдавать пилотную серию нового проекта, с которой как-то все затянулось и забуксовало, а соавтор звонил и нервничал, даже соскакивал на истеричный визг, ему очень не хо-

телось, чтобы их проект про подпольное африканское сообщество прикрыли из-за несоблюдения оговоренных сроков. Михаил принял решение, что никуда не поедет, потому что это его расслабит и прервет все творческие и супружеские процессы, а надо быть благоразумным. В его возрасте надо уметь принимать решения без излишних лукавых размышлений. Президент федерации Антонина выслушала его доводы и приятным низким голосом предложила встретиться в спортивном центре, где проходят тренировки женской сборной. У нас есть уютное кафе, я вас приглашаю, мы все обсудим, я понимаю, что вы человек занятой, но, может, уделите немного времени, чтобы хотя бы ознакомиться с нашим миром. Не исключено, что это вам пригодится для будущих сценариев.

— Я приеду с удовольствием, и, кстати, я тоже когда-то занимался спортом, у меня даже есть разряд, — игриво ответил Михаил и тут же удивился сам себе. Откуда в нем это двуличие и мастерство притворства. Три минуты назад он был уверен, что никуда не едет, но этот манящий голосок как будто опутал его невидимой паутиной, которая в какой-то момент напомнила о себе тугой хваткой. А разряд у него действительно был по бадминтону. Но в этот момент ему захотелось быть мастером спорта по какому-то более мужскому виду спорта. Все-таки бадминтон не придает личности особого масштаба, ну кто может привести в пример известного в мире бадминтониста, да никто, поэтому он решил, что не будет уточнять о своих достижениях, а если вдруг Антонина спросит, то соврет, что это было самбо, но давно, так что все приемы он благополучно позабыл. И еще он настойчиво представлял Антонину в купальнике на краю призывно бурлящего бассейна. Даже переживал, как бы она не уронила смартфон в розовом чехле в воду. И ничего не мог с собой поделаться: ему, как сценаристу, написавшему не одну эротическую сцену, сидя в темном кабинете загородного дома, никак не удавалось осадить коня, на которого лихо вскочила фантазия, вдавив по самые пятки шпоры в его округлые и лоснящиеся бока.

Поздним вечером Михаил нацепил на кончик носа очки, обычно он так делает, когда собирается что-то писать, это отработанный

сигнал для Валентины, что я ухожу, просьба не беспокоить. В кабинете, притворив дверь на защелку, он достал начатую бутылку виски, нарезал лимон ножом для бумаги и стал смотреть ролики про самбистов, чтобы хотя бы какое-то представление иметь о борьбе, про которую ему вдруг придется врать.

Михаил неуверенно топтался возле картонного Шварценеггера, победоносно вскинувшего руки с наборными гантелями над головой. Светодиодная лента по краю придавала еще большего блеска его широкой и наивной улыбке, наверное, так радуются качки, когда видят приближающийся грузовик с бесплатными стереоидами. Раздвинулись автоматические двери, появилась Антонина в легком цветастом платье, выгодно подчеркивающим тренированное и смуглое тело, окропленное туалетной водой с легким и манящим ароматом. Михаил чувствовал себя неловко, ведь он по большей части привык вращаться среди корректоров, редакторов и сценаристов, чьи вечера скрашивали пивные посиделки с обсуждением литературных и кинематографических новинок. Женщины филологи с сигаретами, в очках и балахонного типа платьях не брезговали резким словом и смотрели на мир, прищуриваясь от едкого дыма. Любими мужчинами для них были давно покинувшие бранный мир литераторы.

Антонина легко, но цепко взяла его под локоток и увлекла внутрь шикарного центра, чтобы рассказать и показать, как целеустремленные женщины накачивают себе все самые важные места, вместо того чтобы отирать торчащим пузом край разделочного стола на кухне. Через пятнадцать минут все сомнения Михаила улетучились, он был весел и бодр, небольшой дискомфорт вызывал поясной ремень, который он усердно подтянул, чтобы скрыть некоторые проблемные зоны. На предложение симпатичного президента федерации о совместных занятиях он отозвался звонким согласием, чем в очередной раз себя удивил. Коня по-прежнему несло в дальние и неведомые дали. Антонина как-то опасно близко придвинулась к Михаилу и спросила, не хочет ли он сходить в музей Арктики и Антарктики на выставку чукотского резного искусства. Приехала новая экспозиция.

Откуда-то из туманной пелены прозвучали слова: «Что вы, в моем-то возрасте». — «Не говорите ерунды, вы вполне хорошо выглядите. Небольшой курс индивидуальных занятий, и вы обретете свои настоящие формы». Ночью ему снились чукотские мастера.

От волнения он съел кекс с изюмом, запив его стаканом апельсинового сока, теперь в животе бултыхалась вся эта бестолковая еда, как будто ворочаясь на фоне разговоров о правильной диете. Давно Михаил не испытывал переживаний относительно того, каким образом в жизни все неожиданно поворачивается, когда хочется воскликнуть: я даже представить себе не мог! Он уже забыл, когда что-то могло пойти не по планам, за исключением вмешательства откуда-то свыше, его день мало чем отличался от троллейбуса, послушно следующего заданному маршруту. Пробуждение, небольшая зарядка через пень-колоду, в промежутках между приемами пищи просиживание пятой точки за ноутбуком. Неожиданное знакомство с Антониной как будто открыло ему глаза на то, что окружающий мир давно изменился, а он продолжает придумывать какие-то однобокие истории, базирующиеся на классических формах без малейшего намека на современность и оригинальность. Надо бы повесить на веранде боксерскую грушу, дать себе слово мутузить ее каждый день, еще начать бегать по лесным дорожкам, вытопанным вдоль озера. Грех не использовать такие возможности. Зря, что ли, были потрачены гонорары на дом в таком живописном месте!

Женщины всегда считали его харизматичным, он искренне не понимал, каким образом отсканированная взглядом его невзрачная внешность, преодолевая сложные пути в не менее сложном женском мозгу, преобразовывалась в привлекательную картинку. Вот уж настоящее преображение. До поездки он успел побывать несколько раз на утомительных индивидуальных тренировках, после которых приходилось отлеживаться в своем кабинете на кожаном диване. Давно бы плюнул на все эти сомнительные занятия, но как будто неведомая сила влекла его в спортивный центр, хотя если отбросить все эти дешевенькие штампы, то влекла его туда Антонина.

Михаил укатил в Сочи, а его соавтор впал в отчаяние. Он кричал в трубку, что найдет другого компаньона, более надежного и талантливого, чтобы не зависеть от неуравновешенных неудачников.

На всякий случай, для успокоения души, он разбросал по дому листки бумаги с записями для сценария — это могло послужить оправданием, если вдруг кто-то Валентине сообщит, что видел его в компании красивой женщины. Когда ты работаешь над сценарием — можно все. Это, конечно, громко сказано, но все-таки пока более универсальной отговорки найти не удалось. Он известный человек, но, конечно, не настолько, чтобы его постоянно всюду узнавали. В молодости хотелось, чтобы так и было, но сценаристов вообще не так часто чествуют, как прочих участников команды, создающей фильм. Если картина соберет в прокате массового зрителя, то все лавры, как вы понимаете, достанутся артистам и режиссеру, как будто это они все сочинили и придумали, да многие из них и пары предложений самостоятельно не могут составить, невнятно бормочут себе под нос, пытаясь хоть что-то приличное выдать. Без бумажки с чужим текстом они превращаются в пустое место, как карета Золушки в тыкву. От режиссера тоже многое зависит, но дайте ему дрянной сценарий, и что он снимет, как не такое же дрянное кино, о котором никто не вспомнит через пять минут после того, как пройдут финальные титры. Скольких артистов, режиссеров и даже операторов он вывел в люди, но где их благодарность, вот в чем вопрос. Стремительно выбегают в арендованных фраках на сцену, потрясают золотыми статуэтками, утирая слезы и раздавая благодарности родителям и близким, но редко когда вспоминают СОЗДАТЕЛЯ всего этого праздника. Его так и не пригласили на «Кинотавр». Творца, давшего им возможность проявить себя, составившего слова так, что они хирургической нитью сшили рваные раны скорбящих сердец.

От занятий спортом повышается аппетит, хочется вредной еды, куриные грудки и овощи вызывают уныние и тоску. А уныние — это грех. Антонина мягко настаивала на правиль-

ном образе жизни, а Валентина жарила котлеты. Женщины странные существа, еще не совсем изученные наукой, потому что они могут быть к тебе абсолютно безразличны, продолжая при этом сытно кормить, целовать на ночь, провожать в дорогу легким поглаживанием по спине, как будто исполняя обязанность по хозяйству. Это как присматривать за коровой или сыпать корм домашней птице, просто на автомате без особых эмоций. Но стоит появиться даже слабой тени интрижки с вашей стороны, как они начинают проявлять к вам полноценный интерес, включая телесный контакт, как будто интуитивно чувствуя, что появилась соперница. Валентина стала заходить к вечеру в кабинет к Михаилу, пыталась завести с ним разговор, вспоминать какие-то романтические эпизоды из их совместной жизни, садилась в кресло, не запахивая голые ноги полами халата. Он смотрел на нее, а перед глазами возникала Антонина с яркой улыбкой и растянутым эспандером, резинки которого давили на выпуклую грудь.

В Сочи Михаил потерял над собой контроль и влюбился в Антонину. Хотя, возможно, это была не та, настоящая юношеская любовь, берущая основы в самопожертвовании и домостроительстве, а, скорее, буйный пир утолившейся от одиночества плоти. Как будто сорвавшаяся с поводка домашняя собачонка, которая, игнорируя хозяйские упрёки, угрозы и притворные ласковые призывы, носится кругами с бешеными глазами, высунув язык. Конечно, не сказать, что Михаил так легко сдался. Он старался держаться изо всех сил, как старенький буксир, прицепленный за кнехт истлевшим канатом, но внезапное морское волнение сорвало его к чертям и понесло по волнам беззаботности и безответственности, то стремительно вскидывая над пенящимися волнами, то ухая вниз, бросая в страшную тьму. Антонина сказала, что ей нравятся мужчины постарше, потому что они подкупают своей мудростью, взвешенностью и основательностью. Слушая это, Михаил смотрел на нее с прищуром. Он опытный и прожженный тип, но устоять перед чарами спортсменки сил не хватило. Антонина добавила, что особенно ей нравятся грамотные и реализованные мужчины, к сожалению, сре-

ди спортсменов подобные типажы крайне редко встречаются. Ее последний молодой человек был штангистом. С ним никогда не удавалось поговорить на культурные темы, а она все-таки в ранней юности окончила художественную школу, еще интересовалась кино и театром. Но штангист тренировался или играл в продвинутую компьютерную приставку, да иногда кормил рыбок, разговаривая с ними по душам. Однажды она все-таки затащила его в театр на экспериментальную постановку французской труппы, поднимающей проблемы людей с синдромом Туретта, но он почти все представление просидел в буфете со смартфоном.

Неделя пролетела быстрее сверхскоростной японской электрички, за окнами которой пейзаж превращается в летящую стрелу. Первое место в конкурсе, не без некоторых подтасовок, заняла подопечная Антонины, а сама она как будто несколько охладела к Михаилу, несмотря на все его старания, не проявляла былой заинтересованности. А он, как наивный неопытный юнец, уже всякого себе нафантазировал и даже подумывал о том, как бы им съехаться, для начала не официально, а потом, хотя что там может быть потом, вообще непонятно. «Потом» имеет множество смыслов и подсмыслов, а чаще всего это означает «никогда». Только в мягкой форме, чтобы не ранить и не задеть.

Однажды она сказала ему, что хочет сняться в кино, конечно же, в главной роли. Он ей дал понять, что так просто подобные вопросы не решаются. Сценарист не может выбирать артистов, все-таки в этом случае большее влияние, как это ни прискорбно, имеют режиссер и продюсеры, которых скоро будет больше, чем артистов с массовой вместе взятых. А надо было врать. Это простое и гениальное решение почему-то пришло запоздало, оборвалось последним жалким осенним листом, упав на подмороженную землю, покрытую грубой коркой молодого льда. Он же врал Валентине, которая, как ни крути, гораздо ближе ему, чем случайная, хотя и симпатичная спортсменка. Чего ему стоило дать ей обещание и продолжать наслаждаться подвернувшимся удачным случаем, вместо того чтобы изображать из себя кристально чистого писаку. Как он мог забыть, что он паук.

Я просто писатель, понимаешь? Всего-то. Я живу тем, что придумываю чужие жизни, это какая-то игра в мелкое божество, которое пытается подражать высшим силам. Я создаю треугольники, я ищу конфликты, создаю драмы и комедии, но я не создаю жизнь. Мы же все профессиональные лжецы.

Сейчас модно хотеть уехать за границу, находиться в таком предчемоданном настроении. Еще есть люди с полусовестью. Они не совсем негодяи, поэтому не выбрасывают котлов и щенков на улицу, а подкидывают их другим людям, перекалывая ответственность на чужие души. А мы работаем со словом. Понимаете? В то время, когда искренние люди говорят от сердца нужные слова в нужное время, мы работаем. Точим детали у станка. Мы подбираем слова, складываем их в предложения, чтобы все было выверено и точно. Стилистически выдержано. Это производственный процесс, а не естественное течение жизни. Это обман. Я не могу обещать вам главной роли, но прошу, вернитесь ко мне. Все так хорошо начиналось. Я полюбил спорт. Сел на диету. Да, срывался, и неоднократно, но готов работать над собой. Вот уже второй день не ем ничего вредного. Как вы и говорили. Ни булок, ни сладкого. Вернитесь ко мне. Мы можем жить в моей квартире, о которой жена не знает. Я купил ее на солидный гонорар. Мне его вручили за сценарий к фильму, который собрал множество наград, вытолкнув меня в самый авангард киноиндустрии. Позвоните мне, мы все уладим!

И тогда он решил проследить за ней. Это может пригодиться для работы, успокаивал он себя. Пока непонятно, каким именно образом, но пригодится. Михаил зашел в магазин, где купил солнечные очки на пол-лица. Продавец настойчиво рекламировал горнолыжный вариант, дополненный всевозможными фильтрами, и палатки с резко упавшими ценами, но тщетно. Снежные склоны и лесные опушки остались в далеком прошлом. Почему-то слежку хотелось начать вести в новых очках, это может показаться странным, но его мало волнуют подобные вещи. В бардачке лежал в полиэтиленовом пакете парик, который он попросил у

знакомой гримерши, сославшись на то, что хочет поиграть с внуками в шпионов. Еще пышные усы и клей. Черный кожаный пиджак гармонично дополнил картину, сделав его похожим на сутенера из американского боевика с машинами-«сигарами». Он припарковал машину в нескольких кварталах от спортивного центра, чтобы случайно не наткнуться на кого-то, хотя на самом деле этого можно было и не делать. Лысина под париком взмокла, усы чесались, очки больно давили за ушами. Ему хотелось оказаться рядом с ней, но так, чтобы она не поняла и не догадалась, что это он. А еще острее стал бы сюжет, если бы у них закрутился роман, но она опять-таки не понимала бы, что это он. Но такое вряд ли удалось бы проверить, все-таки парик и усы не настолько надежны, в любой момент могут подвести, отвалиться, отлепиться, он будет выглядеть дурнем из дешевой комедии.

Она все не звонила. Назло всему миру он заперся у себя на оборудованном чердаке и начал писать новую историю, пока сердце изнывало от вырванной с корнем любви. Хотя... вот, помнится, когда он увидел первый раз свою будущую жену в легком летнем платье, с туфлями в руках, уверенно вышагивающую босыми ногами по окропленному теплым

дождем асфальту, вот тут его сердце заняло. Все было как в кино, никакой рекламы на домах, чисто и по-настоящему. В доме появились шумные артисты, заполнив собой все пространство. Начались читки, репетиции и обсуждение нового проекта. И жена.

— ...Дедушка, а ты знаешь, сколько планет в нашей Вселенной? — на веранду выбежала кучерявая внучка, нарушив вечернюю пустоту звонким голосом.

Михаилу Степановичу захотелось оказаться в самом начале познания мира, когда все вызывает восторг и восхищение, открытие за открытием. Повсюду скрываются удивительные вещи, возбуждающие разум, не давая ему покоя. И голубая жемчужина Земля продолжает вращаться...



Владимир Иванович РУДАК

родился в 1968 году.

Прозаик, музыкант, кинорежиссер.

Публиковался в журналах «Север», «Новая юность»,

«Южная звезда», «Лампа и дымоход», «Carelia».

Автор книг «Вечный сахар» (2009),

«Единственная стрела» (2014).

Рассказы и повести переведены на финский и немецкий языки.

Лауреат национальной премии имени Елены Мухиной

в номинации «И слово отзовется...».

Член Союза молодых писателей Карелии.

Живет в Петрозаводске.



**Виктор
НИКИТИН**

г. Воронеж

БОГОМАТЕРЬ ВСЕХ СПЯЩИХ

рассказ

Я видел худые и беззащитные ноги, которые торчали из-за занавески и дёргались в каком-то болезненном припадке. Я видел лицо девушки, склонившееся над поражённым болезнью телом, — её подступившие слёзы жалости, бессилия что-либо изменить, как-то облегчить беззвучные страдания того, кто был скрыт от меня. Его обхватили, прижали к кушетке, чтобы сбить приступ, переждать. И снова не было слышно ни звука, и от этого становилось как-то не по себе.

И были ещё руки, поворачивавшие лёгкое от жизни тело, — мужские руки её спутника, которые должны были вселить надежду на лучший исход. Я решил, что эти слабые ноги в татуировках — ноги старика, дошедшего до своего конца, но это оказались ноги подростка, который, очевидно, не просто попал в плохую историю, а жил в ней с самого рождения. А я-то думал, что молодость — это единственное оправдание жизни.

Я наклонился к отцу, провёл рукой по его волосам, подержал за плечо; ожидание не добавляло ему сил. «Сейчас, сейчас, — прошептал я. —

Сейчас подойдёт наша очередь». Он сидел в кресле-каталке и тяжело дышал. Мне надо было говорить громче, — он всё равно меня не слышал. «Сейчас, сейчас», — продолжил я про себя.

В приёмной появился врач, но это не к нам, а к подростку-старика. Его вытянули из-за занавески, чтобы произвести над ним какие-то манипуляции, однако лица его я так и не увидел. К врачу присоединился его коллега; консилиум должен был решить, что делать дальше. Они обследовали череп пострадавшего; оказывается, парня нашли на улице, он был без сознания. Я видел только его голые пятки и слышал прерывистое дыхание отца.

Ещё раньше мне надо было выучить молитвы и заклинания, обучиться искусству заговаривать и приговаривать, быть ловким в нашёптывании доходчивых слов. Надо быть готовым тысячекратно повторять некоторые слова, чтобы вдальбивать в них смысл. Я не преуспел в этом несколько, теперь расплачиваюсь.

Зимой случались такие дни, в которых я растворялся почти без остатка. Я был почти неведом, несмотря на одежду, и легко дышал све-

жим морозным воздухом. Мои ноги пружинили по утопанному снежку. Я сбивал иней с заледеневших веток деревьев и слышал хрустальный звон. Мне казалось, что я тоже становлюсь белым и начинаю искриться на солнце. А когда не было солнца и стоял сырой промозглый туман или в пасмурном небе созрел небывалой кристальности и суровости мороз, я становился строже к самому себе и людям.

Всё оказывалось слишком крепким; на промёрзшей земле дыбились неразбиваемые глыбы льда, застывшее небо подпиралось строгими колоннами густого вертикального дыма. Долго выдерживать такое напряжение было невозможно.

Я выходил к троллейбусному кольцу, бывшей конечной остановке. Брошенное здание диспетчерской зияло провалами пустых окон. Это запустение было по погоде; всю неделю обещали морозы под тридцать. Нас предупреждали об осложнениях и испытаниях. Я проходил мимо дверного проема, целиком свободного от двери, и становился свидетелем последствий ледяного дыхания зимы. Из холодного и опустошённого здания два санитара выносили замёрзшего бомжа. У него был полуоткрытый рот, скрюченные пальцы на руках; на одной, кажется, надета рваная варежка, которая никого и ничего уже не могла спасти. Это был окоченевший труп. Лица я не успел рассмотреть; может быть, я его видел, но ничего не понял, не сообразил, что оно имеет отношение к человеку.

Он искал убежище, а нашёл смерть. Это было днём, мимо ехали автомобили и автобусы, все были заняты своими делами. Смерть по соседству никого не взволновала. Заросший щетиной бомж в нелепом осеннем пальто в клетку, в драных летних сандалиях на ногах, таких же драных носках, в куцей линялой лыжной шапочке на голове был давно уже выброшен из жизни, а потому его конец стал закономерностью. Своей смертью он никому ничего не доказал, не послужил укором; он только доставил небольшие хлопоты бригаде скорой помощи и представителям власти, которые держались поодаль у своей служебной машины, — один из них снял шапку с кокардой и почесал голову. Эта проблема была совсем некстати.

«Сейчас, сейчас», — продолжил я свои зак-

линания, и меня услышали. Появился коллега того врача, который уже закончил обследование подростка с татуированными ногами и руками, и назвал знакомую мне фамилию. Я поднял руку в знак признания постигшего нас несчастья и тронул отца за плечо: «Это за нами», а другой врач сказал, проводя по стариковским пяткам подростка шариковой ручкой: «Это наш пациент, мы его забираем». Мне показалось, что он даже обрадовался.

Ещё одна история произошла как-то летом, давно, когда я с приятелем вышел с работы во время обеденного перерыва. Мы хотели, уже не помню, зайти в какой-то магазин и по пути наткнулись на непонятную сцену, в которой всё уже случилось, даже зеваки разошлись и свидетели, а может быть, их и не было вовсе, потому что прошло много времени и оно всех развело в разные стороны, и оставалась одна пожилая женщина, вернувшаяся с автобусной остановки, и перед ней прямо на тротуаре лежал мёртвый человек. Мы это сразу поняли. И не было почему-то ни милиции, ни полиции, никого вообще больше. Днём в оживлённом центре лежал на спине парень в светлой рубашке и смотрел мёртвыми глазами в небо. Лицо его ничего не выражало, если только какую-то усталость. Это из-за жары, почему-то подумал я, а женщина указала мне на железный прут, валявшийся неподалёку, которым его убили.

Напротив располагалось открытое летнее кафе, где торговали пивом. Возник какой-то спор: кому-то чего-то не хватило, кто-то не там стоял, где надо, или не стоял вовсе, и произошло случайное убийство. Откуда-то возник железный прут, рука взмахнула горяча, и человека не стало. Он упал навзничь, опрокинулся, нельзя же ведь лежать навзничь... Только упасть. Навзничь — это выражение уже звучит как фамилия. Человек по фамилии Навзнич упал. Нет-нет, какие глупости. Бог знает что лезет в голову. Жизнь вокруг продолжалась, а для него всё закончилось. Но он ведь с чего-то начинал, был ребёнком, как все, смешно бегал босиком по земле или нагретому асфальту, и где это всё теперь? Пропало, исчезло навсегда, словно и не было никакой жизни, не было человека. Убийца тоже когда-то был ребёнком, а теперь он исчез. Всё произошло так стремительно, никто не

запомнил его лица. Небо над лицом убитого было настолько бесстрастно, что я не мог не подумать: вот так просто это может случиться? Нелепость равна случайности или наоборот?

«Сейчас, сейчас», — начинаю я суетиться. Помогаю снять пиджак, открыть грудь; будут снимать кардиограмму. Уже заполняют карту, я отвечаю на вопросы. Рядом, другому пациенту, говорят самые важные слова: «Мы делаем всё возможное». Белый халат, разведённые в сторону руки, которые только что были сцеплены в надёжный замок. Ко мне поворачиваются спиной. Лица я не успеваю рассмотреть, но не сомневаюсь, что это лицо настоящего профессионала. Это слова утешения и признания возможности провала. На самом деле он должен был сказать: «Я сделаю всё возможное». И, конечно же, развести руками, снимая с себя всякую ответственность. И даже поднять глаза к небу, не поднимая головы, туда, где решается судьба каждого из нас.

«Сейчас, сейчас», — я ищу новые действенные заклинания и никак их не нахожу. Путаюсь, придумываю, цепляюсь.

Откуда взялась эта женщина с голубем? Я переходил улицу и случайно наткнулся на неё, сделал шаг из-за низкорослого кустарника. Она шла по тротуару с голубем, как прогуливаются с собачкой. Голубь шёл с ней рядом, только без поводка, и повторял все её движения. Это, конечно же, случайно так совпало, но я на несколько секунд поверил увиденному, тому, что вот женщина вышла на прогулку со своим домашним питомцем-голубем и он так уверенно, подобрав крылья, вышагивает на своих раскоряченных лапках. В самом деле, почему бы такому не быть? Почему возможны только собаки да кошки? Разве можно выйти на прогулку с аквариумом под мышкой?

Мне ещё многому предстоит удивляться. Никогда не изживу в себе это свойство — весьма непригодное для практической жизни.

Надо быть простым, как ученическая тетрадь. Однако учиться некогда, надо усвоить понятия, но не правила.

Единственное, чему надо научиться, это разводить руками. Надо как-то освоить этот самый главный жест в жизни. Внешне нехитрый, но очень глубокий по внутреннему со-

держанию. «Я сделал всё, что мог». Руки разводятся в стороны, словно открываются ворота. «Я сделал всё, что мог». Я во всём признался, отворил все пути, теперь ваша очередь. «Я сделал всё, что мог».

Город засыпается песком, с каждым годом его становится всё больше. Он никуда не исчезает и оседает на улицах, во дворах, проникает через открытые окна в квартиры. Иногда бывает трудно дышать. Случается, что песок скрипит на зубах. Многим кажется, что так и должно быть.

Когда идёшь вечером по улице мимо многоэтажных жилых домов, утыканных огоньками квартир, всегда думаешь: что за люди их населяют? У них есть мечты, заботы, свои представления о жизни. Часто они говорят на грубом и скудном языке, состоящем всего лишь из нескольких слов, и им бывает очень весело. Даже несмотря на пыль и песок. Я перестал им доверять.

«Сейчас, сейчас».

Тут надо цепляться руками и ногами, чтобы удержаться. Земли много, но места на ней мало. Мы поневоле жмёмся друг к другу. Это земля безоглядного отчаяния, попусту сложенных голов и временных мер, введённых на постоянной основе.

«Мы сделаем всё возможное».

Это была жизнь, которой я никогда не жил, которой я сторонился.

«Я сделал всё, что мог».

Сколько всего непонятного вокруг. Мы поднимаем глаза вверх — единственное спасительное движение. Мы хотим в беспримерной пустоте, замаскированной под голубое небо с облаками, словно заставка успешной киностудии, выпускающей надёжное успокоительное, — найти смысл. Не может же так быть, чтобы его не было? Мы находим себе точку, обладающую смыслом и разумом. Ей мы доверяем себя целиком и начинаем шептать сбивчивые заклинания.

«Богоматерь всех спящих, богоматерь всех сущих, обманутых, пропавших, опоздавших, хромых, глухих, подслеповатых, болящих, скорбящих, гордых без меры, от дури дуреющих, от силы слабеющих, ленивых по глупости, умных по дурости...»

Когда мне снилось, что я летаю, я был спокоен: значит, правильно живу. А потом это закончилось.

«Сейчас, сейчас». Я вытираю пот со лба отца, холодный пот. Сейчас нами займутся, уже занимаются. Вот подходят, говорят: «Сейчас вас повезут к лифту, поднимут на третий этаж». Коридоры длинные, гулкие.

Я ехал в маршрутке, дорога была долгая и утомительная, так что меня закономерно клонило в сон. И я видел в соседнем ряду ещё одну маршрутку или автобус, и в них людей, некоторые из них тоже засыпали. Вот клюнула вниз одна голова, другая. Всех утомляло это медленное движение, постоянные вынужденные остановки. Из-за ремонтных работ на дороге образовалась внушительная пробка. Одна девушка, которая сидела ко мне лицом, давно уже спала с мобильным телефоном в поднятой руке. Она собиралась в нём что-то увидеть, да так и заснула, смешно вытянув губы, блуждая закрытыми глазами. Что ей снилось: новый смартфон или фотографии со старого?

Слева нас с мерным рокотом объехал автобус. Я успел увидеть, что его водитель тоже спит. Он сидел ровно и с закрытыми глазами держал

руль, уверенно выполняя свою работу. Я оглянулся: уже спали все вокруг, спали и ехали — водители, пассажиры... Это зрелище завораживало и успокаивало. Я зевнул и тоже закрыл глаза. Сон охранял нас от жизни.

Век дан как день, дня мало, мать движения, мать покоя, богоматерь всех сущих, богоматерь всех спящих...

Чтобы совсем не заснуть, я начинал складывать цифры в номерных знаках машин, а потом ещё раз складывал цифры из получившейся суммы, и если в итоге выходило 5, то я был доволен и считал, что нахожусь на правильном пути и мне обязательно повезёт.

Снег искрился на солнце, когда из бывшей диспетчерской выносили бомжа. В мёртвых глазах парня, открытых в пустоту неба, была только усталость; в железном пруте, валявшемся неподалёку, — отчаяние.

Ну вот и лифт наконец-то. Створки раскрываются с лязгом. Колёса задевают и упираются в порог. Сопротивление бесполезно — санитарка проталкивает кресло вперёд.

Мать движения, мать покоя.

«Сейчас, сейчас!»

СЧАСТЬЕ СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ

рассказ

Где-то в небе раздавался клёкот галок, похожий на плеск моря. Мне так и представилось, ещё сквозь сон, как плещется море о скалы или волны накатывают на берег; в этих звуках было что-то пронзительное и высокое, я открыл глаза и смотрел в потолок, море и небо для меня совмещались в одно целое и далёкое, скорее всего недостижимое в этом году; проще и точнее мои чувства можно было

назвать мечтой. Звуки проникали в эту комнату из другой комнаты, дверь туда была открыта, окно там тоже; я видел свежую утреннюю голубизну неба в закрытое окно, приглушённый шум проезжающих автомобилей по дороге ничуть не мешал плеску волн во дворе, с другой стороны дома, там, где поднимались тополя выше крыши и небо имело более насыщенный оттенок, солнце ещё не доставало

своей чрезмерной жизнерадостностью, оно посылало примерочные лучи, эти звуки нельзя было поймать руками, с таким же успехом можно было черпать воду решетом, но я никогда не видел этих галок, подходил к открытому окну, насколько мог вытягивал на себя взглядом границу неба в проёме и приближал только море, казалось, я находился у самого берега, и где-то рядом, повыше, в золотистоголубом воздухе галки бесцеремонно плескались в его волнах.

Тишина меня никогда не обманывала. Когда-то давно я видел иностранный фильм, мне кажется, скандинавский, из которого помню только одну сцену: главный герой у себя дома, он чем-то занят в своей комнате, открывает ящик стола, сосредоточенно перебирает вещи, наверное, он что-то ищет, он занят каким-то делом, а позади него, в стороне, стоит катушечный магнитофон, бобины беззвучно крутятся, и всё это выглядит важным именно потому, что нет звука. Я не помню, о чём этот фильм, но эта сцена запомнилась, в ней, в этих без звука работающих катушках, в том, что зритель не слышит, какая музыка проигрывается на этом магнитофоне (а может быть, звучит чей-то голос?), выразилась какая-то суть современности, тянущейся уже много лет.

Базарный клёкот галок не утихал, волнение моря то усиливалось, то спадало. Есть мне пока что не хотелось; с некоторых пор я мог позавтракать через полтора часа после пробуждения; что-то меня останавливало, я словно готовился к правильному восприятию; наверное, мне до конца не верилось, что утро уже наступило и пришла пора действовать. Но я не раскачивался, чтобы начать действовать, я принимал всё как есть. С вечера я захотел арбуз, первые уже появились в продаже, конечно, были сомнения, и я уже представлял себе, как буду его разрезать, а он, полосатый, спелый, будет хрумтеть, потрескивать, и как я буду уминать эти нарезанные скибки, обливаясь соком, захлёбываясь в созревшей цельности, как в море. Но в ночь употреблять арбуз, чтобы потом, как по расписанию, ходить в туалет? Только в обед — чтобы точнее оценить происходящее.

Был такой случай, тоже давно, примерно в те же бобинно-катушечные времена, я этого человека не знал, мне знакомый о нём рассказывал, но история вот такая: у одного товарища было сильно развито эстетическое чувство прекрасного, он хотел не просто жить, потому что некоторые не знают, чего хотят, а просто живут как придётся, он хотел жить красиво, с неперенным осознанием этой красоты и наглядным предметным результатом. У него была цель, окрашенная в белый цвет. Первым существенным приобретением на этом пути стал белый плащ, а если быть совсем уж точным, то плащ был белоснежным, он сильно выделялся на фоне отечественного белого цвета, он отличался нездешней избранностью. На приобретение этого замечательного плаща ушло какое-то время, его поиск стоил усилий, но на этом эстетическое чувство не останавливалось, оно не было утолено сполна, требовалось его подкрепление и усиление; теперь под наличествующий плащ надо было подобрать машину, тоже белого цвета, точнее, белоснежного, такого именно цвета автомобилей среди отечественных не наблюдалось, так, чтобы оттенок идеально совпадал с плащом, чтобы счастливый обладатель плаща мог с достоинством выйти из аутентичного средства передвижения, а потому автомобиль мог быть только иностранный, так что поиск недостающей детали костюма занял ещё больше времени. И ведь где-то он приобрёл этот редкий экземпляр, минул, может быть, год или два, или даже больше (плащ, естественно, не занашивался, висел дома, ждал), и всё совпало, устроилось для него самым счастливым образом, и он даже объявил друзьям, что приедет к ним в гости в воскресенье, чтобы они смогли убедиться в том, что он добился-таки своего, и оценили бы его упорство в достижении поставленной цели. Однако судьба распорядилась иначе, и за день до примечательной встречи хозяин белого на белом в самом точном приложении неожиданно умер; то ли переволновался, то ли мечта была осуществлена и дальше уже ничего не могло последовать, но он действительно умер, и эта история стала Историей, которую каждый, в зависимости от убеждений правой

или левой руки, может толковать как ему вздувается.

У меня никакой истории нет, у меня есть только чувства и обрывки ощущений, которые я бережно собираю и потом на досуге сравниваю. Настоящим мне представляется только то, что уже когда-то было. Про чувство вины мне напоминать не надо, оно и так всегда со мной в той или иной степени, оно просто живёт в некоторых окружающих меня предметах. Вот круглые часы, что уже второй год, как мы переехали на новую квартиру, лежат сверху книжного стеллажа, хотя должны висеть на стене. Они тикают, показывают потолку время, в прежней квартире они находились на положенном месте, а тут мне словно что-то мешает взять гвоздик и молоток. Я приглядываюсь к новым условиям и не спешу ставить точку, до конца я ещё не въехал, а может быть, мне просто не хочется видеть, как стрелка движется по кругу, последний раз я радовался часам в четвёртом классе, отец подарил мне «Ракету», кожаный ремешок, обхвативший запястье, личное время, которое ни с кем не надо делить. Наверное, я глуповат, но хотелось бы думать, что на самом деле наивен; это примиряет меня с действительностью.

Когда я смотрю в окно на проносящиеся мимо моего дома машины, на это бесконечное, чуть стихающее к глубокой ночи движение, мне приходит в голову, что воздух насыщен миллионами невидимых частиц. Вся наша жизнь пронизана ими, тем, что мы не видим и не знаем, и, может быть, поэтому мы верим в чудо. Зимой для меня чудо наступало по выходным после трёх часов дня, когда на заснеженные сосны на противоположной стороне улицы падал солнечный свет, и как-то там на обнажённых стволах, в их тесной близости, зажигалось что-то такое, какая-то медь с бронзой и мягкая оранжевая кожа, произведённая чудесным образом из коры; всё оборачивалось настоящим прощанием, последним взглядом, посланием; в этих стоящих друг за дружку, среди прочих, трёх-четырёх соснах было сосредоточено всё самое главное на земле в эти минуты, и я был тому свидетелем. Летом же ничего подобного не происходило, — объекты

наблюдения словно выпадали из фокуса, из парадного строя, из сказки.

Я выхожу в другую комнату. Галки возятся в небе, как на пляже, — делят лежаки, зонтики, удачный вид на море. Оказывается, ночью был дождь. Во дворе спят лужи, это покой и смирение, наполненные до краёв, границы определены, но их нарушают, их будит колесо мусоровоза, гармония морщится, бежит рябью, волны откликаются на небо, — так они зевают. День куда-то растягивается; я возвращаюсь обратно, провожу рукой по книгам, которые скорее всего никогда не прочту, поправляю лампу на столе, всё же беру одну из них, раскрываю наугад и читаю несколько предложений, это придаёт утраченному времени хоть какой-то смысл, я нахожу оправдание.

Зеркало в ванной показывает мне лицо человека загадочного, чувственного и небритого. Большинство замечает во мне только небритость, отсюда продолжение: нелюдимость, сухость. Мне нет нужды кого-то в этом разубеждать. Все люди по-своему хорошие и все хорошие. Жена меня тоже не знает, она часто склоняется к мнению большинства; загадочность определяет как желание скрыть недостатки, а чувственность — как того же свойства детскую игривость. Всё несерьёзно, всё близко к срыву договорённостей жить ладно в богатстве и в бедности. Когда любишь, не споришь. Я скромно, без азарта, умываюсь. Наверное, когда я мокрый, я нелюдимый. Полотенце мне возвращает сухость.

В любви нет никакой лёгкости, счастье ещё тяжелее. Мы хотели измерить наши отношения и мерили их деньгами, родителями, знакомыми, соседями, детьми, телепередачами, музыкой, книгами, фильмами — очень многим. А потом мы устали и остановились посередине неустойчивого равновесия — немного в сторону, и не поздоровится обоим, — пришлось прижаться друг к другу, чтобы спастись. И теперь нам ничего не мешает. Мы не видим препятствий. Мы загадочно, чувственно улыбаемся, отменяя нелюдимость, и говорим только приятные слова. Я думаю, что так будет всегда.

Пора на кухню. Я открываю холодильник,

белое на белом в самом ослепительном приближении, галки и здесь слышны, им не надоело купаться в воздушном океане, на микроволновке стоят электронные часы, они спешат, за два-три дня набегают минута, я достаю колбасу и делаю себе бутерброд, ставлю чайник, это для затравки, для начала, мне не хватает только катушечного магнитофона, чтобы эти колеса громоздкого музыкального парохода медленно и беззвучно вращались, выбираясь на верную дорогу, да ещё полосатый арбуз с сухим хвостиком, это на обед, сосны на зиму, окна на улицу, а не во двор.

Я радуюсь самым простым вещам, моё счастье ещё спит. Бутерброд с чаем (две ложки сахара, без лимона), тополь за окном почти на расстоянии вытянутой руки, длинный, заканчивающийся где-то вверх маяком, привлекающим галок. Холодильник украшен декоративными магнитами, он ими облеплен как ракушками. Это сувениры, которые мне дарят друзья. Они привозят их из своих путешествий, виды Рима, Парижа, Венеции, Мюнхена, Барселоны, Бангкока, всех городов, где я никогда не был. Коллекция постоянно пополняется, о нас заботятся. Нам на дом доставляют свежие впечатления; приходят гости, мы садимся за стол и слушаем их рассказы. Но сначала я прикрепляю к холодильнику новый магнит. Я коллекционер чужих путешествий.

Я сажусь у окна и начинаю есть. И вот я думаю, как мне повезло в жизни, что я вот так всё вижу и чувствую; к тому же у меня есть внушительная коллекция магнитов, на днях добавились Хельсинки и Стокгольм, скоро места сво-

бодного не останется и некуда будет прилепить очередной сувенир, так что, наверное, придётся покупать ещё один холодильник, для того чтобы коллекция могла расширяться.

Я готовлю завтрак, варю кофе. Галки приветствуют солнце, небо расширяется и наполняется новыми звуками пробуждения. Часы сегодня же будут висеть на стене. На календаре суббота, а значит, свободного времени больше, чем всегда. Я забыл сделать зарядку, у меня растёт живот. Около полуночи был звонок по телефону; кто-то значительно молчал в трубку. Я люблю тишину и звуки природы. Не забыть купить пять литров чистой питьевой воды. У какой-то машины во дворе включилась сигнализация. Нет слов, чтобы описать мои ощущения, — мне просто хорошо, и всё же я не знаю почему. А апельсиновый сок? Вчера по радио рассказали, что однажды композитор Шостакович проиграл в карты концертный рояль. В ящике стола я нашёл нашу с женой фотографию двадцатилетней давности, — я там такой смешной! Мне вдруг пришло в голову, что ничего не изменилось, а только продолжается. Продолжалось и тогда, но я ничего не знал об этом. Где-то я прочитал, что зубы надо чистить не перед завтраком, а после, и не сразу после еды, а подождав какое-то время.

Ну вот, кофе готов, пойду будить свою любимую; этот момент особенно важен, она проснётся, и начнётся-покатится, закрутится-завертится настоящая жизнь, которой никогда не будет конца.





За окном сложился мелкий сиротский дождик. Было хорошо видно, как он воздушной пеленой проходит и возвращается. С крыши срывались капли и звонко ударяли о жёсть подоконника. В классе стояла тишина. После недавнего случая с аккордеоном никто не то что не галдел, а даже кашлянуть не смел.

Пристыженные, скромные, мы держали ручки наготове перед раскрытыми тетрадями.

Анатолий Константинович вывел на доске название песни, фамилии композитора и автора слов и положил мел рядом с тряпкой.

Наш учитель пения подошёл к окну и заложил руки за спину: правой он обхватил запястье левой, а левую то растопыривал пятернёй, то сжимал в кулак. Глядел он прямо перед собой и, казалось, ничего не видел.

Мы ждали, когда он начнёт диктовать. Пауза становилась каменной и холодной; его молчание словно продолжало обвинять и прибавляло нам срок наказания.

Наконец он начал. Не меняя своего положения, произнёс, глядя в окно:

— То берёзка, то рябина...

Голос был немного глуховатый. Он диктовал мокрому стеклу, делал сообщение осенней непогоде. И всё же это был внушительный голос, поставленный, голос диктора радио или телевидения. И одет был Анатолий Константинович почти что неприступно и в то же время соответственно своему положению интеллигентного учителя, со скромной надеждой на лучшее и даже не без вызова, как кому-нибудь могло показаться. На нём был серый, в небесно-голубую ёлочку костюм, белую сорочку с блестящими запонками украшал галстук со сдержанным оттенком синего в косую белую линейку. Голова была занята блестящими чёрными волосами, благообразно приподнятыми в модельную стрижку с округлым чубом и выверенными бакенбардами. Что-то подобное мы могли наблюдать разве что в парикмахерской, на рекламных фотографиях симпатичных молодых людей, развешанных на стенах мужского зала, в ожидании того момента, когда нас позовут на канадку или полубокс. Анатолию Константиновичу было уже под сорок, наверное; ему можно было иметь волосы, а нам нет.

— Куст ракиты над рекой... — продолжал он как-то насильно. Пятерня судорожно раскрылась, как цветок, охотящийся за насекомым, о котором нам рассказывали на уроке ботаники, и снова сомкнулась. Раньше он нас спрашивал «записали?» или «успеваете?», но теперь ничего этого не было. Несмотря на свой благополучный внешний вид, Анатолия Константиновича явно что-то тяготило. Ну не аккордеон же, в самом-то деле?

— Край родной, навек любимый...
Дождь всё так же безнадежно сеял, его за нудная мелочность обещала продолжительное ненастье. Сбоку можно было увидеть на пря-

жённое лицо Анатолия Константиновича, его стеклянный взгляд, ушедший в бесконечную и монотонную октябрьскую пелену.

Он сжал запястье и выдохнул:

— ... Где найдёшь ещё такой.

Мы всё записали до конца, до самого последнего слова. Но что дальше? Как мы будем петь без аккордеона? Или не будем?

В той злополучной истории с аккордеоном мы не были виноваты. Вернее, виноват всегда был один из нас, тот, кто всегда и устраивал всяческие каверзы. Он мог обидеть кого угодно в классе, устроить драку. Он не был сильнее, он был просто наглым. Наверное, мы его побаивались. Его выходки и наплевательское отношение ко всему оживляли школьные будни. Мы были сторонними наблюдателями, когда это не касалось нас, и, стало быть, поддерживали его.

Урок был самым обычным. Но что-то сошлось в этот раз не в ту сторону, образом скандальным, — Анатолия Константиновича оторвали от занятий, на минуту вызвали в коридор. И тут любитель выходок учинил ещё одну: вдруг выскочил из-за парты, подхватил со стула аккордеон и запихнул его в нишу вдоль стены, предназначенную для нашей одежды, под куртки и плащи. Наскоро прикрыл створки раздевалки, метнулся обратно, теперь к окну, распахнул его настежь и наконец уселся на своё место, шмыгая носом и деловито записывая что-то в тетрадь.

Когда Анатолий Константинович вернулся в класс, он увидел, что окно открыто, потом заметил, что аккордеона на месте нет. По его разом изменившемуся лицу можно было понять, что он связал исчезновение инструмента с широко раскрытым окном. Он прошёл мимо учительского стола к окну и даже выглянул из него наружу, клонув на приманку. И тут же за его спиной раздался короткий хохоток: это не выдержал виновник безобразия. Анатолий Константинович мгновенно обернулся, сверкнув бешеным взглядом, и встретился с нашим настороженным молчанием; мы уже сообразили, что ввязались во что-то нехорошее. Он даже не стал интересоваться, кто это сделал и что тут произошло, — он просто сказал:

— Я иду к директору. Больше я с вами заниматься не намерен.

Потом пришла не директор, а завуч, и принялась нас стыдить и взывать к нашему разуму.

— Вы уже в четвертом классе, ну разве можно так поступать? Что же вы, ребята, Анатолий Константинович один из лучших наших педагогов.

Вот это слово «педагог» нас смутило. Если бы она сказала «учитель», мы бы её и не услышали. А «педагог» — это было серьёзно, это меняло всё дело; нас словно придавили чужой ответственностью, так что нам только оставалось вытянуться в струнку, что мы незамедлительно и сделали, окружив стол, за которым сидел вернувшийся и обиженный Анатолий Константинович. Ходили слухи, что раньше он крепко выпивал, за что и был уволен с прежней работы, и вот вдруг «один из лучших»! Ну как тут было не беспокоиться!

— Ну, Анатолий Константинович, простите нас, — начали мы поодиночке, вразнобой, всё более проникаясь каким-то странным чувством, сила которого только возрастала из-за несговорчивости Анатолия Константиновича.

— И не уговаривайте меня, не надо. Вы так ко мне относитесь, как... — он недоговаривал и вытягивал лицо в непроходящую обиду. Но мы не отступались: «Ну, Анатолий Константинович», — блажили все на один нестройный и фальшивый лад, тянули жалостливо и тоскливо, притом, что сзади, напирая, уже толкались и кто-то смеялся. Но он, казалось, ничего этого не замечал, он на нас и не глядел, он только слышал, что его просят остаться, — нет, даже не так, его упрашивают, умоляют. Погружённый в свои переживания, он не знал этого школьного спектакля, потому что в нём не играл, — играли с ним.

— Ну, Анатолий Константинович...

Уже и аккордеон занял своё место, неудавшаяся шутка закончилась, а он всё упрямылся, мотая головой, и его красивый дикторский голос, однажды предательски дрогнув, теперь непоправимо скрипел.

На помощь нам пришла завуч, она возглавила наш безнадежный хор. Анатолий Константинович наконец посветлел лицом, его глаза увлажнились, и он согласился под наши крики «ура!».

Песни мы теперь не пели, мы записывали в тетрадь слова. Надутый аккордеон впустую тяжелил стул. Анатолий Константинович стоял у окна и смотрел куда-то сквозь росчерки дождя. Они не знали друг с другом.

Случилось что-то важное, и ничего нельзя было вернуть обратно. Мы догадывались, что дело не в нас, а в чём-то другом, о чём мы не имеем никакого представления. Но кто бы мог себе представить, что произойдёт дальше?

Закончилось всё это зимой. Просто однажды урок не состоялся. Потом мы всё равно узнали, почему больше никогда не увидим Анатолия Константиновича. В учительской оживлённо шептались, — так мы выяснили, что Анатолий Константинович повесился. Как? Почему? Ничего не было известно, кроме того, что произошло это у него дома. Он и жил один. Мы-то о нём вообще ничего не знали, кроме его имени.

Весной к нам пришла Жанна Васильевна, жизнерадостная и общительная блондинка. Она сообщила нам, что отныне мы будем заниматься в специально оборудованном музыкальном классе, куда и предложила тотчас всем перейти. Когда мы спускались по лестнице на первый этаж, мой сосед по парте, почувствовав перемены, спросил у новой учительницы музыки:

— Жанна Васильевна, а можно мы разучим

песню «Травы, травы, травы не успели». Её Геннадий Белов по телевизору поёт, она такая красивая!

Жанна Васильевна сначала согласилась, а потом, задумавшись, вдруг сказала:

— Нет, наверное, мы эту песню не будем петь.

— Почему?

— Знаешь, там слова дальше... — она замялась, её щёки окрасил лёгкий румянец.

— Какие?

— «И от поцелуя, — она тихонько запела, — и от поцелуя словно захмелею...» Нет-нет, это мы не можем петь.

Когда мы наконец вошли в новый класс, то увидели портреты композиторов на стенах и чёрное пианино в углу.

Едва мы расселись, Жанна Васильевна принялась диктовать нам слова новой песни.

— Ты только будь, пожалуйста, со мною, — уверенно декламировала она, — товарищ песня, товарищ песня... Записали?

— Да, — дружно ответили мы.



Виктор Николаевич НИКИТИН

родился в 1960 году в Москве.

Окончил Воронежский инженерно-строительный институт.

Прозаик, драматург, критик.

Печатался в журналах «Москва», «Звезда», «Наши современники», «Октябрь», «Подъём», «Сибирские огни», «Русское эхо» и других.

Автор двух книг прозы: роман «Исчезнут, как птицы» (2007)

и сборник рассказов «Игра с незнакомцем» (2013).

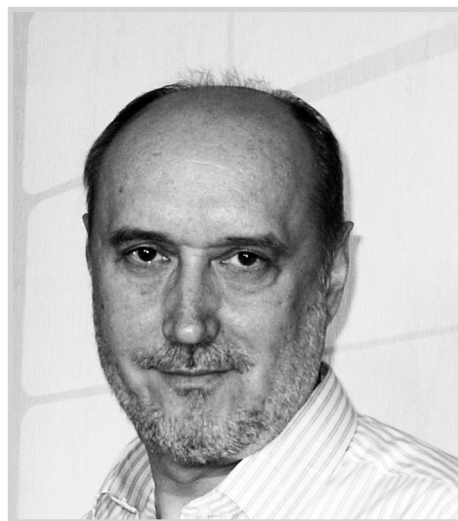
*Лауреат премии «Русская речь» журнала «Подъём» (2003, 2012),
двух премий портала «Русский переплёт».*

Член Союза писателей России.

С 2015 года работает редактором прозы журнала «Подъём».

Живёт в Воронеже.

В журнале «Север» публикуется впервые.



Галина ЛАХМАН

г. Санкт-Петербург



рассказ

Как пригревает солнце! Дурманит и Копьяняет воздух! Звонящей капелью, вороньим граем, мартовскими котами на оживающих черных ветках в окна врывается весна!

Утро, ощущение надвигающегося конфликта. Неотвратимый, как наказание, приближающийся срок заказа.

— Если через неделю чертежи не будут лежать у меня на столе!.. Если к концу дня не увижу приемлемых эскизов!..

С шумом хлопает входная дверь, руководство отбывает на совещание. Общее оживление при отсутствии надзора, считалочка-выбор для похода гонца в близлежащий магазин.

В самом дальнем углу мастерской скрыт за ширмой приспособленный под чаепития журнальный столик. Здесь обсуждают дела насущные, отмечают праздничные события, плачут в жилетку и бездумно проводят время, когда не идет работа.

Не успели оглянуться — уже обед. Скисли, разбредаемся по своим местам, утыкаемся в мониторы. Рабочий энтузиазм плавится под лучами солнца, растекается лужей нежелания что-либо делать. Хватануть бы полной грудью весенний воздух, впасть в нирвану, анемичную физиономию подставить ласковому солнечному лучу!

— Ну ее к черту, эту работу! Пойдем погуляем, проветримся, прошвырнемся! Глотнем настоящего, свежемолотого, только что сваренного кофе.

После больничного — с ног сбивающее

известие: у Кирилла через неделю свадьба. Он увольняется и уходит в другую организацию, а на вакантное место взяли новенького.

Ну и чучело! Не верю своим глазам. Черная бандана, ботинки на крепком высоком ранте, черные, обтягивающие фигуру джинсы. Из-под черной вытертой кожаной косухи скалится с футболки веселый череп. Тату в виде небольших молний, идущих от уха к шее.

Эта символика мне знакома: байкерскую организацию «Ночные молнии» пресса и телевидение вниманием не обходят. Вот, оказывается, чей грязный байк примостился между иномарками моих сотрудников.

За моим компьютером, на моем месте развалился, чувствует себя как дома. Спинка кресла расшатана, у ножки отскочил ролик. На заляпанном блюде подаренная Кириллом чашка примостилась на самом краю стола. Раз! И по параболе взлетает в воздух, падая осколками у моих ног.

Наглая улыбка от уха к уху.

— Эка невидаль — чашка с Климтом! Пока твой приятель не освободил место, разрешили пристроиться на твоём. И чего так паяльничать на мой прикид?! Из-за путинского приезда после дачи не смог попасть домой — вот и не переоделся.

Появившееся начальство выливает новый ушат воды: разработку проекта, начатого Кириллом, мне придется завершать с новеньким.

Что и говорить, предсвадебная неделя для меня испытание не из легких. На меня Кирилл старается не смотреть, да и я держусь от него подальше.

Валится все из рук, знобит, выше сорока подскакивает температура. Настоятельно советуют лежать, пить пилюли, полоскать горло — однокурсникам-то не придется объяснять своего отсутствия на свадебной церемонии.

Словно рыба в воде, освоился в коллективе, в отношении меня в него словно вселился бес! В экзерсисах Гордеева фигурирую как постоянный объект насмешек. И за каждое решение у нас война!

Скука, кома, коллапс, паралич мысли! Зацепиться не за что, бесплодные творческие потуги. Вряд ли стоит надеяться, что к концу дня в голове появится стоящая идея.

— И видуха, надо сказать, у тебя, Хип-па! Налицо кризис мысли и кризис духа. Ну, какой прок тупо, без толку просиживать штаны? Пригубим на свежем воздухе глоток свободы — глядишь, проклюнется какая-нибудь идея.

С легкой руки Гордеева идиотское прозвище Хип-па сразу намертво ко мне прилипло. Чтобы преодолеть застенчивость и научиться легко и свободно двигаться, хожу в вечернюю школу танцев.

— Еще раз назовешь меня Хип-па!.. Просто не представляешь, что я с тобою сделаю! И отстань от меня со своим хип-хопом! И продвинутые сегодня танцуют локинг!

— Надо же, разбираешься, Хип-па! Не злись! Ну, хочешь, станцуем вместе?!

Как назло, Гордеев не только гонщик, танцы его основное хобби. В Интернете размещены клипы, где Гордеев танцует с Римантасом и Фиделем.

— На какие шиши собираешься прошвырнуться?! Часть работ отложена на неопределенный срок, а заказчики просят отсрочить выплаты.

— Не бери в голову, Хип-па! На широкую ногу, естественно, шиковать не будем! Пообедаем, выпьем кофе, конечно, в долг! Не журишь, в округе меня каждая собака знает!

— А вернется и не застанет — и что потом?!

— Напрягись, пораскинь мозгами, или у твоей извилины отсутствует нужный прогиб? Дел сегодня ну просто невпроворот. К концу дня ну никак не обернется!

Хорошо бы так! Но начальник совсем не прост, всем известны его повадки: объявить, что будет отсутствовать весь день, и прийти на работу к ее началу. До конца рабочего времени явиться минут за пять с исключительной целью удостовериться, гибнут ли в муках у своего станка, а не раньше времени по домам слиняли трудяги-карлы?!

Парусником свободы лифт отсчитывает этажи. Негодующий вопль вахтера, выстрел хлопающей входной двери, обжигающий, пьянящий весенний воздух.

— Навигатор! Куда мы все-таки держим путь?!

— За углом недорогое кафе с хорошим кофе!

И Кирилл, и Гордеев — один типаж, одного возраста, одного роста. Но Кириллу подобное и в голову не могло прийти, у него, в отличие от Гордеева, твердые правильные установочки: на работу — вовремя, с работы — исключительно по звонку. Сдержанный, воспитанный, корректный.

Не остановить — завелся! Господи, он же с ума сошел! Посещение ресторана обойдется нам в месячную зарплату. Кормят-поят, в особую тетрадку заносят долг. Вновь по кругу: расплатимся, как только — так сразу.

Чувствую невиданную раскованность и подъем. Вот уж правда, пьяному море по колено! Откупоренная бутылка шампанского переходит из рук в руки.

Начинает горланить пиратский гимн.

— Йо-хо-хо! Йо-хо-хо! Пятнадцать человек на сундук мертвеца и бутылка рома!

В Городском комитете по архитектуре сегодня приемный день, носом к носу сталкиваюсь с бывшими однокурсниками. Изумленно-чопорно отвешивают поклон, тесен мир — работали с Гордеевым в одной конторе.

— Что, пай-девочка, скомпрометировала себя? В дурном обществе, то есть со мной, в обнимку! Ну, Хип-па, затягивай, подпевай! А еще лучше — давай станцуем!

«Пусть город знает, с кем он тусует! Где лучшие подруги? У нас в клубе! Где самые красивые девочки? У нас в клубе!..»

Подражая Тимати, пританцовывает вокруг меня.

На Большой Конюшенной тусуются вокруг человека в черном. Боливар, тросточка, щегольской сюртук, лакированные на каблуках ботинки. Артистично жонглирует перчатками и цилиндром, виртуозно и ловко бьет четку. Неожиданно подлетает к нам, предлагает танцевать вместе.

«Пусть город знает, с кем он тусует! Где лучшие подруги? У нас в клубе! Где самые красивые девочки? У нас в клубе!..»

И хотя уроки танцев не прошли даром, праздник жизни настойчиво отравляет мысль: на работу не мешало бы и вернуться.

Плохо так, что даже не шелохнуться. Слово налитую свинцом голову от подушки не

оторвать! Разбудить некому, родители в отпуске и с собакой живут на даче. На работу опаздываю минимум часа на два.

Дверь в кабинет начальника открыта настежь. Ясно: за вчерашнее разбирок не избежать.

— Хватит играть в молчаливых, будто бы в рот воды набрали! Хватит сверлить глазами пол!

Оторопь берет, неужто было? Нагрубили дежурному?! Устроили пьяный дебош на вахте?! Что там я, Гордеев и тот почти ничего не помнит!

— К чертовой матери! Выгоню! Уволю! Вот погодите, сдадим заказ, вот и заплаете, когда разберемся с вами!

Трудовые будни проходят под знаменем немислимых трудовых свершений, не разгибаем спин, не отрываем от мониторов глаз. Под неусыпным контролем злобствующего наставника без препирательств и возражений работаем в выходные.

Стахановцы! Злобины! Паши Ангелины! Первопроходцы! В мастерской ни души, а мы на рабочем месте. Все гурьбой по домам — остаемся за производственными станками.

Ситуация складывается как нельзя лучше: после споров и препирательств приходим к единству взглядов, договариваемся с заказчиками о переносе сроков.

Не прочь раскошелиться и увеличить сумму. Сыплют лстивыми похвалами, с удовлетворением потирают руки, заграничными имплантатами улыбаются во весь рот.

— Пусть это послужит для вас уроком! Выкинете хоть раз что-нибудь подобное — уволю!

В наимрачнейшем расположении духа сую в бумажник полученный гонорар! А вот Гордеев умеет держать удар, никто и не скажет, что он расстроен.

— Хип-па! У меня для тебя сюрприз: идем сегодня смотреть «Служанок».

Подумать только, действительно, сюрприз! У Виктюка гастроль всего неделю, из-за «Служанок» в городе настоящий бум.

Хотя до спектакля еще полтора часа, несемся домой к Гордееву, он в спешке забыл билеты!

Как две капли воды похожая на него девочка по-гордеевски язвительна и языкаста. Не спускает с меня любопытных глаз, отпускает

колкости и насмешки по поводу новой пассивности ее брата.

Черный с рыжими подпалинами зенненхунд следует по пятам за своей хозяйкой! Надо же, у нас собаки одной породы! Предлагаю в ближайшее воскресенье вместе с четвероногими прогуляться в парке.

Из-за спины показывает сестре кулак, недовольно цедит: по выходным занят. В качестве попытки сгладить возникшую неловкость предлагает выпить по чашке кофе.

Раз! И бурое пятно расплзается на голубых джинсах. Весело рассказывает сестре, как расколошматил вдребезги мою любимую чашку с Климентом.

Что и говорить, спектакль — сплошной восторг. Зал неистовствует, актеров долго не отпускают. После театра берет такси и расплачивается за меня с шофером.

— Не опаздывай, числимся в штрафниках. Бегу прогуляться с меньшим собратом.

И опять наваливается тоска: вот Кирилл, конечно бы, проводил до дома...

День за днем провожу в хождениях по отделам, по замечаниям смежников корректирую чертежи.

— Где ты бродишь! Стоит тебе уйти — тут же наведывается Облезлая Обезьяна.

Кирилла Гордеев на дух не переносит, не упускает случая пройтись на его счет. Придирки Гордеева меня изводят, не покидает чувство, что он прокатывается и в мой адрес.

— С чего вдруг все время пытаешься его достать? А может, ты просто ему завидуешь?

Снисходительно смотрит сверху вниз, я на целую голову ниже ростом.

— Ну, знаешь ли, ты даешь, Хип-па! С чего мне собственно ему завидовать? Большой успешности за чужой счет или большой любви за большие деньги? — подражая диктору, меняет голос: — Единственная наследница ресторанной империи Тонконоговых сочетается браком с молодым преуспевающим архитектором. По словам талантливого избранника, разница в возрасте в пятнадцать лет не преграда большой любви.

Что тут говорить, умелый двойной намек: и внезапная свадьба, и затеянная против меня

Кириллом тяжба. Неожиданный для меня сюрприз — спроектировать гостиницу в историческом центре города. Рассушивать некогда, необычайно короткий срок, и Кирилл под завязку задействован на другом объекте. Мы проектируем с Кириллом в паре, поначалу разрабатываем каждый свою идею, затем варианты сравниваем, лучшее объединяем. Выросшие за спиной крылья подрезает припасенная к бочке меда изрядная ложка дегтя! Ходят слухи, тандем с Кириллом прикрывает мою творческую несостоятельность. Закусив удила, работаю не покладая рук.

Будто здесь и был! Придуманный мною домик органично вписывается в окружающую застройку. Без особых усилий получаю согласования нужных ведомств, в комитете по архитектуре с одобрением и разрешением на строительство прохожу Совет. Муза накрывает меня крылом, с мастерской подписывают договор на дальнейшую разработку. И теперь часть сотрудников, Кирилл и я в поте лица ломаются над заказом.

Раз в году Союз архитекторов объявляет развернутый смотр-конкурс. Ставка в этот раз достаточно высока — победитель едет во Францию на биеннале.

Подготовленные к конкурсу фотографии лежат на моем столе, но до оформления никак не доходят руки. Ломит тело, течет из носа, словно засыпанные песком, глаза слезятся. По закону подлости, на пике занятости сваливаюсь с жесточайшим гриппом.

— Не надоело чахнуть, пора вставать! С тебя причитается, всем натянула нос! Порвала соперников, как тузик грелку!

Новость сногшибательная — еду на биеннале! Гордеев, ни слова не говоря, оформил и выставил на конкурс мои подрамники.

После визита в клинику к лечащему врачу с бутылкой шампанского и купленным в «Севере» шоколадным тортом решаю незамедлительно отправиться на работу. Негласное правило мастерской — проставиться за творческие успехи.

В углу за ширмой бушует накал страстей — оказывается, Кирилл с сотрудниками оспаривает авторство моего проекта.

Желающих поучаствовать в разбирательстве набирается полный зал. Бесстрастное выступление руководства по поводу творческого конфликта, затем наступает очередь противоборствующих сторон.

— Ни одного самостоятельного проекта, она всегда работает со мной в паре!..

Все плывет, я даже не различаю лиц, не хватает воздуха, бьется толчками сердце. Много лет нас дразнили, что мы не разлей вода. Кто бы мог подумать — я этого парня совсем не знаю!

«Пятнадцать человек на сундук мертвеца...» Десять авторов — на один объект. Дом придуман и разработан мной одной, на больничном пришлось дорабатывать фасады. На меня накатывает чудовищная усталость, совершенно не узнаю свой голос:

— Сколько авторов: один или один десяток лиц — для меня не важно, главное: гостиницу построят.

Публика разочарована, спектакль не удался, не борюсь за авторство, и показательного судилища не будет. Ощущение — будто вывалили в грязи. Вот тебе и поездка на биеннале!

Гордеев крепко держит меня за локоть, предлагает наведаться в тепленькое местечко.

Музыка грохочет на всю округу. Молодежь у входа теснит охранников. Клуб «Железка» — модный престижный клуб, и туда невозможно достать билеты.

Металлические перфорированные листы на стенах. Металлические лесенки с площадками на разных уровнях. Необычно и очень удобно для разных шоу, по приему схоже с Перовской библиотекой!

Римантас и Фидель, лидеры отечественного брейк-данса, вместе с Гордеевым устраивают сумасшедший батл.

«Где самые красивые подруги? У нас в клубе! Где самые красивые девушки?! У нас в клубе...»

Клуб популярен у городских байкеров, и среди присутствующих полно мужиков в косяках. Председатель клуба «Ночные молнии» Врачеватель вклинивается в круг танцующих, вместе с ними начинает танцевать джигу. Кто бы мог подумать, четверка — закадычные друзья детства!

От поклонниц Гордеева и здесь никуда не скрыться. Окружают кольцом, целуют, вешаются ему на шею. Оттирает меня плечом, пытается составить пару — на Гордеева Соня имеет виды. Все бы ничего, но до чего же классно она танцует!

С ревом рвущего тишину байка ранним утром подвозит меня к подъезду. Взбеленившись соседи высовываются из окон, утром будут судачить и перемывать мне кости.

— Должен сказать, ты только не обижайся! Танцы, Хип-па, не твоя стихия!

Человеку, такого же, как и у меня, роста, просит помочь купить в подарок велосипед. Удивляюсь: велосипед! Не стринги для стриптизерши Сони?

Пропускает саркастические насмешки мимо ушей, говорит, что надо поторопиться. Ярко-синий легкий складной красавец тотчас решено доставить по назначению.

Пахнет чем-то невообразимым: скишей капустой, собаками и котами, детскими пеленками, молочной смесью.

Лет пятнадцать, может, немного больше... Причитает: ее мечта наконец сбылась. От подарка просто захлебывается от счастья. Одутловатое бесформенное лицо, толстая шея, блуждающая улыбка, под набухшими веками — широко посаженные глаза. Страшная вещь генетика: ребенок-даун.

Пока хозяйка и именинница накрывают стол, кладет на тумбочку у кровати конверт с деньгами. Видела: по конвертам раскладывал гонорар.

«Молнии» отмечают десятилетний юбилей клуба. Пресса и телевидение захлебываются в гневных выпадах, байкерские мотопробеги — угроза жизни водителям и пешеходам.

Вижу Гордеева только в часы работы. Хмурый, прихрамывает, ладони ссажены, ссадины на щеке и на подбородке.

У Кирилла собственное архитектурное бюро. К нам наведывается довольно часто, более высокой заработной платой соблазняет сотрудников перейти к нему. Каждый его визит — очередной удар по моему болезненному самолюбию. Сколько ни хорохорься — прошлое не отпускает.

— Ну, опять раскисла после визита писаного красавца! Да он просто амеба! Что ты в нем нашла? Хочешь добавить адреналина, взглянуть, как ездят крутые парни?

Пятничный вечер — чего же не согласиться. Белые ночи, светло как днем, в сторону строящегося микрорайона на запретной скорости мчимся по автостраде.

Время позднее, но на трассе полно народу, и число участников и зрителей прибывает. У разметочной черты тусуется знакомая группа байкеров. Настоящий тотализатор, перед каждым заездом делаются ставки.

Маг, Гордеев и Врачеватель — фавориты гонок, основная борьба разворачивается между ними. Среди байкеров у Мага плохая слава, он нечистоплотен в достижении своих целей.

Страсти накаляются. Заезд и еще заезд! Маг намеренно подрезает идущего впереди соперника. Потерявший управление мотоцикл взлетает в воздух, гонщика выкидывает за обочину дороги. Зрители стремительно разбегаются по машинам. В числе первых Маг уносится на своем байке.

— Не хочу тебя больше знать, придурок! Ради денег так рисковать жизнью?! Ты же архитектор, зачем тебе эти гонки?!

Серые крапчатые глаза наполнены ледяным блеском.

— Деньги — это жизнь и, как ни странно, решают все! Нам, ты знаешь, не слишком платят.

Никаких контактов, общение исключительно по работе. Почерневший, осунувшийся, с ввалившимися глазами говорит по мобильному телефону:

— Перевели из реанимации в палату, на Германию и операцию теперь хватает.

Пятница — короткий день, через час — звонок — и мы на два дня свободны. С заговорщицким видом в коридоре преграждает путь.

— Не слабо, Хип-па?! Я все-таки сделал Мага! Давай вечером оттянемся на всю катушку!

Пачка стодолларовых, навскидку — так тысяч пять. Стиль Гордеева — очередной розыгрыш. Это только с виду солидная сумма. Сложенные наподобие пресловутой куклы доллары достоинством в единицу прикрывают с двух сторон стодолларовые купюры.

— Где лучшие подружки? У нас в клубе! Где самые красивые девушки? У нас в клубе! Ну, Хип-па! Давай завалимся вместе в клуб. Пропоем осанну удачным гонкам!

— Не получится, меня ждут на семейный ужин. И вообще, я тебя не желаю знать, придурок!

Закрутили гайки, выдали магнитные пропуски, посетителям мастерской установили дни и часы приема. А до этого у нас постоянно толпились девушки.

Факты налицо: Гордеев не пуританин. Плевое дело — на улице завязать знакомство, мимоходом вскружить голову очередной даме.

Пятница — официальный приемный день, посетители свободно минуют вахту. Норковый полушубок, высоченные каблуки, ноги от ушей, колготы со стрелкой в сеточку. Гибкая, наглая, эффектная, лучшая стриптизерша в центральном клубе. Выбранную жертву нацелена порвать в куски.

— Я беременна от тебя, Гордеев! Не отвертись, обязан на мне жениться.

— Уморила! Ну, ты даешь! Да с какого-этого перепугу?! Если и беременна, то точно не от меня. Я за безопасный секс, конечно же, против СПИДа. И без этого в супружескую кровать не лягу.

Серебристую шуршащую упаковку достает из внутреннего кармана. В верхнем ящике гордеевского стола вперемешку с ручками, скрепками и карандашами свалены пакетики и коробочки с кондомами.

— Не надоело бессмысленную комедию ломать?! У меня ребенок, и я женат. Поищи-ка лучше другую пару!

Шок у Сони и у меня — да у всех! Я же этого ничего не знала.

— Ну, женат, по глупости, не по любви! Десять лет как числюсь в законном браке. Все из-за того, что чокнутая, как ты, Хип-па, вышла замуж за моего друга! Ночь гудел, очнулся, не понял, куда попал. Девочка скукоженная, ревет белугой, причитает, папаша ее убьет, что у них в семье с этим делом строго. Дальше догадываешься?! Как порядочный гражданин — марш Мендельсона, кандалы Гименея! Зарегистрированы, живем раздельно, в выходные — воскресный папа.

«Эх, мама-мама, я схожу с ума! Ее улыбка самая прекрасная...»

— Что-то я не понял тебя, Хип-па! Ты ведь так и сохнешь по недоделанному красавцу?! Не передумала, а то пойдем?! Отпразднуем день откровенности и все такое!

Никого не впускаю в комнату, в выходные не выхожу из дома, просматриваю страницы и сообщения желтой прессы.

На приеме — в дорожном костюме, шикарном платье; в белоснежной рубашке и модных шортах — Кирилл с Амалией на Сейшелах. А еще недавно в накомарниках и резиновых сапогах мы месили грязь по дороге на Кено-озере. И хотя Сейшелы не Русский Север, но Кирилл совершенно не выглядит счастливым, и Амалию красавицей не назовешь.

— Телефон надрывается, возьми же наконец трубку! Звонит с поручением твой начальник.

С утра отправиться на Гражданку забрать чертежи, размножить и отвезти на стройку! Не слушает возражений, прощается и кладет трубку.

Родители неожиданно закатывают скандал.

— Молчим, но устали от твоих подвигов! Едва не умерли от стыда! Знакомая с Гордевыми сотрудница встретила вас на Невском!

Ты хоть знаешь, какая у них семейка?! Сынок-шалопут, у отца — внебрачная дочка-

даун. Как сорняк, папаша на содержание за всю жизнь не дал ни одной копейки. Глаз да глаз бы, так нынче недоглядели, прямо во дворе на велосипеде ее сбил КамАЗ. Остынь! Одумайся! Что на тебя нашло? Совсем потеряла голову? Держись от него подальше!

В мастерской появляюсь только после обеда. Компьютер выключен, Гордеев отсутствует на рабочем месте. В кафе сотрудники кадастрового отдела при виде меня понижают голос.

— Каких-то двух девушек пригласил в кафе. Имел при себе солидную пачку денег. Причину гибели пока что не установили... Одни говорят, что в крови обнаружили клофелин, другие — якобы накурились спайсов.

Скорее всего, все досужие разговоры. В последнее время он мало спал, ночами участвовал в гоночном тотализаторе. И, что удивительно, правил не нарушал. Наемный придурак футбольного клуба оставил без аvariек разбитый автомобиль.

Кто б мог подумать, что клуб «Железка» не чье-нибудь, а гордеевское творение.

«Эх, мама-мама, я схожу с ума...»

□

Галина Иннокентьевна ЛАХМАН

родилась в г. Магнитогорске.

Окончила архитектурный факультет Института живописи,

скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина

при Российской академии художеств.

Член Союза архитекторов России.

Пишет стихи, прозу.

Автор поэтического сборника «Солнечные сети» (2010).

Публиковалась в периодических изданиях,

в том числе в журналах «Изящная словесность», «Нева».

В журнале «Север» публикуется впервые.



1

Иван ТЕРТЫЧНЫЙ

г. Москва

— Веришь ли? Я никогда по доброй воле не вспоминал о ней почти вовсе, — говорил он, опираясь руками на перила плавучей веранды, увлекаемой буксиром от набережной к песчаному острову посредине Амура, где в жаркие дни любят отдыхать горожане. — А если мельком и вспоминал, то один раз в десятилетие, в связи с чем-то.

Он помолчал, глядя на широкое течение воды, и снова повернул ко мне наклонённое лицо.

— Хотел бы я её увидеть теперь? Не знаю. Вряд ли... Скорее всего, она очень изменилась, по крайней мере внешне. И попытаюсь увидеть, разглядеть в заматеревшей женщине семнадцатилетнюю девушку, услышать её голос — тот самый голос! — дело заведомо провальное. Или я не прав, земляк?

Он поднял голову и внимательно посмотрел мне в глаза.

2

Признаюсь как на духу: люблю путешествия. Тяга к временной перемене мест живёт в душе с юности; увидеть новые земли, новых людей, не известные тебе большие и малые селения, услышать другой говор, уловить, почуять иной ритм человеческого бытия — не счастье ли?

Нравились и нравятся до сих пор путешествия разного рода: и пешие, и автомобильные, и водные, и железнодорожные... Что же касается путешествий космических, о которых слышны пока что только общие рассуждения, то отвечу априори: безжизненные пространства не манят меня ничуть. Хотя, возможно, для иного астронома перемещение в космосе — предел мечтаний. Что ж, каждому — своё...

Однажды нежданно-негаданно очутившись в городе, вольно раскинувшемся на высоком берегу Амура, неторопливо оглядевшись в нём, я со временем почуял в себе почти neodолжимую тягу видеть и слышать его — пусть изредка, пусть один раз в столько-то лет. И был, думается, в этом странном, почти не объясни-



мом пристрастии один понятный мне мотив: здесь однажды расцвела такая случайная, такая мимолётная и такая нежная влюблённость!

И вот я снова здесь, снова легко вспоминается забытое.

... Мы едем в малолюдном автобусе за город, в просторный сосновый бор, где в одном из его уголков на берегу реки разместился пионерский лагерь, а в нём-то и работает вожатой её лучшая школьная подруга (да и вообще там мировой девичий коллектив), и, значит, нам там будет весело. Так говорит она. И я почему-то ей верю, хотя в каком-то ином случае предпочёл бы нечто более простое, чем шумное детское окружение. Но обещанный пляж (сегодня, как и вчера, и позавчера, неотменимый жаркий день) в часы детского затишья и три бутылки вина в нашей сумке подкрепляют мою веру в её утренний замысел. Что ж, лагерь так лагерь...

... Мы стоим на берегу затона и смотрим на скопище речных судов — и казённых, ждущих, может быть, ремонта, и разноцветных яхт, и каких-то катеров и лодчонок. Моей милой это, вероятно, ни к чему — глазеть на столь пёстрый вид... А я вижу всё это впервые в такой близости... А там вон, за рекой, синее в дымке лесистый хребет, там уже чужая земля, притихшая, присмирившая в последние годы, но оттуда веет настороженным холодком...

Ей нравится её родной город, и она рада, что он мне тоже пришёлся по душе, и это нас роднит. Так говорит она. И я ей верю. Разве я могу ей не верить? Ведь она доверила мне даже себя...

... Мы сидим за столом, увенчанным неяркой настольной лампой, пьём болгарский коньяк «Плиска», закусываем ломтями чуть подкопчённой красной рыбы, вкушаем индийский чай, смеёмся и беспричинно целуемся — нежно, жадно, вволю... Когда мы лежим на диване, горячие, взволнованные, меня почему-то удивляет, что её лицо в темноте кажется белым-белым и почему-то совсем не знакомым; мы вглядываемся друг в друга, понимаем друг друга, а там, под окном, в переулке кто-то никак не может понять, почему же сегодня так рано погас в комнате свет; в стекло то и дело постукивают крошечные камешки; кто-то хочет увидеть её лицо, услышать её голос, но, увы, увы...

3

Ещё раз я увидел берега Амура лет, кажется, через десять и, слегка отдохнув в гостинице после длительного перелёта и смены часовых поясов, особо не раздумывая, тая в душе какую-то необъяснимую надежду, отправился искать Таню. (Если бы кто-то, даже не весьма остроумный, решил охарактеризовать меня в этот час, то тут ему потребовалась бы одна-единственная строка классика: «Влечёт меня неведомая сила...») Точнее говоря, я предполагал, где её можно найти; специальность и работа Тани были связаны с таёжным промыслом, а стало быть, вряд ли она поменяла карьеру, а если даже и ушла с прежнего места, сослуживцы подскажут её новый адрес. На порхающую по градам и весям птичку она вовсе была не похожа: не тот склад характера.

Двухэтажный особняк в тихом переулке я нашёл сразу и постучал в однажды мною виденную дверь. И шагнул в просторный кабинет. За столами, нагруженными объёмистыми папками, сидели, уткнувшись в бумаги, три женщины — две в возрасте и одна молодая. У неё-то я спросил, могу ли я увидеть такую-то, и тут же, спохватившись, сообразил, что, возможно, у неё, у Тани, теперь другая фамилия, всё-таки десять лет — не десять дней; что, возможно, — да какое там «возможно», совершенно точно! — я напрасно явился в этот тихий переулок, в этот занятый делом особняк, в эту просторную, затенённую плотной листвой липы комнату... Что за дикая выходка, братец?

Женщины, те, что постарше, переглянулись и, словно повинясь чьей-то беззвучной команде, встали из-за столов и проскользнули мимо меня в открытую дверь.

Молодая тоже встала и повернулась ко мне.

— Это я...

Я смутился. Я с первого взгляда не узнал её. За годы разлуки без надежды на встречу память как бы перерисовала её облик: тут капельку добавила в лице, тут убавила, лишь оставила неизменно стройной фигуру... После некоторого замешательства я коротко всмотрелся в лицо Тани и бесповоротно признал: да, это она. Карие с зеленцой глаза... знакомые веснушки... полные вишневые губы...

светлые брови... Этот тихий внятный голос — её голос!

— Это я... — повторила она. Ресницы её вскинулись, чуть дрогнули. — Ты? Это ты?

Чистый румянец проступил на её щеках.

На безымянном пальце правой руки я разглядел обручальное кольцо; оно туго обнимало располневший палец и почему-то казалось тусклым, будто блёклая медь.

— Откуда?

— С самолёта.

— А я...

— Таня...

И тут, точно сквозь вялый и туманный сон, до меня дошла отрезвляющая мысль: путь в наше общее коротенькое прошлое и мне, и ей заказан напрочь; есть только сегодняшний день, где мы существуем отдельно друг от друга, и ещё может случиться день завтрашний, где мы можем быть — отдельно друг от друга. Общего будущего — ни дня, ни недели — у нас нет, ему не из чего расти. Трусись? — спросил я себя. Будущего нет, подтвердил разум. И, сдавленные его мёртвой хваткой, чувства, задыхаясь, подтвердили: общего нет... нет будущего...

— А я...

— Таня, мне нужно сейчас идти в институт культуры... К пятнадцати ноль-ноль надо... Позвони, когда освободишься. Или там, или в гостинице буду. Просто позвони и скажи: «Я уже свободна!» Вот... — Я положил на стол визитку с номером мобильного телефона и, шутиливо махнув рукой, шагнул к плотно прикрытой двери.

«...уже свободна!»

«Не слишком ли жестоко, господин гуманист?»

4

Месяца через два после возвращения с Дальнего Востока я оказался в гостях у своего двоюродного брата. Случай для нашего свидания был очень подходящий: день рождения Ивана, круглая дата.

После утреннего чаепития я отправился побродить по городу. Я шёл по просторному

скверу под высоким зелёным навесом пышных лип и клёнов, мимо плакучих ив, мимо цветущих рядов декоративного кустарника, мимо пахнущих скошенной травой газонов... Останавливался, радостно оглядывал ближний мир, древесный и человеческий — лица моих земляков, лучащиеся какой-то особенной мирной красотой, вслушивался в людские и птичьи голоса и понимал, приходил к выводу, что именно в июне можно почувствовать себя счастливым... Райская пора!

Когда я вернулся в знакомый мне дом, стол для праздничного обеда был уже, считай, накрыт усилиями жены брата, Нины, и их взрослой дочери Верочки. Уже в прихожей я слышал голоса первых гостей — мужской и женский. Они о чём-то весело толковали с хозяевами и звучно смеялись, должно быть, после первой рюмочки, «кухонной», вошедшей в обычай домашних праздников (первых гостей поощряют за своевременную явку).

Пришедший ранее прочих оказался сослуживцем брата, а женщина — его женой. Матвей и Марина — так именовали пару — тотчас взяли надо мной опеку и решительно усадили за праздничный стол рядом с собой. Марина о чём-то щебетала с соседкой, а её муж, по-свойски толкая меня локтем в бок, рассказывал о том и о сём, в том числе о приключениях на рыбалке; они с Иваном заядлые рыбаки; всю область исколесили, даже на бывший железорудный карьер ездили, там, на месте добычи полезного сырья, огромный пруд власти соорудили, обустроили чин по чину, зарыбили солидно — рыбаки млеют от счастья!

Я из вежливости поинтересовался у соседа, большая ли у него семья. Матвей ответил тут же, коротко и бодро:

— Маринка да я!

Потом, выпив и закусив, мой бравый сосед решил всё-таки растолковать подробности их семейной жизни. Что, мол, они за одной школьной партой в старших классах сидели, любовь у них была, даже целовались. А после службы в армии Маринка ему почему-то разонравилась, и он женился на другой. А она тоже взяла и замуж за другого вышла. Ну вот так оно всё устроилось. И жили они так и жили. А лет через девять-десять как-то встрети-

лись случайно — и любовь их проснулась, разгорелся костерок.

— Тут-то я и сказал ей сразу: бросай ты свое-го губошлёпа — и давай жить вместе! Первая любовь никогда не ржавеет! Так и сказал, понял?

— А дети у вас в семьях были?

— А то!.. Я свою с сыном к матери переселил, пусть вдвоём воспитывают, они, понимаешь, такие дружные! Сила! А её губошлёп на другой женился, так что дочку Маринину в порядке воспитают. Вот!.. Давай выпьем за здоровье твоего брата. Согласен?

А когда объявили перерыв-перекур, Матвей вывел меня на улицу «подышать кислородом». Я поглядывал на высокие лёгкие облака, на мягкое колыхание деревьев, вдыхал-выдыхал июньский воздух, а мой собеседник продолжал развивать семейную тему.

— Приходим вечером с работы, садимся ужинать, стопочки по три-четыре примем, валлимся на диван — и давай песни петь! Или телевизорключаем... А потом — на боковую! Обнимемся крепко и спим. Ничего нам не надо! Счастье! Понял? Вот так...

5

Я уже заканчивал гостевание у брата, загорелый, с сияющими глазами, напивавшийся воздухом родины, когда позвонил на мобильный тот самый знакомый, с которым мы вместе одолевали водную ширь Амура на плавучей веранде.

— Сейчас я в поезде, подъезжаю к нашему областному городу, пересеяду на электричку — и в тихий-тихий городок Свободу. Помнишь, я его упоминал в разговоре?

— Помню. Как же!..

— Может, когда-нибудь увидимся? В Москве, допустим...

— Зачем — когда-нибудь? Через полчаса я встречу тебя на вокзале, вот и увидимся. Посидим в кафе, поговорим. Годится?

— Не ожидал такой приятной засады, не ожидал...

6

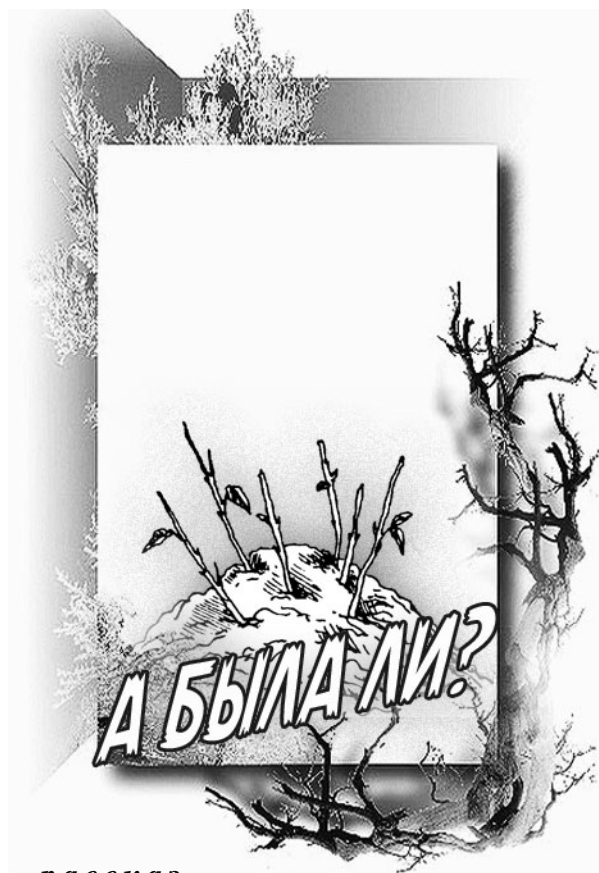
— **Н**у вот, земляк, летел-летел я на самолёте, смотрел вниз через окошечко на облака... они снежную пустыню изображают... на извивы больших рек, горных хребтов... жилья человеческого почти не видно... большей частью видишь прямые линии — просеки, где проходят линии электропередачи... И вот глядишь на всё это и думаешь не о небе, не о солнце и луне, не о звёздах и прочем, что на высоте, — а о земном думаешь, о тех, кого любил и любишь, о памятных детских кострах на склоне холма, об ушедшей в мир иной родне, о стрекозах у летней речки, о зимних зорях, о первых скворцах в марте, когда под ногами хрустит ледок... Да что я тебе об этом рассказываю! Сам, небось, такое представляешь... В одной природной печке шла наша закалка! Давай выпьем за это!

Мы ещё раз приветствуем друг друга глотком вина в бокалах, и мой собеседник, лихо отбавив на столе короткую дробь, развивает свою мысль.

— В общем, я понимаю и чувствую так: всё обаяние, вся неохватность, всё господство над тобой земной жизни постигается в небесной выси и, как ни странно, незримая небесная воля — на земле. Конечно, не все и не всегда видят её скромные или грозные признаки... Однако ж...

В свою очередь я рассказал земляку о недавно встреченных в праздничной компании двух, говоря по-современному, мажорах — Матвее и Марине, — дерзко рвущихся к личному счастью, и спросил его, что он об этом думает.

Земляк пристально глянул на меня, вздохнул и поправил на руке часы: до отхода электрички оставалось семь минут.



рассказ

1

Хотя ей было за семьдесят, все — и дети, и взрослые — называли её одинаково: Надечка. Жила она с молодых лет при семье брата в темноватой каморке с тусклым оконцем, выходящим в сад, безропотно сносила покрикивания невестки, толстой и горластой женщины, а то и приглушённые укоры братца, заметившего её явные или мнимые оплошки в быту.

Племянников у Надечки было трое — Петя, Андрейка и Коля — и всех она опекала по-матерински, но особо — Колечку, крепкого паренька с большой головой, плотно покрытой жёсткими серыми кудрями-колечками. «Аполлон... Русский Аполлон!» — приговаривал учитель-историк, всякий раз удивлённо глядя на входящего в класс ученика Бородина. Младшенький, в отличие от вспыльчивых и грубоватых братьев, рос весёлым и добродушным да и к тому же наделённым начальной бо-

гатырской силой, и, потому, наверное, его уважали и старшие ребята, и сверстники, и соседская малышня. Вот он-то и созывал взмахом руки в полдневную или вечернюю тень палисадника желающих: давайте, мол, побыстрее, сегодня Надечка будет сказки всякие рассказывать — страшные и грустные, народные и собственные, предания и библейские истории... Напевные сказания часёнко длились до самой темноты, когда уже пора было отправляться спать. Время от времени Надечка прерывала свою речь угощением: взваром из сушёных яблок и груш да извлечёнными из старинного сундука разноцветными леденцами и мятными пряниками.

В тёплую и светлую пору суток её тёмная худенькая фигурка маячила или в огороде, куда она устремлялась после заутренней службы в церкви, или у тесно составленных в ряд хозяйственных построек: кормила-поила домашнюю живность, убирала из закутков навоз, раскладывала свежую подстилку — лежалую солому или опилки... Зимой и поздней осенью огород сам собой выпадал из круга её каждодневных забот; другие дела, казалось, сами находили Надечку в стенах дома: журчала швейная машинка «Зингер», мелькали в руках вязальные спицы, широко пласталась на крашеном полу мокрая тряпка, двигаясь с изгибом: вправо-влево, влево-вправо; шар-р...шар-р... шлюк... шляк...

Не желая смущать своим неловким присутствием семью брата, Надечка питалась отдельно: готовила еду на своей керосинке в своей каморке, тут же и трапезничала после короткой молитвы. Исключением из этого правила был первый пасхальный день; теперь и она торжественно восседала за семейным столом, розовея некрасивым чистым личиком от праздничной радости: как-никак отстояла всю ночь за божественной литургией, обошла со всеми молящимися крестным ходом Божий храм, принесла в темноте раннего весеннего утра освящённые куличи... Вон они высятся на середине стола в окружении разноцветных яиц; в красном же углу беззвучно трепещет перед божницей огонёк лампадки, неясно отражаясь на серебристых узорах заледенелых окон... И так покойно, так мирно было в этот утренний час, что на глазах у Надечки сами собой выступали слёзы, и она тихонько шмыгала но-

сом... Надечка с удивлением разглядывала родню и не могла наглядеться; задумчиво рассматривал потолок брат Павел, странно молчала, сложив полные руки на животе, невестка, сидели неподвижным рядом присмиревшие племянники... «Какая ж это красота — люди перед разговением!» — дивилась чуду Надечка, и слёзы снова горячо подступали к глазам.

2

— **В**ы по какому случаю так хорошенько выпили, братья-солдаты? Аж покраснели...

Бородины — Пётр, Андрей да Николай — могли бы и не отвечать на неловкий вопрос подпирающего спиной калитку соседа, но остановились и ответили:

— Мы?..

— А случай-то...

— А случай-то у нас законный, дядя Гриша, — заключил ответ братьев Николай. — Десятая годовщина Надежде Васильевне нашей... Понимаешь?

— Какой Надежде? Какой Васильевне? Тёще Андреевой из Пристени, что ль?

— Да ты забыл, выходит, как отца нашего по батьке звал? А у него сестра была...

— Надечка, что ль?

Братья рассмеялись.

— Ну вот и вспомнил!

— Вспомнил!

— А ещё сосед!

Упершись в калитку обеими руками, дядя Гриша оторвал от неё спину и выпрямился. Он хотел пошутить, он хотел сказать что-нибудь весёлое по этому поводу, но слова никак не шли на язык, они, чуть померцав, гасли в тёмных закоулках гортани, и потому вышло наружу только неопределённо-жалобное:

— И-о-о-ы-у...

Сосед огорчённо махнул рукой и поднял вверх прищуренные глаза.

3

После смерти жены — потери жестокой, сокрушающей — Гринёв переместился на пятьсот километров южнее, — из большого города на

малую родину, в старинное село Бегищево. Оставил он обширный шумный город без сожаления: оба сына выучились — один на доктора, другой на инженера-нефтяника, — разъехались по разным краям, обзавелись жёнами. А ему-то что предстояло?.. Осознанно, подсознательно ли решение однажды созрело, и Павел Петрович без колебаний отправился в дальнюю и, скорее всего, предпоследнюю в жизни дорогу...

Несуетливо и даже как-то легко освоившись в знакомой округе, войдя душой и телом в неспешное сельское житьё, Гринёв понял, что он здесь по-прежнему свой, что вновь ожило в разговорах его прежнее, ещё детское, прозвище — Пупеха, что ему, как когда-то, близки слова и заботы, лица заматеревших сверстников и основательно вошедших в года сверстниц, всех земляков, устоявших неведомым образом в тяжкие годы разгрома привычного житейского уклада...

Перед сном, уже в темноте, он коротким движением руки включал радиоприёмник, как бы сам собой примостившийся на тумбочке у кровати, и, вполуха слушая музыку, по привычке перебирал в памяти разговоры в учительской, свои классные занятия, нечаянные встречи на улице, потом незаметно погружался в прошлое, дальнее — дни детства и юности... Бродя воскресным днём по старому кладбищу, заросшему одичавшей сиренью, он вышел на угол нового, оно при нём, тогда ещё подростке, только-только начало заполняться — две или три могилы... Первым здесь упокоился безногий инвалид Мирон — буйан и пьяница, живший у околицы Бегищева в крошечном домишке, крытом соломой. А вот невольной его соседкой стала добрая женщина с его улицы — Надечка. «Надежда Васильевна Бородина», — так гласила кривая двухстрочная надпись, сделанная чьей-то явно неумелой рукой года три, наверное, назад; ржавчина ещё не успела густо выступить на серебристой пластинке... так... мелкие-мелкие рыжеватые точки... может и без поновления год-другой побыть... Но ни эти слабые следы времени, ни кособокая надпись, выведенная чёрной краской, ничуть не портили вид высокого серебристого креста, слово парящего в виду мрачной рощицы других — многих и многих — крестов и оградок; бывшее когда-то новым, робко начинавшимся, кладбище в нынешнюю пору было **з а с е л е н о** сплошь, по

крайней мере отсюда, с угла, взгляд не ухватывал и малой пустующей полянки.

4

Гринёв миновал белокирпичный дом сельской администрации и пошёл вдоль церковной ограды, поглядывая в начало улицы Закурганной. И он не ошибся: без пяти два распахнулась калитка углового дома — и появилась Алевтина Савиненко; ровно в четырнадцать ноль-ноль она открывает после обеденного перерыва продуктовый магазин; по давней привычке она шла мелким скорым шагом, наклонив голову и придерживая левой рукой дамскую сумочку.

Павел Петрович опередил Алевтину, он-то был в десяти шагах от магазина, считай, рядом.

— Привет, Алечка!

— Привет, Паша!

— Как поживаешь, Аля?

Алевтина испытующе посмотрела в глаза и тихо сказала:

— А то не знаешь... Хорошо.

Смугловатое лицо Алевтины было на редкость некрасиво: нос картошкой и широкий подбородок — приговор женщине. Но её глаза... Они с лихвой искупали допущенную природой грубость; они лучились, сияли, в них светилась такая роскошь души, такое недоступное сверстникам движение жизни, что заставляло трепетать перед её взором не одного одноклассника да и ребят постарше — из девятых и десятых... Перед самыми выпускными экзаменами и он в конце концов не устоял под действием её чар, позорно забыв о своей первой любви, и что-то пытался предпринять, но было уже поздно: сердце Алечки, похоже, уже было занято признанным красавцем Вадимом...

— Я вот о чём ещё хотел тебя спросить... Ты помнишь Надечку, тётечку с нашей улицы? Нет?.. Ну, сестру дяди Паши Бородина...

— Нет, Павлик, не помню. Честно.

— А его, Бородина, сыновья приезжают?

— Петя, старший, уехал с женой на её родину, на Север. Спился. Умер. Двое у него сыновей вроде. Андрюша жил здесь. Умер. Спился. Жена с детьми куда-то уехала.

— А Николай?.. Коля?..

— Бывает Коля. Родни у него никакой тут не

осталось. Друзей навестит, на кладбище к отцу-матери сходит — и через денёк-другой уезжает. Вот так, милый Пупеха...

5

Он мог не брать с тумбочки наручные часы, ибо наверняка знал: ровно три часа ночи. Это вот — внезапное странное пробуждение — стало время от времени происходить с ним с той поры, когда он вернулся в Бегищево и поселился в пустующем доме в конце родной улицы (исконное жилище Гринёвых было продано его сестрой, уехавшей к дочери, каким-то переселенцам лет пятнадцать назад). Он как-то спросил соседку Валентину Михеевну о непонятных своих пробуждениях, мол, не знает ли она чего-то подобного... Как же, знаю, отвечала соседка, это и с её матерью случалось, и с братом старшим... Три часа ночи — это Божий час. Человеку следует обдумать в тишине прожитый день, или, к примеру, месяц, или год — да и помолиться после о здравии живущих либо об усопших... Так Павел Петрович, не старый ещё, пятидесятидвухлетний мужчина стал, глядя в глухую тьму, обдумывать ночами пережитое, вспоминать покойную жену, сыновей, мать, отца, бабушку... И выходило, что самое-самое, чем полнилась и полнится его душа, это детские годы да годы взросления, да вот ещё внешне скромное нынешнее его житьё; будто глаза омылись некоей чудесной влагой — и он стал видеть вокруг то, чего никак не мог увидеть раньше; стал слышать в звуках речи и в звуках природы — ветре, шелесте листьев, гудении шмелей, пении птиц — нечто неслышанное до сей поры. Почему? Почему ему уже несколько раз снилась Надечка — тётенька с их улицы? Не дети, не отец или мать, а — Надечка? Она что-то напевно рассказывала ребячьей гурьбе, кого-то поглаживала легонько по головёнке неказистой натруженной ладонью; её некрасивое личико то вдруг покрывалось мелкими морщинками-лучиками, то неожиданно молодило и делалось ясным и улыбчивым, а серые глазки цвели васильками...

А может быть... может быть, думал он под приглушённое тиканье будильника, может быть,

близится старость и я, вольно или невольно, начинаю помалу прощаться с жизнью? А что я успел сделать? Чем я запомнюсь людям? Да и жил ли я? А вдруг я приснился сам себе? Где моя жизнь? Помню, было детство, мир был полон красок, звуков, людей... И где они, те люди, те звуки, те краски? Я помню многие лица, но я давным-давно не вижу их вокруг. А ведь, кроме детских лет, были другие годы... Провал, тёмная яма... Мне, наверное, придётся скоро умереть, а я ещё не жил по-настоящему; я не видел мира; я не видел настоящего моря; не был в горах и в пустыне... Мне снится тихая, забитая, неграмотная Надечка. Славная, добрая сказочница! С каким восторгом слушала её детвора, окружив летним вечером у благоухающего палисадника! А, скажем, Алевтина вовсе не помнит её... Хотя Аля, конечно, жила, да и теперь живёт, в отдалении... А кто помнит кроткую Надечку? Я? Или её любимый племянник Колечка? Заходит ли иногда — пусть раз в пять лет! — в кладбищенский угол проводить давнюю могилу? А может, и не было её никогда, Надечки? Может, приснилась в долгом-долгом детском сне и снится иногда теперь?

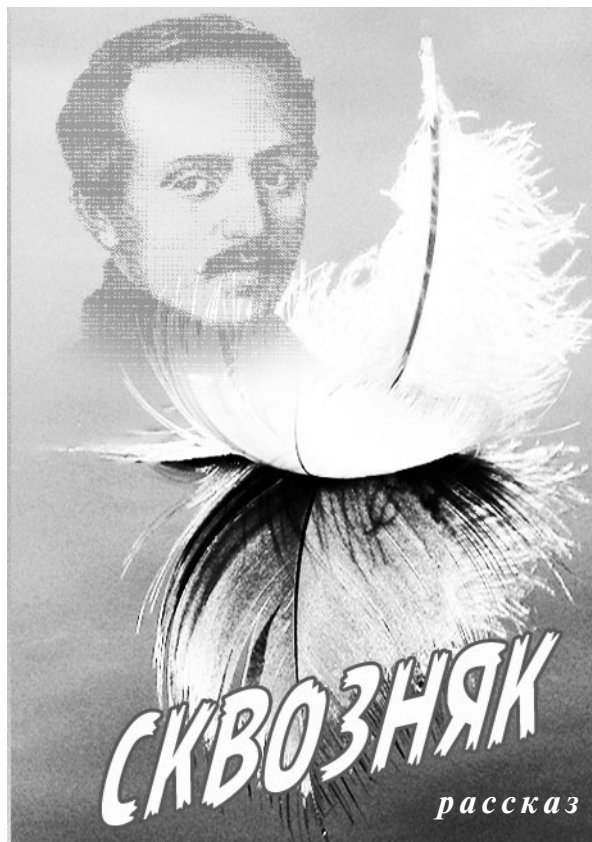
6

— Павел Петрович! Паша! — Алевтина, заметив его у прилавка, оторвалась от разговора с какой-то седенькой старушкой и приблизилась к Гринёву. — Ты знаешь, позавчера к Васе Сапрыкину приезжал Коля Бородин. С сыном. Ты же что-то спрашивал, помню... Привет тебе от него...

«Проверю всё ж... — решил Гринёв, направляясь домой, — да и ближе так будет, кстати...» Краем затравенелой канавы он вышел на угол кладбища и почти сразу же увидел на знакомом серебристом кресте мягкое мерцание таблички из нержавеющей стали. Он подошёл поближе и прочитал вслух выгравированные рукой мастера знакомые имя, отчество и фамилию. Под двумя чёткими, выверенными строками светилась третья: разделённые чёрточкой годы земной жизни.

Был, был...

Была.



И вот осталось позади ещё одно пустоватое степное пространство, и снова справа и слева от дороги, огороженной пирамидальными тополями, протянулись вдаль зелёные шеренги виноградников и абрикосовых садов... И вот замелькали за стёклами нашего авто осанистые дома с крепкими металлическими воротами — начиналась какая-то станица.

Завидев на обочине белые вёдра, увенчанные горками пожелтелых абрикосов, Наталья попросила Сергея Сергеевича остановиться. Они вдвоём вышли из машины, чтобы взглянуть на фрукты повнимательнее и, может быть, прицениться. Я же только снял тёмные очки и, поёрзав на сиденье, уселся поудобнее. Что мне они, эти желтобокие абрикосы? Пожалуй, с куда большим удовольствием я съел бы сейчас разрезанный на половинки свежий огурец, посыпанный крупной солью. Ну а кому-то только успевай подавать южные фрукты. Вот, скажем, Наталья...

Едва мои спутники достигли цели, в проёме распахнутой калитки тут же появилась невысокая молодая женщина в лёгком цветастом халате. Лёгкими шагами она в считанные секунды одолела малое расстояние и, улыбнувшись и коротко глянув на Наталью, поздоровалась с Сергеем Сергеевичем. Боковое стекло было опущено, и потому я, не напрягая слуха, слышал каждое слово.

— И почём ваши абрикосы? Дорогие, наверное?

— А сколько вы будете брать? — ответила вопросом на вопрос женщина. И улыбнулась.

— Может быть, ведёрко, — предположил Сергей Сергеевич. — А?

— Трудно сказать — почём... — Женщина на миг задумалась. — От если б взяли ведёрка два-три, я б сразу сказала — почём...

— Беру три! — решительно сказала Наташа и достала из сумочки кошелек. — Да, три! И сколько нужно заплатить?

— Сколько-сколько... Та сколько хотите, столько и платите!

Казачка тихонько и радостно рассмеялась, словно у неё камень с души свалился.

— Хорошие абрикосы, — сказал, открывая багажник, Сергей Сергеевич.

— Прекрасные абрикосы! — оценила свою покупку Наталья. — Ну, Сергей Сергеевич, вы, похоже, приносите людям удачу...

На игрушечно-поддельном казачьем хуторе на морском берегу, куда нас, дабы распотешить, решил завезти на часок Сергей Сергеевич, мне почему-то сразу не понравилось. Зной, выли-занные — ни пылинки, ни соринки — беленькие хаты, организованные забавы, толпы турист-вотозеев с фотоаппаратами... Единственное, что увлекло и даже немного растрогало, это старинная песня, исполненная хором во главе с пожилой певуньей в узорчатом одеянии; отчаянно-искреннее звучание её чистого голоса вело за собой весь хор, оживляло его старательное исполнение... В её пении, казалось, нежно свети-лась неистребимая временем правда сердца, некогда вверенная ей небесной волей. Знала ли она об этом? Может быть, да, а может быть, и нет. Она жила в своём трепетном голосе, оки-дывая внутренним взглядом собственную судь-бу — счастливую, несчастную ли... Я уж был го-

тов, дождавшись паузы, подойти к певунье, ска-зать ей благодарное слово, легонько, по-родственному приобнять, но — вот диво! — мои спутники, неведомым образом уловив моё взволнованное настроение, стали поглядывать на меня, и мне пришлось, мысленно махнув ру-кой, направиться к машине.

В череде мелькающих тополей я нечаянно, мельком углядел скромный дорожный указа-тель «Тамань», а вскоре появилось и его могу-чее белокаменное повторение, его-то невоз-можно было не заметить даже самому рассеян-ному пассажиру, ну а водителю — тем более...

Неспешно ступая затёкшими ногами, мы перешли небольшую площадь и увидели си-зую гладь моря.

— Тут рядом домик Лермонтова, а по сосед-ству — музей. Зайдём? — предложил Сергей Сергеевич.

Наташа не ответила. Она увлечённо разгляды-вала живую картину моря, возможно, надеясь увидеть «парус одинокий»... Я же не колебался:

— Нет! Хочется спуститься к воде и оттуда посмотреть на берег. На обрыв.

Про обрыв я сказал не случайно, воображение нарисовало мне его много-много лет назад в тот самый день и час, когда я впервые прочитал «Та-мань». И вот теперь нестерпимо хотелось срав-нить мысленную картину с оригиналом.

Глаза Сергея Сергеевича засияли-залучи-лись за широкими стёклами очков, и он одоб-рительно кивнул, будто я угадал какое-то его заветное желание:

— Годится. Пойдём вниз.

Быть в летний зной у воды и не искупаться...

После трёх-четырёх коротких заплывов мы собрались в кружок и, стоя по грудь в воде, стали обмениваться недолгими впечатлениями.

— А водичка здесь куда теплее, чем в Анапе...

— Азовская, здорово прогретая, смешивает-ся с черноморской, вот он и получается, друзья мои, эффект такой.

— Дно как на ладони... Ни волн, ни ветра...

Беззвучно качается-покачивается море, и тре-буется невидимое усилие, чтобы оставить его приветливые объятия и отправиться на сушу.

Я отвёл правую руку в сторонку и от избытка чувств легонько похлопал ладонью по воде. И вот тут... И вот тут, когда рука расслабленно

лежала ладонью вверх на зыбкой влаге, откуда-то из воздуха скользнуло наискосок и легло на мокрую ладонь длинное птичье перо. Белое остроконечное перо с золотистым отливом. Мои товарищи переглянулись и изумлённо уставились в моё лицо, словно на нём внезапно появилась диковинная маска.

«Птица?...» — именно так, скорее всего, подумал каждый из нас, поскольку, не сговариваясь, мы обратили взоры к небу. Но кроме мягкого солнечного сияния и блёклой синевы там, увы, ничего увидеть не удалось.

— Это что — дар поэта? Он увидел в тебе нечто близкое? Мол, продолжай, товарищ, писать задуманное?

— Да, вот и предполагай что хочешь... — поглядывая на золотистое перо в моей руке, смущённо произнёс Сергей Сергеевич. — Похоже, Наташа права: дар поэта. Тем более вон там, над обрывом, стоит домик, где он однажды пребывал, да и на море здесь смотрел, думал о чём-то, конечно...

И тут же, жестикулируя мокрыми руками и, как мне почему-то показалось, совершенно не к месту процитировал:

— «Тамань — самый скверный городишка из всех приморских городов России. Я там чуть-чуть не умер с голода, да ещё вдобавок меня хотели утопить...»

— Ну как, здорово? Но сейчас здесь совсем не так. Правда?

Что я мог ответить Наталье насчёт «дара поэта»? Взгляд мой на мир давно не мальчишеский, наивно-восторженный. Моё дело — стол, бумага... Я бы мог ответить вслух иное, очевидное: как хороша эта прилипшая ко лбу русая чёлка, как приманчивы чуть мерцающие карие глаза и приоткрытые вишнёвые губы... Да и вообще к лицу ей, нашей спутнице, это море!.. Но, естественно, насчёт «вслух» я малость погорячился. Море, как выяснил, к примеру, герой только что процитированного произведения, не лучшее место для свиданий и искренних объяснений...

Сказать же что-то Сергею Сергеевичу в ответ на его схожее с предыдущим предположение тоже непросто; что-то серьёзное — не выйдет, потому что сказать мне нечего; иронично же пошутить невозможно, глядя на его широкую ясную улыбку, восторженно сияющие глаза. В кои веки человек вырвался из цепких объятий экономики

и оказался, похоже, свидетелем мистического случая... И всё же я каким-то образом вышел из странного положения, и мы, поддерживая наш общий разговор о красотах местной природы и прелести морской воды, побрели к берегу...

И вроде бы с утра разлита в воздухе беспощадная жара, а так явственно, так ощутимо студил затылок и спину сквозящий над зыбью тягучий ветерок.

Ночью я спал беспокойно: просыпался, засыпал... И вот снова очнулся от неясного шороха. Я медленно открыл глаза, повернул голову — и остолбенел: в дальнем углу моей комнаты стоял какой-то рослый тип, темноволосый, в тёмной рубашке... Его я разглядел в одну секунду — лунный свет мягко сеялся из-за моего изголовья (я вечером так и не опустил жалюзи; читал-читал и незаметно задремал).

Мужчина шевельнулся и приподнял затенённое лицо. Теперь, при лунном свете, я увидел, что он ещё довольно молод. Помолчав и, видимо, рассмотрев меня, он резко спросил:

— Ну и что же будем делать?

Перспектива в любом случае вырисовывалась для меня невесёлая: крепкая фигура незваного гостя, его решительный вид и поблёскивающие глаза...

— Я говорю... — выдержав паузу, незнакомец приподнял плечи. — Что ты думаешь об этом? О случае на море?

Волна неожиданного гнева подняла меня с постели.

— Что значит «думать об этом»?! О каком таком «случае»?!

Голос мой зазвенел, страх разом куда-то улетучился. И я шагнул навстречу незнакомцу. Он неожиданно отступил к порогу — на шаг, потом ещё... И, повернувшись к стене, толкнул её свободной рукой... Я ничего не мог понять: передо мной висело длинное узкое зеркало в деревянной рамке — и никакой дверцы, и никакого движения. Я — да, вот я... И больше никого. Я ослабил наконец кулаки и для пущей уверенности потрогал ладонями зеркальную гладь. Холодок стекла, сплошного стекла — и никакого за ним пространства, и никаких следов дерзкого незнакомца... Да и был ли он? Я взглянул на циферблат мерно тикающих настенных часов: по-

ловина четвёртого. И потянул за ручку балконную дверь. Ночной холодок обнял меня и потёк дальше, в комнату, и ещё дальше — в невидимую щель под входной дверью... Живая ночная тишина мало-помалу успокоила гулко стучавшее сердце, напряжённое тело расслабилось, обмякло... Опираясь на прохладные перильца балкона, я неторопливо рассматривал дальние россыпи звёзд, огоньки не видимых во тьме селений, вдыхал пахучий воздух, любовался притихшим рядом с лунным диском крохотным белым облачком... а потом с непонятым умилением коротко подумал о хозяине дома Сергее Сергеевиче, спящем сном праведника на своём любимом кожаном диване, о нашей спутнице Наталье, облюбовавшей тишайший второй этаж и широчайшую кровать у закрытого зеленью платана окна...

Где-то недалеко, показалось, что совсем рядом, у соседского забора, вдруг ни с того ни с сего заорал молодой петух, через минуту-другую ему ответил такой же хриплоголосый собрат. «Э-э! — понял я. — Пора мне возвращаться в постель, иначе с этими горлопанамы придётся на балконе до самого утра куковать».

Ожидая прихода сна, я вспоминал поездку в Тамань: мерное колыхание моря, длинный желтоватый обрыв над водой, белёную снаружи и изнутри чистенькую хату, где недолго жил офицер-постоялец, будущий автор великого романа, её скромный быт (стол, кровать,

сундучок, два кувшина — вот, кажется, и всё), соседний музейный домик, где с благородной простотой явлены неразговорчивым посетителям разнообразные экспонаты, думал о том, что наитие порою не подводит меня: рассматривая на портрете лицо молодого гусара — свежее, чуть припухлое, с глазами, полными надежд и весёлого спокойствия, я невольно, ощутив щекою мягкое движение некоего холода, перевёл взгляд на висевший поодаль портрет того же гусара (на портрет фотографический, дагерротип, который только-только появился в России) — и был потрясён. Где же та свежесть лица, припухлость щёк, губ? Где полные жизненной энергии глаза? Я подошёл поближе, и моё потрясение не только не улеглось, оно даже усилилось: передо мною было лицо старика.

Уже подрёмывая, я вдруг вспомнил про перо из Тамани. Вчера я положил его на тумбочку у кровати. Я повернул голову — настольная лампа и... больше ничего! Неужели унесло куда-то сквозняком? Я приподнялся и огляделся. А, вон оно где! Перо почему-то покоилось на подоконнике, золотисто мерцающая под лунным светом.

□

Иван Алексеевич ТЕРТЫЧНЫЙ

родился в 1953 году в Курской области.

Окончил факультет журналистики МГУ.

Поэт, прозаик, переводчик.

Публиковался в журналах «Балтика», «Двина», «Дон», «Молодая гвардия», «Москва», «Наш современник» и ряде других.

Автор книг: «И было утро», «Рядом», «Подорожная»,

«Когда-нибудь...», «Лунный снег», «Живая даль»,

«Безымянная вода», «Зоосад»

и сборника рассказов «Чёрная бабочка с белой оторочкой».

Член Союза писателей России.

Живёт в Москве.





Дорогие друзья!

Поселок городского типа Чупа отмечает в 2016 году юбилей. Ему исполняется сто лет.

Однако название Чупа было известно задолго до девятнадцатого века.

Некогда на этих землях жили саамы. «Саами» этимологизируется из финского как «жители окраинной земли». Лоухский район, в котором расположена Чупа, – самый северный район Карелии. Но наши места нельзя назвать окраиной.

На протяжении веков в этой местности основывались и развивались различные производства.

Чупа попадала в сферу интересов Соловецкого монастыря.

В советское время в Чупе на подъеме была промышленность – поселок был центром слюдяного промысла. В 1922 году здесь началась промышленная добыча полевого шпата, кварца и слюды, с 1973 года действовал горно-обогатительный комбинат «Карелслюда»

Министерства строительных материалов СССР,

с 1999 года – Чупинский горно-обогатительный комбинат.

В 1970–1980-х годах предприятие насчитывало 2500 работников и являлось крупнейшим в СССР поставщиком слюды-мусковита.

Статус посёлка городского типа Чупа имеет с 1943 года.

Время перемен, наступившее в России в конце прошедшего века, не миновало Чупу.

Сейчас не приходится говорить о развитии в поселке промышленности.

Но это не значит, что здесь замерла жизнь.

По-прежнему в Чупе кипит культурная и спортивная, образовательная и общественная жизнь, а значит, есть основа экономического благополучия.

В Чупинской школе создан мемориально-краеведческий музей известного карельского сказочника Матвея Коргуева.

Дом культуры в посёлке Чупа – это настоящий культурный центр, где звучат голоса детей и взрослых, где проводятся занятия, репетиции, концерты, вечера. Самодеятельные артисты нашего Дома культуры побывали на гастролях в Москве,



Петрозаводске, Геническе, Севастополе, в городах Карелии, Мурманской области, в Финляндии и, конечно, объехали весь Лоухский район.

Действуют общественные организации – Бассейновый Совет Северо-Карельского побережья и Чупинский морской яхт-клуб.

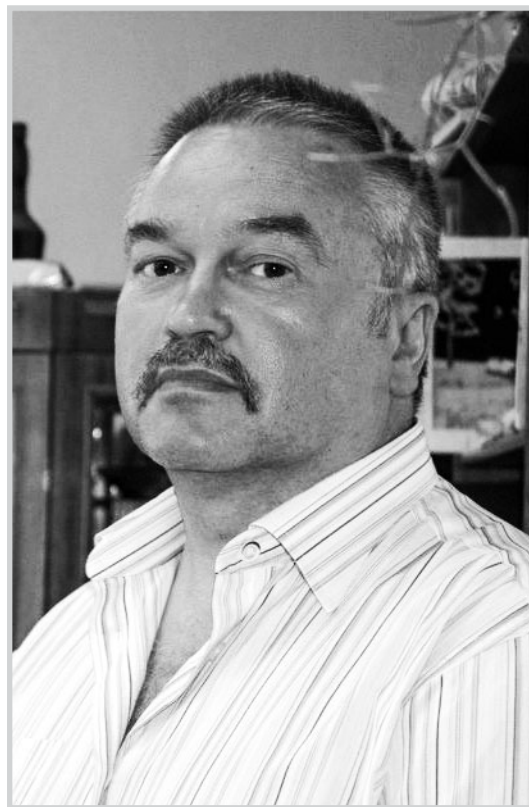
Чупинские яхтсмены известны как участники многих соревнований – Соловецкой регаты, Кубка Северо-Запада, Банковского кубка, Чемпионата России. Чупа принимала и любителей современной музыки.

Гости приезжают на полуостров Медвежка на этно-рок-фестиваль «Белый шум», который называют «сказкой для взрослых детей». И это правомерное название, поскольку сказочна сама природа северной Карелии.

У нас в Чупе могут хорошо провести время отдыха любители суровых и спокойных пейзажей. Достаточно упомянуть, что в самом поселке расположен красивый водопад.

Северный лес, побережье Чупинской губы, Кандалакшского залива Белого моря, гостеприимные жители Чупы – все это может сделать поездку к нам незабываемой.

Юрий ДАВЫДОВ,
глава администрации
Чупинского городского поселения





Круглые даты истории поселений, городов привлекают внимание жителей, заставляют задуматься об истории и культуре родных мест. Приближающееся столетие Чупинского городского поселения – хороший повод разобраться в истоках одного из крупных поселений карельского севера.

Примером подобного анализа может быть Санкт-Петербург. Широко известна дата основания культурной столицы Петром Великим – 27 мая 1703 года. Но известно также, что город основан не на пустом месте в «болотах и топях». Было бы нелепо считать, что столь удобное в стратегическом плане место было до Петра Великого «впусте».

Всего на месте современного центра Санкт-Петербурга находилось около 40 поселений. Городов и сел было много, но чествуем и вспоминаем мы Санкт-Петербург, приняв за точку отсчета дату основания крепости на о. Заяцкий Петром Великим.

История развития и освоения Северокарельского побережья также тесно связана с серией русско-шведских войн, да и само заселение и освоение Беломорья есть следствие тех же исторических событий.

Само название поселения говорит о его месторасположении. В финноугорских языках слова сирра, сир означают «угол, тупик». Отсюда и заимствованное русскими «чупа» – узкий, длинный залив. Название отражает географические особенности положения посёлка – под углом, на берегу залива Белого моря.

Опираясь на исторические данные, можно утверждать, что в Чупском усолье Соловецкого монастыря, основанном на территории Новгородской республики на рубеже XV века и впоследствии перешедшим в Московское княжество, находилось три Чупы. Все эти Чупы находились на территории современного Чупинского городского поселения, но были не более чем производственными пунктами монастыря, развивавшимися в соответствии с его потребностями. Эти места то расцветали, то пребывали в запустении. Центром торговли и главным селом региона на протяжении четырех столетий являлась Кереть. Район Чупы считался выселками и самостоятельного экономического и культурного значения практически не имел.

Все поменялось с началом Первой мировой войны и прокладкой Мурманской железной дороги.

Идея сооружения железной дороги от Петербурга к незамерзающему Кольскому заливу возникла в 1894 г., в связи с чем министр финансов С.Ю.Витте посетил Мурманское побережье и представил подробный доклад по вопросу строительства здесь порта. В докладе также содержалось мнение о необходимости постройки железной дороги. В том же году Министерство путей сообщения организовало изыскания трассы от Сороки до Кандалакши. Одновременно инженер Б.А.Риппас произвёл предварительные обследования района севернее Кандалакши до Екатерининской гавани в Кольском заливе.

В связи с началом Первой мировой войны важнейшими портами, связывавшими Россию с внешним миром, стали Владивосток и Архангельск. Но Владивосток располагался на расстоянии 8 тыс. км от театра военных действий, и на преодоление этого расстояния требовалось около полумесяца. Кроме того, на Транссибе катастрофически не хватало подвижного состава. Архангельский же порт имел слабую связь с ширококолейной сетью страны. Сообщение осуществлялось через Вологду по плохо оснащённой, маломощной узкоколейной железной дороге. Положение осложнялось ещё тем, что порт Белого моря у Архангельска замерзал. В июне 1914 г. в Петрограде было организовано Управление по строительству Мурманской железной дороги. Возглавил управление В. В. Горячковский.

В конце осени 1914 г. приступили к изысканиям, и уже 1 января следующего года на докладе министра путей сообщения появилась резолюция Николая II о постройке железной дороги от Петрозаводска «до одной из лучших бухт Мурманского побережья». К марту подготовили проектные материалы, после чего начались работы на всей трассе.

Для доставки из портов на линию Кандакша – Мурман паровозов, вагонов, элементов верхнего строения пути на прибрежной части морского дна в Кандакшской губе был уложен рельсовый путь, куда подавались платформы. Во время прилива над ними устанавливались пароход-буксир и баржи с грузом, которые при отливе опускались на платформы, где и закреплялись. Эти платформы перегонялись паровозом к пристани Зашеек на озере Имандра, где буксир и баржи по специально построенному слипу спускались на воду. На баржи грузились паровоз и платформы, после чего пароход уводил их к северному берегу озера.

Укладочные материалы подавались в пункты Кондопога, Кумса, Сорока, Кемь, Поньгома, Чупа, Кандакша, Кола. Это позволило начать устройство пути почти одновременно из разных опорных пунктов.



*Чупа. Пристань.
1916 г.*



*Чупа. Пристань.
Сентябрь 1916 г.*



*Чупа. Разъезд.
1916 г.*

В 1915 году на берегу Чупинской губы был построен причал для обеспечения бесперебойной поставки грузов и техники. Здесь же был организован рабочий поселок, получивший название Чупа-пристань, от которого шла железнодорожная ветка к основной магистрали, где был основан поселок, технический сателлит Чупа-станция.

30 октября 1915 г. газета «Таймс» по этому поводу писала: «Встречались бесконечные трудности, которые не в состоянии изменить ни знания, ни человеческая энергия. Преодолевая их, по колено в воде или болотной грязи, среди камней и корней деревьев русские рабочие и инженеры одновременно с двух концов прокладывают дорогу. Когда всё будет закончено, когда на берегу Ледовитого океана засвистит наконец первый паровоз, Россия будет вправе заявить, что ею ещё раз выполнена титаническая работа; тогда в полной мере оценят железную волю, знания и неутомимую энергию строителей дороги».

30 ноября 1916 г. состоялось открытие сквозного движения на Мурманской магистрали протяжённостью около 1,5 тыс. км, построенной в условиях Первой мировой войны за 20 месяцев. Одновременно с её эксплуатацией продолжались достроечные работы – производилась выборочная балластировка пути, отладка устройств тягового хозяйства, водоснабжения и т. п.

Скудные исторические документы из архива железной дороги не дают нам в полной мере сказать, в какой день и кем принято решение о рождении современной Чупы. Но несколько сохранившихся фотографий, имеющих дату, нам все же удалось отыскать. Это два старинных фото, изображающих широкоизвестную в современной Чупе «Горелую пристань», здесь уже в течение 30 лет располагается яхт-клуб. На одной из фотографий на пристани стоят руководители строительства Мурманской железной дороги, члены правительства, Государственной думы и министры Российской империи, архангельский губернатор Бибилов. Это «высокое посещение» связано со стыковкой железнодорожных путей на свежестроенной Мурманской железной дороге и открытием сквозного движения составов. Снимок сделан 18 сентября 1916 года. Видимо, тогда же было принято и решение о развитии рабочих поселков. Но реализовано оно было позднее, уже в советское время, в 20-х годах комиссией по колонизации земель и территорий при железной дороге. Серия таких решений сформировала тот промышленный комплекс, который успешно развивался до 90-х годов прошлого века и стал основой современной Чупы.

Таким образом, мы можем обоснованно утверждать, что современная Чупа основана в 1916 году вместе с развитием порта, обслуживающего железную дорогу, и в 2016 году должна отметить 100-летие.

В разные исторические эпохи Чупа переживала периоды расцвета, однако на жизни поселка сказывалось и желание получить максимальную отдачу от местных природных ресурсов при отсутствии заботы об их восстановлении и рациональном использовании. Последствием такой практики оказалось банкротство и закрытие в начале 2000-х годов предприятий, составлявших основу экономики поселения. Были прекращены лесозаготовки, поскольку вырубил строевой лес, закрылся рыбозавод, так как были подорваны запасы сельди в Белом море, а работа на привозном сырье стала невыгодна из-за удаленности от крупных потребителей, горно-обогатительный комбинат не выдержал конкуренции с технически более гибкими аналогичными производствами... Только железная дорога и обслуживающие ее филиалы предприятий – сохранившийся остаток бывшего промышленного величия.

Тем не менее есть ресурс, для развития которого промышленная депрессия сыграла положительную роль, этот ресурс – рекреационный. Впервые природа, освободившись от промышленного прессинга, становится основой экономики поселения. Нахождение на берегу Кандалакшского залива Белого моря в окружении многочисленных уникальных природных ландшафтов в совокупности с транспортной доступностью подтолкнули развитие природного, спортивного, геологического, событийного туризма. Растет количество мест размещения, формируются новые туристские направления, проводятся семинары, фестивали, конференции, соревнования. Оптимизация налоговых поступлений и рациональное участие в региональных программах развития позволяет администрации Чупы обновлять и развивать инфраструктуру. Хочется верить в то, что позитивные сдвиги в данном направлении будут устойчивыми, а использование рекреационного ресурса неистощительным. Я надеюсь, что Чупа войдет в свое второе столетие небольшим, но красивым, развивающимся и перспективным городом, из которого местной молодежи не захочется и не потребуется уезжать на заработки, а захочется вернуться после учебы, чтобы обустроить свой родной город.

Олег
МОШНИКОВ
г. Петрозаводск

«Нерукотворный памятник» Николая Абрамова

*Против течения... вешние воды,
Лодка и парус, и брызги в глаза...
Между свободой и несвободой –
Только лишь ветер, только гроза...*

Строчки из этого стихотворения Николая Абрамова выведены своеобразным поэтическим девизом на его страничке в одной из социальных сетей в Интернете. Перечитав их и найдя само стихотворение, я с удивлением заметил, что в посвящении поставлено мое имя...

Я познакомился с Николаем в редакции газеты «Kodima» (вепс. «Родная земля»), где он работал. Абрамов увидел мою стихотворную подборку, рассказывающую о вепсском крае, в газете «Северный курьер», связался со мной и – попросил о встрече. После нашего знакомства мои стихи стали появляться и на страницах вепсской газеты. А немного погодя – там же – и плоды совместного творчества – стихотворные переводы: с вепсского языка на русский. Впоследствии избранные переводы вошли в единственную книгу Абрамова на русском языке «Поговорим, брат...», вышедшую в 2005 году. Два мощных дуба, выведенных на обложке художником Владимиром Лукконеном, сплетаясь корнями, сойдясь ветвями, как бы поддерживают друг друга, символизируя соединение на страницах книги вепсского и русского языков,

что обуславливает несомненную ценность и доступность сборника для русскоязычного читателя. Россияне смогли оценить произведения Николая Абрамова также благодаря авторским переводам, переводам Марата Тарасова, Вячеслава Агапитова, Андрея Расторгуева и вашего покорного слуги. Стихи и переводы публиковались и в поэтических сборниках, и на страницах журнала «Север».

Но прежде всего Николай Абрамов известен в финно-угорском мире как автор первой художественной книги на вепсском языке... Поэт и журналист. Член Союза карельских писателей. Заслуженный работник культуры Республики Карелия. Автор многочисленных поэтических сборников, вышедших на родном вепсском и не менее родном – русском, а также на финском, венгерском, эстонском, французском языках. Поэтическая звезда родного Подпорожского района. Надежда младописьменного вепсского литературного языка. Эти эпитеты можно было бы продолжать и продолжать, но... Николая Абрамова не стало. Не стало моего хорошего друга, писавшего часто пророческие стихи:

*Пытаюсь проснуться, но это не сон.
Не греет холодный, нетопленный дом.
Не собрана клюква, а губы в крови...
Мой клин журавлиный растаял в дали.*

Родился и провёл детство Николай Абрамов в вепсском селе Ладва Ленинградской области. Он, как и я, вепс по происхождению. Потомки белой веси проживают вокруг Белого озера – в Республике Карелия, Ленинградской и Вологодской областях.

В 1978 году Николай окончил Винницкую среднюю школу. Учился в Ленинградском топографическом техникуме, Петрозаводском государственном университете, Карельском государственном педагогическом университете. Работал грузчиком, рабочим в совхозе, рамщиком на пилораме, директором сельского Дома культуры, рабочим в геодезической экспедиции, фотографом, корреспондентом районной газеты «Свирские огни», собственным корреспондентом «Финно-угорской газеты», корреспондентом независимой частной газеты «Кто о чём», редактором и главным редактором вепсской газеты «Kodima». Последние годы работал в Национальной библиотеке Карелии.

Как я уже говорил, познакомились мы с Николаем Абрамовым давно, более двадцати лет назад. За эти годы у меня было достаточно времени убедиться в неприкаянности и притягательности его натуры. С одной стороны – взлохмаченный, порывистый, как Депардьё, взрывной, несобранный, неугомонный. С другой – глубоко ранимый, тонко чувствующий поэзию человек, обладающий при этом мощным духовным стержнем и образной поэтической строкой. Судьбоносные вехи поэта повторяют и названия выпущенных книг: «Тридцать три», «Время журавлей», «Поговорим, брат...». Работая над каждым стихотворением, как говорится, «на разрыв», Николай Абрамов отождествляет свое умение интонационно – с болью и нежностью – раскрыть выбранную жизненную тему с творчеством своих кумиров – Есенина, Высоцкого, Рубцова. Не случайно книга «Поговорим, брат...» посвящена памяти рано ушедшего из жизни поэта – Пааво Воутилайнена, судьбу которого, как и своих любимых поэтов, Николай повторил своей ранней и неожиданной кончиной...

*Я устал в этой жизни на грешной земле,
Где разбавленный спирт вновь стоит на столе.
Он так плохо горит – не горяч его род,
Но порою течёт в окровавленный рот.
И уже от бессилья хрипит человек,
Ах, как короток наш человеческий век...*

*Я хотел бы хоть что-то в себе изменить,
Только жизнь, эта жизнь – что тончайшая нить,
И коль скоро случится, порвётся она,
Пусть на кладбище лучшего выпьют вина...*

Помимо журналистской и литературной деятельности, Николай профессионально занимался фотографией, снялся в нескольких короткометражных фильмах. В Петрозаводске состоялись три его персональные фотовыставки, снимки Абрамова экспонировались на различных выставках в России, Норвегии, Украине, публиковались в журналах и фотоальбомах. Короткометражный художественный фильм «Счастье» с его участием завоевал приз «Золотая лада» на IV Всероссийском фестивале короткометражных игровых фильмов «Встречи на Вятке» (Киров, 2007). В октябре 2009 года документальный фильм «Вепсский завет» (продюсерский центр «АТК-студио», С.-Петербург), в съёмках которого принимал участие Абрамов, получил Гран-при II межрегионального конкурса мультимедийного искусства «Золотая кедровая ветвь Сибири» в Кемерове.

В 90-е и в начале 2000-х годов имя Николая Абрамова частенько мелькало на страницах российских газет и журналов. Стихи Николая и статьи о его творчестве выходили в еженедельнике «Литературная Россия» и сборнике «Вепсская литература» (изд. «ЛитРоссия», г.Москва), изданиях финно-угорских народов. На состоявшемся в августе 2010 года в Оулу (Финляндия) XI Международном конгрессе финно-угорских писателей Абрамов был избран в правление Международной ассоциации финно-угорских писателей. Поэт переводил на вепсский язык классиков мировой и русской литературы. Из-под пера Николая появились переводы произведений Омара Хайяма, Рабиндраната Тагора, Уильяма Шекспира, Поля Верлена, Александра Пушкина, Льва Толстого, Сергея Есенина, Николая Клюева, Бориса Пастернака, Николая Рубцова, Евгения Евтушенко, Владимира Высоцкого и других. Книга Николая Абрамова «Kurgiden aig» («Время журавлей») находится в фондах Государственного культурного центра-музея В.С. Высоцкого «Дом Высоцкого на Таганке». Известны песни на стихи Николая и его стихотворные переводы на вепсский песенных текстов, среди них – записанный Национальным ансамблем песни и танца Карелии «Кантеле» для зимней сочинской Олимпиады хит группы Queen «Мы чемпионы».

Но главное абрамовское наследство – это пронзительная любовная лирика. Недаром «мама» вепсского языка, поэт, доктор филологических наук, заведующая сектором языкознания ИЯЛИ Карельского научного центра РАН Нина Зайцева называет Абрамова прародителем поэтической вепсской литературы. Множество нежных лирических стихотворений посвятил поэт любви и женщине. Николай доверил мне подстрочник одного из лучших своих стихотворений – «Колдунья».

*Ливни-волосы – горькое счастье –
Напоили меня допьяна.
Я зову тебя ласково – Настя,
Я в ночи не жалею огня!
За луной из озерной оправы
Камнем в черную воду упасть!..
Руки-лебеди, волосы-травы
Немудреную путают снасть.
Зарекусь... Но по первой пороше,
Повинуясь желанию вновь,
В Нево-озеро сети заброшу
На погибель свою и любовь!*

Так же проникновенно звучат строки поэта, посвященные судьбе белой веси, родному краю и милой матушке, которая всегда ждала сына домой, в деревню Ладва Подпорожского района...

*«Когда ты будешь далеко, –
сказала мама, чуть помедлив, –
ты вспомнишь это молоко
и навестить меня приедешь.
В нём солнечного света луч,
частичка голубого неба,
и шум листвы, и звон ручья,
и соль земли, и запах хлеба.
В нём то, что с детства всем знакомо,
что пуще жизни берегут,
что величают отчим домом
и то, что Родиной зовут!»*

В родную землю его и положили 26 января 2016 года. На погост жители деревни везли Николая на тракторе, по сугробам, оставляя в снежной борозде еловые веточки. А до этого было многолюдное прощание в Петрозаводске и – по пути – в городе Подпорожье, где в районном клубе звучали его стихи...

*Каждому – вера и слово,
Каждому – посох и путь.
Вспомни родных своих снова,
Дом и язык не забудь.
Так нам даровано Богом,
Не на года, на века,
Каждому будет – дорога,
Каждому будет – река.
Юности вешние воды,
Старости тихий окрест...
Каждому – счастье на годы,
Каждому – тяжкий свой крест.*

Не хочется верить, что Николая нет среди нас. Он скончался после непродолжительной болезни, всего за несколько часов до своего «пятидесятилетия». Но двуязычная книга «Пятьдесят пять», об издании которой Абрамов не раз упоминал в разговорах, обязательно выйдет! Я уверен, что, собирая его наследие по крупицам из уже состоявшихся публикаций в книгах и Интернете, даже несмотря на десятилетнюю опалу поэзии в нынешней республиканской прессе (в ней – за исключением журнала «Север», газет на национальных языках и двух-трех интернет-изданий – лирические стихи остаются невостребованными), друзья и коллеги Николая сделают все возможное, чтобы такой сборник как можно раньше увидел свет. Но презентация «избранного» пройдет уже без авторского пригляда...

*Я хотел бы дожить до утра,
Только слишком далёко мой дом.
Между силами зла и добра
Я к нему пробираюсь с трудом.
Словно угли ночного костра,
В полутьме догорает любовь.
И несчастьем родная сестра
Остаётся со мною – лишь боль.
Жизнь моя... где добро, а где зло...
Словно чёрная, в звёздах, дыра.
И лететь мне порой тяжело –
Между силами зла и добра.
Если песни не те, то молчи,
Пусть осудит, полощет молва.
Если кровь хлещет горлом в ночи,
То под утро рождаются слова.
Милый друг, ты со мною побудь,
Помоги мне дожить до утра.
Может, вместе найдём мы свой путь –
Между силами зла и добра.*



На отпевании Николая в траурном зале Петрозаводска священник попенял присутствующим, что слезы их напрасны, что покойный обрел лучшую – загробную жизнь. Все так. Небогато, с вечно неустроенным бытом жил национальный поэт вепсской земли, ютился в каморке городского общежития, где разогревал суп на маленькой почерневшей электроплитке. Но – это была его творческая среда. И в любое свободное время Николай рвался в деревню, там, окашивая траву или поднимая завалившуюся баню, вынашивал планы следующего стихотворного сборника и выступления перед читателями, там – сердце его наполнялось новыми рифмами, новыми проявлениями любви к жизни!.. А с разверзшегося перед усопшим Неба не посыплются к нам на землю, как манна небесная, ненаписанные и непрозвучавшие стихи и песни. Надо ценить талантливых людей чуть-чуть пораньше смерти.

*Осыпаются грёзы,
догорают надежды,
только мы в этом мире –
лишь глупцы да невежды.
О любви и печали,
о судьбе и о роке,
над сгоревшей свечою –
плачем грустные строки.*

Стихи Николая Абрамова поставили его в ряд выдающихся писателей нашей многонациональной республики и вепсского Белозерья – об этом почетном звании со знанием дела говорил финский писатель Маркку Ниеминен на презентации завершающей серию «Классики карельской литературы» совместной книги Н.Абрамова и Н.Зайцевой «Золотые слова» в декабре 2015 года. «Золотыми словами» удалось поделиться Николаю во время выступления на поэтическом вечере, за месяц до своей кончины... Слово, что окликало поэта всю его творческую жизнь – и во время первых шагов в журналистике в Подпорожье, и на редакторской работе в газете «Kodima», и в должности сотрудника Национальной библиотеки Карелии, и на Ладвинском берегу Ояти – будет жить на страницах его книг и в памяти читателей, друзей, земляков.

Как-то после волны школьных сочинений по творчеству поэта Николая Абрамова, прокатившейся по школам Подпорожского района, Коля показал мне привезенную из дома крошечную газетную заметку о проведении конкурса на лучший проект его – Николая – прижизненного памятника для установки на родине знаменитого земляка. Тогда мы просто посмеялись над неловкой шуткой газетчиков. Сейчас самое время вспомнить об этом, ведь «нерукотворный памятник» – книги Николая Абрамова – лежат на моем столе.

СТРОКА

«Каждому будет дорога,
Каждому будет река».

Н.Абрамов

В реанимацию друг угодил.
Утром звонок: «Вот, готовлюсь на выход...
Маршем – сквозь строй медицинских светил!
После увидимся...» В комнате тихо.

Перекричать не дано тишину.
Хочется края каталки коснуться...
Друг под наркозом без боли уснул,
Чтобы уже никогда не проснуться.

Что ж он в деревню уехать не смог? –
Мама по сыну соскучилась очень...
Не заживает на сердце ожог
В личном «Контакте» оборванных строчек:

«Лодка и парус, и брызги в глаза...»
Перед судьбой – медицина бессильна...
Падает навзничь душа в небеса,
Сложены накрест холщовые крылья.

«Каждому (смертному) будет – река» –
Вечная Лета почившему в бозе...
Только попытка и только строка
Другу зачтется и – жить будет после.

Олег Эдуардович МОШНИКОВ

родился 1 ноября 1964 года в г. Петрозаводске.

В 1988 г. окончил Свердловское высшее
военное политическое танко-артиллерийское училище.

Подполковник внутренней службы в отставке.

На данный момент продолжает трудиться
в одном из подразделений регионального МЧС.

Публиковался в журналах «Север», «Карелия»,
«Урал», «Уральский следопыт», «День и Ночь»,
интернет-журнале «Пролог», «Юность»,

«Наш современник», еженедельнике «Литературная Россия».

Автор трех книг стихов и двух книг прозы.

Член Союза писателей России.



Вениамин СЛЕПКОВ

г. Петрозаводск

СКАЗОЧНЫЕ ИСТОРИИ ТАТЬЯНЫ КОПЫЛЕНКО



В 2015 году в серии «Современники и классики» вышла книга петрозаводчанки Татьяны Копыленко «Горячее солнце, холодный песок». Автор живет на севере, но, вероятно, то, что она родилась и выросла в Крыму, наложило неизбывный отпечаток – столь много в книге романтики, сказочности. Сама Татьяна Копыленко, представляя книгу, пишет: «Несмотря на то что судьба привела меня с теплого юга на морозный север, горячее южное солнце продолжает меня согревать, а плеск морских волн снится мне по ночам».

В книге четко не обозначен жанр составляющих ее произведений. И потому поначалу настраиваешься на чтение рассказов. Но нет, с первых абзацев становится ясно, что это – нечто иное. Автор называет свои произведения историями. На мой взгляд, это сказки, современные сказки или, если угодно, сказочные истории. Поначалу кажется, что они повествуют о разных людях, но постепенно понимаешь, что речь идет о героях одной истории, что все они взаимосвязаны.

События, о которых рассказывает Татьяна Копыленко, и начинаются у моря – того и гляди, покажется романтический алый парус. Но появляется, мягко шурша колесами... кабриолет! Путешествие в сказочную историю начинается. Этим кабриолетом Татьяна Копыленко сразу обозначила вневременность своих сказочных историй.

Конечно, признаки времени в них есть – компьютеры, выборы и т.д. Но, по большому счету, эти истории, наполненные борьбой, горячими чувствами, любовью, ненавистью, могли бы происходить в любых исторических условиях. Не зря их герои часто обходятся без имен. Автор называет их просто: Актриса, Солдат, Олигарх, Врач... И эти наименования уже дают представление о герое.

Даже зачин у некоторых историй сказочный. Муж и жена живут счастливой жизнью, в полном достатке, объездили весь свет. Чего еще желать? А вот ответ на этот вопрос: «Детей у них не получалось». Сколько сказок начинаются таким образом!

О чем эти сказки? Прежде всего, конечно, о любви. Начало книги сразу рисует трагедию: «– Ты не любишь меня... ты не любишь меня... ты не любишь меня... – Она почти беззвучно шептала эти слова в его спину – каменную и чужую». В такие моменты, наверное, кажется, что кончается жизнь. Тем более, если речь идет о героине книги, страницы которой наполнены чувствами, горячими, яркими, заставляющими героев забывать обо всем другом. Так персонажи любимых с детства приключенческих романов подчиняют свои жизни какому-либо одному чувству, будь то любовь или ненависть, жажда наживы или тоска по идеалу.

Ученый в этих сказках обязательно работает над задачей, важной для всего человечества, женщина, встречая свою первую любовь, падает в обморок, задумывается «душу продать и кровью расписаться» – и тут же появляется демон-искуситель...

Пожалуй, если бы речь шла не о сказках, автору можно было бы поставить в вину психологическую одномерность героев. Но в сказке психологизм может отходить на второй план. Автор может не стремиться к достоверности описываемых событий, к достоверности психологических образов. Не стремится к этому и Татьяна Копыленко. Вот девушка – безусловный талант – приходит в театр, читает монолог, и «главреж стал ее преданным рабом уже по окончании монолога. Труп па театра, вся без исключения, и артисты, и работники сцены, полюбили ее сразу после первой репетиции. Город со стоном сладострастного восхищения упал к ее ногам после первого спектакля». Ну разве так бывает? А где же зависть? А где же самолюбие? Где тщеславие творцов? Где желание убрать конкурента?.. Так бывает в сказках, а их мы и читаем.

Сказочность проявляется и в стиле автора. Глаза – мерцающие синими звездами, влюбленный мужчина смотрит на девушку – словно стоя на колене перед Прекрасной Возлюбленной, ветер – раздувает полы плаща, ерошит волосы, обжигает лицо холодными прикосновениями, букет – нежные чайные розы, свадебное путешествие – на Мальдивы, научное открытие – мирового значения, счастье – безмятежное, память – феноменальная... Все по максимуму! Множество эпитетов и метафор на всем протяжении книги нарочито лобовые, не требующие осмысления, сразу дающие картинку, знакомую по множеству и множеству книг, прочитанных с детства. Автор рискует быть обвиненным в шаблонности, если бы время от времени не демонстрировал умение дать и другие сравнения, вот, например, вишневое варенье в хрустальной вазочке – пижонит рубиновым цветом.

Стиль меняется, становится более реалистичным в последней истории, которую уже нельзя назвать сказкой. Эта история, помещенная в конце, дает ключ к пониманию всего, что было описано ранее. Здесь и имена героев указаны, и место действия – Заонежье, и время действия обозначено четко – военные и послевоенные годы. 1941 год, в Карелию пришел враг, вот-вот солдаты появятся в деревне. И женщинам, оставшимся без ушедших на фронт мужчин, приходится на своих плечах нести все тяготы времени.

Эвакуация, нужно спасать не только себя, но и детей, и немощных стариков родителей, которые, конечно, могут стать обузой на нелегких путях в эвакуации. И невольно приходит мысль – чтобы не надломиться, чтобы сохранить жизни детям, оставить стариков, уже поживших на этом свете. И, приняв решение, как жить после, понимая, что предал родных? Татьяна Копыленко убеждена, что от решений, принятых в такие моменты, зависит не только последующая жизнь самого человека; такие решения могут определять направление судеб и последующих поколений. А ведь давно было сказано, что вина отцов ложится и на детей «до третьего и четвертого рода»...

И все же, несмотря на трудность, на трагизм поднятой темы, автор завершает последнюю историю и книгу в целом светлым финалом, буквально светлым: солнечным зайчиком от иконы, упавшим на лицо героини.

Татьяна Копыленко в своих историях дает возможность читателю увидеть, как сбываются мечты, как детдомовский мальчик становится ученым с мировым именем, как добро побеждает зло, несмотря на все препятствия и искушения, как любовь торжествует. И, может быть, в этом и есть главное достоинство книги Татьяны Копыленко. Ведь, наверное, каждый из нас тоскует по идеалу и в суете будней время от времени задумывается о дефиците добра и любви, без которых жизнь не в радость, и стремится, и желает победы добра и любви. Эту победу и утверждает в своих сказочных историях Татьяна Копыленко.

Копыленко Татьяна.
Горячее солнце, холодный песок. М.: Продюсерский центр Александра Гриценко, 2015. – 154 с. – («Современники и классики»).

ПУТЕШЕСТВИЕ В МАРОККО

С АНАСТАСОМ ИВАНОВИЧЕМ
МИКОЯНОМ

Le Petit Journal

SUPPLEMENT ILLUSTRÉ
N° 1000
MARDI 12 SEPTEMBRE 1916
PARISDANS LE SUD MAROCAIN
L'appel aux armes des partisans de HibaБорис
ПОДОПРИГОРА
г. Петрозаводск

«ОТЕЧЕСТВОВЕДЕНИЕ», ИЛИ ПРИГЛАШЕНИЕ К ДОВЕРИЮ

Это моя третья рецензия на книги Владимира Чурова. Впрочем, на сей раз меня опередил целый ряд профессиональных критиков и учёных. Но именно об этой книге – пусть и вдогонку – хотелось бы сказать отдельно. Вот почему: если считать, что статус автора влияет на мнение критика, то сегодняшняя оценка наименее зависима от этого статуса. Оставивший недавно пост Председателя ЦИК, Владимир Евгеньевич, думается, заполнит свой внеполитический тайм-аут размышлениями, в том числе о своём творчестве. Мы тоже попытаемся это сделать.

Конечно же, Владимир Евгеньевич выступает в роли письменного рассказчика. Он рассказывает о том, что интересно ему, и хочет своими впечатлениями увлечь собеседника. Главное в его обращении к читателю – собственная увлечённость, а не композиция рассказа, оригинальность сюжета или коллизии, переживаемые персонажами. Рассказчик может перескакивать с темы на тему, прошлое поверять настоящим и наоборот, надолго сосредоточиваясь на деталях. Автора можно назвать эссеистом-документалистом, но эмоции, составляющие ткань эссе, плохо стыкуются почти с энциклопедической дошностью-конкретикой. Ещё меньше страстей вызывает привычная документалистика. Если считать, что жанр повествования может быть любым, кроме скучного, то Владимир Чуров точно не надоедает. Хотя, положила руку на сердце, всё-

таки признаем: отдельные экскурсии автора, например в историю маркировки пушек, оценят скорее специалисты. Познакомившись с четырьмя книгами Владимира Евгеньевича, предполагаю его изначальную настроенность на авторский жанр. Он ближе к популяризации истории страны через рассказ о судьбах своих родственников. Своего рода отечествоведение через «отчествоведение». Во всяком случае, традиционными литературоведческими и общественно-научными понятиями этот жанр характеризовать трудно. Может, и не стоит этого делать?

Перебирая полюбившиеся, ещё картонные фотокарточки, документы и письма ушедших, мы уже тем самым отдаём им дань памяти. Но если это были обычные люди, не обласканные публичным вниманием, редко кто берётся поведать о них «городу и миру». Поведать такими словами, чтобы захотелось вспомнить своих родителей, дедушек и бабушек. Владимир Чуров «путешествует» не столько в Марокко, сколько в собственное детство, главные персонажи которого его родители, а отправная точка – улицы-линии Васильевского острова (тогда, в конце 50-х, они казались пустынными и по ним на запряжённых лошадьми повозках развозили черно-фиолетовый торф...).

Очеловечивание истории, её иллюстрирование рисунками отца в его рабочем блокноте обновляет смысл словосочетания «любовь к отеческим гробам». Не об отложенном или повторном отпе-

вании идёт речь, а о мысленном благодарении тех, кто не прервал нити жизни. Есть ли что священнее той благодарности, которая единственно передаётся по эстафете поколений? Той, что наполняет понятие «патриотизм» не только строчками из учебников истории, классики или публицистики, но и родственными чувствами-ощущениями, по Пастернаку – «запахом семьи». Прочитав книгу Владимира Чурова, кто-то поведает детям-внукам историю их рода. Другой – ничего не скажет, но в ближайший родительский день посадит цветы на родной могиле. Уже поэтому «путешествия» Владимира Чурова «электризуют совесть и конденсируют память». Тем более что в лучшем случае судьбы лишь наших прадедушек большинству из нас известны хоть как-нибудь, а самые старые могилы на наших кладбищах относятся к концу XIX века. Не зависит ли патриотизм от глубины познания нами родовых корней?

Владимир Чуров практически во всех книгах использует политические сюжеты как литературную огранку своих «путешествий». Они служат общим фоном повествования и помогают читателю ощутить время. Так, фабула «марокканского путешествия» сводится к впечатлениям автора от посещения мест, в которых в 1962 году побывал его отец. Но отец Владимира Евгеньевича, будучи специалистом-гидрографом, выполнял, в том числе, политическую задачу. Она состояла в распространении влияния нашей страны на африканский континент, в данном случае на его стратегически важную оконечность – Марокко. Думается, не случайно Первый заместитель Председателя Совета Министров СССР Анастас Иванович Микоян дважды посетил эту страну в 1961–62 гг. Собственно эта неслучайность и позволила автору дополнить название книги именем одного из наиболее опытных советских политиков. Политической истории посвящены многие фрагменты «марокканского путешествия». Это относится к судьбе родственника автора – парижского эмигранта, покинувшего родину вместе с Белой армией. Кстати, он уже упоминался Владимиром Евгеньевичем в «путешествии» от Будапешта до Вены – европейских столиц, освобождённых Красной армией при участии деда автора – генерала-артиллерииста.

Страницы книги содержат весьма любопытные детали мало изменившихся отношений тогдашней Москвы со странами Запада. Эти отношения иллюстрируются опять же личными ощущениями и малоизвестными деталями. Оказывается, на борту самолета Леонида Ильича Брежнева (тогда Председателя Президиума Верховного Сове-

та СССР) имелся приёмник радиоактивного излучения, измерявший уровень радиации по маршруту полёта над Сахарой и Средиземным морем. Дело в том, что на юге Алжира, рядом с границами Нигера и Мали, французы с 1960 года проводили в атмосфере испытания. Поэтому, по сведениям Владимира Чурова, самолёт Брежнева был атакован французским истребителем. Надо думать, атакован демонстративно. Согласитесь: оригинальный факт. Или эпизод, обращённый скорее к сегодняшним раздумьям: в 1991 году марокканский монарх сказал советскому послу буквально следующее: «Прошу передать мои слова президенту СССР М.С.Горбачеву. Лично я не люблю коммунистов, американцы – наши друзья. Но необходимо сохранить Советский Союз любыми средствами, причем без использования танков. Мир, как и человек, должен стоять на двух ногах, а в мировых делах обязательно должен быть баланс...»

Напрашивается аналогия, возможно, формальная: чтобы читатель и писатель «стояли на двух ногах», они оба должны быть не просто интересны друг другу, но мысленно общаться на одной волне. В марокканском и других «путешествиях» в XX век Владимиру Чурову удалось эту волну найти и не сбиться с неё на «протяжении» уже четырёх книг. Поэтому авторский жанр, наиболее соответствующий этой сверхзадаче, можно назвать приглашением к доверию.

Владимир Чуров.
«Путешествие в Марокко
с Анастасом Ивановичем Микояном»,
изд. Кучково Поле, Москва, 2015 г.

Олег ЦЕЛЕБРОВСКИЙ

г. Петрозаводск



ОГЛЯДЫВАЯСЬ НА ЭПОХУ

Когда берешь в руки книгу, написанную летчиком-истребителем, то, скорее всего, с первых строк ожидаешь «ревушие конусы реактивного огня», «вдавливающие в кресло перегрузки» и прочие героические атрибуты летной работы. И это правильно. Романтика неба, риск, летная специфика – всё это, как правило, для читателя интересно и экзотично. Особенно когда об этом пишет профессионал. А уж если он еще и хороший писатель, такая книга, что называется, ляжет на душу любому читателю, интересующемуся этой темой.

Но книга Владимира Юринова «На картах не значит» вовсе не уводит нас с первых же строк в небо. Более того, и «со вторых» не уводит. И все же с этих самых «первых» и «вторых» строк становится ясно, что книга не разочарует и что автор плоть от плоти того, о чем пишет, а Юринов закончил службу летчиком-истребителем первого класса, гвардии подполковником. Только Владимир Юринов сделал акцент не на полетах, самолетах и летных происшествиях, а на жизни. Той самой жизни, которой жили советские офицеры в своих глухих, далеких, не значившихся на картах гарнизонах. Жизни, которая складывалась из бытовых проблем, взаимоот-

ношений между людьми, забавных казусов, комичных и печальных событий. Жизни, на которую, по сути, опиралась та самая боевая, летная работа. Ведь как гласит подпись под одной из иллюстраций к книге (а иллюстрации тоже рисовал профессионал – подполковник ВВС запаса Валерий Медведев): «Победа в воздухе куется на земле!»

Книга посвящена событиям, имевшим место быть в военном гарнизоне Орловка Дальневосточного военного округа, куда сразу после окончания летного училища попал автор, и состоит из разделов, каждый из которых освещает одну из сторон жизни летного состава и их семей. Есть глава «Об удаленности», есть «О транспорте», есть «О крысах», есть «О магазинах», есть «О политике»...

Однако это не сборник рассказов в традиционном понимании, когда каждый рассказ имеет название, место в оглавлении, а сам выполнен в соответствии с литературными канонами жанра. Книга Юринова является своего рода единым повествовательным полотном. Словно читатель встретил старого приятеля, с которым давно не виделся, и тот повел рассказ о своей интересной жизни, переключаясь с одной темы на дру-

гую. Причем какую бы тему ни затрагивал автор, ему не свойственны морализаторский пафос, героическая романтика и душещипательная лирика. Нам просто рассказывают интересные истории понятным и простым языком, который к тому же пропитан юмором и иронией, и, путешествуя по страницам книги, нередко улыбаешься, а то и смеешься. Чему также способствует то обстоятельство, что многие события, послужившие основой для книги Владимира Юринова, являются незаурядными.

Штурман эскадрильи, выйдя в отпуск, поехал на Камчатку навестить друга детства, с которым вместе и летное училище окончили. Дома оставалась жена, собиравшаяся через месяц рожать, поэтому на поездку отводилась максимум неделя. Но вернулся штурман только через несколько месяцев, потому что оказался на борту атомного подводного ракетоносца, идущего к берегам США.

Прапорщик, попавший под колёса армейского КраЗа, отделался всего-навсего лёгким испугом.

Военные строители, возводя четырёх-подъездную пятиэтажку, начали строить с концов дома, в результате между половинами дома получился метровый просвет.

И подобных случаев под обложкой книги – с избытком.

Еще одно достоинство автора – умение создать атмосферу событий, нарисовать картинку: «В назначенный час белоснежный лайнер раскрутил колёса об орловский бетон, высокие гости спустились по крытому красной ковровой дорожкой трапу, начальник штаба армии, показательно тняя носок, пропечатал пять шагов навстречу заместителю главкома и отдал рапорт. Сборы начались. Гости рассыпались по аэродрому. От обилия генеральских звёзд у личного состава полка зарябило в глазах. Золотое шитьё сверкало на солнце. Широкие голубые лампы молниями рассекали воздух. Генералы преобладали и доминировали. Полковники были на побегушках».

Надо сказать, что и непосредственно летная работа не осталась без внимания. И те, кому интересна не только земная, но и «небесная» жизнь российских летчиков, читая книгу, получат свою долю читательского удовольствия.

Вот что по этому поводу пишет сам Юринов: «Предвижу законные вопросы. Как же так?! Книга, написанная летчиком про авиационный гар-

низон, и без полетов? Без воздушных боев? Без этих: «Самолет со страшным грохотом пронзил звуковой барьер...» и «Он включил форсаж, и чудовищная перегрузка вдавила в кресло»?! Наконец без: «Дорогая, пишу тебе с верхней точки мертвой петли. Чернила замерзли, перехожу на карандаш...»?! Как же без всего этого?!»

На самом деле все это есть! Есть истории и о том, как наши истребители заставили-таки сесть в Благовещенском аэропорту транспортник, прорвавшийся к нам через китайско-советскую границу и оказавшийся нашим. Есть рассказ о том, как опытный пилот прошел так низко над лесом, что срезал ветку, которая успешно улетела в воздухозаборник двигателя... Есть случай, когда сам Владимир Юринов услышал в эфире фразу: «Нарушение государственной границы СССР. Цель реальная...» А затем гнался за нарушителем, но земля никак не могла принять внятного решения...

Важно и то, что Юринов объясняет, раскрывает нам, непосвященным, зачем летчики рисковали, какие проблемы возникали в нашей армии благодаря откровенной трусости высокого начальства, не желающего принимать ответственные решения...

Сам же автор так говорит о своей книге: «Этот рассказ есть не что иное, как немного запоздалое признание в любви. Моей летной работе. Моим друзьям. Моей безвозвратно ушедшей молодости...»

Вместе с ним и мы оглядываемся на целую эпоху и с некоторой грустью тоже вспоминаем то время, когда все было иначе. Просто потому, что мы были моложе...

Владимир Юринов.
«На картах не значится»,
Великие Луки, 2015, 397 стр.
ISBN 978-5-905507-74-8



Елена Пиетилийнен
главный редактор



Елена Бермус
**редактор отдела
прозы**



Евгений Кудрявцев
дизайн, верстка



Вениамин Слепков
**редактор отдела
очерка и публицистики**



Александр Воронин
**редактор
отдела поэзии
и сайта журнала**



Людмила Шананина
корректор



Наталья Евдокимова
секретарь

Редакционный Совет

Большакова Надежда (Мурманская обл.)

Васильева Надежда (Петрозаводск)

Востряков Игорь (Петрозаводск)

Гнетнев Константин (Петрозаводск)

Крапивин Владислав (Тюмень)

Ковалев Александр (Санкт-Петербург)

Лемесов Валерий (Швеция)

Маркова Елена (Петрозаводск)

Миккола Мария-Леена (Финляндия)

Минеева Инна (Петрозаводск)

Мустонен Раиса (Петрозаводск)

Переяслов Николай (Москва)

Пиетилийнен Елена (Петрозаводск)

Попов Андрей (Сыктывкар)

Пронин Сергей (Петрозаводск)

Соломещ Илья (Петрозаводск)

Журнал зарегистрирован Министерством РФ
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Свидетельство ПИ № 77-3570 от 31.05.2000 г.

Цена договорная